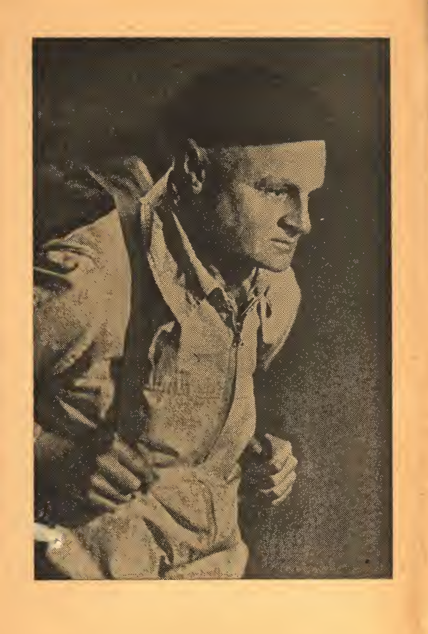
АЛЕКСАНДР
КРЕМЕНСКОЙ

ОБЛАКА И ЗВЕЗДЫ



АЛЕКСАНДР КРЕМЕНСКОЙ

ОБЛАКА И ЗВЕЗДЫ

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1978

Р2
К79

Творчество Александра Кременского отличается органическим единством темы и материала: поэтично увиден и изображен художником мир цветов, трав, деревьев, мир пустыни, степи и леса. Люди у А. Кременского неразрывно связаны с природой, нередко очеловеченной писателем: в ней как бы отражаются высокие человеческие устремления, страсти. В рассказах цикла «Облака и звезды» раскрыта поэзия научного открытия, описано рождение наблюдательности, пытливости, воли к познанию.

Герои «Каракумских рассказов», повести «Горькая вода» — ботаники, мелиораторы, почвоведы — борются с сыпучими песками — барханами, наступающими на пастбища и поселки в Каракумах. Автор участвовал во многих научных экспедициях. Отсюда — достоверность в описании трудов и дней «пустынпопроходцев».

Сборник «Облака и звезды» полно представляет творчество Александра Кременского, много лет успешно работающего в литературе. Его книга — живое и увлекательное повествование о природе и людях, в нее влюбленных, ее постигающих и бережно осваивающих.

К $\frac{70302-367}{083(02)-78}$ 97—78

ГОРЬКАЯ ВОДА

ПОВЕСТЬ

I

Самолет поднялся и набрал высоту, в салон вошла стюардесса.

— Товарищи, подлетаем к морю. Наденьте спасательные пояса.

Пассажиры, их было человек десять, нехотя стали возиться с поясами: делали вид, что пристегивают. Все, кроме меня, оказывается, летели через Каспий не впервой. Я тоже хотел сойти за бывалого пассажира, но стюардесса остановилась как раз возле моего кресла: ждала, когда застегну на себе пояс. Еще секунда, и, чего доброго, станет помогать. Сразу догадалась — летит новичок. Пришлось покориться.

Самолет шел уже над морем, над большой каспийской водой. С километровой высоты синяя зыбь в белопенных гребешках казалась неподвижной, стеклянно-застывшей. Мелькнул и пропал позади Красноводск, вплотную прижатый к каменной, почти отвесной стене Куба-Дага. И вдруг на полном ходу самолет будто споткнулся, стал падать. У меня мгновенно похолодело внутри, но самолет выровнялся, моторы гудели успокаивающе ровно. Потом голос их переменился, стал выше — снова свободное двухсекундное падение.

Я выглянул в оконце. Внизу, заполнив все поле зрения, медленно проносилось нечто уныло-огромное, голое, желтое — Великая среднеазиатская пустыня Каракум — «черные пески», тысячи квадратных километров чистых кварцевых крупнозернистых, веками перевеваемых

песков. Сейчас пески эти были раскалены. Мощные восходящие потоки горячего воздуха бросали нас по незримым ухабам. Припав к окошку, я пытался увидеть что-либо оживляющее мертвый ландшафт. Нет, он был неизменен, однообразен: из-за горизонта все наплывали и наплывали груды песка.

Робость и уныние овладели мной. Я не стремился в пустыню, попал сюда случайно. Началось с внезапного невезенья, хотя сперва все шло удачно, хорошо. В Москве я получил назначение в Нижне-волжскую мелиоративную экспедицию, выехал в Астрахань и узнал, что объем работ сокращается. Пришлось возвращаться обратно.

В отделе кадров главка сказали: осталось только одно свободное место, но от него уже отказалось трое геоботаников. Правда, эти трое — женщины. Очень трудный район — Каракумы.

— Подойдет вам?

Я молчал.

Начальник отдела кадров усмехнулся.

— Тоже опасаетесь?

Нет, не то слово. Жара, безводье, змеи, скорпионы — все это страшно для туристов. Полевику о них просто некогда думать — ему работать надо.

Я недавно окончил биофак, но еще студентом успел побывать в экспедициях — был коллектором в Белоруссии, лазил там по пояс в болотной воде, потом работал на лесных полосах в казахстанской степи, а в прошлом году обследовал луга Украины. Из каждой экспедиции привозил небольшие научные статьи. Их печатали в «Знание — сила», одну поместила «Природа», журнал, где выступают даже академики.

Я неплохо знал казахстанскую степь, белорусские болота, леса Подмосковья. И вдруг — Средняя Азия, Каракумы, суровый мир растений — сухолюбов, деревьев пустыни — саксаулов, серых солянок, наполненных горьким соком.

— Ну, так как же решим? — снова спросил кадровик.

Как решим?.. Не знаю, как решим... Отказаться,— значит, потерять полевой сезон, провести лето и осень где-нибудь за скучной камералкой, за разборкой чужого гербария, работать только из-за денег. А если поехать? Но растительность Каракумов мне не более известна, чем растительность новоземельской тундры, сибирской тайги,

Марса! А в работу надо включаться с ходу. Это я уже знал по опыту. Экспедиция в песках находится еще с весны. Не освоиться быстро — задержать весь отряд, стать балластом.

— Позвольте дать вам окончательный ответ завтра.

— Добро, только не позже. Ждать не будем.

Вечером я пошел к знакомым геоботаникам. Они меня успокоили:

— Конечно, поезжайте. Сейчас лето, вегетирует не много растений. Вы их легко освоите на месте по экспедиционному гербарию, а с особенностями развития растительного покрова познакомитесь уже в песках, в процессе работы.

Скрепя сердце решил ехать. На другой день я вылетел в Ашхабад и вот теперь приближался к месту назначения.

Самолет пошел на посадку. Легкий толчок, и «ИЛ» уже катится по асфальтовой дорожке.

Я вышел наружу, и у меня сразу же перехватило дыхание, будто попал в баню, в парильню, на верхний полок. Как же здесь дышать, как жить?

Беспомощно оглянулся. Невдалеке от летного поля, в светлой узорчатой тени тамарисков, на бетонно-твердой серой глине сидели трое стариков туркменов. Все в синих ватных халатах, в высоких черных бараньих папахах; смуглые лица спокойно-строги, главное, совершенно сухи. Исконные обитатели песков — кумли — просто не замечали сорокаградусной жары.

Я изумленно смотрел на тепло одетых людей.

Моя трикотажная безрукавка липла к телу, по лицу, по спине, по рукам текли и тут же высыхали соленые струйки. Должно быть, мне, северянину, надо было бы постепенно привыкать к местному климату. Не зря работники экспедиции прибыли сюда заранее. А я вот свалился с неба в самое пекло. Все ясно: нужно думать об одном — как выбраться отсюда без ущерба для себя. Но вот прошли минуты, часы, и я, сидя в автобусе, потом в поезде, быстро притерпелся к жаре.

В Казанджик — маленький городок у северных отрогов Копет-Дага — поезд пришел поздно ночью. Луны не было. На черно-синем небе звезды сверкали с неистовой силой. Внизу, как свежевыпавший снег, слабо мерцал песок.

Я решил дождаться утра и расположился тут же у вокзала на брезентовом плаще у теплой, еще не успевшей остыть глиняной стенки дувала. Спать не хотелось: очень уж сильны были впечатления дня.

Летняя ночь коротка. Как-то все сразу, словно выключенные лампочки, погасли звезды. На востоке быстро занялась и стала разгораться заря. Она торопливо сменяла цвета — багровый, пурпурный, золотистый, и вот уже, словно подброшенное снизу, над горизонтом появилось солнце — круглое, лучистое, слепящее. Пока оно не жгло, только грело.

Я умылся водой из арыка и пошел искать штаб экспедиции. Его, оказывается, знали: местная молодежь работала в поисковых отрядах. Когда подходил к штабу, раздался звонок: работа начиналась в шесть утра.

Меня принял главный инженер экспедиции — пожилой, спокойный, медлительный украинец. В маленькой комнате с глинобитным полом всю стену занимала карта района мелиоративных изысканий.

— В гостинице остановились?

— Нет, на вашей базе.

— Сейчас пойдете в отряд, до обеда отдыхайте, потом включайтесь в работу. Сроки у нас жесткие: жара мешает.

Главный инженер сказал, что в отрядах много москвичей, ленинградцев, есть специалисты с Украины, с Поволжья, много молодежи. Сейчас перерыв в полевых работах. Объявлена большая камералка, обрабатываются материалы весенних изысканий. В пустыне пока слишком жарко. Были случаи тепловых ударов. Решено подождать неделю-другую, пока спадет зной.

— Мы вчера получили телеграмму о вашем приезде. Будете работать во втором отряде. Начальник ваш — Курбатов — сейчас в командировке в Ашхабаде. Замещает его Калугин — мелиоратор, работает за себя и за геоботаника. Теперь ему станет легче. Отправляйтесь в отряд. Калугин дома, сидит над гербарием, в штабе очень тесно.

Калугин жил в глинобитной туркменской мазанке. Меня встретил грузный мужчина лет пятидесяти, в цветастой тюбетейке, в синей рабочей спецовке. На топчане, на табуретках, на столе, на полу были разложены серые гер-

барные листы. От порога до стола оставалась узкая тропка.

— Смотрите не оступитесь,— сказал Калугин,— у вас под ногами весенние эфемеры.

Эфемеры, первые цветы пустыни, появляются уже в конце февраля на влажном, пригретом солнцем песке; я только читал о них, но никогда не видел.

— Можно на них взглянуть?

— Еще насмотритесь! Сперва расскажите о себе, кто вы, что вы, где работали. С сегодняшнего дня нам с вами идти по пескам неразлучной парой.

Я кратко рассказал о себе, упомянул о своих печатных опусах в журналах.

— Не читал,— коротко ответил Калугин.— Вообще, мой вам совет: забудьте о Европе, о ее флоре. Вы в Средней Азии, это особый, ни на что не похожий мир. Вам предстоит открыть его для себя. Сделать это надо в предельно сжатые сроки. Сейчас вы неофит, а выехать в в пески должны геоботаником-каракумцем, способным вести самостоятельные изыскания.

— Ничего,— сказал я, подбадривая себя,— говорят, не боги горшки обжигают.

— Правильно, не боги,— мы, грешные. Но надо научиться их обжигать, и, главное, в считанные дни. Посему, не тратя золотого времени, сегодня же после завтрака садитесь и штудируйте вот это.

Он вынул из-под стола толстый том, протянул мне. Это была «Растительность Средней Азии и Южного Казахстана» — классическая работа известного ученого Евгения Петровича Коровина. Я в общих чертах знал ее. Но одно дело читать о пустыне в Москве, в Ленинской библиотеке, другое — здесь, рядом с песками, когда живой материал книги находится в нескольких километрах.

Я взял Коровина и потянулся за «Флорой Туркмении». Четыре тома в желтой бумажной, порядком потрепанной обложке лежали на подоконнике. Ими пользовался Калугин: определял неизвестные виды.

— Э, нет! — он отодвинул книги.— Это для вас пока запретное.

— Почему?

— По себе знаю: расстроитесь вконец. Здесь сотни видов. Начнете читать описания — в глазах зарябит: во-

образите, что завтра в песках встретите их всех. А это не так. Особеино сейчас, летом.

Он подиялся, головой задел лампочку, висевшую на длинном шиуре, привычио остаиовил ее.

— Теперь оставляйте здесь чемодан, идите завтракать. Жнть будете в отряде. Мы сняли у хозяина целый дом. Сами онн летом по древиему обычаю обитают в кибитке, во дворе.

* * *

...Я лежу поверх спальиого мешка иа глиияном полу в пустой комнате, читаю Коровииа, делаю выписки, рассматрнваю фотографнн.

Уходит до горизонта, пропадает вдали песчаная зыбь бугристых песков, выставил свон «рога» одиночный бархан. А вот поннкшие саксаулы иа обарханенных вершииах песчаных бугров. И все это не только в книге — рядом, в считанных часах ходьбы от нашего дома.

Пустыия — неведомая, полиая тайи — ждет меия. В открытое окио врывается ее дыхаиие. Надо готовиться к встрече.

Итак, завтра, еще не видя, не зиая пустыии, я должеи включиться в работу, включиться с ходу, иемедлеиио. Иначе зачем же было соглашаться иа Каракумы? Завтра я попаду иа «белое пятио», иа иеведомую землю, иа «терра ннкогнита». Захочется сразу же узиать о ней как можио больше, иачиутся метания от одного «чуда прнроды» к другому, иачиутся лнхорадочные записн, жадиые сборы гербарня — брать, брать, брать все, что попадется на глаза; все ведь иезиакомое, все иеобычное, все виднш впервые. А со стороиы с усмешкой будут наблюдать Калугин и неизвестиые пока товарищи по отряду: ведь требуется работа, прежде всего работа.

Человеку приятно иметь право смотреть иа другого чуть свысока. А тут новичок, первогодок, в пустыне впервые. Лицо, шея, рукн бледиые, не троиутые загаром. Может, еще кто вазелнну предложит? Пожалуйста, мол, помажься, а то с иепривычки можно обгореть... Так вот ин вазелнна, ни ахов-охов, ии метаннй, иичего этого завтра не будет. Я должеи сразу поставить иа место всех, готовых посмеяться надо миой, иад моей иеопытиостью, незнанием, иеумеиием. Пусть зиают: к ним приехал прежде

всего полевик, участник нескольких экспедиций. Трудностями, жарой, фалангами, скорпионами его не испугать. Навыками освоения незнакомой флоры он владеет неплохо. Эмоции умеет сдерживать. Восторги, междометия по поводу красот пустыни не для него. Это он оставляет третьекурсницам с биофака. Вот такие или подобные им и убоялись пустыни, наотрез отказавшись от рискованной поездки в Туркмению. А я-то знал, куда еду! Поэтому с первого же дня внимание свое надо взять в шоры, заниматься только необходимым, фиксировать только нужное для изысканий. Романтические, таинственные «черные пески» останутся в книге Коровина. А для изыскателя пустыня — прежде всего объект практических мероприятий. Пески имеют узкохозяйственное значение: пригодны или непригодны для выпаса овец; нуждаются или не нуждаются в закреплении травами и кустарниками.

Но смогу ли я вот так с первых же шагов ограничить себя? Вопрос! Разве не к этому готовился я еще в университете? Годами воспитывал в себе выдержку, характер, волю? Еще студентом-первокурсником купил себе большой календарь на деревянной подставке, с широкими полями, поставил на полочку возле кровати — чтобы всегда был на глазах. По дням на месяц вперед расписано было все, что должен сделать. Указаны подробно предмет, книга, страницы — «от» и «до». Это безотказно помогало. Листок календаря с утра смотрел на меня глазами крупных, четких букв, почти гипнотизировал, приказывал, заставлял.

Ребята звали в кино, в клуб, к девушкам в соседний корпус. Я не отвечал на шутки, спокойно улыбался и делал свое дело. Так я приучил себя к систематическому, планомерному труду. И когда ребята перед экзаменами до зари сидели над учебниками, наспех наверстывая упущенное, я в одно и то же время, указанное в распорядке дня — 23.00,— ложился в постель, с головой накрывался одеялом от негасимой до утра лампы и быстро засыпал. А утром, проснувшись точно в 7.00, вставал, делал зарядку, обтирался холодной водой и начинал свой новый день.

Было ли трудно? Да, но только в самом начале, на первом курсе, пока не привык, не втянулся, а потом уже и представить себе не мог, как можно жить иначе. Товарищи по комнате убивали уйму времени на «треп», на ку-

рилку, на уличное шатанье, смеялись надо мною, называли роботом, механическим человеком, но в душе завидовали мне, моей целеустремленности, организованности, воле.

Я не обижался, я все понимал, я знал, что перед экзаменами они будут приставать ко мне: «Юрка, объясни, Юрка, растолкуй, подскажи». И я объяснял, растолковывал, подсказывал, потому что был выше их как индивид, совершеннее их устроен, лучше приспособлен к работе головой.

Наступали экзамены: они приносили тревоги, надежды, отчаяние, радость. В комнате то и дело раздавались вопли:

— Хлопцы, отхватил четвертак, а не знаю и на пару!

— Железно! Так держать!

— Слава аллаху — последний сдал!

— Теперь гульнем!

И все ехали подальше от общежития обмывать успехи кружкой пива «с прицепом». А я оставался дома. Надо было готовиться к новым занятиям, к дисциплинам следующего семестра.

К вечеру возвращались ребята.

— А йог уже сделал дыхательную гимнастику?

— Он заводит себя ключом на завтра.

— Тихо! Не мешайте ему планово спать.

Я не спал, но и не откликался,— было немножко обидно: все начиналось по-старому. А ведь думалось: может, хоть перестанут смеяться. Нет, смеются... Что делать, природа человеческая туго поддается изменению к лучшему...

Сейчас предстояло проверить на деле, готов я или не готов одолеть настоящие трудности.

II

Калугин сильно застучал в кабине.

— Стоп! Приехали.

Я вздрогнул, открыл глаза. Экспедиционный грузовик с фанерным домиком в кузове стоял посредине наезженной песчаной дороги. Передний брезент — подвижная «стена» домика — был поднят. Над кабиной, точно в раме, виднелось сверкающее каракумское небо. В его синеву врезался огромный серо-желтый бархан. Сыпучий

холм с резкими, острыми, как у пирамид, гранями был совсем голый и издали казался каменно-твердым.

— Вот вам и пустыня,— сказал Калугин.

Крыша грузовика заслоняла солнце, но его слепящий свет проникал всюду. В остановившемся грузовике стало нестерпимо душно. В задней части кузова, на груде брезентов, спали техник-геодезист Костя Левченко и его помощники, семнадцатилетние братья-близнецы Мурат и Хаким Клычевы. В самом углу, приткнувшись к стенке, тихо посапывал третий рабочий — Иван Акимович.

— Будить ребят? — спросил я.

— Зачем? Сейчас работать нельзя — жарко. Тронемся после пяти часов.

Я встал.

— Здесь нечем дышать. Давайте выйдем, посидим в тени.

Калугин усмехнулся.

— А где же эта тень? Пустыня сейчас как горячая сковорода.

Я выглянул из кузова и зажмурился. Маленькое белое солнце застыло в зените. Голые желтые пески отражали его лучи. И небо, и земля сверкали, испуская потоки горячего света. Кругом ни одного темного пятна. Только грузовик отбрасывал короткую прямоугольную тень, лежавшую у самых скатов.

Да, выходить некуда... Я опустился на скамейку. Калугин сидел напротив, облокотившись на гербарные сетки. По большому свежевыбритому лицу, по жилистым, дочерна загорелым рукам, по видневшейся из-под распахнутой синей спецовки смуглой груди стекали соленые струйки. Он не вытирал их, только морщился, когда пот попадал в глаза. Марлевая «чалма» на бритой голове потемнела от пота и пыли.

Мы молчали. Нестерпимый зной нагонял тяжелую одурь. Не хотелось ни двигаться, ни говорить, хотя надо было посоветоваться о предстоящем обследовании, времени оставалось в обрез.

Сегодня утром главниж вызвал меня и Калугина и сказал, что есть срочное задание: необходимо обследовать бугристые пески в районе колодца Капланли, к северо-востоку от Казанджика. Пески эти покрыты растительностью, но на отдельных буграх появились очаги выдувания. Языки подвижного песка сползают по склонам,

погребая травы и кустарники. Опасность возрастает из-за близости барханного массива. Если бугры, обнажившись, сомкнутся с барханами, площадь выноса подвижного песка сильно увеличится. Тогда соседним осоковым пастбищам несдобровать.

Сборы были недолги. Через час мы выехали. Вскоре грузовик стоял возле барханного массива Каплаили...

Позади грузовика лежала унылая глинистая равнина, примыкающая к самому Копет-Дагу. Кое-где на ней серели чахлые кустики полыни вперемежку с кустами сорной гармалы. Впереди, из-за барханного массива в мглистой от зноя дали были видны уходящие до горизонта невысокие песчаные бугры. Редкие кустарники в перспективе сгущались, придавали пескам темную окраску. На все четыре стороны, насколько хватал глаз, простирались «черные пески». И вдруг между темными буграми медленно проступила светло-голубая гладкая вода. Она ширилась, затопляла бугры, поглощала их и уходила далеко-далеко — сливалась со светло-голубым небом.

— Озеро! — изумленно сказал я.— Смотрите — пустынное озеро.

Калугин рассмеялся.

— Нет, это только пустынный мираж. Разве вы их не видели в Казахстане?

Я смущенно промолчал.

В стороне от дороги рос одинокий куст. Я соскочил с машины, чтобы срезать ветку для гербария, но сейчас же запрыгал от боли: через подошву тапочек раскаленный песок ожег ноги. Пришлось спешно забраться в кузов.

— Что, печет? То-то! — Калугин подвинулся, уступая мне место рядом.— Я же сказал — сидите пока на месте. Сапоги взяли? Хорошо, а то вся работа пошла бы насмарку. Тапочки не для пустыни.

Я надел брезентовые сапоги, направился к кусту. Вдруг из-под него выскочила и метнулась на дорогу крошечная ящерица. Я побежал за нею. Ящерица остановилась, присела. Гребень на голове раздулся, покраснел. Внезапно ящерица ткнулась головкой в песок, гребень сразу опал, побледнел. Я поднял ее. Ящерица была мертва — изжарилась заживо на раскаленном песке.

— Испугать хотела — и вот погибла.— Я с сожалением положил на песок маленькое тельце, зарыл его сапогом.

— Ну как же нас не бояться,— усмехнулся Калугин.— Не успели выйти из машины — и уже наделали беды: погубили ящерицу.

— А сейчас еще отрежем ветку у кустарника,— я вынул карманный нож. Передо мною была эфедра шишконосная. Я сразу узнал ее, вспомнив рисунок у Коровина.

Это был вечнозеленый кустарник, исконный обитатель пустыни, с толстыми, словно искривленными подагрой, ветками в шишковатых утолщениях.

— Идите к нам,— позвал меня Калугин. Они с шофером Басаром сидели в заметно выросшей тени у задних скатов машины. Прежде чем сесть, я попробовал песок,— он был чуть теплый, успел остыть в тени так же быстро, как и накалился на солнце.

— В этом спасение всего живого,— заметил Калугин.— Успей ящерица вскочить в норку, она осталась бы жива. Сейчас вся пустынная живность сидит в норах, а ночью выйдет к нашему костру.

День медленно шел на убыль, но жара все еще была нестерпимой. Перед выездом я, на свою беду, неосторожно похвастал, что после двух пиал горячего зеленого чая смогу не пить до самого вечера. Калугин покачал головой:

— С непривычки не выдержите.

— Но вы-то не будете пить?

— Я — другое дело, а вы не сможете.

— Почему? В Казахстане мне приходилось не пить с утра до вечера.

— Там — полупустыня, здесь — пустыня.

— Спорим на бутылку портвейна?

— Идет. Послезавтра я угощу вас вашим же вином.

Теперь я чувствовал, что напрасно понадеялся на свою выносливость. В горле появилась покалывающая боль. В глазах темнело. Томясь, я поднялся, подошел к кузову. Казалось, если только взглянуть на челек — узкий бочонок с водой — уже станет легче.

— Челек под брезентом, а шланг у Басара в кабине,— послышалось сзади.

— Мне нужна папка — уложить эфедру.

— Папки на челеке. Смотрите не подмочите гербарную бумагу.

Я молча вздохнул. Ничего! Надо выдержать характер до конца.

Брезентовый полог над кузовом был опущен. Я в изнеможении склонился над бортом. Терпеть дальше не было мочи...

— Прошу,— Калугин, подойдя сзади, с улыбкой протянул мне короткий шоферский шланг для подсасывания бензина. Пари было проиграно...— Портвейн берите только в ресторане — там есть улучшенный,— раздался уже из-за грузовика голос Калугина.

Тяжело дыша, я влез в кузов, вырвал деревянную втулку, опустил шланг в челек.

Живая вода! Смысл этих слов можно постигнуть только в пустыне, когда в сорокаградусную жару втягиваешь через шланг отдающую бензином, чуть солоноватую, но холодную воду из челека. Напившись, я стал осторожно пробираться к выходу и споткнулся о длинные Костины ноги. Костя коротко вскрикнул, ошалело взглянул на меня, потом, тяжело вздохнув, вытер рукавом лицо.

— Ну и жара... Который час?

— Пятый.

— Надо вставать.

Костя набрал через шланг воды, умылся над бортом. Близнецы крепко спали.

— Костя, как вы различаете Клычевых? — спросил я.— Они даже одеваются одинаково.

— Сейчас увидите.

Костя снова набрал в рот воды, прыснул на лица близнецов.

Хаким вскочил как ошпаренный.

— Зачем шутки? Нельзя по-хорошему разбудить? А еще техник...

Мурад потянулся, не спеша вытер лицо, потом кротко спросил:

— Что, вставать?

— Давай бери теодолит,— сказал Костя,— пошли на исходную позицию.

— А почему мне? — вскипел Хаким.— Пусть Мурад несет. Я пойду с рейкой.

Костя горестно вздохнул.

— Ладно, Мурад, бери теодолит.

— Я в прошлый раз носил.

Лицо Кости страдальчески сморщилось.

— Каждый раз одно и то же. Что ж, может, мне нести, а вы будете съемку делать?

— Иван Акимович никогда не носит.

Костя промолчал.

Проснувшись позже всех, Иван Акимович лежал в глубине кузова, сонными глазами смотрел на бархан. Никто не знает, сколько ему лет — тридцать или все пятьдесят. Обычно Иван Акимович молчит. Работает он вяло, поэтому приставлен к самому легкому делу — держать заднюю рейку во время инструментальной съемки.

Уже официальным тоном Костя сказал Мураду:

— Товарищ Клычев, приказываю взять теодолит.

— Завтра понесу. Сегодня пусть Хаким несет.

Геодезическая бригада жила по законам Запорожской Сечи. Костя приехал в экспедицию прямо из техникума и быстро сошелся со своими подчиненными. Он начал с того, что достал сетку, мяч и организовал волейбольную команду. Ребята души не чаяли в своем начальнике. Но в песках медаль обернулась оборотной стороной. Близнецы не слушались Кости, рабочий день начинался со споров, пререканий. Начальнику отряда то и дело приходилось наводить порядок. Сейчас начальника не было.

В кузов заглянул Калугин.

— Что за шум?

— Да вот оба хотят идти с рейкой,— пожаловался Костя.— Как быть?

— Очень просто: одному нести теодолит. Вы кого сегодня ставите на рейку?

— Мурада. Хаким в прошлый раз ходил.

— Я лучше работаю с рейкой,— быстро сказал Хаким.— Один раз махнешь — и сразу стану на место, а Мураду два, три раза надо махать. Он медлительный. Если я пойду, это для дела польза.

— Постой, не тарахти,— спокойно перебил Калугин.— Выходит, Мурад все время таскай теодолит, а ты налегке будешь с рейкой бегать? Не по-братски, брат, рассуждаешь.— Он обернулся к Косте: — Двинулись.

Хаким, хмурясь, поднял на плечо теодолит, Мурад и Иван Акимович взяли рейки.

— Давайте на бархан. Я сейчас приду,— сказал Костя.

Мы втроем сели в густой тени грузовика. Калугин вынул из футляра планшет аэрофотосъемки. Квадратный картон был похож на страницу из огромного астрономи-

ческого атласа. Это был сфотографированный с самолета район развеваемых песков у колодца Капланли.

От барханного массива тянулась проведенная карандашом красная линия будущего геодезического хода. Она уходила в «сотовые ячейки» бугристых песков, оканчиваясь у колодца Капланли. Где-то среди этих сот нам предстояло выявить и обследовать очаги развевания песка.

— Все ясно,— сказал Калугин,— тяните ход, Костя, мы пойдем за вами.

* * *

Жара шла на убыль. Горячий, ослепительно белый солнечный свет заметно ослабел, сделался желтоватым. Пустыня стала пятнистой от теней. Тени падали от всего, что только возвышалось над землей.

Мы взяли гербарные папки и по свежему следу геодезистов двинулись к барханному бугру. Я взглянул на его гребень. На самой вершине виднелась склоненная над теодолитом длинная фигура Кости. Глядя в окуляр, Костя махнул вправо, потом влево, наконец прямо перед собой. Это значило:

«Стоп! Так стоять!»

Мы подошли к подножию; Калугин вынул из полевой сумки эклиметр, похожий на карманный фонарик, навел на гребень, прищурясь, тихо зашевелил губами — вычислял в уме крутизну склона.

— Тридцать три градуса, сейчас почувствуем, что это такое...

Началось восхождение. Ноги по колено увязали в сухом горячем песке. Податливый песок не держался, полз вниз. Мы переводили дыхание и снова месили сапогами зыбкий сыпучий склон. Пот слепил глаза, казалось, он льется по лицу сплошным потоком.

Наконец-то гребень... Я огляделся: кругом ни травинки.

С гребня бархана сбегала извилистая цепочка следов. Вдоль нее на редких, насыпанных геодезистами песчаных холмиках белели колышки геодезических пикетов, расставленных через каждые двести метров. К этим пикетам мы будем «привязывать» свои описания.

Десятиметровая вершина бархана переходила в отвесный склон, спускавшийся к колодцу Капланли,— он дал

название всему району. Серая бетонная труба — сруб колодца — невысоко поднималась над землей. На срубе лежало кожаное ведро, привязанное к вороту. Рядом длинное, сбитое из досок корыто,— из него пьют овцы. Сейчас возле колодца было пусто. На голом песке виднелись сотни ямок — следы овечьих копыт. Это было тырло — место отдыха овечьей отары во время водопоя. От ровной площадки начинался подъем на противоположный склон — такой же крутой, сыпучий и голый, как и тот, по которому мы только что взобрались.

Что же здесь делать геоботанику? В растерянности я обернулся к Калугину. Он стоял невдалеке, в крошечной ложбине.

Я подошел ближе. На дне ложбинки косо, словно уклоняясь от удара, торчало деревце с темно-желтой корой: песчаная акация — сюзен. Сюзен — растение-пионер: он первым поселяется на барханах. Листва с деревца опала. Голые колючие ветки жалко тянулись кверху. Я нагнул ветку. Она сломалась с сухим треском — сюзен был мертв.

— Барханный массив Капланли безжизнен,— сказал я,— здесь не живут даже растения-пионеры.

— Может, так, а может, и не так.— Калугин наклонился, осторожно высвободил из-под песка выбившийся наружу светло-коричневый корень сюзена, держась за него, медленно пошел к краю ложбинки. Здесь корень снова ушел вглубь.

Мы перебрались через песчаную перемычку и остановились. Перед нами зеленел крошечный оазис. Барханные гребни укрыли ложбинку со всех сторон, создав затишье, и здесь буйно развилась жизнь — целая рощица молодых стройных сюзенов. Серебристые листочки на колючих ветках собраны в негустые, сидящие косо кроны. Это были деревья-бойцы. Казалось, они только что вышли из жестокой драки с ветрами и еще не успели поправить свои сбитые набок шапки.

Я подошел к крайнему деревцу. Мелкие продолговатые листочки, попарно сидевшие на ветках, были покрыты как бы серебристой шерсткой. Я срезал ветку, положил в гербарный лист.

Подошел Калугин.

— Ну, как, убедились, что барханы не мертвы? То-то же, не спорьте со старшими.

Я промолчал. Зачем так говорнть? И без того нзвестно, что пустыня для новнчка — белое пятно; надо лн это еще подчеркивать?

Я снльно волновался. Сейчас впервые опишу пустынную растнтельность. Розовая тетрадка геоботанического дневника была совсем новенькая, свежая. На первой странице я отметнл: «Опнсанне № 1. Каракумы. Крупные барханные пескн возле колодца Капланлн».

Потом записал латннские названня обитателей барханов.

Это было легко — видов всего два: сюзен да крупный злак селин.

Работа была окончена.

— Дайте-ка сюда,— Калугнн протянул руку за дневнином, прочел описанне.— Ну что же, экзамен на пустынипроходца вами выдержан. Все в порядке. Старайтесь, юноша! Старайтесь!

Я взял у него журнал. Странно! Неужелн же Калугнн полагал, что имеет дело с несмышленышем в геоботаннке? И потом этот менторскнй тон!.. Так каждый в отряде сочтет себя вправе учнть меня только потому, что я поздно прнехал.

Итак, кажется, мои опасення сбываются... Первый же полевнк относится ко мне свысока, беспрестанно поучает, подшучнвает, посмеивается. Характерно ли это только для Калугнна нлн вообще таков стнль обращення с новнчками в отряде? Если верно последнее, как же будет разговарнвать сам Курбатов — непосредственный начальнк, полевнк со стажем? Небось только в тоне прнказов, корректного пренебреження. Не в меру строгне начальникн любят нзображать из себя этаких суровых фронтовых отцов-командиров: с первого же дня знакомства на «ты» н по фамнлии, даже без «товарнща». Хорошо работаешь, молча кивнет — так, мол, и положено, за что ж хвалить? А чуть поскользнулся, оплошал — официальный тон: «вы» н «товарнщ» перед фамнлней; только что не скажет — «стать по команде «смирно». Но по лицу вндно: ах, как хочется скомандовать! — да нельзя, всетаки экспедицня — не рота. Это в лучшем случае, а в худшем, когда не в духе, нли от высшего начальства попало, тут берегись — н заорет н некнх предков в первом поколеннн помянет. И вот прн этом боже упасн выказать слабость, смнрение — сразу оседлает начальннчек. Необ-

ходимо с ходу дать отпор и даже с неким упреждением, с некой лихвой, с добавкой. Не повредит! Дескать, поберегитесь, уважаемый, не то наколетесь.

Еж при неблагоприятной жизненной ситуации сворачивается в колючий клубок и ждет. Дикобраз — кстати, обитатель Каракумов,— тот куда решительнее: бросает в противника свои иглы. Так вот, мне более по душе тактика дикобраза. Она более эффективна.

III

Геодезический ход, отмеченный саксауловыми ветками, то взбирался на гребень, то сбегал в низины. Кое-где из-за желтых барханных цепей выглядывали серебристые верхушки сюзенов. Маленькие форпосты жизни были разбросаны по всему массиву подвижных песков. Но вот острые гребни вершин стали сглаживаться, холмы словно осели, сделались ниже, приземистее. Вытянутые овальные понижения между цепями округлились, стали похожими на замкнутые котловины.

Мы вышли на стык барханного скопления Капланли с громадным массивом бугристых песков.

Ландшафт и растительность менялись прямо на глазах. К высоким буграм примыкали глубокие котловины. Их склоны покрывал зеленый ковер песчаной осоки — илака. На его изумрудном фоне тусклой сероватой зеленью выделялись знаменитые «древа пустыни» — белые саксаулы. После желтых барханов неожиданное обилие зелени радовало глаз, казалось необычным в летней пустыне.

Спускаясь в котловину, я волновался: сейчас увижу новые растения, знакомые только по книгам, по гербарию. Придется описывать не маленькую, бедную ложбинку с тройкой сюзенов и пятком селинов, а котловину со склонами. Растительность там куда богаче.

— Танцуйте от печки,— сказал Калугин,— с котловины начинайте. Потом лезьте на склоны. Посмотрим, удержитесь или нет.

Опять шпилька... Но я решил пока не обращать внимания.

Итак, надо выбрать площадку.

Я обошел котловину. На сплошном зеленом фоне илака кое-где серели засохшие кусты кандымов. Илак

задушил пробравшиеся сюда кустарники. Зеленые стебельки его росли почти вплотную.

Я уложил в гербарную папку илак, занялся склонами.

На голой, песчаной вершине бугра стояли три искривленных белых саксаула. Казалось, кто-то пытался завязать их узлом, но потом раздумал, бросил. Похожие на метлы, жесткие серо-зеленые побеги тяжело свисали вниз. Пропитанные горько-соленым соком, членистые веточки были грузны и не трепетали на ветру, как листья наших северных деревьев. «Древа пустыни» отбрасывали жидкую прозрачную тень. Во всем облике их было что-то очень древнее, суровое.

Я пересек котловину, стал описывать склоны. Здесь было мало илака, но много селинов, кандымов, эфедр.

Все увиденное занес в дневник, потом построил кривую убывания илака на отдельных склонах. Это было уже сверх программы.

Я увлекся, не заметил, как из-за бугра вышел Калугин.

— Готово? Поздравляю!

Он взял мою тетрадку.

— Сейчас сравним с моими записями, проверим, много ли напутали.

Я не выдержал:

— Обязательно должен напутать?

— А как же! На то вы и неофит, делаете первые шаги.

Я пристально смотрел на Калугина и с радостью видел, как насмешливая улыбка медленно сползает с лица, заменяется новым выражением. Мой учитель был явно смущен.

— Постойте! А что это за кривая? Какая-то проекция... Не понятно...

«Ага! Вот она, сладкая минута реванша!» Я подчеркнуто спокойно сказал:

— Я подсчитал количество илака на склонах, расположил по кривой, начертил проекцию. Это запрещено?

Он пожал плечами:

— Нет, почему же... Только для меня это новость... Никогда не обращал внимания на закономерности в распространении илака. Растет — и хорошо. А вы вот заметили... да еще установили сходство и различие в растительности склонов. Что ж, первое маленькое открытие.

— Значит, неофит на сей раз не напутал?

— Еще успеете. У вас все впереди.

Последнее слово опять осталось за Калугиным, ненужное обидное слово...

Длинный летний день шел на убыль. Тени от саксаулов сгустились, упали на склоны бугров. В серо-сизой «листве» саксаульные сойки уже пробовали голоса. Жара спала, можно петь.

Мы вышли на геодезический ход и вдруг в стороне, в котловине заметили темный верх кибитки.

Невдалеке от входа горел костер. Возле огня сидел древний старик в темно-красном халате, в вышитой тюбетейке. Редкая седая борода росла от подбородка. Волосы на щеках, вокруг рта были по старинной моде тщательно выщипаны.

Старик обернулся на шорох шагов.

— Салам! — сказал Калугин.

— Здравствуй, товарищ! — по-русски ответил старик.

Из кибитки выглянуло несколько голов. Старухи, женщины, дети с любопытством разглядывали нас.

С большой вязанкой саксауловых веток подошел высокий крепкий мужчина. В черных усах пробивалась редкая седина. Это был шестидесятилетний Кара Черкезов, сын сидевшего у костра главы семьи Черкеза Ниязова. Кара неплохо говорил по-русски. Мы узнали, что его отцу уже девяносто пять лет. Только в прошлом году Черкез-ата ушел на покой и поселился у старшего сына — колхозного бригадира. Семилетним мальчиком Черкез стал пастухом, пас в песках овец и верблюдов. Больше полувека работал он на баев — вырос, женился, стал отцом — и все оставался тем же, кем был в семь лет,— байским батраком.

Услыхав свое имя, старик оживился, указывая на нас сыну, заговорил по-туркменски. Кара стал переводить: его отец знал лишь несколько русских слов.

Старик говорил, что за полвека у него было три хозяина: Непес-хан, потом его сын, потом внук. Когда Черкез впервые выгнал в пески овец, Непес-хан был уже стар и вскоре умер. Его сын, Рухи, умножил отцовские стада, но недолго радовался своему богатству — умер. А вот внуку Мамеду пришлось, бросив богатство, бежать за Копет-Даг: в Туркмению пришла советская власть.

Старик обернулся, что-то коротко приказал домашним. К костру подошла пожилая женщина в красном

платье до пят, набрала сковородку углей — поставить самовар.

Кара заговорил о своей семье. Он сам давно уже дед. Старший сын, Берды Караев,— председатель колхоза. А внук, Наур Бердыев,— студент, учится в Ашхабаде. Недавно приехал погостить к деду и прадеду. Наур изучает травы. Скоро вернется.

Солнце зашло. Громадное багровое зарево взметнулось было до самого зенита, но стало быстро гаснуть. Показались звезды. В пустыне зори коротки. На западе низко-низко над горизонтом проступил узкий, молодой месяц. Своей выпуклой стороной он был по-южному обращен вниз и напоминал не серп, а серебристую крутобокую ладью, плывущую в небе.

Из-за бугра ударил яркий свет фар. Подошел экспедиционный грузовик. Басар заглушил мотор, подсел к костру, по-туркменски заговорил с хозяевами.

Закипел самовар. Женщины разостлали перед костром небольшую белую скатерть, расставили пиалы. Появился фаянсовый чайник, мелко наколотый рафинад, поджаренные на углях лепешки.

Началось неторопливое пустынное чаепитие. Крепкий коричнево-красный чай наливали до половины пиалы, пили вприкуску, очень медленно, потом доливали опять.

Послышался смех, голоса. Костя со своими помощниками подошел к костру. Вместе с ними был высокий, похожий на деда двадцатилетний Наур Бердыев. Он с радостным удивлением взглянул на гербарные папки.

— Ботаники? Откуда?

Калугин рассказал о задании, спросил, не попадались ли развеваемые пески.

— В радиусе пяти километров пески надежно закреплены илаком, кустарниками,— сказал Наур,— а дальше я еще не успел побывать.

Правнук старого Черкеза учился на четвертом курсе Туркменского университета, приехал в пески повидаться с родными, собрать гербарный материал для дипломной работы о размножении илака.

Наур вынес из кибитки ботанические сетки с засушенными растениями. В гербарных листах лежали этикетки с названиями вида, датой, обозначением места сбора.

При свете костра стали рассматривать растения. Черкез придвинулся ближе. Правнук передавал ему гербар-

ные листы. Легкие сухие пальцы старика слегка прикасались к листьям, стеблям, и Черкез по-туркменски называл растение.

Я отошел от костра, лег на остывший песок. Звезды сияли с неведомой на севере, пронзительной яркостью. Казалось, если присмотреться, увидишь слабые «звездные» тени от саксаулов на голых, тускло белеющих вершинах бугров.

Угли костра уже подернулись пеплом, еле мерцали в темноте. Хозяева ушли спать.

— Пора и нам ложиться,— сказал Калугин.

Из грузовика достали спальные мешки, похожие на огромные коконы, залезли в полотняные чехлы — решили спать на воле. Костя и его рабочие уже давно уснули в машине.

Итак, впервые в жизни я проведу ночь в песках. Подумалось: не посетят ли нас незваные гости, выползающие ночью,— фаланги, скорпионы, змеи?

Я поделился своими опасениями с Калугиным. Он вздохнул.

— А кто их знает... В песках, вообще в природе, зверье в отношении человека придерживается правила: «Не трогай меня, я тебя не трону». Скорпион, если его не придавить, никогда вас не укусит.

— А зачем же мне его давить?

— Это вы сейчас так говорите, а если уснете и он забредет к вам в мешок?

Я молчал. Может, пока не поздно, устроиться спать в кибитке или, на худой конец, в машине?

— И со змеями всяко бывает,— уже сонным голосом продолжал Калугин,— хорошо, если «стрелка» заползет, ок-илян. Это безобидная тварь. Укусит — ранка с полчаса пощемит, ну, потошнит вас слегка, голова закружится, вот и все. Чепуха. Вполне можно перенести.

— Лучше бы не переносить,— сказал я.

— Великая мысль... Но в песках водятся не только ок-иляны. Если ночью услышите свистящий шорох, вскакивайте, будите меня — я крепко сплю.

— Что за шорох?

— Его издает ползущая эфа: жесткие чешуйки тела трутся друг о дружку. Эфа — ночная змея, и очень злая: кусает всех и каждого ни за что ни про что. Если сразу не принять мер — конец, умрете в адских муках.

Калугин громко зевнул.

— А я, как на грех, даже марганцовку забыл. Видно, старость приближается, память сдает...— Он забормотал что-то невнятное уже сквозь сон.

Я понял: мне здесь не уснуть.

— Сергей Петрович, не перейти ли нам в кузов?

В ответ раздался храп — да какой! — многоголосый, с присвистом, с хрипом, с каким-то горловым бульканьем.

Я потрогал песок — он совсем остыл. Воздух тоже стал прохладным. Вставать не хотелось.

Над пустыней, над ее бескрайними песками от горизонта до горизонта сверкало, переливалось удивительное каракумское небо. Я нашел Медведицу, без труда различил знакомого еще со школы маленького Алькора — «Всадника». Он находился над яркой Мицар — средней звездой в хвосте Медведицы. По Алькору арабы в древности проверяли остроту зрения.

Звездные часы вселенной свершали свой медленный извечный ход. А эфа? Бог с ней! Неужели в такую ночь способна она укусить? Авось и у нее есть совесть!

Я проснулся на рассвете — стала зябнуть непокрытая голова, хотел натянуть простыню, но увидел: Калугин не спит.

— Подъем! Двинемся, пока не жарко. Может, успеем пораньше закончить.

Хозяева уже встали. Мы простились с ними, разбудили геодезистов, наскоро позавтракали консервами и вышли в пески.

Восток быстро светлел. Только что в синем полумраке слабо проступали темные силуэты саксаулов, и вот уже облака порозовели. Над горизонтом показалось солнце.

Костя с помощниками зашагали на восток.

Пикет — струганый колышек с номером, возле которого остановились вчера,— белел на склоне бугра. Мы сделали отметки в полевых журналах, двинулись дальше.

На восток по-прежнему тянулся массив бугристых песков, покрытых травянисто-кустарниковой растительностью. Надо было уловить его контакт с участком развеваемых песков.

Я подымался на очередной бугор, когда заметил, что Калугин отстал.

— Что там?

— Идите сюда.

Калугии стоял посередиие склона, покрытого илаком и редкими кустами селииа. От одного из кустов тяиулся иедлиииый песчаиый шлейф. Резко выделяясь иа зеленом фоие, ои врезался в заросли илака.

Калугии подиял с земли несколько сухих овечьих «орешков». Я увидел: в песке «орешков» много, оии редким слоем покрывали почти весь склои.

— Вот вам главиая беда. Пастухи почему-то облюбовали этот участок. Овцы изо дия в деиь разбивали копытцами песок, уничтожали дериииу илака. Потом включился ветер. Видите — почти все язвы выдувания возникли на севериом склоие. Летом здесь преобладают севериые ветры. Оии и обрушились иа ослабленный выпасом склои. Развеваемый песок откладывается пока иевдалеке, возле ближайшего препятствия — куста селина. Песчаиый шлейф растет, иадвигается иа илак, иа кустариики.

Кое-где шлейфы сомкиулись с голыми вершииами, образуя сплошиой желтый фои сыпучего песка. Захватив склоиы, песок хлыиул в котловииу. Узкими длиииыми потоками ои спускался вииз, заживо погребая иа своем пути зелеиую поросль илака.

Мы перебрались через перемычку западиого склоиа, и иас вдруг окружило «мертвое царство». В соседией котловиие растеиий уже не было. Только иа вершииах стояли старые саксаулы. Это были «последиие могикане». Саксаулы еще долго продержатся, но поросли ие оставят — ее заметет песком.

Спустились в котловииу. Я стал рыть шурф, чтобы узнать глубииу иаметеииого слоя. Вдруг лопата зацепилась. Я с силой поддал вверх и выбросил иаружу коричиевое кориевище. Илак был погребен на глубиие семидесяти саитиметров. Мы осмотрели кориевище. Оио было мертвым, ио еще не разложилось — катастрофа произошла иедавио.

Теперь надо было точио устаиовить площадь развеваиия, сфотографировать обархаиеииые склоиы. Но тут у края желтой котловииы я увидел зеленое пятио. Оио буквальио «кричало» иа уиылом фоне.

Подошел ближе. Что это? Откуда? На краю котловииы буйио цвела жизнь. Казалось, огромиый зеленый куст с густо, впритирку растущими ветками смеется над ветрами, иад сыпучими песками. На ветках зеленели мелкие листья, похожие на маленькие лопаточки. Я хотел

сломать ветку, но она не далась — была крепкой, колючей.

— Что там еще? — нетерпеливо окликнул меня Калугин.

— Какой-то куст, очень густой, зеленый...

— Ну и бог с ним! Это селитрянка — никчемное растение, торчит, где попало. Бросьте ее, давайте займемся делом, пока не жарко.

Пораженный участок оказался невелик — через пятьсот метров началась переходная полоса с пестрыми от песчаных шлейфов склонами. Все повторилось. С запада «заболевшие» пески от барханного массива Капланли отделяли считанные километры. Опасность, грозящая пастбищам, была явной.

Мы сели под саксаулом подвести итоги обследования. Калугин считал положение серьезным. Пески, по его мнению, были сильно «больны». Им надо дать полный покой: в пораженной зоне выпас должен быть категорически воспрещен. Но этого мало: пескам нужно «лечение». Это фитомелиорация. На буграх, в котловинах необходимо посадить растения-пескоукрепители: кумарчик, кандым, черкез. Первым взойдет однолетний кумарчик. Кустики его закрепят подвижный песок, создадут условия для слабых, неокрепших, медленно развивающихся юных кандымов и черкезов.

Пройдет время, и кусты свяжут, успокоят разбушевавшиеся сыпучие пески. А илак? С ним дело сложнее. В местах, где покров совсем исчез, возобновить его удастся не скоро. Илак осваивает голые пески медленно, трудно — за год войлок корневища продвигается всего на двадцать — тридцать сантиметров.

Калугин кивнул на обнаженные бугры.

— Разбить пески удалось за один сезон, а для полного восстановления потребуются годы.

IV

В Казанджик мы вернулись после обеда. Начальник отряда Курбатов — худощавый, невысокий, дочерна загорелый — получал на складе продукты.

— Минутку,— сказал он, когда я подошел знакомиться,— сорок две, сорок три,— Курбатов считал консервные банки.— Извините, руки грязные — банки в масле.— Он

вытер рукавом потное лицо.— Запарились мы тут вдвоем. Почти все специалисты в песках, а приказ начальства — в два дня собраться. Вы очень устали?

— Совсем не устал.

— Чудесно. Сейчас уставать некогда, начинается страдная пора. Материалы по Капланли сдали?

— Калугин понес в штаб.

— Тогда включайтесь в работу — идите получать производственный инвентарь. Список в сейфе.— Он взглянул на часы.— Ну вот, теперь Инны нет, а ключи от сейфа у нее. С такой дисциплинкой мы и в неделю не соберемся.

Курбатов снова принялся за банки.

Запыхавшись, подбежала похожая в комбинезоне на мальчика Инна Васильевна — почвовед и жена Курбатова. Не глядя на нее, начальник сухо сказал:

— Перед обедом я приказал всем специалистам ровно в три быть здесь, на складе. Сейчас полчетвертого.

— Перед обедом в отряде находился всего один специалист,— сказала Инна Васильевна.— Он не смог явиться вовремя.

— Почему?

— Стирал спецовку начальника.

Курбатовы недавно поженились. При посторонних они называли друг друга по имени-отчеству, но официальное «вы» у них никак не получалось, супруги его тщательно избегали.

— Прошу ключ от сейфа,— сказал Курбатов.

— Пожалуйста,— кротко отозвалась Инна Васильевна.— Может, нужна моя помощь?

— Нет. Надо заняться упаковкой почвенных мешочков и реактивов.

— Тогда я пойду в отряд.

Курбатов вытащил коробку «Беломора» — она оказалась пустой.

— Инна Васильевна! — крикнул он вдогонку.— Прошу захватить «Беломор», он в моем столе. Погибаю без курева.

Она обернулась.

— Это вторая пачка сегодня? Не принесу!

— Но у меня подготовка к выезду, нервная работа. В песках я вообще брошу курить — пусть легкие отдохнут.

— Ладно! Там посмотрим,— Инна Васильевна скрылась за углом.

Курбатовой было двадцать три года, но она казалась гораздо моложе. На улице старики туркмены окликали ее «кыз» — девочка.

Сборы длились допоздна. На рассвете отрядный грузовик и штабная полуторка, приданная отряду для переезда, груженные инструментами, рюкзаками, чемоданами, спальными мешками, стояли наготове. Курбатов запер на замок дверь штаба, в последний раз оглядел машины.

— Все на местах?

— Все! — хором ответили мы.

Начальник сел в кабину грузовика.

— Трогай, Басар.

Отряд номер два двинулся в путь.

Сидя в кузове, я думал о первых днях работы. Кажется, с начальством получилось не так уж плохо. Впрочем, окончательные выводы, пожалуй, делать преждевременно. Но пока чета Курбатовых вела себя вполне корректно: не выделяют среди других, не тычут в нос «неофита», как Калугин. Правда, он гораздо старше. Пожалуй, эта колючесть уже от возраста. А Курбатовым, может, просто пока случай не подвернулся. В конце концов они увидят и поймут, что новый геоботаник, первогодок, неофит и так далее все же несколько способнее их обоих. Больше ему отпущено природой. И никуда от этого не денешься. А придет это понимание — кто знает, какие чувства пробудит оно в душе начальника и его супруги? Всегда неприятно сознавать, что некто умнее, одареннее тебя, в особенности если сей некто — твой подчиненный. Ведь по идее начальник должен быть выше подчиненного. А тут вдруг выходит наоборот... Нет, нет, надо подождать с выводами. А пока будем настороже. Это никогда не помешает — сдержанность, корректность, скрытность. С какой стороны ни подойди — придраться не к чему.

Через заднее оконце в кабине я увидел, как Басар, переключая скорости, нетерпеливо поглядывает на спидометр.

— Такыров дожидается,— усмехнулся сидевший рядом со мной в кузове Костя.— Вам не приходилось по ним ездить? Сейчас прокатитесь.

Ухабистая дорога оборвалась совершенно неожидан-

но — она «влилась» в такыр и исчезла. Мы выехали на огромную плоскую глинистую равнину, уходящую вдаль.

— Живем, Басар? — перегнувшись к кабине, крикнул Костя.

Грузовик с места набрал скорость. Колеса его не оставляли следа. Мы ехали словно по асфальту. Совершенно голый такыр тянулся на километры.

Он так же сразу окончился, как и возник,— машины сбавили ход, переваливаясь пошли по песку. Вокруг снова был уже знакомый ландшафт — бугристо-котловинные пески, простиравшиеся до самого горизонта. Среди этой унылой природы нам предстояло жить и работать.

Мы остановились в большой котловине, невдалеке от колодца Дехча. Здесь еще весной был разбит лагерь, теперь после июльской жары отряд вернулся на старое, обжитое место. Нашей задачей было обследование района, составление специальных геоботанических, почвенных и мелиоративных карт, выявление массивов подвижного песка среди пастбищ.

Начались пустынные будни.

...Первым в отряде просыпается повар Илюша Чараев. Накануне он завел будильник. Третий час утра. Скоро рассвет, а пока восток темен и мглист. Ветер утих с полуночи. Поспать бы... Но время не ждет. Илюша разжигает плиту, чистит картошку.

Через час завтрак готов. На востоке слабо проступает светлая полоса. Она становится зеленоватой, розовой, малиновой. Чараев подходит к обломку рельса, висящему возле кухни, ударяет по нему топориком:

— Подъем!

Лагерь оживает. Из палаток, потягиваясь, выходят люди. Начинается умывание возле челеков.

Через полчаса завтрак окончен. Оборудование со вчерашнего дня лежит в кузове.

— Басар, готов? — Курбатов надевает через плечо полевую сумку.— По коням!

Мы садимся в машину. Трубит сигнал, прощально машет кепкой повар — он на весь день остается один в лагере.

— Илюша, гороховый суп свари! — кричит из кузова Костя.

Все светлое время мы проводим в песках. Дорог каждый погожий день — осень не за горами. С ней придут

циклоны, задуют сильные ветры. Поэтому решено «жать на всю железку» — работать без выходных. Выходной день — ветреный день, но пока что в песках тихо, солнечно, жарко.

Дни неотличимо похожи — они совпадают в часах, кажется, даже в минутах. Ровно в шесть мы с Калугиным подходим к пикету геодезического хода, где зашабашили накануне, когда зашло солнце и стало невозможно отличить эфедру от кандыма.

Я раскрываю дневник на чистой странице, проставляю номер очередного описания, указываю виды кустарников первого и второго яруса, затем идут травянистые растения. Сообщество, рост, стадия биологического развития — все то же, что вчера, позавчера, третьего дня...

Гербарий однообразен — я беру почти одни и те же растения. Только чтобы подтвердить описания в дневнике. Редко-редко попадается что-нибудь неизвестное. Эти растения вечером определяются по «флоре».

Нет, не таким, совсем не таким представлял я себе изыскания в пустыне! Где поиски, находки, новые открытия? Для них нет ни места, ни времени. Прошла всего неделя, а мне показалось, что у колодца Дехча мы живем добрый месяц.

Вечером Курбатов на пятиминутке вычисляет вчерашнюю выработку: выполнено или нет дневное задание. Площадь определена наперед, словно мы каждый день в песках и всегда светит солнце, всегда дует только несильный, приятный освежающий ветер.

Я спросил начальника:

— А если разразится буря или землетрясение поглотит бугристо-котловинные пески? Туркмения — район землетрясений. Как же мы тогда выполним задание?

Курбатов улыбнулся.

— В песках землетрясения не страшны. Здесь не город. Да и в городе, если заблаговременно выйти из дома, тоже не страшно. Это только в священном писании земля поглощает грешные города. А нас за что поглощать? Скромные честные труженики.

Он засмеялся. Крупные зубы на дочерна загорелом лице белеют резко, как у негра.

Мы ничего не читаем, редко слушаем радио — многочасовая работа в песках, камералка после поля забирают все силы, все время. Вернувшись в лагерь, мы разбреда-

емся по своим палаткам. Илюша Чараев разносит «обедо-ужин». Едим, лежа на раскладушках,— от усталости трудно подняться. Отдохнув с полчаса, зажигаем «летучие мыши» и принимаемся за обработку материалов. Я раскладываю по гербарным сеткам собранные растения, Инна Васильевна возится с почвенными образцами, Калугин переносит на планшет закартированные участки. Курбатов с Костей чертят на завтра геодезические ходы и боковые ответвления от них — визиры.

Проходит час, другой, в палатках гаснут огни, лагерь погружается в сон.

Однообразие пустынного быта сильно угнетало меня. Этак вернешься из Каракумов с пустыми руками, не наберется материала даже для краткой заметки. Зачем было сюда ехать? Останься я в Москве — мог бы кое-что обработать из старых казахстанских или белорусских наблюдений. Где же выход? Если моих товарищей вполне устраивают тусклые «труды и дни» — что же, дело хозяйское. Но я способен на большее.

Я решил работать в двух планах — вести обычные стандартные изыскания и пытливо, как натуралист, исследовать пустыню, искать в ней новое, неизвестное.

С Калугиным мы теперь разговаривали мало. Запас его знаний о пустыне, кажется, был исчерпан. Раз или два он пытался, как в первые дни, просвещать «неофита», объяснял что-то о пустынном рельефе, но я, не дослушав, переводил разговор на другую тему.

Менялись отработанные планшеты, а ландшафт оставался тот же, изредка среди здоровых спокойных песков попадались цепочки невысоких барханов. Они лежали вдали от колодцев и были неопасны. Ложбинки с сюзенами, встречавшиеся здесь, напоминали ту, самую первую ложбинку, у колодца Капланли. Эти ложбинки особенно привлекали меня,— жизнь в них подвергалась постоянным изменениям. Там не было покоя, неколебимой устойчивости. Там всегда шла борьба, всегда ветер и песок подстерегали сюзены и селины, всегда стремились напасть на них, засыпать, заглушить, убить. Но сюзены и селины не думали об опасности,— они зеленели, цвели, плодоносили, давали жизнь потомству; если случалась беда — встречали ее смело, лицом к лицу, боролись, гибли, иногда побеждали.

Каждая встреча с растениями-пионерами была для

меня маленьким праздником. Я подолгу задерживался около них, пересчитывал деревья и кустарники, фотографировал. Калугин терпеливо ждал меня, лежа в тени бархана. Я заканчивал обследование, он подымался, и мы шли дальше.

...Это произошло в конце второй недели нашей работы возле колодца Дехча. Накануне начали новый планшет. Как всегда, мы с Калугиным через лупу изучали его сантиметр за сантиметром. Планшет не предвещал ничего особенного. От рамки до рамки тянулись те же «соты» песчаных бугров, они перемежались затемнениями — «кратерами». Так на фотографии всегда выходят округлые котловины между цепями бугров. Впереди — знакомое однообразие.

В шесть утра мы выехали в пески, вышли на геодезический ход. На третьем пикете я, опередив Калугина, собирался перейти в соседнюю котловину. Описывать ее было незачем: новый участок, конечно, повторит предыдущий. По северному склону я сошел на дно котловины и остановился пораженный. Передо мной лежала ни на что не похожая котловина, необычная котловина, странная котловина! Здесь были представлены разные типы песчаного рельефа, разные образцы растительности. Сбоку косо вклинивался высокий серо-желтый бархан, голый, мертвый, без куста, без травинки. Бархан был молодой, наметенный недавно. И здесь же — на другой стороне котловины — располагался бархан старый. Он уже осел, стал ниже, как бы смирнее, покладистее. Острые грани почти сгладились.

С одной стороны бархана было углубление. В нем приютились сюзен и два селина, ярко-зеленые, крепкие, сильные. Было ясно: их теперь уже не замести пескам — не дадутся! Середина котловины была обычной — с илаком, с кандымом, с саксаулами на вершине склона.

Природа решила поозоровать, отклониться от стандарта, и вот на маленькой площади столкнулись противоположные силы: разрушительная сила ветра и подвижных песков противостояла хрупкой, молодой, воинственной силе жизни пионеров, и силе спокойной, уверенной в себе, силе, хранящей незыблемость своих форм — многолетних, крепких, устойчивых бугристых песков.

Прошли первые минуты радостного удивления. Надо было действовать. Увиденное являло собой частый слу-

чай, ложбинка никак не ложилась в масштаб, я не мог ее отметить на планшете даже точкой, но и не мог пройти мимо: на площадке в несколько десятков квадратных метров были соединены впритык, вплотную различные формы рельефа и растительного покрова. Кажется, природе тоже надоело однообразие, размеренная монотонность, она восставала против ею же установленных закономерностей, и я с радостью наблюдал этот бунт.

Из-за бугра послышался голос Калугина:

— Вы скоро закруглитесь?

— Нет, не скоро,— отчетливо и громко ответил я.

Работы было много — все описать, все изобразить на схеме, все сфотографировать. Объект сразу же не захотел уложиться в рамки дневника, сломал их. Я перевернул страничку, стал писать поперек, перечеркивая строгие графы стандартного обследования. Я забыл о Калугине, о почвоведах, о грузовике, который должен ждать нас в определенное время. Я с жадностью набросился на необычное и не хотел расставаться с ним.

Вернул меня к повседневной действительности негромкий разговор за буграми. Были ясно различимы голос Инны Васильевны, глуховатый басок Калугина, быстрая туркменская речь рабочих. Неужели их нагнали почвоведы? Сколько же времени я занимаюсь котловиной? Взглянул на часы. Начало первого. Я здесь около двух часов! Надо идти...

Калугин, Инна Васильевна, рабочие сидели на солнцепеке, о чем-то разговаривали. Увидев меня, Калугин спокойно сказал:

— А вот и наш геоботаник.— Он поднялся, за ним встали почвоведы.

— Что-нибудь интересное нашли? — спросила Инна Васильевна.

— Ничего особенного,— сухо сказал я,— так, любопытная котловинка. Впрочем, для изысканий интереса не представляет — очень мала, в масштаб не ляжет.

Инна Васильевна смущенно молчала.

— Можно идти дальше? — вежливо осведомился Калугин.

— Да,— коротко сказал я.

Хорошо, что обошлось без трений. Видно, мои товарищи поняли — я задержался отнюдь не по пустякам.

Мы с Калугиным продолжали работу. Я искоса по-

глядывал на мелиоратора, не хмурится ли,— ведь дневной график безнадежно сломан, завтра придется наверстывать упущенное. Может, рассказать ему о котловинке? А если в ответ услышу: «Вон как? Н-да, любопытно»? И мое великолепное настроение будет безнадежно испорчено. Нет, лучше помолчать. Мысленно я уже писал очерк о своем открытии. Надо так и назвать «Чудесная котловинка». Звучит отлично!

* * *

После захода солнца Курбатов подъехал к условленному месту, где мы должны были его ждать, не нашел нас и с зажженными фарами двинулся навстречу. Из кабины послышался его раздраженный голос:

— Почему задержались?

— У меня живот разболелся,— сказала Нина Васильевна,— лежала, ждала, пока пройдет.

Начальник вскипел:

— Брось валять дурака, я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю.

Сели в кузов, Нина Васильевна устроилась в кабине. Я усмехнулся. Все ясно: сейчас она расскажет мужу о вынужденной задержке, не хотела говорить при рабочих. Значит, надо ждать начальнической взбучки. Ничего! За словом в карман не полезу, сразу поставлю на свое место. В отряде не обязательно все должны быть роботами.

V

В лагерь вернулись поздно вечером. Я ждал, что после ужина Курбатов вызовет меня для объяснений. Окончив малую камералку, лег на раскладушку, стал мысленно готовиться к встрече. Прошло полчаса, час. Я вышел из палатки. Везде уже погасли огни. Кажется, взбучка не состоится. Можно идти спать.

Ночью сквозь сон я слышал, как хлопает брезент палатки,— поднялся сильный ветер. Утром мы проснулись, как всегда, на заре и увидели: вершины ближних бугров курятся, дальние вообще не видны. Циклон! На севере это — дождь, в пустыне — только ветер. Два-три дня, а

то и целую неделю желто-серая мгла будет висеть в воздухе.

Все спрятались в палатках.

По палатке не переставая, как мелкий дождь, стучит сухой песок, проникает внутрь. На брезентовом полу уже намело тонкий серый слой. Я взял «Флору Туркмении». На обложке сразу же отпечатались следы пальцев. Вскоре песок был уже везде — в гербарии, в супе, в карманах, на простыне.

Весь день я писал о вчерашней котловине. К вечеру очерк был готов. Я прочел его вслух. Получилось совсем неплохо. Графически-точный, суховатый рисунок пустыни — палящее солнце, оцепенелые от зноя саксаулы на вершинах бугров. Пейзаж вышел просто здорово. Затем шло описание барханов, бугристых песков и обитающих на них растений с латинскими названиями в скобках. И наконец, красочное изображение «кавардака» — разные формы рельефа и разные растительные группировки перемешаны на крошечной, в несколько десятков квадратных метров площадке. Очерк чем-то напоминал работы писателей-натуралистов — Обручева, Ферсмана.

За весь день ко мне дважды наведывался Илюша — принес завтрак, потом обед. От ужина я отказался, выпил только чаю. Творческая работа всегда сильно выматывает. Об этом превосходно сказал Маяковский: чувствуешь себя словно выдоенным. Очерк, конечно, не стихи, но и не ведомственная записка о мерах по укреплению подвижных песков. Жанры эти несколько отличаются...

Я зажег «летучую мышь», хотелось еще раз внимательно прочесть «Чудесную котловинку». И тут о брезент палатки кто-то поскреб ногтем:

— Можно?

Курбатов! Ясно: неприятный разговор отложен на сегодня. Что ж, побеседуем... Начальник протиснулся между полуотстегнутыми полостями, сел на раскладушку. Я поднялся.

— Лежите, лежите.

— Не положено: во-первых, вы мой гость, во-вторых, начальник.

Он засмеялся. Я выжидающе смотрел на него, готовый к отпору. Курбатов потупился.

— Тут вот какое дело, не совсем обычное...

«Господи, и чего петлять? Говорил бы сразу — ведь формально он прав, а я виноват».

— Слушаю, товарищ начальник.

Смущенно посмеиваясь, Курбатов сказал, что Костя, принимая местное радио, поймал объявление: завтра, в воскресенье, в Казанджике устраиваются верблюжьи скачки; рабочие говорят: это старинная туркменская забава, посмотреть на нее очень любопытно. Калугин, Инна Васильевна, Костя, все рабочие умоляют — давайте съездим. Чем в лагере без дела сидеть, посмотрим редкое зрелище, конечно, если ветер немного утихнет. После скачек — сразу же обратно, в пески.

— Что поделаешь? Всем миром просят. Пришлось согласиться,— глас народа... Вы как на это смотрите?

Предложение было неожиданным: уезжать с изысканий на скачки...

— А если узнают в штабе?

Курбатов беззаботно усмехнулся.

— Откуда? Начальства там наверняка не будет. Кто из полевиков увидит — не скажет: свой брат, зачем кляузничать?

— Не возражаю.

Курбатов встал с раскладушки, но задержался у выхода. Я понял: хочет сказать о вчерашнем — и не решается. Наконец набрался смелости.

— Еще два слова. Правда, циклон смял график, но — на будущее. Если вам зачем-нибудь надо остановиться во время изысканий, что-то более основательно в научном плане обследовать, скажите, пожалуйста, Калугину,— он две-три площадки сам опишет. Весной он работал как геоботаник, неплохо получалось. А вы потом посмотрите записи, внесете коррективы.

Мне стало жаль Курбатова, но распускаться нельзя — он сам устанавливает форму наших отношений. И форма эта меня вполне устраивает. Надо ее закрепить. Я сказал подчеркнуто официально:

— Слушаю, товарищ начальник. На будущее обязательно учту ваше указание.

Курбатов искоса взглянул на меня, не обиделся ли. Я ответил вежливой улыбкой.

— Спокойной ночи, Юрий Иванович.

— Всего доброго, товарищ начальник!

VI

На другой день побудка звучала долго, звонко,— Илюша бил в рельсу по-особенному. Все быстрее обычного позавтракали, сели в грузовик.

Циклон шел на убыль, ветер немного утих, даль прояснялась, но работать в песках было нельзя.

В последнюю минуту Калугин вдруг отказался ехать.

— Рука на погоду болит. Самое лучшее сейчас полежать. Я отдохну и лагерь покараулю, а Илюша пусть едет.

Илья от радости растерялся — стоял на месте, хлопал глазами. Еще бы! Он в одиночку вел унылое оседлое существование в песках — был поваром и сторожем лагеря.

— Счастливо! — Калугин скрылся в палатке.

— Илья, чего стоишь? — крикнул из кузова Костя.— Тебя все ждут.

Повар сорвал с себя халат, бросил на челек, полез в кузов.

— Все сели? — раздалось из кабины. В голосе Курбатова послышалось явное смущение.

— Все! — весело ответил кузов.

— Трогай, Басар!

В Казанджике, не заезжая в штаб отряда, мы направились прямо на место скачек. Мурад, стоя у кабины, показывал дорогу.

На выгоне собралась порядочная толпа. Зрители окружили «скакунов». Верблюды, подогнув колени, лежали на голой твердой земле. Не верилось, что эти неуклюжие животные будут скакать.

Но вот распорядитель с красным шарфом через плечо дал знак. Верблюды тяжело поднялись, гуськом пошли к стартовой площадке, отмеченной мелом. По условиям соревнования надо было сделать большой круг в два километра.

Я стал рассматривать наездников. На двух верблюдах сидели седобородые старики аксакалы в огромных мохнатых папахах. Молчаливые, невозмутимо спокойные, они высились над пестрой, веселой толпой, то и дело отпускавшей острые шутки по адресу горбатых «скакунов».

На третьем верблюде, молодом, густо поросшем светло-коричневой шерстью, сидел парень лет двадцати. Вероятно, он приехал из глухого кишлака; по старинному обычаю племени йомудов с головы парня свисали длинные, тонкие пряди волос, похожие на «оселедцы» репинских запорожцев. Пряди начинались от макушки и обвивали уши. В руках парень держал дорогую ковровую тюбетейку, то надевал ее, то снимал — волновался.

Видно было, что аксакалы не сомневались в успехе. Мурад сказал нам, что каждый год один из почетных наездников берет приз. Обычно выигрывают по очереди.

Аксакалы, казалось, не замечали парня в тюбетейке и его верблюда, словно там, где он находился, было пустое место.

— Откуда этот парень? — спросил я Мурада.

— Из какого-то колхоза возле развалин Куртыш-баба. Совсем глухое место. Первый раз скачет.

В толпе произошло движение. Распорядитель приказал выстроиться в одну линию. Старые верблюды стали рядом, но молодой заартачился. Шумная толпа волновала его, он беспокойно вертел маленькой головой и не слушался ездока, не хотел спокойно стоять на месте.

Распорядитель несколько раз возвращал всех на исходный рубеж. Наконец по сигналу все три «скакуна» одновременно неуклюжей рысью пустились по кругу. Мерно покачиваясь, аксакалы уверенно сидели на своих огромных верблюдах. Опытные гонщики были уверены в победе, а возможно, между собой уже и решили, кому она достанется.

Они по-прежнему не замечали новичка, сразу же отставшего на три корпуса. Толпа напряженно следила за скачками. То здесь, то там болельщики выбегали на середину поля, слышались одобрительные крики, свист, смех.

Верблюды аксакалов шли крупным размашистым наметом. В этом мерном движении был сейчас тот же ритм, та же неутомимость, что и в медленном верблюжьем шаге.

До финиша оставалась половина круга. Стало ясно: победит темный, почти черный верблюд, со всадником в

белой папахе. Второй наездник явно не спешил. Верблюд его размеренно скакал по полю.

— Он в прошлом году победил,— усмехнулся Мурад,— нельзя выигрывать каждый год! Надо совесть иметь.

Мне стало скучно. В толпе я увидел Костю, Курбатова, Инну Васильевну, рабочих. Курбатов размахивал руками, что-то взволнованно говорил Косте. Голоса их относило ветром. Должно быть, они поставили на разных верблюдов. Рабочие тоже горячо спорили. Я не всех знал по именам, да и не старался узнать,— различал по внешним приметам: низкий, высокий, широкоплечий. Называл каждого «товарищ» и на «вы». Исключением были только близнецы, работавшие с нами в первый день.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство. Все смотрели вправо. Там всеми забытый, не признанный с самого начала, бешеным галопом скакал молодой верблюд. Он мчался, высоко вскинув голову, в строгом ритме — это был тяжелый верблюжий галоп, когда животное скачет, почти не сгибая ног в коленях. Расстояние между ним и двумя старыми верблюдами уменьшалось на глазах. Беспокойно оглянулся назад один аксакал, потом другой. Словно по команде, оба стали нахлестывать своих скакунов. Поздно! Молодой верблюд уже поравнялся с ними, вот он опередил их на корпус, на два, на три.

Раздались шумные рукоплескания: молодой наездник достиг финиша. Спешившись, он шел к судейской трибуне. На поводу за ним, еле передвигая ноги, плелся молодой верблюд.

Дальше следовало второе отделение — конные скачки. Но нам надо было возвращаться в лагерь. Я пошел к грузовику. Здесь, окруженные плотным кольцом любопытных, Курбатов и Костя боролись, схватив друг друга за пояса. Судьей был Мурад. Он преподавал им урок туркменской национальной борьбы. Курбатов и Костя уже вошли в раж, лица их покраснели, тяжело переступая ногами, они ходили по кругу — каждый ждал удобного момента, ошибки соперника. Вот Костя споткнулся о комок глины. Этим сразу воспользовался Курбатов. В воздухе мелькнули длинные Костины ноги. Секунда — и он лежит на земле. Хохочет победитель, хохочет побежденный, хохочут зрители.

— Теперь со мной, товарищ начальник!
— Нет, сначала со мной!

Рабочие обступили Курбатова, каждый хотел с ним бороться. Курбатов, тяжело дыша, со смехом отбивался.

— Еще чего выдумали! Усталого легко положить. В лагере поборемся.

Он стряхнул пыль со спецовки.

— Пора ехать.

Я спрятался за кузов грузовика — было стыдно за Курбатова, за его мальчишеское поведение. И это начальник отряда! Нет, видно, придется просить главного инженера перевести меня в другой отряд, где работают более серьезные, более деловые люди.

Обратная дорога оказалась очень трудной. Сокращая путь, Басар где-то свернул, и мы попали на песчаную целину. Неизвестно, когда здесь проходили машины. Мотор работал с натужным ревом. Рев этот временами переходил почти в стон. Казалось, машина живая, она жалуется, просит о помощи. Задние колеса буксовали, крутились на холостом ходу.

— Аврал! На выход! — крикнул из кабины Курбатов.

Все выскочили из кузова.

— Шалманы к бою! — снова крикнул начальник.

Рабочие вытащили из-под машины лежавшие на осях два запасных бревна, бросили их под скаты. Почуяв опору, грузовик с довольным рокотом пошел вперед. Курбатов и Мурад выхватывали из-под вращающихся колес шалманы, снова бросали их под колеса. Машина медленно катилась по движущемуся настилу.

Преодолев барханы, грузовик остановился. Басар поднял капот. В радиаторе кипела вода.

— Пускай отдохнет,— сказал шофер.

— «Отдохнет»! — передразнил Курбатов.— Хотел проехать покороче, вон куда завез! Водитель ошибся, а машина отдувайся. До лагеря хватит горючего?

— Должно хватить,— неуверенно сказал Басар.— Вообще мало горючего. Надо было заправиться в Казанджике...

— Ага! — подхватил Курбатов.— Это, значит, приехать в штаб экспедиции: «Здравствуйте, товарищи начальники, мы на верблюжьих скачках малость горючего пережгли. Выручайте!» Так, что ли?

Басар виновато молчал.

* * *

На третий день циклон несколько ослаб, но небо было хмурое, ветер дул порывами. Я ожидал, что после завтрака мы с Курбатовым выедем в поле. Получилось иначе — горючее на исходе. Басар в свое время не доложил начальнику, а выезд на скачки истощил запасы окончательно.

Курбатов был сильно расстроен: придется занимать бензин, христарадничать.

— А у кого занимать? — спросил я.

— У кого же, у богатого соседа, свет Баскакова, патриарха нашей экспедиции. Он в десяти километрах от нас разбил свой стан. Только неизвестно, даст ли? Дядя с норовом.

— Тебе не даст,— сказала Нина Васильевна,— мол, рад бы, да сами сидим на мели.

— Да, меня он не любит,— согласился Курбатов,— считает, что я рано получил отряд. К тому же весной мы имели наглость вызвать баскаковцев на соревнование.

— И Сергею Петровичу, и Косте не даст, они — курбатовцы,— сказала Нина Васильевна.

Курбатов задумался.

— Как же быть?

Я понял: ехать за бензином может только один человек — новичок в отряде. Это я. Но Курбатов не решается использовать меня для хозяйственного задания. Пришлось ему помочь.

— Давайте я попробую. Баскаков меня не знает.

— Да, вы не курбатовец,— сказал начальник и тут же смешался: в словах был двойной смысл... И все же от «чужака», от «не курбатовца» зависела сейчас репутация отряда. Не удастся добыть горючее, придется по радио давать SOS в штаб экспедиции. Такое в практике изыскателей бывает не часто и считается верхом неорганизованности, неумения руководить работой. А тут еще «внеплановая» поездка на скачки осложняет дело...

Час спустя мы с Басаром выехали к «знатному соседу».

VII

Отряд Баскакова расположился в рощице тамарисков, у колодца Дас-Кую. Я ожидал увидеть выстроенные в ряд палатки, грузовик с кузовом-домиком, синий дымок над печкой, вырытой в песке,— картину, знакомую по нашему отряду. Все оказалось иным, совсем не похожим, необычным.

Под сенью двух старых корявых тамарисков высилась огромная палатка, палатка-исполин, похожая на шатер арабского шейха. Рядом приютилась палатка-одиночка, казавшаяся почти крошечной. В приличном отдалении стояла просторная общая палатка, видимо для рабочих, и совсем уж на отшибе одиноко серела маленькая палатка — то ли повара, то ли некоего специалиста-отшельника.

Грузовик остановился. Басар заглушил мотор.

— Надо узнать, может, он отдыхает.

Я удивился: «Отдыхает среди рабочего дня?»

— У них свои порядки.

Но хозяин бодрствовал. Из палатки вышел высокий пожилой мужчина с седой курчавой головой. Большое, гладко выбритое, еще очень красивое лицо, словно у прирожденного «кумли», было покрыто густым ровным загаром. Такой загар бывает только у многолетних обитателей пустыни. Из-под разглаженной синей спецовки виднелся крахмальный воротничок кремовой рубашки. На ногах домашние ковровые туфли.

Баскаков сделал два шага навстречу. Я назвал себя, подал письмо. Он бегло прочел, сунул в карман.

— Это успеется, а сейчас зайдем ко мне, познакомимся, вы у нас — новый человек.

Я вошел в палатку и остановился, пораженный. Баскаков смотрел на меня с молчаливой улыбкой,— видно, давно привык к удивлению гостей. Это была не палатка, а целый дом: прихожая, дальше кабинет, столовая, за полузадернутой гардиной — спальня: виднелся край диван-кровати. Комнаты отделены фанерными перегородками, оклеенными обоями.

Мы вошли в небольшой кабинет. Ломберный письменный стол завален рукописями, ватманами. На тумбочке старинная керосиновая лампа под абажуром. У стены открытый стеллаж с книгами. На полу текинский ковер.

— Прошу,— хозяин кивнул на плетеную качалку с вышитой подушечкой на сиденье, сам сел за стол.— Удивлены, недоумеваете? Это обычная реакция всех моих гостей. А дело объясняется просто. Я не сибарит, я — старый полевик, тридцать лет в пустыне, из них считанные месяцы провел в городе. Мой дом — вот он, палатка. В Ашхабаде, на Кушкинской — только коммунальная квартира. Там мы с женой зимуем, здесь — живем. Так почему, скажите, мне надо обязательно жить в холоде, в сырости, есть невкусную пищу пополам с песком и вдобавок еще кичиться этим спартанским образом жизни: мы, мол, не думаем о себе, для нас существует только работа, план, борьба с барханами? Спору нет, все это важно, но ей-богу же и выполнять, и бороться вы будете куда успешнее, ежели создадите хотя бы сносные условия для жизни, именно для жизни, а не для существования.

Я сказал, что создать в пустыне даже минимальные удобства — дело не простое.

— Неверно! — живо возразил Баскаков.— Вся беда в том, что с этим предвзятым убеждением мы приходим в пустыню, в тундру, в тайгу. Мы заранее готовим себя к бытовым неурядицам, мало того, считаем их обязательными спутниками нашей жизни, непременным условием романтики покорения природы. Отсюда — неизбежные последствия. Правда, в молодости о них не думают. Они приходят позже.

— Какие последствия?

— Мало ли — всякие ревматизмы, радикулиты, все это появляется неожиданно и выводит нашего брата из строя надолго, иногда насовсем. Ну, да вам это пока не грозит. Вы ведь первогодок в пустыне?

Я сказал, что в Каракумах не был, но вообще не впервые участвую в изысканиях. Приходилось работать в довольно трудных условиях...

Баскаков с интересом слушал, расспрашивал о районах изысканий. Оказалось, что небольшую мою заметку в «Природе» о приморских солелюбах Казахстана он читал. Мы заговорили о физиологии солянок — они меня давно интересовали. Потом перешли к книге Коровина,— я все еще находился под ее впечатлением. Коровин открыл мне Каракумы.

— Ввел вас сюда, как Вергилий! — засмеялся Баскаков.

— Разве Каракумы — ад?
— Многие так считают. А вообще в песках, как везде, есть и хорошее, есть и плохое. Но то и другое — очень интересно. По-моему, это главное.
Хозяин заговорил о себе. В песках он уже четвертый десяток — приехал сразу же после института, поработал сезон и уже не смог расстаться с Каракумами, привязался на всю жизнь.
— Говорят, Дальний Север привораживает людей. Дальний Юг тоже обладает этим свойством. Пустыня только внешне бедна, на самом деле — это край огромных возможностей, великих богатств. Но не каждому они открыты.
Он оживился.
— Помните у Гёте, в «Фаусте»: «При свете дня полна таинственными снами не даст тебе природа покров с себя сорвать. Что в откровенье разуму сама не сможет передать, не выпытать тебе у ней ни рычагами, ни тисками».
Хозяин встал, сделал несколько шагов по палаточному кабинету.
— На русский Холодковский не очень точно перевел, кстати он тоже был натуралистом, зоологом. В подлиннике это звучит куда сильнее.
И Баскаков по-немецки наизусть прочел цитату из «Фауста».
Из соседнего отсека выглянула маленькая сухощавая женщина, приветливо кивнув мне, сказала:
— Лев Леонидович, ты вот «Фауста» декламируешь, а забыл, что нашего гостя по древнему обычаю кумли надо угостить кок-чаем.
— Это уж забота хозяйки,— отозвался Баскаков.
Я познакомился с Агнессой Андреевной Баскаковой. Мы перешли в столовую. Здесь тоже поверх брезентового пола лежал туркменский ковер. Съемные стены из фанеры оклеены обоями иного, чем в кабинете, рисунка. Над портативным столом традиционный натюрморт — дичь, фрукты.
Кок-чай мы пили из маленьких туркменских пиал, на блюдечке — мелко наколотый рафинад, на старинном, из кованой меди, туркменском блюде — чуреки. Местный колорит строго выдержан.
Я спросил, не тяжело ли Агнессе Андреевпе безвыездно жить в песках. За нее ответил Лев Леонидович:

— Тяжело не тяжело, а супруга пустынника всегда следует за ним. Агнесса Андреевна в прошлом врач, но, как древле говаривали святые отцы из Фиваиды, прекрасная мати-пустыня соблазнила ее. Сейчас она — почвовед, кроме того секретарь-машинистка, чертежница, бухгалтер, завхоз, отличный кулинар. И это не все. По пальцам специальности ее не перечтете — пальцев не хватит.

Агнесса Андреевна замахала руками:

— Ну-ну, не конфузь меня перед нашим гостем, чего доброго, он подумает — вот она, новоявленная Мария Волконская из Каракумов.

— А разве это не правда?

Баскаков ласково погладил руку жены. Да, это была по-настоящему любящая пара.

Я спросил, давно ли отряд в простое.

Баскаков удивился:

— В простое? Почему?

— Как почему? Циклон. Мы третий день не работаем.

— Нет,— сказал Лев Леонидович,— такой роскоши я позволить себе не могу. Мы — старики, темпы у нас не те, что прежде. Работаем без простоев.

— А когда метет сверху и снизу?

— Ну что ж, на то пустыня. Наш геодезист с теодолитом заранее проложил главные ходы. А мелиоратор, геоботаник, почвовед работают в очках.

Я удивленно взглянул на хозяев. Мелиоратор и почвовед — они были в лагере.

Баскаков усмехнулся.

— Отряд в песках, а мы дома? Сейчас объясню. Сталевар высокого класса сам не варит сталь. Он руководит плавкой, ведет ее. Равно архитектор не кладет стену, строитель корабля не работает с топором на верфи. Разве не правильно? Я мелиораторствую треть века, Агнесса Андреевна описывает шурфы немного меньше — двадцать лет. Посему каждый из нас знает свое дело настолько, чтобы только проверять выполненную работу, делать выводы, обобщать. Материалы для этого готовят специалисты, пока что менее, чем мы, умудренные опытом. Такая расстановка сил полезна и для них, и для дела.

Он поинтересовался, как организована работа в нашем отряде. Я сказал, что у нас в поле выезжают все специалисты.

— Что ж, в молодежном коллективе это и целесооб-

разно,— одобрил Лев Леонидович.— Раньше говорили: чтобы узнать человека, надобно пуд соли с ним съесть; пустыня посложнее — пудом проглоченного песка не ограничитесь. Надо ходить и ходить по ней, смотреть и смотреть на нее, и не просто смотреть, а научиться видеть Каракумы, для этого нужно жить с пустыней одной жизнью, сродниться с нею, стать кумли — «человеком песков». Иначе «не даст тебе природа покров с себя сорвать».

— Мы тоже стараемся войти в жизнь Каракумов,— сказал я.

— Прилежно заполняя графы утвержденных в Москве дневников? — Баскаков чуть улыбнулся, но сейчас же посерьезнел.— Не обижайтесь: только освоив азбуку, можно научиться читать книгу пустыни.

Снаружи раздался нетерпеливый голос автомобильного сигнала.

Я вскочил.

— Засиделся у вас, совсем забыл о бензине, о шофере. Вот он напоминает о себе.

— Это не он,— сказал Баскаков. По лицу его прошла легкая тень неудовольствия.— Это маленькое чепе — наши пустынепроходцы досрочно вернулись с поля. Сейчас узнаем, в чем дело.

Мы вышли из палатки. У грузовика, только что въехавшего в лагерь, стояли трое: очень некрасивая долговязая длиннолицая девушка в синем комбинезоне, рядом с ней невзрачного вида юноша в брезентовом плаще и маленький старичок с безбородым сморщенным, как у лилипута, лицом.

Изыскатели долго отряхивались от песка. Потом юноша и старичок сняли защитные очки, подошли к Баскакову. Девушка резко повернулась к нам спиной, широко зашагала к одинокой, стоявшей на отшибе палатке.

— Вернулись, Лев Леонидович,— виновато сказал старичок.— Трудно дышать — песок в рот, в нос набивается.

Баскаков грустно улыбнулся.

— Что ж, вернулись так вернулись, Аполлон Фомич. С Олега и Ларисы спрос невелик — они первогодки в Каракумах. А вот как ты, старый пустынный волк, убоялся ветра — это мне, признаюсь, мало понятно. Ты ведь только визиры прокладывал?

— Да,— тихо отозвался старичок.

— Значит, теодолит был не нужен, с буссолью работал. И не выдержал, занемог?

Аполлон Фомич подавленно молчал.

— Видно, года сказываются,— задумчиво произнес Баскаков.— Ладно, отдыхайте сегодня. Только дай команду Романцеву, чтобы отпустил товарищу бочку бензина.

Старичок насторожился.

— А кому бензин?

— Нашим соперникам — отряду Курбатова. Вот скоро с ними встретимся на проверке. Победят они нас: молодежь!

Геодезист неодобрительно покосился на меня. Баскаков, переглянувшись с женой, ласково посмотрел на старичка.

— Ну что стал, Аполлон Фомич? Отрядный патриотизм в душе играет? Умерь пыл, дорогой, выполняй команду.

Басар из кабины бросал на меня яростные взгляды: я непростительно задерживался. Старичок, насупясь, махнул Басару следовать за ним к складу горючего.

VIII

Курбатов, услышав сигнал Басара, вышел из палатки.

— А мы уже думали, что Баскаков вас к себе переманил.— Он заглянул в кузов.— Ага, выбили-таки бочку.

— Совсем не выбивал. Он сразу согласился дать.

— Это потому, что вы нейтральное лицо, а так — дудки получишь.

Я ждал, что начальник поблагодарит меня, но он подошел к Басару, заговорил о делах. Все ясно: «мавр сделал свое дело...»

Ветер, поднявшись к полудню, вечером почти стих. Казалось, циклон или выдохся, или экономит силы, чтобы продлиться подольше.

На заре, после побудки, Курбатов созвал инженеров на летучку. Не было только Калугина — у него сильно разболелась рука, раненная еще на фронте.

— Ну, решайте, други,— сказал начальник,— выезжать сегодня или нет? Отряд в простое, три дня сидим в палатках. А работы на этом участке — на один день. Завтра можно переезжать на новое место.

— Как бы днем опять ветер не разыгрался,— заметил Костя.

— Не исключено. Станет невмоготу — вернемся.

Инна Васильевна поднялась.

— Поехали, а то уже седьмой час.

Она вправила под марлевую косынку короткие рыжеватые, туго заплетенные косы.

Курбатов тоже встал.

— Ну что ж, ехать так ехать.

Я не выдержал:

— Если для решения вопроса достаточно мнения двух человек, зачем же было созывать летучку? Правда, я — новичок, но работать сегодня должен за себя и за мелиоратора.

Курбатов нетерпеливо пожал плечами:

— Поэтому вы против выезда?

— Я не сказал, что против.

— Значит, за? Тогда поехали.

Я зашел в палатку Калугина взять мелиоративный журнал. За время совместной работы несложная техника мелиоративных изысканий была в общем освоена.

Калугин, лежа на раскладушке, поднял голову.

— Полевой журнал под «летучей мышью». А планшет вон, на столе. Места визиров я примерно наметил. В натуре разберетесь точнее.

— Лучше вам? — спросил я.

— Спасибо. Можно терпеть,— сдержанно ответил Калугин.— Ну, желаю закончить участок. Вы сегодня главное действующее лицо.

Я вышел из палатки.

В «домике» грузовика слышалась быстрая туркменская речь, громкий смех. Я направился уже к машине, но заметил: Инна Васильевна нетерпеливо смотрит на меня из кабины. Сидящий рядом начальник, наоборот, отвернулся, нервно постукивает пальцами по боковому стеклу. Дают понять: я задерживаю выезд. Ах, так? Ладно! Не будем спешить, не на пожар. Я открыл полевую сумку — проверить, все ли на месте. Затем потуже завязал тесемки ботанической папки. Теперь можно ехать. Голоса и смех в «домике» сразу умолкли. Освобождая проход, рабочие поджали ноги. Я прошел к своему месту у кабины. Его теперь не занимают. Вначале садился, кто хотел, но я сделал на фанере надпись: «Геоботаник Ю. Мирошни-

ченко». С тех пор место у кабины всегда свободно, ждет меня. Я стукнул по кабине:

— Поехали!

Грузовик свернул на дорогу, ведущую в глубь пустыни. В «домике» много людей, но все молчат — разговаривать трудно: синий едкий дым из выхлопной трубы ветром забивает в кузов. Грузовик сильно качает. Рабочие сидят на продольных скамьях, крепко держась за них руками.

Я встал, поднял повыше брезент спереди, облокотился на кабину.

Впереди показался вылезший на самую дорогу растопыренный куст эфедры. По спидометру от него до геодезического хода, если ехать прямо, ровно половина пути. Если же свернуть вправо, на совсем уже дикую дорогу по буграм — «тракт терзаний»,— будет ближе.

«Трактом терзаний» мы ездим редко, только когда опаздываем на работу, очень уж трудно там приходится и людям, и машине.

Грузовик останавливается. Мне через заднее окошко видны возбужденные лица шофера и Курбатова. Начинается яростный спор. Басару не хочется сворачивать — жаль машину. Начальник настаивает: если подымется ветер, придется ехать домой, ничего не успев сделать в поле. И вот грузовик нехотя трогается, круто сворачивает вправо. Басар сдался.

— Теперь держись! — смеются рабочие.

С надрывным ревом машина пускается в тяжкий путь. «Домик» кренится вправо, выравнивается, валится влево. Мои руки скользят по гладкой кабине, держаться не за что. Правда, можно ухватиться за передний борт, но это рискованно: на ходу прижмет вплотную к стенке кабины и — прощай руки! — размозжит пальцы. Бывали случаи.

И все же как-никак мне легче, чем другим. Можно стоя балансировать. А вот рабочим хоть пропадай: их трясет, подбрасывает, швыряет в стороны.

Я оглядываюсь, вижу: Хаким вдруг бледнеет и прислоняется к стенке.

— Иди на мое место,— строго говорю я. Но он молча качает головой. Не хочет,— дело хозяйское.

Грузовик выбрался на пологие склоны, пошел спокойнее. Вдали показалась вешка с белым лоскутом — отсюда надо продолжать работу.

— Стоп! Прибыли! — Начальник первым выскочил из

кабины, вместе с рабочими стал выгружать инструменты. Костя ему помогает. Я отошел в сторону: каждый человек должен заниматься своим делом. Выгрузка — дело рабочих.

Но вот лопаты, рюкзаки для образцов лежат на песке.

Сегодня рабочие из геодезической бригады идут на подмогу почвоведам — будут рыть шурфы для Инны Васильевны. А начальник вообще поехал только за компанию.

Братья-близнецы Мурад и Хаким вопросительно взглянули на Курбатова.

— Пойдете, други, с Юрием Ивановичем,— сказал начальник,— он сегодня у нас главный — работает за себя и за мелиоратора. Смотрите же не подведите его. А то кое-кто вот так работает,— Курбатов взял у Мурада метровку, потянулся, зевнул и отмерил ломаную линию.

Все засмеялись.

— Если бы мы так мерили, сегодня не окончили бы участок,— сказал Мурад.

— Правильно,— начальник хлопнул его по плечу,— я не тебя показывал: вы с братом летаете по пескам как соколы. Но сегодня этого мало, надо молнией носиться. Иначе песком занесет — нам же откапывать, когда следом за вами пойдем брать образцы из шурфов.— Курбатов подтянул голенища брезентовых сапог, кивнул мне: — До скорого! Желаю вам снять красный флаг.

— Какой флаг?

— Финиш! Мы с ребятами, когда тянули ход, повесили на барханном массиве.

Начальник повернулся к жене, стал по команде «смирно».

— Товарищ инженер, рабочий Курбатов прибыл в ваше распоряжение.

— Вольно,— сказала она.— Бери заступ. Сейчас на такыр поставлю.

Я сжал зубы, отвернулся. И это начальник отряда! Паясничает в присутствии рабочих. Неудивительно, что они пререкаются с Костей. Скоро и на Курбатова будут кричать. Разве представишь что-либо подобное в отряде Баскакова?

Почвоведы и геодезисты скрылись за буграми — пошли обследовать вырытые вчера шурфы, копать новые. Почвоведы всегда отстают. Очень трудоемкая работа.

Я развернул мелиоративный журнал на последней странице. Крупным почерком Калугина были записаны данные предыдущего обследования — рельеф, краткие сведения о растительном покрове, мелиоративные рекомендации. То же самое запишу и я, только работать будет гораздо труднее: ветер и надо вести еще свой геоботанический дневник — двойная нагрузка.

Геодезический ход, отмеченный редкими саксауловыми ветками, уходил вдаль. Казалось, вешки бегут друг за другом, одни спускались в ложбину, другие взбирались на бугор. Самые дальние шли уже вместе.

Пора начинать. Я отмерил площадку, стал описывать растительность. Ей-богу, это можно делать не глядя, так убого-однообразна пустыня. Везде одно и то же: в понижении между буграми — полусожженный сухой илак; на склонах — желтый кушак из селинов; выше — кандымовый пояс; на вершине — один-два поникших саксаула.

Я записываю латынь только начальными буквами, потом на глаз прикидываю площади, занимаемые каждым видом. Сплошного пересчета кустарников делать не буду — некогда и погода не та,— поставлю цифру, записанную Калугиным. Сколько у него? Двенадцать? Ну, здесь напишем десяток. Дальше — группировка. Она на бугристых песках одна и та же — илаковый саксаульник. Теперь подпись. Конец! Все заняло считанные минуты. Если так пойдет и дальше — зашабашить удастся довольно скоро. Не будь сегодняшнего выезда, лежал бы в палатке, читал стихотворения Владимира Соловьева. Любопытно. Баскаков дал на прощание.

— Не боитесь впасть в идеализм? Нет? Тогда возьмите. Есть и про ангелов, и про Христа; все на добротном поэтическом уровне.

Но Соловьеву придется подождать. Сейчас на очереди — плановое задание. Навряд ли удастся быстро управиться, ведь я сегодня еще и мелиоратор. Значит, сам должен намечать и прокладывать боковые поперечники — визиры, тянуть их в стороны от главного геодезического хода к отдельным скоплениям барханов, что вклинились в бугристые пески и угрожают пастбищам.

Правда, на барханах совсем уж нечего делать: растений почти нет, рельеф один и тот же — мелкобарханные или среднебарханные пески. Разница всего в нескольких метрах высоты. Запись в пять строк, но из-за нее надо

свернуть с геодезического хода, пройти до скопления километра два и столько же обратно. Проформа? Конечно! А что поделаешь?

Я сверился с планшетом Калугина. Первое скопление совсем близко. Значит, обследовать его удастся еще до того, как разгуляется ветер. А он уже сейчас вон какой — рвет из рук ботаническую папку. Теперь ясно, что циклон и не думал утихать. Просто прикинулся обессиленным, чтобы выманить нас в пески.

Ботаническая папка парусит, мешает идти. Надо было бы оставить ее дома, но я побоялся, что Калугин скажет: «А папка где? Забыли?»

Вдали показалось первое скопление барханов. Над ними уже висела мутная песчаная дымка. Это с утра, а что будет дальше?

— Мурад, готовь метровку; Хаким, будешь делать пикеты. Да смотрите не путать счет, а то заставлю перемерять.

По буссоли беру направление на барханы, указываю Мураду ориентир. Братья начинают работать. Я сажусь на песок, упираюсь подбородком в колени. Зачем? Ну зачем все это? Рельеф, растительность и без того известны — везде одинаковы. А длину визира можно определить приблизительно — сотня метров больше или меньше, какая разница? Существенной ошибки не будет,— сколько их уже перемеряли. В Каракумах все на одну колодку.

Братья уходили все дальше. Я поднялся — надо идти за ними.

Скопление барханов начиналось на втором километре. Придется записать. Я кратко отметил: «мелкобарх. п-и... Выс. 3 м». Измерять не буду — глаз наметан.

Вот наконец и скопление. У подошвы бархана сидят Мурад и Хаким, громко говорят по-туркменски. Увидев меня, умолкают. Хаким трет покрасневшие глаза.

— Почему очки не взял? — строго спрашиваю я.

— В очках плохо, пот мешает,— смущенно говорит Хаким.

— А песок не мешает?

Хаким перестает тереть глаза, подымается с земли.

Молча возвращаемся на главный ход. Я останавливаюсь вытряхнуть песок — уже набился в рукава, за воротник спецовки. Это только начало...

Из-за бугра выглянули саксауловые вешки. Я делаю описания в обоих журналах, почти не глядя на рельеф, на растения. Здесь сплошной пастбищный массив. Так надо и отметить, нечего долго возиться.

Ветер усиливается. Идти все труднее. Я сверяюсь с планшетом — узнать, далеко ли еще до конца хода. Прикладываю стрекочущую на ветру ленточку миллиметровки, считаю в уме — всего пять километров. Не так уж много, если работать в хорошем темпе. Хотя нет! Какое там! Я ведь совсем упустил из виду второй, последний визир. Его надо тянуть к барханному скоплению в конце хода. Это добрых два километра туда да два обратно. Итого четыре. Плюс пять на главном ходу. Вот тебе и закончили работу... При таком ветре до темноты хватит...

Я повернул кепку козырьком назад, натянул ее на уши, иначе сорвет. Двинулся, с трудом пробивая невидимую упругую ветровую стену.

Но вот рабочие, идущие впереди, остановились. Я облегченно вздохнул. Ага! Уже невмоготу? Так и объясним начальству! Нельзя же мучить ребят — школьники, десятиклассники... Сам Курбатов сказал: «Станет не под силу — вернемся». А тут и не под силу, и смысла нет.

Взглянул на рабочих. Стоя на вершине бугра, они пристально смотрели куда-то вправо, потом нерешительно оглянулись, снова пошли по ходу. Что там? Верно, заяц пробежал. А я-то думал, устали. Нет, хоть с утра до ночи будут носиться по буграм... Что им? Болтают, смеются, глазеют по сторонам... А тут вези за двоих, при штормовом ветре работай...

Я поднялся на бугор, где только что стояли близнецы, взглянул вправо. Метрах в ста одна из вершин сильно расширилась По склону сползали небольшие песчаные языки. Язва выдувания, маленькая, единственная, но язва... Обследовать ее — это задержаться, а я и так еле двигаюсь. От усталости ноги подкашиваются. Песок набился в уши, слепит глаза, режет за воротом спецовки. А язва — это же не барханные пески. Выпас здесь незначительный — овечьих «орешков» не видно. Значит, угрозы для пастбищ нет.

В изнеможении я спустился с бугра. Итак, еще два километра по ходу, потом — второй визир. А что сейчас творится на барханах — можно себе представить, если здесь, среди бугров, ветер валит с ног.

Я открыл флягу — во рту пересохло... Как мало воды... Сколько раз обещал себе не пить в песках, только полоскать рот... Придется, пожалуй, попросить воды у рабочих. Они никогда не пьют в поле. Хотя нет, не стоит: начнутся смешки, пересуды; в лагере всем расскажут — инженер две фляги выпил.

Сел на песок. Надо передохнуть, подумать... Для чего мы сейчас все тут мучимся, какая от этого польза для дела? Никакой! Обследована большая часть участка, почти вся площадь. Так что же страшного, если по аналогии с ней нанести на планшет все остальное? Впереди считанные гектары, и на них такие же бугры, такие же барханы.

Я крикнул:

— Э-эй!

Братья не обернулись, хотя шли невдалеке,— ветер глушил голос. Цепочку следов заметало на глазах. Вот так песчаные бури губили встарь целые караваны...

А если сложить ладони рупором?

— О-го-го!

Я замахал кепкой. Наконец-то услышали, остановились. Ну чего стоять? Семнадцать лет, а по развитию — дети... Наконец-то поняли, идут обратно.

— Вот что ребята,— сказал я подошедшим близнецам.— Дальше мы не пойдем: нет смысла, здесь везде одно и то же.

— А флаг? — нерешительно спросил Мурад.

Флаг... Вот она, курбатовская романтика... До нее ли сейчас?

— Мы идем к машине,— строго сказал я.— Понятно?

Мурад нахмурился, повернувшись к брату, горячо заговорил по-туркменски. Хаким пожал плечами. Братья, не глядя на меня, пошли назад.

Грузовик ждал в условленном месте, на такыре. Басар спал, согнувшись на сиденье. От стука брошенной в кузов лопаты проснулся, протер глаза.

— Окончили? Рано сегодня, по-ударному. Значит, сняли красный флаг?

Я не ответил, стал просматривать полевой журнал. Хотелось прилечь отдохнуть. Но где? В кабине — шофер, в кузове — близнецы... Еще заведут разговор о флаге...

Солнце, набухая желтизной, тяжело опускалось к закату. Но ветер дул с прежней силой. Я опустился на

землю, поднял воротник спецовки и незаметно задремал. Очнулся от крика:

— Идут! Наши идут!

Стоя у кабины, Басар махал кепкой.

Я поднялся с земли. В розовом свете короткой каракумской зари по такыру двигались темные фигурки. Позади всех шел начальник с женой. Подойдя к машине, Инна Васильевна сразу же опустилась на подножку кабины — сильно устала.

— А, геоботаники уже здесь? — сказал начальник.— Ну как, тяжеленько пришлось? Нас тоже чуть не засыпало в шурфе.

— Да, трудно было,— сказал я.

— То-то, вы даже флаг позабыли снять. Подходим — полощется на последней вешке. Ну мы его для вас прихватили. Вот он, возьмите.

Флаг... Опять флаг... Я еле сдержался, чтобы не ответить резкостью. Сказал коротко:

— Отдайте ребятам. Им это интересно.

И вдруг увидел: близнецы, выйдя из машины, молча смотрят на меня. Заметили мой взгляд, смущенно потупились.

— Вот и кончили большой кусок,— сказал Курбатов,— теперь можно переезжать на новоселье, за новый кусок приниматься.

Он сел в кабину.

— Погоняй, Басар.

В лагерь машина вернулась затемно. В честь окончания работ повар приготовил пельмени. При свете фар все расселись на разостланном брезенте в кузове машины. Начальник принес из палатки три бутылки шампанского. Когда вино было разлито по пиалам, Курбатов поднял тост за окончивших работу первыми. Он назвал меня и братьев-близнецов. Все стали чокаться. Мне хотелось как можно скорее покончить с этим. Я быстро выпил шампанское. Близнецы нехотя подняли пиалы и, отпив немного, поставили обратно.

— Нет, нет, до дна! — закричал начальник.

Ужин скоро кончился. Все устали и хотели спать.

— Завтра, други, полный отдых! — объявил начальник.— Послезавтра подымаемся и едем на новый участок. А пока всем спасибо и спокойной ночи.

После ужина я отошел к соседним буграм, прилег на песке. В палатках тускло светились «летучие мыши», потом одна за другой они погасли. Только у Калугина еще горел свет. Как быть? Идти к нему сейчас — отдать журнал, рассказать об обследовании, или отложить все на завтра? Мол, не хотел беспокоить больного. Нет, лучше уж все неприятное закончить сегодня. Я вошел. Калугин лежал на раскладушке, читал.

— Принес журнал, планшеты.

— Какой рельеф на участке? — Калугин пристально смотрел на меня.

— Крупнобугристые и мелкобарханные пески.

— Мелкобарханные на обоих визирах?

— Да,— я остановился у входа, экзамен застал меня врасплох.

— Растительность?

— На бугристых — злаковые саксаульники. На барханах — селиновые сюзенники.

— Это зафиксировано?

— Разумеется.

Я вышел из палатки.

На другой день все проснулись поздно — побудки не было. Завтракать сели только в восьмом часу.

Палатка Калугина была снаружи застегнута на все крючки. Курбатов встревожился.

— А где же Сергей Петрович?

Никто не знал. Начальник нахмурился.

— Странно, очень странно.

Калугин вернулся вечером. Весь засыпанный песком, прошел в свою палатку. Начальник отправился за ним. Я, припав к стене палатки, услышал голоса.

— Неужели нельзя было предупредить, Сергей Петрович? Если вам надо в пески, сказали бы мне. Машина всегда в вашем распоряжении.

— Виноват, Владимир Николаевич, мне надо было пойти по личному делу — проверить кое-что из своих наблюдений. А Басару тоже необходим отдых: каждый день нас возит.

Начальник вышел.

Я затаив дыхание ждал. И вот снаружи послышалось осторожное царапанье.

— Можно?

— Да.

Калугин вошел в палатку, сел на раскладушку.

— Вот мой журнал. Исправьте своей рукой.

— Что исправить?

— Вашу запись. На последнем визире пески не мелкобарханные, а среднебарханные, и растительности совсем нет: очень сильное развевание.

— Хорошо, оставьте журнал, я исправлю и занесу вам.

— Нет, вы при мне исправьте! — резко сказал Калугин.

— Это очень важно для производства?

— Это важно для вас. Вам двадцать три года. Впереди у вас уйма таких визиров. Все их надо пройти честно, прошагать до конца и ни в коем случае не заносить на планшет, в журнал по аналогии, не обходить, как обошли вы язву выдувания на геодезическом ходе. Итак, прошу!

Пришлось покориться. Я молча внес все исправления. Протянул журнал Калугину. Он долгим взглядом посмотрел на меня.

— И это все, Юрий Иванович?

— А что ж еще? Я допустил ошибку, я ее исправляю. Может, надо сказать — «виноват, больше не буду»?

Калугин как-то весь поник, согнулся, словно стал ниже ростом, и молча вышел из палатки.

Я понял окончательно: в этом отряде мне делать нечего. Любой ценой надо уходить, перейти к другим людям.

IX

Мы обосновались на новом месте — у колодца Чиль-Мамед.

В первый же день, как только разбили лагерь, я пошел посмотреть Чиль-Мамед. Он находился метрах в двухстах от наших палаток, внешне неприметный, очень древний колодец: без сруба, почти вровень с землей, среди изрытой овцами серой глины небольшая круглая яма. Стенки укреплены плотно сплетенными ветками саксаула.

Я заглянул вовнутрь, неожиданно близко увидел свое отражение — колодец был неглубокий, из него даже не

веяло прохладой. А вокруг было уж очеиь жарко. Циклои прошел, н солнце снова жгло нещадно. Надо было возвращаться в лагерь.

Начальник отряда, не дожидаясь, пока рабочие разобьют палатки, выехал с Костей иа рекогиосцировку — предварительиое обследоваине нового участка изысканий. Накануне Курбатов наметил иа планшете прнмерное расположение геодезических ходов н теперь отправился свернться с «иатурой». Геодезнсты вериулнсь к обеду. Курбатов был иеестественно оживлен, все время что-то насвнстывал, но во взгляде была тревога.

После обеда нз палаткн начальника раздался громкий голос:

— Товарищн ннженеры, прошу всех ко мне.

Мы собрались иа иеурочную летучку. Каждый заиял свое обычное место: я н Калугин на консервных ящиках, Инна Васнльевна на своей раскладушке, Костя у двери, на брезентовом полу.

Курбатов стоял возле самодельного столнка, волновался.

— Ты садись,— сказала Иина Васильевна,— в ногах правды иет.

Он досадливо отмахнулся.

— Вот что, други. На рекогиосцнровке я встретил Баскакова. Онн тоже перебазнровались, стоят возле колодца Ак-Кую, километра три от иас. Уже проложнлн геодезическне ходы, иачали изыскаиня.

— Ну н пусть себе работают с богом,— заметнла Иниа Васнльевна.

— Дело не в этом. Баскаков предлагает через неделю провестн взанмную иинспекторскую проверку качества изысканнй. Мол, иа иовом месте учтем взаимые достижеиня и просчеты. Арбитрами будут начальинк экспеднцнн н главный нннженер. Здесь же, в поле, сделают оргвыводы.

В палатке стало тихо. Я уже зиал от Калугииа: весной перед иачалом нзыскаинй Инна Васильевиа неожиданно предложила вызвать на соревиование отряд Баскакова. Вся экспедицня была поражена: молодежный отряд, сформироваииый нз новичков-первогодков, вызывает многоопытных нзыскателей, мастнтых пустыииопроходцев. Услышав об этом, Баскаков усмехиулся: «Что ж, померяемся силушкой!»

Март и апрель прошли в напряженной работе. За это время начальники отрядов встретились только раз, да и то случайно — в продуктовом магазине в Казанджике. Курбатов, увидев возвышающуюся над толпой покупателей седую курчавую голову Баскакова, стал пробиваться к нему — хотел выяснить кое-какие вопросы, но Баскаков издали приветливо кивнул ему и отвернулся, заговорил с продавцом по-туркменски.

Потом, возвращаясь в свои отряды, они три часа ехали по пустыне, и машина Баскакова держалась на полкилометра позади от курбатовского грузовика. Так между отрядами возникла скрытая «холодная» война. На проверке соперникам предстояло встретиться в присутствии начальства.

Первым нарушил молчание Калугин:

— Когда он хочет провести проверку?

— Говорит, недели через две. Обживемся, мол, на новом месте, войдем в рабочий ритм, наберем темпы.

Калугин вздохнул.

— Да, все его слова...

Начальник сел на раскладушку рядом с женой.

— Для этого я вас и вызвал. Давайте сразу же возьмемся в полную силу. А то, не дай бог, опять налетит циклон — нечего будет и проверять.

— Надо с самого начала работать комплексно,— сказал Калугин,— не ждать, пока геодезисты проложат ходы, сразу идти за ними, наступать на пятки.

— Правильно,— согласился начальник.— И ваши «ломаные» визиры применим. Пропадать, так с музыкой.

— Можно и не применять, если это так страшно,— сказал Калугин.

— Не обижайтесь, Сергей Петрович! — Начальник виновато взглянул на мелиоратора.— Я же не в обиду вам, просто «ломаные» визиры — новшество, метод хороший, но инструкцией пока не предусмотрен. А нам сейчас пойдет каждое лыко в строку.

«Ломаные» визиры имели свою историю. Еще весной Калугин предложил начальнику разработанный им метод обследования барханных массивов: поперечник — визир — надо прокладывать не перпендикулярно к основному ходу, а в виде ломаной линии — так можно охватить большую площадь развеваемых песков. Предложить их Калугин решился не сразу: начальник мог обидеть-

ся — мелиоратор лез не в свое дело («ломаные» визиры — это же не мелиорация, а геодезия). Вышло иначе: Курбатов смутился, долго барабанил по ватману. Он, инженер-геодезист, пятый год ведет самостоятельную съемку, а до такой простой вещи не додумался. Посторонний для геодезии специалист взял и выдал...

Пока новый метод применялся редко: барханных скоплений было немного, а глава экспедиции Стожарский косо смотрел на всякое не утвержденное им новаторство. В данном же случае дело еще более осложнялось: метод геодезической съемки усовершенствовал... мелиоратор.

После летучки все разошлись по палаткам готовиться к завтрашнему выезду в поле.

Потянулись пустынные будни. По-прежнему мы с Калугиным обследовали бугры, искали массивы развеваемых песков. Впереди прокладывал ход начальник, следом шла Инна Васильевна. Как и на предыдущем участке, мы разговаривали мало — только по делу. О неприятной истории с последним визиром, кажется, было забыто.

Зато я сделал для себя вывод: надо работать строго по инструкции. Нечего торопить события, мое время придет. А пока я нахожусь среди внутренне чуждых мне людей, людей узких интересов и ограниченных способностей, не надо выделяться, надо стать незаметным.

Работали, используя каждый час, выезжать стали на тридцать минут раньше, возвращались совсем затемно: день уменьшался — надо было возмещать потери во времени. Погода благоприятствовала. Наступили очень жаркие августовские дни. Ветер подымался только к полудню, но был слабый и не мешал работать.

Прошла неделя, другая, половина планшетов была закончена. Может быть, Баскаков решил полностью провести изыскания и после этого встретиться с нами? Но Баскаков оказался очень точным: в субботу вечером Костя принял из Казанджика радиограмму. Штаб экспедиции предлагал в понедельник провести с отрядом Баскакова взаимную инспекторскую проверку.

Итак, «заутра бой»...

Все проснулись до побудки. Илюше не пришлось звонить в рельсу. После завтрака начальник объявил рабочим, что они сегодня отдыхают, заняты будут лишь специалисты.

— Где назначена встреча? — спросила Инна Васильевна.

— На нейтральной полосе, на стыке участков. Я пометил место на планшете красным карандашом.

— А они с нами не разминутся?

Начальник усмехнулся.

— Лев Леонидович-то? В любом уголке пустыни любого найдет. Старый каракумский волк...

— Тогда давайте выезжать, неудобно, если они явятся первыми.

— Ехать так ехать! — согласился начальник.

На востоке только разгоралась заря, когда наш грузовик, покачиваясь на мелких буграх, вышел из лагеря и взял курс в сторону баскаковского участка. Сегодня машина ехала налегке. В кабине с Басаром сидела чета Курбатовых, в «домике» — я, Костя и Калугин.

Восход солнца застал нас на месте встречи — на стыке участков. Невдалеке от машины стояла баскаковская вешка со своим номером, и пикеты, уходившие вдаль, были насыпаны иначе — по-баскаковски, и колышки, белевшие на них, тоже были чужие.

В песках была проложена узкая, слабонаезженная дорога. Она просматривалась далеко, километра на два, почти до самого колодца Ак-Кую — стоянки отряда Баскакова.

Мы вышли из машины, уселись на песке, молча смотрели на дорогу, ведущую к Ак-Кую. Солнце, появившись над горизонтом, слепило глаза. День обещал быть тихим и жарким. И вот вдали показались машины. Первым шел штабной «козел».

— Кто едет, не разберу,— сказал Курбатов,— неужели сам Стожарский?

— Нет,— отозвался Калугин,— для начальника экспедиции мы слишком мелкая сошка. В лучшем случае, главнижа пошлет, а то старшего мелиоратора.

Следом в просвеченной солнцем пыли двигался грузовик, в котором ехали баскаковцы.

Не доезжая до нашей машины, «козел» остановился. Из него спиной вперед вылез маленький сухой Вахрушев, старший мелиоратор штаба, в черной бобриковой кепке, в черной рабочей спецовке с широким воротом, открывающим очень худую жилистую шею. От резкого движения полевая сумка, висевшая через плечо, съеха-

ла наперед. Вахрушев сердито отбросил ее за спину. Его темное, туго обтянутое кожей лицо с редкими, плохо выбритыми кустиками серой щетины было нахмурено. Щурясь, Вахрушев протер полой спецовки запыленные стекла очков, сдержанно поклонился.

Шофер потащил было из «козла» огромный деревянный ящик с планшетами аэрофотосъемки. Вахрушев кинулся к нему, выхватил футляр.

— Не трогай! Я сам!

Он сел там, где стоял, вынул нужный планшет, никого не замечая, стал рассматривать снимок, словно находился один в песках.

В экспедиции Вахрушева уважали, но и посмеивались над ним,— одинокий старый холостяк, он всю жизнь отдал борьбе с подвижными песками, много лет пытающимися выжить человека из Каракумов.

Просмотрев планшет, Вахрушев осторожно уложил его обратно, запер футляр на ключ и, ни на кого не глядя, бросил отрывисто:

— Здесь — стык участков. С кого начнем?

— Все равно,— сказал Курбатов,— можно с нас.

Вахрушев быстро поднялся, не отряхиваясь от песка, круто свернул влево, на наш участок. Он шел к вешкам проходящего вблизи геодезического хода, где уже были проведены изыскания.

Специалисты обоих отрядов двинулись следом. Баскаков был на голову выше всех. Чтобы не опередить Вахрушева, он шел вполшага.

Я смотрел на него. Любой с первого взгляда скажет: «Вот начальник!» — с таким спокойным достоинством двигался он по пустыне. Баскаков не носил темных очков, глаза его давно привыкли к каракумскому солнцу. Густые серебристые кудри прикрывала парчовая тюбетейка. От нее над головой Льва Леонидовича временами вспыхивало мгновенное сияние. В ногу с Баскаковым шла Агнесса Андреевна в черных обвислых, словно пустых, шароварах, в белой блузке с сатиновыми нарукавниками. Громадная войлочная шляпа — «каракумка» почти скрывала лицо. Баскаковы, увидев меня, поздоровались сдержанно, как с незнакомым: я был для них сейчас только курбатовцем.

Метров сто все шли молча. Перед спуском в очередную котловину Лев Леонидович произнес:

— Что-то долго летит над нами тихий ангел.

Идущий сзади Аполлон Фомич, похожий на бритого гнома, как яблочко румяный, курносый старичок в пикейной панамке, в полосатой ковбойке, с множеством красных пуговок, тихонько фыркнул.

Баскаков, не оглядываясь, сказал:

— Что, смешунчик напал, Аполлон Фомич? В народе говорят — не к добру.

— Почему? — робко спросил геодезист.

— Плакать, дорогой, скоро придется,— часика через два-три товарищ Курбатов обнаружит у тебя огрехн в работе. Он геодезист первого класса.

Я взглянул на Курбатова. Тот молчал. А ведь это был со стороны Баскакова пусть легкий, но вызов. Он намекнул: соперник только хороший специалист, не более, а какой из него руководитель — еще неизвестно.

Снова наступила тишина, и вдруг стало слышно, как Лариса, баскаковский геоботаник, широко шагавшая в стороне от всех, громко насвистывает «Танец маленьких лебедей». Агнесса Андреевна резко обернулась. Лариса спокойно встретила ее взгляд и переменила мотив — засвистела «Неаполитанский танец». Это был уже вызов явный. Но кому: нам или Баскакову? Взоры всех невольно обратились к Вахрушеву — представителю штаба. Он ничего не замечал и, словно выбившись уже из сил, плелся вялым, спотыкающимся шагом.

Снова спустились в котловину между буграми.

Баскаков поравнялся с Вахрушевым.

— Георгий Александрович, не пора ли бросить беглый взгляд?

— Ладно, давайте,— промямлил Вахрушев. Он сразу, как подкошенный, сел на землю.

Все собрались в кружок, в центре которого сидел старший мелиоратор. Курбатов передал Баскакову свернутый в трубку ватман.

Дальнозорко держа его на отлете, Баскаков бегло просмотрел контуры.

— Ну что ж... пески крупнобугристые, и растет на них илак, селин да саксаул,— он почти пропел это.— Все верно.

Но вот Лев Леонидович вынул из кармана очки, не спеша надел их, стал всматриваться в ватман.

— Э-ге-ге... А вот дальше мне не очень нравится...

«Пески полузаросшие». Почему же? Они крепенькие, здоровые, надежно прошиты нлаком. Боюсь, геоботаник здесь поскользнулся.

Я спокойно подвинулся к Баскакову — волноваться нечего, работать приходится с двумя десятками видов, не более. Любой середняк освоит в полмесяца. Обидно было другое — Баскаков, казалось, забыл о нашей встрече, о беседе по душам.

Я сказал холодно:

— Напрасно вы сомневаетесь в моих выводах. Густота нлака обманчива. Давайте пересчитаем кустики. Тогда станет ясно, кто из нас ошибается.

— Не возражаю, не возражаю,— вежливо отозвался Баскаков.

Складным метром я отмерил квадрат, опустился на колени, начал пересчитывать кустики. Я намеренно не сокращал операции, хотелось поэффектнее посадить высокомерного Баскакова. Чтобы не сбиться, вырывал кустики по одному, пучками складывал возле себя. Было приятно заставлять Баскакова ждать.

Но тот совсем не выказывал признаков нетерпения. Стоя надо мной, как судья на ринге, Лев Леонидович смотрел на выгнутые по форме запястья золотые часы. Короткая тень от его массивной фигуры накрыла меня, заслонив солнце.

Калугин, Костя, наш начальник, Нина Васильевна отвернулись — досадовали, что я считаю слишком медленно и тем подвожу отряд.

Но вот все кустики пересчитаны. Я поднялся, назвал их количество.

— Как видите, мой вывод подтверждается.

Баскаков опустил руку.

— Пять тридцать две.

Я не понял.

— Что это?

— Перебор во времени. Сверх нормы пять минут тридцать две секунды. Многовато, даже учитывая психологическую поправку на некую нарочитую замедленность темпа.

Я взглянул в лицо Льва Леонидовича — глаза его смеялись. Он понял все, видел меня насквозь. Да, с таким соревноваться — наверняка проиграть. Но сейчас об этом

уже было поздно думать. Виновата во всем Нина Васильевна — подбила мужа на безрассудный вызов...

Неожиданно мне на выручку пришла Агнесса Андреевна.

— Постой, Лев Леонидович, что ж так сразу налетать? Ты лучше посоветуй, помоги молодежи.

— Да, да, «помоги»,— добродушно проворчал Баскаков,— на свою голову помоги, а они отблагодарят — нас же обскачут.

Агнесса Андреевна печально вздохнула.

— Ничего не поделаешь, мы — старики, судьба у нас такая...

— Судьба, говоришь? — Баскаков обернулся к своему геодезисту: — Аполлон Фомич, дай-ка нашу метровочку.

Старичок снял с плеч рюкзак, вытащил четыре сложенных вместе планки с натянутой на них веревочной сеткой.

— Мое скромное изобретение,— пояснил Баскаков,— неплохо экономит минуты, из коих как учил древле Пифагор, слагаются часы и дни нашего бренного бытия.

Он сделал еле уловимое движение, и веревочная сетка плавно опустилась на илаковый ковер.

— Дело не хитрое: подсчитываете кустики не все сплошь, а только в одной ячейке, потом умножаете на число ячеек.

Припав на колено, Баскаков проделал расчет, поднялся.

— Нет, я, старый воробей, дал маху, все правильно,— он виновато развел руками,— жалко даром потраченного времени, труда... Ведь вы сотни раз вот так-то пересчитывали кустики...

Не оборачиваясь, он кинул через плечо сложенную метровку. Аполлон Фомич ловко поймал ее на лету, бережно уложил в рюкзак.

Баскаков внимательно оглядел склоны бугров, котловину.

— Да, судьбе надобно покоряться...— Как видно, он решил продемонстрировать перед дерзкими соперниками высший класс комплексного обследования песков.

— Итак,— кустарниковый ярус.

На вершинах, на склонах, в котловине Баскаков быстро и точно пересчитал все саксаулы, кандымы, эфедры, определил их высоту, диаметр стволов и крон, заметил,

что один саксаул поражен галлами — болезиениыми иаростамн иа ветках.

Геодезист по пятам следовал за свонм патроном.

— Аполлон Фомнч, эклнметр.

Старичок подал прибор.

— Прошу к склону.

Старичок замер у подошвы северного — самого крутого — склона. Баскаков навел эклнметр. Пользуясь фнгурой геодезиста как вешкой, момеитальио произвел замеры, расчет. Затем так же определнл углы остальиых склоиов.

— Прошу прнкопку.

Маленькой саперной лопаткой старичок мгновенно отрыл полуметровую ямку.

Баскаков пощупал песок, отметнл, иа какой глубиие ои увлажннлся. Движеиня Льва Леонидовича были скупы, четки, предельно слаженны. Ннчего лншиего, все в рнтме.

— Конец! — Баскаков мельком взглянул иа часы, чуть улыбнулся.— Вот так мы труднмся, по-старнковски.

Я, чета Курбатовых, Калугии, Костя смотрели иа него как завороженные. Это было почти невероятно. За рекордно короткнй срок Баскаков один выполиил работу трех специалистов — мелиоратора, геоботаиика, почвоведа.

И тут в иаступнвшую было почтительную тишину ворвался инзкнй, почти мужской голос:

— Постойте! Что за черт!

Все оглянулись. Лариса, сндя на земле, просматрнвала геоботаническнй дневник, передаиный ей Курбатовым для слнчения с натурой.

— Товарищ геоботаник, забыла вашу фамнлню, иднте сюда! — Это было пронзнесено тоном приказания. Я подошел.

Некрасивые девушки бывают двух родов: одни покорно сносят свою беду, другне, ие дожидаясь сочувствня илн иасмешек, нападают первымн. Ларнса грозно подступила ко мне.

— Вы чем это тут занимались? Опнсывали каждый склон в отдельиостн? Собиралнсь совершить великне открытия? А время? Его у вас в обрез! — Она с вызовом обратилась к Баскакову:— Полюбуйтесь, Лев Леонндович. Вы еще говорили: в экспедиции я одна осматриваю

каждый закоулок в песках. Нет, кроме меня, оказывается, есть крамольники.

Я поймал мимолетный насмешливый взгляд Баскакова. Ах, эти склоны! Я впервые стал их описывать порознь и на свою беду сказал об этом Калугину. Потом понял: незачем это! Изыскания производятся в крупном масштабе. Тут уж не до открытий, надо план выполнять. Но Калугин следил за мною и каждый раз надоедливо напоминал:

— Вы что же, охладели к склонам? А помните, как в первый выезд на каждой трети илак пересчитывали? Неужели надоело?

И я описывал, подсчитывал, разменивался по мелочам. Хотелось больших, всамделишных открытий...

Лариса вытащила из полевой сумки несколько потрепанных дневников в рваных розовых обложках.

— Берегитесь, дорогой! Сейчас вас проверим, сравним мою крамолу с вашей.

Она нетерпеливо листала страницы.

— Ага! Вот... Нашла... Совпадает! Ей-богу, совпадает! Нет, кажется, вы молодец.— Она подняла голову, чтобы поделиться своей радостью, но я отвернулся — недоставало ее признания!

Баскаков отошел к краю котловины, терпеливо смотрел вдаль, ждал. Вахрушев, надвинув на лоб бобриковую кепку, сидел на самом солнцепеке; голова его медленно опускалась к коленям. Потом так же медленно подымалась. Кажется, еще немного — и он всхрапнет.

Лариса резко повернулась, зашагала к южному склону. Там росло несколько жидких кустов.

— Царство кустарников! — восхищенно сказала Лариса.— Бог мой! Сколько их тут! Целая роща!

Я удивленно смотрел на нее. Но она не замечала меня, говорила сама с собой. Шагнув к кривобокой растопыренной эфедре, погладила ее жесткие побеги.

— Ну чего, чего топорщишься, вечнозеленая?

Я еле сдержал улыбку — эта девица разговаривала с кустом, как с Венерой Милосской... Но Лариса уже отошла от эфедры и теперь стояла перед кандымами.

— Сколько видов! И без плодов можно определить. Вот древовидный. Настоящая махина! Вдвое, да нет, втрое выше человека! — Она запрокинула голову, словно перед ней росло Мамонтово дерево.— Какой чудесный стройный

ствол! И кожа розовая, теплая, прямо детская...— Она вдруг прижалась лицом к шероховатому стволу.

К нам направился Баскаков. Лариса отпрянула от кандыма, отрывисто спросила:

— Пора идти?

Баскаков вздохнул:

— Надо бы...

Утро окончилось. Подымаясь к зениту, солнце как бы уменьшалось в диаметре, а тяжкий, пригибающий к земле зной все возрастал. Было странно, что этот маленький белый лучистый кружок, занимая так мало места на необъятном небе, источает столько тепла и света. Идти становилось все труднее. Глаза заливал пот, во рту пересохло. Только старые «пустынники» — Вахрушев и чета Баскаковых,— казалось, совсем не чувствовали жары.

Между буграми проглянул маленький такыр — серая глинистая площадка строго овальной формы. Как застывший асфальт, она до краев заполнила котловину. В начале, в середине и в конце площадки серели насыпи — глина из шурфов. Я взглянул на Баскакова. Тот уже заметил шурфы, почтительно обратился к Инне Васильевне:

— Позвольте узнать: много ли у вас на участке вот таких такыровых пятен?

— Это шестой,— коротко ответила Инна Васильевна. Она повернулась к Агнессе Андреевне:— Будете проверять описание шурфа?

— Почему же нет? Можно,— с готовностью отозвалась Баскакова.

Инна Васильевна протянула почвенный дневник в синей обложке, но Баскакова легонько отвела ее руку.

— Пусть он будет у вас.

— А разве вы не спуститесь в шурф? — удивилась Инна Васильевна.

Баскакова покачала головой.

— А зачем, родная? Такыровые пятна на бугристых песках все одинаковы. Нам, изыскателям, они не нужны — их ничтожно мало. Вы ими занимались, вероятно, в порядке расширения общеобразовательного кругозора? — Она ласково улыбнулась.— На первых порах это не бесполезно. Нашли запись шурфа? Так вот: у вас пять горизонтов. Первый — глинистая корочка, «пустынный папирус». Мощность от ноль пять до одного сантиметра.

Совпадает? За ним — горизонт глинистых чешуек. Правильно?

— Да,— чуть слышно сказала Инна Васильевна.

— Пойдем дальше,— Баскакова назвала по памяти остальные горизонты.

Инна Васильевна молчала. Сколько было разговоров, надежд на эти такыровые пятна... Она тщательно изучала их весной, потом на предыдущем участке, теперь здесь, на новом. Хотела собрать материал для статьи в «Известия Туркменской Академии наук». Отнимала у рабочих заступ, сама долбила твердую глину, долбила до кровавых мозолей. И вот в одну минуту рухнули мечты... О такыровых пятнах все давным-давно известно.

К шурфу заплетающимся шагом подошел Вахрушев. Лицо его вдруг брезгливо сморщилось, словно на дне ямы сидел скорпион или мохнатая фаланга.

— Зачем здесь двухметровый шурф? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Мы хотели выявить мощность такыра,— сказала Инна Васильевна,— песок, подстилающий глину, появился на глубине двух с половиной метров. Пришлось отступить от инструкции.

— Напрасно! — Вахрушев сдернул и снова надел очки, он начинал нервничать.

— Да-а,— тихо, словно про себя протянул Баскаков,— тут уже не минутами пахнет...

— Мы впервые в пустыне, нам было интересно узнать,— робко сказала Инна Васильевна.

— Но вам некогда! — почти крикнул Вахрушев.— Понимаете, не-ког-да! Вы должны обследовать барханные массивы — они угроза номер один, а не ковыряться... здесь,— он с отвращением кивнул на такыр.

Баскаков сочувственно вздохнул.

— Да, мои дорогие друзья, Георгий Александрович глубоко прав. Одно из двух — или трудиться на пользу нашего народного хозяйства, или совершать общеобразовательные экскурсии по пескам. Третье исключено.

— А мы не хотим быть роботами! — вдруг вспыхнула Инна Васильевна.

— И предпочитаете работе туристские прогулки? — не повышая тона, мягко сказал Баскаков.— Этой корью надо бы переболеть раньше.

Атмосфера накалялась. Баскаков с надеждой взглянул на Вахрушева — понял ли тот, с кем имеет дело...

— Дайте ваш ватман,— бросил Курбатову Вахрушев. Он сел на землю, по-турецки скрестил ноги, стал разглядывать контуры.— А это у вас что? — черный ноготь указал на чуть намеченный пунктиром кружок в верхнем углу ватмана.— Не понимаю! Тут ведь чужой район.

Курбатов взглянул на кружок.

— Да,— несмело подтвердил он,— здесь участок Стефановича, но это на самом стыке.

— Что — на стыке?

— Очаг выдувания.

Вахрушев помолчал.

— Язва выдувания,— поправил он,— много их там?

— Мы видели одну, случайно обнаружили и вот... показали пунктиром.

Баскаков мельком заглянул в чертеж, ухмыльнулся:

— Предварительно обследовав?

Курбатов поднял голову, взгляды их встретились.

— А разве это так уж плохо, Лев Леонидович?

Секунду они смотрели глаза в глаза. Баскаков отвернулся первым.

— Да, плохо,— голос у него был вялый, ленивый,— не потому, что вы опять потеряли время — вы его не жалеете, ну и бог с ним! Плохо другое. Вы обидели Стефановича,— разве он сам не в силах обследовать этакую язвочку? А получилось именно так — вы без спроса вторглись на чужую территорию...

— Не думал, что для этого нужна виза,— резко сказал Курбатов.

Не принимая вызова, Баскаков промолчал.

Да, столкновение произошло, и выигрыш на стороне Баскакова. Этого и нужно было ожидать — противник он опытный, будет бить не сразу, сначала поиграет, как кошка с мышью, убедит Вахрушева, что курбатовцы — несмышленыши, а потом уж нанесет последний удар. Но почему Вахрушев все еще смотрит на ватман? Вот он поднялся, опять сел. На лице его отразилась борьба.

Я догадался — его беспокоит отмеченная пунктиром язва на соседнем участке.

— Вот что,— ни на кого не глядя, сказал Вахрушев,— сделаем так: товарищ Баскаков пусть продолжает инспек-

тировать, а я ненадолго отлучусь... возможно, там в глубине участка группа таких язв.

После ухода Вахрушева исчезло последнее звено, соединяющее оба отряда. Наш начальник и Калугин остались у злосчастного шурфа, чета Баскаковых пересекла такыр, расположилась на нежарком, северном склоне соседнего бугра. Не подходя к ним, я прилег невдалеке, стал просматривать записную книжку. Вдруг Агнесса Андреевна взглянула на ручные часики, испуганно вскрикнула:

— Бог мой! Двенадцать! Ты опоздал принять аскорбин! — Она вынула из полевой сумки аптечную коробочку, подала мужу.— Скорее!

Лев Леонидович стал было разворачивать порошок, но супруга схватила его за руку.

— Подожди! — Ее беспокойный взгляд обежал такыр, соседние склоны, вершины.— Бессовестный человек! Где он? Ну где же он? — плачуще повторила она.— Аполлон Фомич! — Голос ее, как у набирающей силу сирены, стал пронзительно-громким.— Прохорчук!

За соседним бугром раздался треск сучьев. Аполлон Фомич, прикорнувший было под сенью вечнозеленой эфедры, несся на зов.

— Термос! — прожигая его взглядом, выдохнула Агнесса Андреевна.

Лев Леонидович ласково погрозил провинившемуся:

— Ах он соня, ах шалун!

Дрожащими руками старичок развязал рюкзак, который не снимал, словно боевое снаряжение, и хотел подать термос, но Агнесса Андреевна выхватила его из рук оплошавшего специалиста.

— Дайте сюда, истязатель!

Она налила в черную пластмассовую стопку горячего чая, поднесла мужу.

Лев Леонидович осторожно высыпал на язык порошок, не обронив ни крупинки, скривился, быстро запил чаем.

— Теперь покушай.

Агнесса Андреевна достала из рюкзака геодезиста походную скатерть-самобранку — кожаный докторский баульчик. Расстелила на песке твердо накрахмаленную салфетку, поставила сиию пузатенькую кубышку с крошечной, как наперсток, коньячной чаркой. Затем появилась массивная сервизная масленка, баночка с чер-

ной икрой, сыр, тонкие ломтики французской булки, шоколад.

Лев Леонидович принялся полдничать. Ел он так же мастерски, как и работал: размеренными, точными движениями лупил яйца, щедро намазывал хлеб маслом, потом икрой, покрывал сыром и, широко открыв влажно-пунцовый рот, не спеша заглатывал пищу.

Расположившись у подножья склона, Аполлон Фомич с преданной улыбкой взирал на патрона. Кинь кус — подхватит на лету, как метровку или эклиметр.

Но Лев Леонидович, не думая ни о чем, сосредоточенно кушал; лицо его выражало наслаждение, почти счастье.

Вдруг от шурфа в конце такыра донесся голос Ларисы:

— Вниманию посетителей зоопарка: кормление хищников ровно в полдень.

Я встал, подошел к шурфу.

— Тише! Все слышно!

Лариса махнула рукой:

— Пусть! Авось скорее выгонят.

Сидевшая рядом Инна Васильевна удивленно взглянула.

— Как? Вы же работаете в лучшем отряде экспедиции. Такая богатая школа.

Лариса нахмурилась.

— Вы это серьезно?

— Конечно. А разве не правда?

— Значит, вы слепы, ничего не видите.

— Почему? Мы всё видим,— тихо сказала Инна Васильевна.

— Ага! Тогда я начинаю понимать, почему вы нас вызвали: хотите утвердить свою правду — поиск, искания... Берегитесь. Кривда не одной правде уже ноги сломала...

— Ну зачем же усложнять,— усмехнулась Инна Васильевна,— просто нам очень хотелось получить переходящее Красное знамя, и притом из рук главы экспедиции, самого Федора Михайловича Стожарского. Инженерам и рабочим он, по местному обычаю, обеими руками крепко пожмет руку, с начальником отряда расцелуется. Потом — кратенькое слово: о нашей неугомонной молодежи, опережающей стариков, о стариках — ветеранах пусты-

ни, что холят и лелеют эту неуемную молодежь. Тут он оберится к первому ряду: «Вечно юные душой ветераиы — вот оии: наш Лев Леоиидович и Агиесса Аидреевиа».

— А из зала крикнут: «И Стожарский»,— вставила Лариса,— но он не обратит внимания.

— Разве вы уже бывали здесь иа таких торжествах? — спросила Иниа Васильевиа.

— Здесь нет, я же первогодок в Каракумах. А вы?

— Тоже иет.

Они рассмеялись. Я искоса посмотрел иа Ларису: очень некрасивая, ио очень умная девица. С такой держись: оплошал — срежет.

— И все-таки у вас было бы Красиое зиамя,— вздохиула Лариса.— Если по правде — большая награда... Помню, как выносили его на пионерских сборах, на торжественную линейку. Ребята подняли руки — салютуют, и от волнения губы дрожат... Но где вам получить! Оно третий год стоит в палатке Баскаковых, в их гостиной. Полотиище развернуто — места хватает...

— Вот видите,— вздохнула Инна Васильевиа,— а получи мы — сразу зачехлят, поставят в профкоме, при штабе. У иас хранить негде — в обычную палатку ие войдет.

— И все-таки вы нас вызвали,— упрямо повторила Лариса,— пусть на свою голову, а вызвали.

— По-вашему, лучше иасвистывать «Маленьких лебедей»?

Лариса иичего ие ответила.

— Не понимаю! — Инна Васильевна сердито взглянула на Ларису.— Почему вы их ие бросите?

— Что вы! Как можно! — строго сказала Лариса.— Они же воспитывают меня и как специалиста, и как человека, учат хорошим манерам. Это сейчас так редко встречается... И многого уже добились: склоны я больше ие обследую, делаю общие описания по инструкции, укладываюсь в хронометраж.

— Так уходите самовольио! — почти крикиула Инна Васильевна.

Лариса вяло махнула рукой:

— Куда? Стожарский объявит дезертиром, выдаст волчий билет...

— Боитесь Стожарского?

— Боюсь! В песках он — сила. Не таких, как я, гнул. Воспротивишься, сомнет, как танк, в бархан вдавит...

Лариса оглянулась, заметила меня.

— А, молодой человек! Слушает крамольные речи. Ничего, это полезно — учитесь на жизненных примерах. Авось бросите описывать склоны, пока не поздно.

Я усмехнулся:

— Как вы?

— Как я,— печально кивнула Лариса.

Солнце перевалило за зенит, но в пустыне стало еще жарче, голые пески раскалились, к ним было боязно прикоснуться. Дрожащие потоки сухого, горячего воздуха подымались снизу. От света, от зноя перед глазами мелькали быстрые темные пятна, на руках, на лице летучей белой пылью выступила соль.

В горле сильно покалывало. Нестерпимо хотелось пить, но воду, как всегда, берегли — ее было мало: только прополоскать рот.

Вдали, на вершине показалась фигура Вахрушева.

Лариса поднялась.

— Достанется мне из-за вас, скажут: «Переметнулась к неучам, уронила честь ведущего отряда, вот она, благодарность современной молодежи» — и так далее. Слова все как пирожки на тарелочке — заранее готовы.— Она протянула руку Инне Васильевне.— Вставайте! Будем пока что насвистывать «Маленьких лебедей».

Лариса пошла на середину такыра, куда с бугра спускался Вахрушев. Он снял бобриковую кепку, полой спецовки протер очки.

— Жарко...— Глаза его стали маленькими, сощуренными, как у всех близоруких.— Язвочка пустяковая,— он взглянул на Курбатова,— вы засекли ее, и ладно. Барханное скопление далеко?

— Нет, через два пикета.

Все снова двинулись по ходу. Но теперь в колонне произошло резкое размежевание: чета Баскаковых уверенно шла рядом с Вахрушевым. Даже Аполлон Фомич следовал всего в полушаге от начальства. Зато мы, курбатовцы, двигались словно бойцы наголову разгромленной воинской части. Особенно подавленным выглядел сам начальник. Как посторонний человек, шел он вдали от всех.

Но вот мы достигли пересечения главного геодезиче-

ского хода и отходящего в стороиу бархаиов бокового двухкилометрового «уса» — визнра № 1. Вахрушев нетерпеливо смотрел на подходнвшего Курбатова.

— Мы вас ждем.

Старшнй мелноратор преобразился неузнаваемо. Бобриковая кепка сидела иабекреиь, придавая ему почтн лихой вид. Перевязь полевой сумкн прихвачеиа брючным ремнем. Брезеитовые голеиища подтяиуты. Казалось, Вахрушев готовится к бою с многолетним своим врагом — бархаиами.

Вначале кругом расстилалнсь те же жнвые зеленые бугры, увеичаииые теми же оцепенелымн от зноя саксаулами. Но сонливость, безразличне Вахрушева, исчезли. Он пристальио вглядывался в каждую вершнну, подозрнтельио осматривал каждый склон.

И вот показалась первая предвестиица беды: голая вершнна с рваиым краем. Крупиые желтые зубцы вгрызались в живую зелень склона, пока что одного — самого жаркого — южного.

Вахрушев, остаиовившись, впился глазами в развериутый ватман, облегчеиио вздохнул: стык здоровых песков с пескамн, затронутыми развеванием, был засечен точио.

Следы разрушеиия стаиовились все заметнее: желтые, жадиые, сухие языки тяиулись с вершин, слизывалн на склоиах живой нлак, подмииали кустаринки. И вот уже посерела, осыпалась густая вечиозелеиая эфедра, стала сквозной, как скелет. А вот на вершнне поверженый ветром склоиился к земле н тихо умирает гигант саксаул.

Еще котловниа. Это уже поле разгрома. Всюду непогребеииые кусты н деревья-мертвецы. Один повалились, другне вздымают к небу голые сучья. Из-под толстого песчаиого иавала выглядывает серая, похожая на метлу, верхушка каидыма, похороиеиного зажнво.

Я отломнл веточку. Оиа сломалась как спичка — с сухим треском.

— Все погибло...

— Все погибло,— как эхо послышалось рядом. Со мной поравнялся Вахрушев. Губы его были плотно сжаты. Поймав мой взгляд, он смущеиио отвернулся, ускорил шаг.

Незаметно исчезли округлые очертания бугров, их

сменили острые резкие грани. И вот уже всюду желтеют огромные рогатые барханы. Над гребнями их слабо курится песчаная поземка. Ветер усилился, стал горячим, порывистым. Мы шли теперь по глубокому песку. Нога увязала по щиколотку. Кругом стояли мощные пятиметровые сыпучие бугры. Солнце, ветер, мертвые барханы... Жизнь изгнана. Идущие рядом со мною Инна Васильевна и Лариса вдруг остановились.

— Смотрите!

На вершине бархана сидела маленькая ушастая ящерица. Она забралась под самое синее небо и пронзительно-резко чернела на его фоне. Были ясно видны круто поднятый кверху, с загнутым концом твердый чешуйчатый хвост, зубчатый от головы к спине — совсем драконий — гребень.

Обдуваемая ветром ящерица дышала порывисто и тяжело.

— Сейчас она нападет,— Лариса взбежала на вершину бархана.

Ящерица метнулась было в сторону, но ей преградили путь — место открытое, спрятаться негде. И ящерица приняла бой. Она остановилась, присела на задние лапы. Гребень на голове налился кровью. Глаза вышли из орбит, с шипеньем раскрылась пасть.

Инна Васильевна улыбнулась:

— Не пугайте ее.

— Так это же она меня пугает,— возразила Лариса,— кроха, а лезет в драку...

Ветер все усиливался, из-за барханных гребней он уже подавал голос — слабое посвистывание. Сухая песчаная струйка летела в лицо, слепила глаза.

Все вконец выбились из сил, отстали от Вахрушева и Баскаковых.

И тут из-за серо-желтого барханного гребня выглянула зеленая древесная верхушка. Вахрушев первым свернул вправо, пошел прямо на нее. Мы догнали его, когда он перебирался через невысокий, полуразрушенный песчаный барьер, отгораживающий ложбинку от ветров, от мертвых развеваемых песков.

У самого края ложбинки рос одинокий сюзен. В неравной борьбе уже пали большие селины. Сверху торчали их сухие верхушки, и только высокий, как юноша стройный, сюзен был жив. Он стоял насмерть, боролся до

конца. Пески окружили его со всех сторон, покрывая до пояса. Но серебристая крона непобедимо, как знамя, развевалась над ложбинкой.

Сюзен — одинокий герой — бросал вызов всем барханам, всем ветрам, ополчившимся на него.

Вахрушев стоял и молча смотрел на деревце.

Рядом возник Баскаков.

— Ах он забияка! Смотрите — еще хорохорится.

— Не трать, куме, силы, сидай на дно! — вдруг обрел голос подошедший Аполлон Фомич и залился визгливым, как у лилипута, смешком.

Он подскочил к сюзену, занес сапог.

— Чтоб не мучился...

— Не трогайте! — рядом с Аполлоном Фомичом вдруг появился Калугин.

— Ух! Страшно как! — задиристо крикнул резвый старичок.— А то что? Ваш он, да?

— Наш. Отойдите!

— Подумаешь, защитник! — протянул геодезист, но все же встал за спину Баскакова.

— Вы описываете такие сюзенники? — не обращаясь ни к кому, спросил Вахрушев.

— Описываем,— хмуро отозвался Калугин.— Что ж, мимо проходить?! Он вот последний остался...

Вахрушев повернулся к Баскакову:

— А у вас есть такие ложбинки с гибнущими пионерами?

Лев Леонидович простодушно развел руками:

— Ей-богу, не знаю. Должно быть, есть, но они же не ложатся в масштаб. Барханные массивы мы обследуем целиком, оптом. Тут не до пятачков с одинокими сюзенами. Нам работать надо! — Он решительно подвинулся к выходу из ложбинки.

Но Вахрушев не спешил. Он все стоял и смотрел на сюзен. Потом медленно пошел следом за Баскаковым. Лицо Калугина стало напряженно-взволнованным. Он растерянно взглянул на меня, на Курбатова, потом сказал:

— Как быть? Они же не туда идут!

Курбатов крикнул:

— Товарищи, вернитесь!

Лев Леонидович и его супруга оглянулись.

— Почему? — недоуменно спросил Баскаков.— Мы

идем обратно по вашему визиру, возвращаемся на главный ход.

— Нет,— сказал Курбатов,— у нас другая система. Визир «ломаный», у него есть второе колено — так охватывается большая часть барханного массива.

В глазах Баскакова мелькнуло радостное удивление.

— Простите... Я не понимаю, некий «ломаный» визир — это что, новое слово в геодезии? Кто же автор? Начальник отряда?

— Нет, не я,— твердо сказал Курбатов,— наш мелиоратор. Но мы все приняли его метод.

Лицо Льва Леонидовича вдруг сморщилось, большие немигающие глаза сузились. Он согнулся, взмахнул руками и вдруг залился беззвучным хохотом.

— Ох вы! Ох вы! — неожиданно тонким петушиным голосом выкрикнул Баскаков.— Да у вас весело! — Поперхнувшись слюной, он закашлялся, вытер веселые слезы.— Нет, ей-богу, это великолепно! Мелиоратор открывает новые горизонты в геодезии, почвовед открывает природу такыровых пятен. У нас — скука, работа по инструкции, хронометраж. Изо дня в день одно и то же. А тут — размах мысли, полет ума, игра воображения.

Агнесса Андреевна с Аполлоном Фомичом тоже покатывались со смеху. Она приложила к глазам сиреневый платочек.

— Ну, будет, Лев, будет... Нельзя так — это же молодежь.

— Господи! Да я ведь шучу,— добродушно оправдывался Баскаков. Он покачал головой.— Ну ничего, ничего. Это бывает. Человек в годах, попал среди молодежи, вспомнил юность, загорелся, это бывает...

И вдруг я увидел: возле Льва Леонидовича возникла пустота. Остались только Аполлон Фомич да Агнесса Андреевна.

Все остальные окружили Вахрушева, объясняют про «ломаные» визиры. Он сбил на затылок кепку, внимательно слушает.

Глаза Баскакова стали вдруг пустыми, неумолимыми, как у гипсового Зевса. Твердой поступью он подошел к Вахрушеву.

— По-моему, Георгий Александрович, данных для суждения о работе отряда товарища Курбатова имеется

у нас вполне достаточно. Теперь желательно, чтобы вы уделили малую толику времени работе вашего покорного слуги,— он взглянул на часы,— фактор времени... его упорно игнорируют, а он напоминает о себе. Посему не целесообразно ли вернуться обратно по старому маршруту?

Вахрушев хмуро смотрел вдаль. Пикеты «ломаного» визира уходили в глубь песков. Старший мелиоратор шагнул было к ним, но Баскаков почтительно удержал его:

— Виноват, Георгий Александрович, позвольте вам напомнить: еще утром у нас в лагере вы сказали: начальник экспедиции лично прибыть не смог, но очень просил вас сегодня же вечером ознакомить его с итогами нашей взаимной товарищеской проверки. А она непомерно затянулась.

Вахрушев вскинул голову и встретил непреклонный взгляд Льва Леонидовича. Еще с минуту он медлил. Лицо его вдруг обмякло, появились мелкие морщины. Наконец резким движением он выпростал из-под брючного ремня полы спецовки, сбил на лоб бобриковую кепку.

— Ладно, пошли! — и вслед за Баскаковым повернул обратно.

X

После инспекторской проверки в отряде все затаилось в ожидании грозы: вряд ли Баскаков удовольствуется победой в соревновании. Да, в сущности, им, опытным изыскателям, она была обеспечена заранее, но для оскорбленного самолюбия маститого «пустыннопроходца» одной победы, пожалуй, будет мало. Он наверняка захочет наказать самонадеянных первогодков.

Работа в отряде шла бесперебойно. Установилась хорошая погода — ясные, тихие дни. Как обычно, мы выезжали в пески на рассвете, возвращались затемно. Вечером на летучке Курбатов торжествующе кивал на тающую с каждым днем стопку «белых» — не отработанных еще — планшетов. Их оставалось совсем немного, зато росла другая стопка — планшетов, заполненных условными обозначениями.

Мы втянулись в работу, вошли в ритм.

Однажды, когда я, сойдя с грузовика, вошел в палат-

ку н лег на раскладушку в ожидании «обедо-ужина», сквозь прорезь заглянул Мурад.

— Пожалуйста, ндите кушать.

— А почему Илюша ие пpниесет в палатку?

— Начальиик сказал: «Будем теперь все вместе кушать возле кухни за столом».

Я поморщился: Курбатов как иоватор неистощим, с пронзводства переключился на быт...

Возле кухни все уже сндели за самодельным столом: длиниая широкая доска положеиа иа консервиые ящики.

Начальиик с улыбкой обернулся ко мне:

— Не возражаете против совместной трапезы? А то мы в песках друг от друга совсем отвыкли — встречаемся только на летучках, говорим только о делах.

Я молча сел рядом с Калугнным. Илья стал разиосить мискн с супом. Потом крупио иарезал хлеба, положил ломти посредиие доскн.

— Илюша, ты хотя бы газету подстелил,— укоризненио заметил Костя,— доска бог знает где валялась.

— Нет газет, все покурили,— отозвался повар.

— Сойдет и так,— примирительно сказал начальник.

Тем времеием все уже разобрали хлеб, стали крошнть в мнскн, делать «тюрю» — так и суп вкусиее, и удобнее: не иадо откусывать от ломтя.

За столом воцарилась тишина — все сосредоточенно елн, проголодавшись за миого часов работы в песках. Я искоса поглядывал на своего соседа. Калугнн ел медленно: набнрал полиую ложку с размоченным в супе куском хлеба, поддержнвая ломтем снизу, иес ко рту. Так едят солдаты на привале, колхознники, вериувшиеся с поля, вообще, люди большого, иепрерывиого пожнзнениого труда.

Отставнв пустую миску, Калугнн взял у Илюши кружку с чаем, помешивая ложечкой, обернулся ко мне.

— А наш геоботаинк так и утаил секрет — какнми чарамн удалось ему околдовать Льва Леонидовича? Это не шутка! Под коиец работ получить горючее, и прнтом — для кого? — для предерзостных курбатовцев! Я глазам своим не поверил: вижу — катнт к иам целая бочка баскаковского бензииа.

— Хорошо, хоть Баскаков ие знал, что мы иа верблюжьи скачки ездили,— засмеялась Иниа Васильевна,— а то иемедленно радировал бы Стожарскому о раз-

вале трудовой дисциплины. Мол, по долгу старого полевика не могу не сообщить.

— Думаю, что Баскаков и наш Юрий Иванович сошлись на почве общих литературных интересов,— Калугин легонько толкнул меня в бок,— что, не верно? Небось читал вам из «Фауста» — сначала по-русски, потом по-немецки? И Холодковского критиковал за неточность перевода?

Я удивился:

— А вы откуда знаете?

Кругом засмеялись.

— Теперь ясно,— с комическим вздохом сказал Калугин.— Интересом к Гёте вы его и полонили. Для него главное — почитать гостю наизусть «Фауста» в подлиннике. Потом он психологически мотивировал необходимость иметь в пустыне дом-палатку о трех покоях с библиотекой, с душем, с качалкой. Если вы всему этому восторженно удивитесь — Лев Леонидович вами покорен.

— И наоборот,— сказала Инна Васильевна,— если против шерсти погладите — конец! Вечно будет помнить, никогда не простит.

— А мы погладили,— печально произнес до сих пор молчавший Курбатов.— С тех пор как вызвали на соревнование его отряд, Лев Леонидович наш тайный, но непримиримый враг.

— Главное, что в мести своей такие, как Баскаков, неутомимы и беспощадны,— серьезно сказал Калугин.— Ведут бой только на уничтожение противника. А воевать они умеют и при этом придерживаются правила отцов-иезуитов: «Для достижения цели все средства хороши».

Инна Васильевна недовольно дернула плечом.

— Ну вот вы уже отходную нам читаете...

По лицу ее я видел: разговор о Баскакове неприятен, тягостен ей. Это было понятно: Инна Васильевна — застрельщица дерзкого вызова, а следовательно, и вражды к нашему отряду каракумского «патриарха».

Калугин спокойно повернулся к Инне Васильевне:

— Думаете, я как ворон каркаю? Нет! Просто я противник страусовой политики — при опасности прятать голову под крыло. Любую опасность надо предвидеть, чтобы подготовиться к борьбе с нею.

Инна Васильевна нервно засмеялась.

— Сергей Петрович, неужели вы считаете, что Баска-

ков так уж всесилен? По-вашему, он и отряд наш может расформировать?

Калугин выпил чай, поднялся из-за стола.

— Он — нет, Стожарский — да. Баскаков — сердцевед, умница. Начальник экспедиции давно танцует под его дудку.

— А я и не стараюсь покорно подставлять голову под удар! — вдруг горячо сказал Курбатов.— Мы не мыши, для которых сильнее кошки зверя нет. Надо будет, пристру́ним и Баскакова.

Инна Васильевна подмигнула мужу:

— Правильно, чего робеть! Ты у нас боец известный.

Это было очень жестоко. Курбатова передернуло. Он с трудом сдержался, чтобы не ответить резко. Мне стало жаль его: в конце концов, не каждый рожден борцом. Но я промолчал. Зачем вмешиваться в семейные ссоры?

Вмешался Калугин. Глядя прямо в лицо Инны Васильевны он медленно сказал:

— А вам не следовало бы иронизировать.

Инна Васильевна вспыхнула:

— Ага! Теперь, значит, не только Курбатов, но и вы упрекаете, что я подбила всех вызвать баскаковцев? Понятно: надо найти козла отпущения.

— Дело не в козле,— спокойно сказал Калугин,— вызвали их не только вы, а мы все, весь отряд, и вызвали, зная почти наверняка, что будем побеждены. Дело не в этом. Я хотел сказать другое: не следует постоянно подчеркивать в людях только их слабости.

Инна Васильевна смущенно молчала. Калугин понял ее, сказал уже мягче:

— Сейчас нам надо держаться вместе, крепко держаться. Перед нами противник умный, опытный и бесчестный. Сражаться с ним его оружием мы не будем: мы ведь уважаем себя. Правда? Но и позволить ему взять верх тоже нельзя. Это значило бы капитулировать перед злом.

XI

Через два дня был «добит» последний планшет. Работа окончена. Приехав с поля, мы стали упаковывать отрядное имущество, чтобы на рассвете сразу же отправиться в Казанджик.

Покачиваясь на ухабах в «домике» нашего грузовика,

я думал, вероятно, одну думу с Курбатовым, с Калугиным: как в штабе будет принята работа отряда, сочтет ли возможным начальство доверить нам новый объект? А если не сочтет? Если ошибки, промахи, огрехи слишком велики? Если отряд не оправдал себя? Тогда специалистов разбросают по другим отрядам. Я думал и сам удивлялся своим мыслям — ведь у меня с курбатовцами не было ни дружбы, ни вражды. Ко мне относились сдержанно, но я и сам не проявлял ни к кому особой симпатии. Нас связывала только работа, поле, остальное не трогало меня, не интересовало. Живя вместе с курбатовцами, я очень редко думал о них.

Меня заботило в основном одно: не дать сесть себе на голову. Чтобы этого не случилось, я в порядке предупреждения заранее показывал зубы. Видали, мол? Не кусаюсь, но, если придется, могу. Может быть, чересчур часто показывал, но это лучше, чем позволить подмять себя, поставить в жалкое положение: «Слушаю, товарищ начальник», «Все понятно, все сделаю, товарищ начальник». Нет уж! Этого от меня никому не дождаться.

В Казанджик мы приехали в середине дня. Сгрузив отрядное имущество, рабочие отправились по домам, специалисты — обедать.

В столовой людей было мало. Заняты три-четыре столика у стен, за одним сидели двое баскаковцев — Лариса и Олег, мелиоратор-практикант. Я видел его только раз, когда ездил к Баскакову. В инспекторской проверке Олег почему-то не участвовал.

Я поклонился Ларисе, она сухо кивнула. И тут я заметил: за самым дальним столиком в углу обедает в одиночестве третий баскаковец — Аполлон Фомич. Старичок был в своей неизменной ковбойке со множеством красных пуговичек. Рядом на стуле — белая пикейная панамка. Геодезист тоже заметил меня и смотрел выжидательно — узнаю ли. Я поздоровался. Аполлон Фомич поманил меня пальцем:

— Давно прибыли?

— Час назад.

— Передайте своему начальнику: его срочно ждут в штабе экспедиции.

Сообщив это, Аполлон Фомич отвернулся, стал тщательно разрезать отбивную, словно забоявшись, как бы его не уличили в крамольных сношениях с противником.

Мы сдвинули вместе два свободных столика, принялись за еду. После однообразных Илюшиных «обедо-ужинов» скромные нарпитовские блюда казались необыкновенно вкусными. Я передал Курбатову слова Аполлона Фомича. Начальник уныло махнул рукой:

— И без него знаю. После обеда пойду.

— Можно мне с вами? — спросил Калугин.

— А зачем?— отозвался Курбатов.— Стожарский еще больше озлится, скажет: «С защитником пришел». Пойду один.

Начальник покосился на буфетную стойку, где разноцветно переливались, играли на солнце всякие вишневки-перцовки.

— Может, взять по сто пятьдесят?

Инна Васильевна подняла строгие глаза:

— Ты что? За каждым твоим шагом сейчас следят. Хочешь, чтобы тебе еще пьянство пришили?

Начальник, понурясь, вздохнул.

Калугин встал:

— А почему бы и не выпить?

Провожаемый благодарным взглядом начальника, он подошел к буфету, заказал мужчинам по сто пятьдесят водки и портвейн для Инны Васильевны.

Я взглянул на Аполлона Фомича. Тот забыл про свою отбивную, уставился на наш стол,— верно, подсчитывал в уме принесенные Калугиным граммы. Вдруг Калугин поднял стакан и обернулся к баскаковскому геодезисту:

— Прозит!

От неожиданности старичок растерянно заморгал глазами.

— Чего?

— Ваше здоровье! Много лет усердной и преданной службы!

Грохнул хохот. Смеялась Лариса, с откровенным презрением глядя на старичка, смеялся Олег, по-детски уронив голову на стол. Смеялись все мы, курбатовцы. Аполлон Фомич не выдержал. Бросив недоеденную отбивную, он вскочил, схватил свою панамку и мелкой рысцой понесся к выходу. На пороге остановился, обернул назад сморщенное, пунцовое от гнева личико.

— Посмотрим, как вы будете смеяться завтра,— и выскочил из столовой.

* * *

Из штаба экспедиции начальник вернулся совсем убитый.

— Видел Стожарского, прошел мимо, еле поздоровался. На ходу сказал: «Завтра в девять совещание в штабе по итогам инспекторской проверки». Велел обеспечить стопроцентную явку всех специалистов.

— Докладывает Вахрушев? — спросил Калугин.

— Да, как арбитр от штаба. Содоклад Баскакова.

— Но ведь он заинтересованное лицо! — возмутился Калугин.— Его тоже проверяли!

— Именно потому, что он главное заинтересованное лицо в нашем разгроме.— Начальник горько усмехнулся, безнадежно махнул рукой:— Э, будь что будет, скорее бы все кончилось. Ожидание, неизвестность — хуже всего!

XII

Утром по привычке мы поднялись в шесть, наскоро позавтракали консервами. Илюша вскипятил на дворе чай. Время тянулось медленно. Мы слонялись по дому, поглядывали на часы. Без четверти девять начальник объявил: можно идти.

К штабу подошли одновременно с Баскаковым и его специалистами. Лев Леонидович первым всем вежливо поклонился, задержавшись у двери, галантно пропустил вперед Инну Васильевну. Он был, как всегда, в образцово отглаженной спецовке, в черном галстуке — предстоит официальная встреча с начальством.

Совещание проводили в комнате старших специалистов — самой большой в доме.

У стола Вахрушева уже сидели: он сам, главный инженер и Стожарский — полнеющий, лет сорока — сорока пяти блондин, с красивыми, чуть выпуклыми голубыми глазами, со следом пендинки на щеке — местный старожил.

— Прошу садиться, товарищи,— Стожарский взглянул на ручные часы,— все собрались точно, по-военному. Теперь задача — по-военному же, не затягивая, решить главный вопрос: как отряды справились с полевыми изысканиями.— Он обернулся к Вахрушеву:— Георгий Александрович, вам слово.

Вахрушев поднялся, одернул мятую, не по росту широкую спецовку. Начал он с Баскакова.

— Отряд, как всегда, выполнил задание в срок, качество вполне удовлетворительное.

— Баскаковым, чай, не впервой шагать по песочкам,— с усмешкой вставил Стожарский.

Лев Леонидович скромно потупился. Агнесса Андреевна, Аполлон Фомич так же смиренно опустили глаза. Только Лариса и Олег, сидевшие рядом у двери, не слушали докладчика; они по очереди что-то писали в блокноте и показывали написанное друг другу. Агнесса Андреевна долгим печально-укоризненным взглядом уставилась на Ларису, но та по-прежнему все так же быстро писала в блокноте.

Вахрушев говорил медленно, как бы нехотя, почти выдавливая из себя слова. Казалось, ему было невыносимо скучно говорить о Баскакове, о его точно в срок, как всегда, образцово обследованном участке. Наконец пошла цифирь: размеры площадей по типам песков — столько-то барханных, столько-то бугристых, заросших, полузаросших.

Я взглянул на Стожарского. Он сильно сжимал челюсти, чтобы не зевать, красивые глаза туманились слезами.

Вахрушев перешел к оценке работы нашего отряда.

— Теперь Курбатов. Что сказать? Молодой руководитель, первый год начальником, отсюда и достоинства, и недостатки...

— Главное, что преобладает? — не то спросил, не то вслух подумал Стожарский. Но Вахрушев не слышал реплики. Он заговорил о положительном, о хорошем. Все в отряде по-настоящему увлечены работой, полюбили пустыню, с утра до вечера в песках. Отработка планшетов не задерживается: данные с полевых абрисов сразу же переносят на ватман.

— Вечерами, после поля трудятся,— вполголоса заметил Стожарский.

— Да, много, очень много работают.

Вахрушев внимательно посмотрел на Курбатова, на Калугина и тут же отвел глаза. Я понял: сейчас заговорит о недостатках. Взглянул на Инну Васильевну, она не отрывала глаз от Вахрушева.

— Было бы иеосиовательио полагать, что у изыскателей-первогодков одии достижеиия. Нет, коиечно. Недостатки есть. Но оии особого рода — это достоииства в своем чрезмерном развитии.

— По диалектике,— со вздохом вставил Стожарский.

Вахрушев заговорил об увлечеиии деталями, об открытии уже открытого; сказав о иенужиой трате времеии и сил иа такыровые пятиа, ои вдруг оживился: попал иа свое больиое место. Подробно стал рассказывать про закладку глубоких шурфов иа каждом такыровом пятачке, про иеиужиые образцы почв, взятые с каждого мелкого такыра. Злосчастное увлечеиие Инны Васильевны грозило стать осиовиым пунктом обвииеиия.

А Стожарский уже ие скучал, иет, он слушал, виимательио слушал и что-то быстро писал в блокноте. Баскаковы со скорбиым видом смотрели в пол, и только Аполлон Фомич позволил себе слабую иасмешливую улыбочку.

Атмосфера иакалялась. Вахрушев говорил теперь иервио, волнуясь, почти злясь. Ои любил пески, отдал пустыие всю жизнь. Если изыскания проходили как положеио, это было иормой, об этом было сказаио обычиыми, спокойиыми словами. Так должио быть в песках, так и есть. О чем тут распростраияться? Но вот в общем способиые молодые люди, ие в меру увлекшись, заиимаются лишиими, иенужиыми делами. Это мешает им, отвлекает от главиого. А в песках темп, рабочий ритм — главное. Замедлил, выбился — сорвал график, не обследовал то, что должен был обследовать, обязаи был обследовать, не мог, ие имел права ие обследовать!

Вахрушев распалился. Большие уши его пылали, лицо дергалось. Сейчас ои боролся с иеиавистными ему огрехами в работе изыскателя вообще.

Я посмотрел иа Баскакова. Лицо его по-прежиему было печальиым, почти скорбиым. Красивая, седая, кудрявая голова оперта иа загорелую руку. Но вторая рука, лежавшая иа столе, была иеспокойна: ее длиииые смуглые пальцы с выпуклыми, коротко остриженными иогтями постукивали в такт голосу Вахрушева.

Сверкнув огромиыми стеклами очков, Вахрушев вдруг иавел их иа Курбатова, на Иину Васильевиу, увидел помрачиевшие лица и, словио споткиувшись, остаиовился иа полуфразе — поиял, что разошелся ие в меру. Ои смор-

щился, мучительно сглотнул слюну, как бы ища нужные, еще не сказанные, смягчающие слова. Поздно!

Стожарский встал.

— Кончили, Георгий Александрович? — И, не дожидаясь ответа, припечатал:— Так, ясно, понятно.

Обернулся к Баскакову:

— Не добавите ли, Лев Леонидович?

— Только два слова,— тихо проронил Баскаков.

— Можно и три,— пошутил Стожарский,— Георгий Александрович временем не злоупотребил.

Баскаков поднялся, и в комнате сразу стало почти тесно.

— Целиком присоединяясь к положительной оценке деятельности соревнующихся со мною молодых товарищей, я только позволю привести некоторые выкладки. Произведены они в интересах дела — не больше.

Спокойно, ровным голосом он стал читать. Было подсчитано: сколько времени отняли у нас необязательные операции; они перечислялись — пересчет кустиков илака на квадратном метре, отрытие, описание и взятие образцов на всех такыровых пятнах. Далее следовали: сбор лишних гербарных экземпляров, геодезические новшества, предложенные мелиоратором и, наконец,— лицо Льва Леонидовича осветила добродушная улыбка,— поездка в рабочее время в Казанджик на экзотические верблюжьи скачки; затем сообщалось количество человеко-часов, потерянных из-за нехватки горючего.

— Добро, у меня оказался небольшой запасец, коий я и одолжил соседям.

Некоторое время в комнате стояла оцепенелая тишина. Ее нарушил печальный голос Льва Леонидовича:

— Теперь спрашивается, сколько же времени осталось у наших друзей на скучные, по стандарту-шаблону проводимые изыскания?

Расчеты говорили: на работу выходило ничтожно мало часов.

— И спрашивается далее,— еще тише и печальнее произнес Лев Леонидович,— достаточно ли этого времени для молодых, малоопытных изыскателей, дабы произвести обследование всего района хотя бы с минимальным тщанием? Вот все, что имел я сказать,— закончил Баскаков.

Это был неожиданный и притом исполински-сокруши-

тельный удар. Сам Стожарский кинул на Льва Леонидовича почти испуганный взгляд. Под сомнение ставилась уже не только работа — сама репутация Курбатова, его добросовестность, его честность. И уже виднелась в перспективе глубокая проверка особой комиссией всей работы нашего отряда, и повторные изыскания, и привлечение начальника к строжайшей, возможно, не только административной, ответственности.

Стожарский тяжело взглянул на Курбатова.

— Что скажет начальник отряда? Верны приведенные выкладки, факты?

— Нет,— тихо сказал Курбатов.— Выводы товарища Баскакова произвольны и тенденциозны.

— Это пока только предположения,— осторожно вставил Лев Леонидович.

Стожарский всем корпусом повернулся к Курбатову, словно хотел смять его.

— А факты? Факты вы что, тоже отрицаете? В рабочее время на верблюжьи скачки ездили?

— Ездили, но не в рабочее время, а в циклон, когда изыскания проводить невозможно.

Стожарский усмехнулся.

— А скачками любоваться возможно... Дни циклона вы актировали?

— Да, как нерабочие.

Стожарский взглянул на Баскакова.

— А вы?

— Нет.

— Почему?

— Мы работали.

— И выполнили плановый гектараж?

— Как обычно.

И тут вдруг сидевшая у двери Лариса подняла руку:

— Позвольте справку.

Стожарский поморщился — совещание затягивалось.

— Давайте, только коротко.

— В циклонные дни мы не работали, мы обманывали экспедицию.

Стожарский сдвинул брови.

— Не понимаю. Объясните.

И тогда Лариса громко, четко, отделяя каждое слово, будто она читала нечто написанное крупными буквами, рассказала о том, как они с Олегом возражали против

выезда в циклон, как Лев Леонидович настоял на выезде. Они поехали, песок бил в лицо, слепил, мешал дышать. Они прошли километр и вернулись. Доложили начальнику: изыскания проводить нельзя. Тогда Лев Леонидович велел закартировать необследованный участок по аналогии с соседним участком, обследованным в тихую погоду.

— И на другой день был циклон. Лев Леонидович с Агнессой Андреевной опять остались в лагере, а нас послали в поле. Мы поехали втроем — я, Олег и Аполлон Фомич, через час вернулись, как и накануне,— ветер, песок не давали работать. А вечером Лев Леонидович опять велел закартировать необследованный участок по аналогии. Сказал: «Я знаю: там везде одно и то же — здоровые крупнобугристые песочки, барханов нет и в помине».

— И вы закартировали? — сухо спросил Стожарский.

— Я и Олег сначала не хотели — это же подлог! — но Лев Леонидович велел выполнять приказание; если не выполним, он сам закартирует, а с нас удержит из зарплаты за двухдневный прогул. И мы все сделали, как он хотел.

Лариса ненавидяще оглядела Баскакова.

— У меня все.

Снова наступила глубокая тишина. Лицо Баскакова оставалось по-прежнему спокойно-непроницаемым, будто ничего не произошло.

Стожарский спросил почти робко:

— Лев Леонидович, что вы скажете?

— Скажу, что сказанное правильно. Именно так и было.

— Вы приказали закартировать необследованный участок?

— Да, в виде исключения, ибо он ничем не отличался от соседнего участка, ранее нами обследованного.

— Это проверено?

— Да, проверено моим отрядом. Иначе я не пошел бы на подлог, как несколько смело сейчас здесь выразились.

Гроза, только что бушевавшая над нашим отрядом, неожиданно переместилась, поутихла. В голосе Стожарского раздавался еще глухой рокот, но уже только по долгу службы.

— Вообще картировать по аналогии — это недопустимый, порочный метод. Не знаю, как вы, многоопытный, заслуженный изыскатель, могли его применить...

— Именно только потому, что я, как вы, Федор Михайлович, изволили выразиться — многоопытный изыскатель.

Я почти любовался Львом Леонидовичем: ни единый мускул не дрогнул на его красивом, загорелом лице. То ли это была непоколебимая уверенность в себе, то ли наглость? Не знаю. Ведь факт оставался фактом: изыскатели по приказу своего начальника совершили подлог.

Лариса подняла руку:

— Можно сказать?

— Можно! — Стожарский был раздражен: он не ждал уже от Ларисы ничего хорошего.

— Лев Леонидович прав: необследованные участки были закартированы правильно. Они действительно похожи на соседние, уже обследованные. Мы с Олегом проверили это позже, когда утих циклон. Поехали туда и проверили, хотя Лев Леонидович очень сердился, говорил, что пострадает план, снизится гектараж. Но мы не могли иначе. Это бы значило остаться перед самими собой обманщиками.

— Постойте! — Стожарский понял: кажется, сейчас все станет на свое место.— В полевых материалах есть несоответствие натуре?

— Нет,— прямо глядя в лицо Стожарского, сказала Лариса,— наши с Олегом карты правильные.

— Почему же они ваши, а не отряда? — строго спросил Стожарский.

— Потому что работали по-настоящему я, Олег и Аполлон Фомич, а Лев Леонидович в основном только руководил, сидя в лагере. Он не любит выезжать в пески.

— Ну, здесь уж дело переходит на психологию, на личности,— торопливо сказал Стожарский.— Начальнику отряда, и притом отряда ведущего, виднее, как организовать работу. Толковать об этом нечего.

— А по-моему, есть о чем толковать,— упрямо повторила Лариса,— это же нечестная работа! Хорошо, что обследованный и необследованный участки оказались похожими. А если бы нет?

Стожарский стал медленно краснеть.

— Еще раз спрашиваю: данные ваших планшетов соответствуют или не соответствуют натуре?

— На этот раз соответствуют, но могло быть...

— А зачем нам судить да рядить, что могло быть? Для дела важен факт, а не ваши досужие предположения.

Лариса хмуро молчала. И вдруг, не прося у начальства слова, поднялся Калугин.

— По-моему, тоже есть, о чем толковать. Работать, как по приказу товарища Баскакова работали в данном случае его специалисты, это значит — развращать молодых изыскателей, толкать их на недобросовестный труд, на подлог.

Голос Баскакова был по-прежнему спокоен, но глаза побелели, расширились, стали огромными, как у гипсовой статуи:

— По-вашему, лучше срывать план и вместо изысканий заниматься прожектерством, кустарным новаторством?

— Нет,— сказал Калугин,— по-моему, прежде всего надо работать честно. Всегда и везде. А новаторство — оно совсем не обязательно для тех, кто работает как ремесленник, да к тому же чужими руками и не всегда честно, в чем мы сейчас убедились.

— И готов утопить всех неугодных,— тихо добавил Курбатов.

— Все! — властно повысил голос Стожарский. Он уже успокоился.— Вопрос ясен: поручаю товарищу Вахрушеву подготовить рекомендации обоим отрядам по итогам сегодняшнего совещания. А мы на этом закончим.

* * *

Угроза разгрома, нависшая над нашим отрядом, миновала.

Нам разрешен был короткий отдых. Через три дня последовали выводы Вахрушева. Подробно перечисляя подлинные прегрешения отряда, он с похвалой отозвался об инициативе Калугина и Курбатова в отношении «ломаных» визиров и рекомендовал штабу экспедиции взять новый метод на вооружение.

Неделя отдыха промелькнула незаметно. Мы читали подшивки московских газет за последний месяц, каждый вечер ходили в кино. Но вот Курбатова снова срочно вызвали в штаб. На этот раз уж никто не беспокоился — все знали: получать новый объект.

Начальник вернулся через час. Мы сидели возле дома, ждали.

— Ну как — радоваться или печалиться? — первым спросил Калугин.

Курбатов улыбнулся.

— Пока сам не знаю: наш новый район — еще недавно остров, сейчас полуостров Челекен. Это — пятачок, но он на редкость богат полезными ископаемыми. Вот жить там пока неимоверно тяжело: барханы вытесняют людей. Необходимо обуздать барханы.

— Что там за растительность? — спросил я.

— Трудно сказать. Челекен обследовали в основном геологи: перед революцией Вебер и Калицкий, позже — Ферсман. Они утверждают: Челекен лишен растительности.

— Разве ботаники там не бывали?

— Как же, бывали. Уже после войны полуостров обследовал один местный ботаник из Ашхабада, написал отчет, составил карту растительности. Но сейчас навряд ли это сохранилось. Землетрясение все перемешало. А если и есть, разве отыщешь в архивах? Там хаос. Над разборкой работать и работать. Мне говорил один аспирант академии: «Моибланы материалов».

— Если Челекен совсем лишен растительности, что же там можно найти для фитомелиорации? — сказал я.— Это — гиблый край.

— Нам нужны местные растения, которые не боятся ни засухи, ни засоления, ни барханов.

— Да где же их возьмешь?

Начальник вздохнул.

— В том-то и вся задача.

Это меня начало раздражать.

— Словом, как в сказке: «Пойди туда — не знай куда, принеси то — не знай чего».

Начальник помрачнел.

— С такими настроениями трудно работать в пустыне. Вы еще в глаза не видели Челекена, а уже разуверились в успехе. Для любителей легких побед Каракумы непригодны.

Я с вызовом посмотрел на него: это что, первый выговор от начальства? Но Курбатов отвел глаза, сложил карту, заговорил с женой о шпротах, которые забыл купить в Казанджике.

Ах, вот как... Значит, в отряде за мною утвердилась уже определенная репутация... Что же, на Челекене они изменят свое мнение. И чем труднее будет там, тем лучше. Думаю, что сил и способностей мне у товарищей по отряду занимать не придется.

XIII

Лето шло к концу. Солнце всходило позже, заходило раньше, но к полудню пески раскалялись, над голыми вершинами бугров дрожали струи горячего воздуха; нестерпимо сохло во рту, фляги с водой хватало только на полдня. Я все еще не мог приучить себя не пить в песках, а лишь прополаскивать горло.

Что-то ждет нас на Челекене? Здесь в жару можно хоть посидеть четверть часа в жидкой тени саксаулов. А в приморской солончаковой пустыне и укрыться негде — деревья там не растут.

Решено было не отдыхать: сдав отчетные материалы, сразу же отправляться в путь,— кто знает, как долго продержится тихая, ясная погода. Не за горами пора осенних песчаных бурь.

Дорога на Челекен шла вдоль Копет-Дага. Все чаще появлялись приметы новой пустыни — солончаковой, приморской. То здесь, то там на солнце слепяще блестели «шоры» с выступившей на поверхности солью. Соль, как вода, отражала солнечный свет: шоры издали казались голубыми озерами.

Наш грузовик приближался к Небит-Дагу. Впереди вставала коричневая громада Большого Балхана.

Начальник решил не делать в городе остановки, иначе засветло не попадешь на место.

За Небит-Дагом ландшафт резко изменился. Дорога шла среди огромных барханов, почти гор. Ветер усиливался, вершины барханов курились. Над ними подымалась мутно-желтая дымка. В кузове стало душно. Грузовик шел на первой скорости, перегретый мотор работал с трудом. Над радиатором появилось облачко пара.

— Вот! Чай готов! — раздраженно крикнул Басар.

Грузовик остановился. Надо ждать, пока остынет мотор.

Все окружили начальника. Разложив на подножке машины карту, он рассматривал изображение Челекена,

Полуостров был похож на птицу, летящую на запад. Я взглянул на масштаб. С юго-запада на северо-восток Челекен тянулся на тридцать километров. В поперечнике он наполовину короче. Две узкие, длинные косы — Куфальджа и Дервиш — «крылья птицы» — примыкали к полуострову с севера и с юга от него. Центральная часть западного берега круто возвышалась над морем. Отсюда начиналось небольшое плоскогорье Чохрак.

Инна Васильевна долго смотрела на карту.

— Подумать только! О таком пятачке пишут уже две тысячи лет!

— Значит, стоит того! — засмеялся начальник.— Мал золотник, да дорог!

— Задаст нам беды этот золотник! — сказал Костя.— Смотрите, что кругом творится! Как же тут работать с теодолитом?

Над барханами висела уже сплошная желтая мгла. В воздухе носилась пыль. Она слепила глаза, забивалась в уши, в нос, оседала на спецовке.

— Да, условия тяжелые,— согласился начальник,— геодезистам съемку делать здесь не слаще, чем почвоведу описывать шурфы, когда на голову метет с барханов. Поэтому надо спешить — к осени ветры усилятся.

— Геоботанику и мелиоратору легче всего,— заметил Костя,— ходи по пескам да солянки описывай.

— Ну, нет! — возразил начальник.— Ведь наша главная задача — закрепление песков. Как их связать, утихомирить? Попробуй реши... Над этой проблемой первыми будут ломать головы мелиоратор и геоботаник.

Грузовик двинулся дальше. Ветер крепчал. Ясный день померк. Костя опустил передний брезент. Стало хуже. Казалось, машину качает еще сильнее. Снова подняли брезент.

Подъехали к Михайловскому перевалу. За ним начинался высохший пролив — когда-то он отделял Челекен от материка.

Басар решил взять подъем с ходу. Но, пройдя десяток метров, машина забуксовала. Пришлось шалманить. Обливаясь потом, кашляя от пыли, мы бежали рядом с грузовиком, выхватывали из-под колес бревна, доски, снова бросали их под скаты. Подъем оказался крутым, но коротким. Вскоре машина взобралась наверх.

Запыхавшись, мокрые, стояли мы возле кузова, смотрели в затуманенную даль. Там лежал Челекен.

Вскоре из-за барханов выглянули высокие трубы озокеритового завода. Они то опускались, то подымались. Потом стали расти, расти. И вот перед нами огромные корпуса. В карьерах работают экскаваторы. Между карьером и заводом, по узкоколейке, посвистывая, ходит маленький тепловозик.

Мы въехали в рабочий поселок Дагаджик. Мимо больницы, магазина, клуба грузовик подошел к столовой — решено было пообедать: до пункта постоянного местожительства — поселка Карагель на восточном берегу Каспия — оставалось еще восемнадцать километров.

После обеда тронулись дальше. Грузовик выехал из поселка, поравнялся с электростанцией. Мы вышли из машины: электростанция была в осаде. Высокая каменная ограда полузасыпана песком. Барханы подступили к ней вплотную. Песок был везде — на асфальтовых дорожках, в охладительных резурвуарах; серые холмики подбирались к машинному отделению, к слесарной мастерской.

От Дагаджика вели две дороги — одна в районный центр, другая в Карагель.

Вот и он показался вдали — диковинный поселок на сваях. Когда-то сваи спасали дома от морского прибоя. Потом Каспий обмелел, отступил. Сваи стали спасать от барханов. Издали казалось, что дома стоят прямо на воде. Поселок был как бы сквозным. Синее, в белой пене, море виднелось в проемах между домами и поверхностью земли, вернее песка, ибо песок — полный хозяин в Карагеле. Сваи помогают спасти дом от засыпания. Ветер свободно проносит песок между ними. Дом на фундаменте подвергается яростной осаде. Рядом растут огромные бугры. Вершины их курятся. Песок сквозь щели в дверях, в окнах проникает внутрь. Избавиться от него невозможно.

Преодолевая песчаные сугробы, грузовик медленно двигался по единственной улице Карагеля. Барханы вторгались с востока. Они грозили завалить поселок. Я выглянул из кузова — по улице брела молодая туркменка в длинном красном платье. Она несла на руках ребенка, ноги ее глубоко вязли в песке. Песок выживал людей из поселка.

Подъехали к поселковому Совету. Через час нам были отведены квартиры в «свайных» домах.

— Сегодня — отдых. Завтра — разведка, послезавтра — в поход,— сказал начальник.— Барханы обнаглели. Надо с ходу вступать в бой.

* * *

...Вторую неделю работаем мы на Челекене. Приближается осень. Мы спешим — от зари до зари в поле. Работы много, времени мало. Надо составить почвенные, геоботанические, мелиоративные карты, надо разработать действенные меры для обуздания барханов. Пока что меры эти неизвестны. Но есть надежда их найти.

Растительность на Челекене есть. Она узкой каймой расположилась у самого моря. Здесь, и только здесь надо искать растения-пескоукрепители.

Начались поиски.

Геодезисты быстро набрали темпы, вырвались вперед; мы с Калугиным и Инной Васильевной скоро потеряли их из виду.

Главный ход начинался на окраине Карагеля, вел к морю.

Подойдя к Каспию, мы еще издали заметили густые тускло-зеленые заросли. Широкой полосой тянулись они вдоль берега. Вскоре на белой, покрытой ракушками равнине стали попадаться одинокие чахлые кусты. Это был сарсазан — невысокое, приземистое, невзрачное растение из семейства лебедовых. Чем ближе к морю, тем заросли гуще, кусты выше. Я стал обследовать сарсазанник. Кусты располагались близко один от другого, но не образовывали сплошного покрова. Других растений было очень мало. Очевидно, сильное засоление мог выносить только один сарсазан. И вдруг на границе сарсазанника и голой равнины я заметил невысокий редкий куст. На колючих ветках зеленели парные листочки, похожие на продолговатые лопаточки. На них блестел налет соли. Это была селитрянка. Так вот где она опять мне встретилась! Оказывается, сарсазан был не одинок.

Оба растения относились к замечательному типу солелюбов — галофитов. Галофиты не боятся засоления, наоборот — нуждаются в избытке солей. По словам Тимирязева, эти растения научились обращать себе на

пользу враждебные силы природы. В клеточном соке галофитов растворено много солей, в основном — поваренной соли. Галофиты — растения-«медузы», их тело на девяносто процентов состоит из воды.

Описание сарсазанника отняло мало времени. Я заглянул в журнал Калугина. Там значилось: «Рекомендовать сарсазан как пескоукрепитель на сильно засоленных песках».

— На безрыбье и рак рыба,— сказал Калугин.— Только вот беда: сарсазан — водолюб, растет на песках с близкими грунтовыми водами, эти пески — мокрые, слабо развеваются.

— Значит, эта находка сомнительной ценности,— сказал я.

— Ничего! Главное — не падать духом.

Я молчал, боялся ответить резкостью. Поучения Калугина всегда меня раздражали. Лучше уж ничего не говорить, чем выдавать такие унылые прописные истины. Но, видно, горбатого могила исправит...

Мы двинулись по геодезическому ходу. Близость моря умеряла зной. Слабый ветер гнал по Каспию легкие белые барашки. Невысокая волна с шумом накатывалась на пологий берег, разбившись на множество ручьев, тихо стекала в море. У берега плавали стаи черных лысух — морских курочек. Они вылавливали мелкую рыбу.

Со стороны Южной косы показались две узкие длинные лодки — туркменские рыбачьи таймуны. Лодки с двух сторон направились к стае, стремясь отрезать ее от берега и от моря. Птицы поплыли было в море, но таймуны быстро приближались. Вот уже можно различить охотников, гребущих одним веслом. Стая поднялась на крыло; сейчас же над лодками вспыхнули дымки, чуть погодя донеслись хлопки выстрелов.

Заросли сарсазана тянулись вдоль берега, уходили вдаль. Но наш ход, проложенный через заросли солончакового кустарника, круто сворачивал на восток. Мы снова вышли на белую от ракушек равнину. Еще издали темнели на ней пятна растительности — густые заросли солянки куш-гезн («птичий глаз»). С небольших кустиков с мясистыми листьями в упор смотрели на меня сотни широко открытых круглых глаз — золотистых, желтых, оранжевых, розовых. Это были яркие околоплодники с черным продолговатым зрачком плода посредине. Казалось,

целые стаи страиных птиц, мгновеино зарывшись в песке, притаились и зорко следят за каждым движением пришельцев.

Калугин, не глядя на соляики, хмуро молчал: кушгези совсем уж бесполезна для мелиорации.

За участком с солянками от главного хода отходил короткий двухкилометровый визир. Он шел в сторону мелких барханных песков. Здесь иачинались их первые скопления.

Ближе к морю ракушечный слой был покрыт мелкой песчаной рябью, ио чем дальше на восток, тем рябь все увеличивалась, превращалась в небольшие холмики, затем в бугры. Кое-где иа буграх росли кусты селитрянки. Между буграми серела южная полынь, виднелись редкие кустики кермека с мелкими сухими розовыми цветами. Кермек — «бессмертник»: сорванный цветок долго выглядит как живой.

Полынь и кермек кое-где были уже засыпаны, на поверхности торчали темиые сухие прутики.

Скудная растительиость Челекена отступала перед могучими, разрушительными, убивающими все живое силами пустыни.

На главный ход возвращались совсем подавленные. Почвоведы были уже здесь. Ииииа Васильевна рыла шурф на участке с селитрянкой. На выброшенной земле сидел Мурад.

Я сел рядом. К чему эти шурфы, эти ходы, визиры, если на Челекене нет растений-пескоукрепителей? Но здесь, говорят, был ботаник из Ашхабада. Что, если попытаться получить его материалы? Может, ему удалось найти нужные нам растения. Тогда, сразу же после войны, было ие до того... А если написать в Академию наук? Вдруг ответят? Как-никак — помощь иауки практикам, полевикам. Сами мы иичего не найдем, это уже ясно. Но вот как писать — от имени отряда или от себя? От отряда вернее: это коллектив. Но согласятся ли начальник, Калугин? Дескать, буксир просим. А престиж отряда? Обвинят в неверии в свои силы, в капитулянтских настроениях...

Солнце стояло уже высоко, но возле моря жара почти не чувствовалась. А надо было идти в глубь Челекена, к раскаленным барханам, наносить их на план, искать пескоукрепитель, искать почти без надежды иайти.

— Пошли.— Калугин быстро поднялся.

С вершины огромного бархана мы спустились в котловину.

На склоне его виднелась чахлая поросль кандыма, рядом растопырила ветки вездесущая селитрянка.

— До чего же неразборчивое растение! — сердито сказал Калугин.— На шоре селится рядом с водолюбом — сарсазаном. Здесь живет среди сухолюбов — рядом с полынью, даже с кандымом.

— Да, встречается везде, а что толку? — отозвался я.— Подвижных песков боится так же, как и другие.

Чем дальше на запад, тем растительность становилась беднее. Я механически вел записи, отмечая в журнале номер пикета, писал: «Растительность отсутствует».

Работа шла по-прежнему, но теперь мы выезжали в пески почти без надежды на удачу.

Вечером, прикладывая один к другому испещренные условными знаками полевые планшеты, я видел: все четче вырисовываются контуры будущей геоботанической карты Челекена. Но на этой карте пока нет главного — местообитания растений, которые могут стать непреодолимой преградой на пути подвижных песков.

Не найти нужный пескоукрепитель — это не только признаться в своей несостоятельности: Челекен останется во власти барханов. Правда, их можно временно укротить; для этого служат механические защиты — маты, сплетенные из травы, из веток. Но маты надо завозить на Челекен, потом раскладывать вручную по барханам.

Тысячи матов... Через год они износятся, сгниют. Начинай все сначала. Замешкаешься — барханы вырвутся на волю, опять полезут в поселки. Нет, не для этого нас посылали на Челекен.

Вернемся с изысканий, руководство экспедиции спросит: «Ну как, нашли пескоукрепитель?» У кого спросят? У меня, у геоботаника. Мелиоратор? Он только проектирует защитные полосы из живых растений на угрожаемых участках. А что я могу предложить для этих полос? Сарсазан да солянку куш-гези?

Ну а если бы мне повезло, если бы я нашел пескоукрепитель? Чья заслуга? Всего отряда, всех курбатовцев.

Хотя самое главное, самое трудное сделано мною, только мною. Так почему же я должен говорить «наш пескоукрепитель», если на самом деле он мой, только мой?

Я поймал себя на мысли: делю шкуру неубитого медведя. А если «медведь» вовсе и не обитает на Челекене?

Как же быть? Вернуться в Казанджик с пустыми руками? Принять на себя основной удар? «Геоботаник отряда № 2 впервые в пустыне, вот он и не справился с задачей». Так скажут обо мне, и скажут справедливо, правильно скажут! Нет, этого не будет, не должно быть! Надо сделать все, чтобы найти пескоукрепитель. Любой ценой найти. И тогда пришло решение — срочно написать самому в Туркменскую Академию наук, попросить совета, помощи. Но ни Курбатовы, ни Калугин не должны знать о моем письме. Зачем? В случае провала еще высмеют: мол, ухватился за соломинку, да не помогло — пошел ко дну. А если успех, удача, скажут: «Мы, курбатовцы, проявили инициативу; нам, курбатовцам, помогли ученые». И я, застрельщик, буду обезличен, растворюсь в толпе ликующих победителей. Нет уж! Пусть будет моим и поражение, и успех. Ни с кем не хочу делить ни того, ни другого!

Вечером, вернувшись с поля, я пошел на почту, написал и отправил письмо в академию. Теперь надо ждать ответа. Лишь бы он пришел, пока мы еще здесь, пока на планшетах контуры не зачерчены косыми штрихами — унылыми знаками механической защиты.

Прошла неделя. С каждым днем работать становилось все труднее — мешал ветер. Он гнал нас с поля.

Как-то, выйдя из машины, начальник сказал:

— Если завтра ветер усилится — сидим дома.

Начинались вынужденные простои. Поражение становилось неотвратимым...

Я решил зайти на почту. Чем черт не шутит...

Девушка-туркменка улыбнулась из окошечка.

— Хотела завтра идти вас искать. Письмо еще вчера пришло.

— Письмо? Мне?

— Да, большое письмо, целый пакет из Ашхабада.

И вот я держу в руках большой служебный конверт. Наверху гриф — «Туркменская Академия наук». Что в нем?

У меня еле хватило выдержки не распечатать тут же, на почте.

Дома зажег лампу, нарочно не спеша вскрыл конверт. Аккуратно соединенные скрепкой листки, текст напечатан на машинке. Это был краткий геоботанический отчет некоего Вознесенского, научного сотрудника, обследовавшего Челекен в 1946 году. К отчету приложена карта растительности.

Я всматривался в знакомые очертания маленького пыльного полуострова.

Он был покрыт штриховкой, точками, крестиками, кружками — условными обозначениями растительных группировок.

Я достал из папки уже готовые абрисы — сравнить с картой Вознесенского.

Невероятно! На карте показана совсем другая растительность.

Свет лампы был слабый. Я вынул лупу, стал сличать контур за контуром. Центральная часть Челекена, занимаемая невысокой возвышенностью, была теперь голой, а на старой карте ее покрывали густые заросли солянки — тетыра. От них остались только маленькие, не укладывающиеся в масштаб островки. Севернее тетырников располагались участки с растениями-пионерами — черкезом, сюзеном, селином. Они росли в межбарханных ложбинах. Сейчас пионеры исчезли. На их месте — редкая полынь. А что это отмеченное косой штриховкой? Я заглянул в легенду: «Кияковый селитрянник». О селитрянке говорить нечего — неинтересное растение. Но кияк! На Челекене растет кияк — первоклассный укрепитель волжских песков, крупный многолетний злак с мощноразвитой корневой системой. Я встречал его и в природе, и в гербарии. Можно ли было думать, что граница распространения кияка заходит так далеко на юг!

Участки с кияком были показаны на обеих косах — Дервише и Куфальдже. Кроме того, он есть и в центре Челекена — возле Дагаджика. Значит, кияк растет и в приморской полосе — в районе повышенной влажности, сильного засоления — и в межбарханных понижениях. Правда, здесь — маленькие островки. Они могли исчезнуть под натиском барханов. Но на косах показаны целые заросли, а развевание слабое: возле моря песок влажный. Значит, там, только там и искать кияк.

Я взглянул в окно: поздний вечер перешел в ночь. Придется ждать рассвета. О сне и думать нечего. Сейчас десять,— это семь часов сидеть в комнате и смотреть на густые заросли кияка на бумаге, только на бумаге. А он отсюда в двадцати километрах, растет многие годы. Но его нельзя увидеть, увидеть сейчас, немедленно, надо ждать утра.

Что ж, пока займусь отчетом Вознесенского. Я стал читать описание растительности. Но сосредоточиться не мог. Взглянул на часы. Неужели всего час назад была безнадежность, тупик? И все прошло, все рассеялось. Меня ждет большое, важное открытие!

Как же быть дальше? Найти кияк, показать его курбатовцам? Но это — подарить его отряду, отдать всем! Отдать то, что, по счастью, нашел один. Курбатовы, Калугин, Костя, рабочие сейчас крепко спят; завтра будет ветер,— останутся дома. Я один проведу бессонную ночь, с рассветом пойду на Южную косу, буду искать кияк. Может быть, найду не сразу,— прошли годы. Границы местообитания могли сместиться. Придется пройти весь Дервиш — двадцать километров. Возможно, придется ночевать в песках, но я знаю одно: с пустыми руками в Карагель не вернусь, приду только с кияком. И что тогда?

«Товарищ начальник, вот я нашел отличный пескоукрепитель. Его можно рекомендовать в проекте наших изысканий по Челекену». Так, что ли? Нет! Не так! Надо дать срочную телеграмму в штаб экспедиции — сообщить о находке, о моем открытии, о моей победе. Пусть знают: все опустили руки, все предались унынию, и только один человек не сдался: он думал, он действовал, он искал — и нашел, спас положение.

Захотелось пить. Я вышел в кухню, зачерпнул из ведра. Вода была невкусная, опресненная, перегнана из морской. Своей воды почти нет на Челекене. Пока нет. Но скоро придет вода из пустынного озера Ясхан. В поселке зазеленеют деревья, за околицей протянутся широкие полосы, целые поля, засеянные кияком. Он высокий — метр высоты. Густые кияковые нивы будут шуметь на ветру. Корни кияка глубокие, густые корни прошьют пески, свяжут их, успокоят, заставят смирно лежать: ветры больше не подымут песчаных бурь. Над Челекеном будет дуть свежий ветер, чистый морской ветер с Каспия.

Я вышел из дома. По календарю сейчас полнолуние. Если небо ясное, можно не ждать утра, в движении скоротать ночь. К рассвету буду на месте, начну поиски.

Я отворил наружную дверь и только по ветру почувствовал, что стою под открытым небом — кругом была непроглядная тьма. Земля и небо неотличимы. Потом глаза привыкли — чуть заметно проступил из темноты песок. Нет, идти нельзя, сразу же заблудишься, не найдешь дороги обратно, в дом. Значит, надо ждать. А если к утру ветер усилится, подымется песчаная буря — что тогда? Сидеть дома, пока утихнет? Нет! Не может случиться такое несчастье, такая беда.

Я вернулся в дом. Что делать, чем заняться до утра? И вдруг мелькнула мысль: карта Вознесенского сейчас в одном экземпляре!.. Это же страшно! Она может затеряться, пропасть. От этого бумажного листка зависит судьба изысканий, судьба Челекена, его будущее. Надо немедленно сделать копию, даже две копии; одну с подлинником оставить дома, другую взять с собой.

Я достал тушь, начал чертить. Потом два раза переписал легенду.

За окном была та же глухая темень. Я открыл форточку: как погода? В комнату потянуло влажной свежестью — дул ветер с Каспия. Это лучше, чем с материка — не подымет песок. Впрочем, ветер может и перемениться. Главное, чтобы скорее наступил рассвет.

Желтый язычок в лампе дрогнул. Я быстро закрыл форточку. Но язычок снова дрогнул, сжался, припал к темному фитилю. Потряс лампой — пусто, керосин кончился. Идти в сени, шарить в темноте, искать бидон не хотелось.

Лампа погасла, в комнате слабо запахло керосиновым чадом. Я снова открыл форточку, лег на раскладушку. Как только начнет светать, выйду на косу.

В лицо слабыми порывами дул ветер, нес запахи морской воды, мокрого песка. Сколько же еще ждать? Два, три часа? Надо было взглянуть на часы, пока горела лампа. Хотя все равно — утро этим не приблизишь. Спать не хотелось. Я закрыл глаза, открыл — почти так же темно, только чуть заметно синеет прямоугольник окна. Все-таки неплохо бы вздремнуть, впереди трудный день — поиски кияка, много часов на ногах, но спать рискованно: не проснешься вовремя — встанут курбатовцы.

Как быть тогда? Сказать о письме илн умолчать, поехать иа очередиые изыскаиия, бесплодиые, никчемные поиски? Нет, иет, только не спать... Я прикрыл глаза и почувствовал, что куда-то проваливаюсь, погружаюсь в иечто невесомое, мягкое, теплое и уже не могу очнуться — рукн, иоги, все тело словио чужое, уже не повннуются мне. Я борюсь, хочу открыть глаза, встать с раскладушки. Борьба с соиным оцепенением длится короткне мииуты. Накоиец открываю глаза. В лицо смотрит четко обозиачениое, уже совсем светлое окио. Я вскакнваю, хватаю со стола часы. Хорошо вндеи циферблат — половниа шестого. Сейчас будет побудка. Еще иемиого — и сколько осложиеиий, сколько неприятиостей!

Несколько мииут — и я уже с гербарной папкой, с флягой на боку выхожу из дома. Совсем рано. Поселок спит. Небо уже светлое, затяиуто сплошной облачной пелеиой, ио ветер ие усилился, по-прежиему — с моря. Дай бог, чтобы ие перемеиился!

Я прошел по пустыииому Карагелю, свериул к косе Дервиш. Кияк показаи примерно на третьем-четвертом кнлометре. Зиачит, через час я уже найду его. Возьму в папку стебли н лнстья, оконтурю на карте — и дальше: иадо выявить все местообитаиия. Возможио, позже будут собирать семеиа кияка, высевать их на барханах.

Стало уже совсем светло, хотя солица ие видио. День пасмурный.

Я шел уже по косе Дервиш. Справа н слева расстнлался хмурый серый Каспий. Казалось, море совсем близко — рукой достать, хотя от середины косы до каждого из берегов было по километру.

Со вчерашнего дия я иичего ие ел, ио, кроме пары галет, случайио оказавшихся в полевой сумке, у меия иичего ие было. Я съел галеты, запнл водой из фляги. Хоть иапиться вволю. Сегодня ие жарко. Половииа флягн осталась про запас. Надо бы оставить побольше, ио я так н ие иаучился беречь воду в песках. Вода всегда есть у рабочих, на грузовике полои бочонок. Без иего в пески запрещено выезжать. А я сегодия? Ну, сегодия контрабандиый выход. Хватятся в отряде — иет геоботаиика. Куда девался? Еще, пожалуй, переполох подымут.

Ничего! К обеду буду дома. На обратиом путн надо сразу же на почту — дам телеграмму в штаб экспедиции, а потом уже: «Вот, дорогие товарнщи, вы еще спалн, а я

смотрите-ка что принес!» Но кто оценит находку? Разве что один Калугин, он знает толк в пескоукрепителях, а для остальных княк — просто трава. Не видели никогда, не читали о нем.

Я уже давно в пути. Коса постепенно сужается — до обоих берегов все ближе и ближе. Но княка все еще нет, ни одной дернинки не видно.

Сверился с выкопировкой, сделанной ночью. Карагель давно скрылся за буграми. Вдоль косы тянется невысокая песчаная гряда. На ней густые колючие кусты — селитрянка. Других растений почти нет. Направо и налево от гряды до самого моря простираются пески-ракушечники. Маленькие каменно-твердые «домики» морских улиток, миллионы пустых, целых и разбитых ракушек устилают оба берега. Песок здесь не серый, а белый. В ясный день он, должно быть, матово светится, отражая солнце. Но сейчас солнца нет. Вверху глухое, низкое серое небо. От него и море серое. Кажется, подойди к воде — даже на мелководье не увидишь дна: серая вода почти не прозрачна, ничего сквозь нее нельзя рассмотреть, темное дно только угадывается где-то в глубине.

Взглянул на часы. Ого, начало восьмого. Я остановился, приложил ленточку миллиметровой бумажки к карте Вознесенского. Странно, здесь уже показан княк. Не очень много, отдельные пятна на песчаной гряде, посредине косы. Но пятна легли в масштаб, это в натуре — десятки квадратных метров, а пока нет ни одного растения. В чем же дело?

Пожалуй, можно посидеть, отдохнуть. Есть хочется. Галеты что? Будто их и не было. Глупо получилось, надо было взять с собой хоть хлеба. Но дома ничего не было, пришлось бы идти к Илюше. А он наверняка поинтересовался бы: зачем хлеб? Никогда никто не берет.

Хотя не жарко, но от долгой ходьбы захотелось пить. Я сделал два больших глотка. Довольно,— воды во фляге меньше половины. А еще идти и идти. Неизвестно, когда встретится княк. По карте до сплошных зарослей сколько же? Неужели десять километров? Это вдвое больше, чем пройдено. Но зато уж там я сделаю большой привал — надо подробно исследовать местообитание. Вот только хватило бы воды. Одна фляжка — это пол-литра. Второй у меня вообще нет. Не просить же было у начальника, у рабочих! А сейчас хорошо, если полфляги оста-

лось. И это на весь путь — туда и обратно. Да, небогато, совсем небогато. Но иадо держаться, что поделаешь... Песок на гряде иеглубокий, плотный. Идтн легко. Это уже хорошо.

Вдруг впереди иа правом берегу я увндел брезеитовую палатку. Здесь людн? Нет, мие положнтельио сегодия везет. Вероятио, иаграда за все, что прншлось пережить, вытерпеть, пока работал в отряде.

Я свериул к палатке. Вскоре стали видиы воткиутые в песок длиниые колья для сушкн сетей. У самой воды до половнны вытащеиная на берег лодка.

Рыбаков было двое. Они сидели на корточках, спииой ко мне, чииилн сеть.

Я кашляиул. Оба разом огляиулнсь. Это былн совсем молодые туркмеиы. Старшему лет восемиадцать. Младший — худенький, ннзкорослый, почтн мальчик.

Поднялись, опустили руки, первыми разом поклоиились, как школьнннкн.

Я попроснл воды.

— Вода в челеке. Набрать? — Рыбак протянул руку за флягой.

— Спасибо, сам иаберу.

Я зашел в палатку. У стены стоял челек с водой, тяжелый, иепочатый. Как же налить? Надо осторожио — пресиой воды здесь в обрез. Я поискал глазамн. Ага, вот медный кувшии. В нем вода. Я долил флягу, вышел из палатки. Поблагодарив ребят, двииулся дальше.

Вода есть. Это главное! Правда, ие мешало бы подкрепиться, от голода уже чувствовалась легкая слабость, ио ничего, до сплошиых зарослей кияка, показаниых на карте, ие так уж далеко.

Я взглянул на море. Оно еще более прнблизнлось. С гряды были хорошо видиы светлые барашки, вскнпающие иа темиых, почти чериых волнах.

Я шел медлеиио, боясь упустить появление первых кустиков кияка. Их ие было. По-прежнему на гряде торчали лишь редкие кусты селитряики.

Ветер усиливался — дул с востока, сбивал в стороиу, тесиил с гряды. Когда я подходил к кусту селитряикн, слышалось слабое посвнстываине. Ветки гиулись, припадая к земле. В лицо хлестал сухой солеиый песок. Видимость резко ухудшилась. Косу, уходящую вдаль, заволокла желто-серая мгла. Это курнлнсь на ветру невысокие

длинные дюны, наметенные у обоих берегов. Надо взглянуть, есть ли они на карте. Свериться с нею было нелегко: ветер рвал ватман из рук.

Я сел на землю, с трудом развернул карту: дюны не показаны. Вознесенского интересовала растительность, а не рельеф; здесь рельеф все время меняется. Да и дюн в то время могло еще не быть.

Надо идти. Почти бессонная ночь, ходьба против ветра, слабость от голода — все это почти обессилило меня. А кияка нет, и неизвестно, когда появится. Сейчас каждый шаг дается с трудом. Что же делать? Вернуться? Нет, ни в коем случае! Надо идти, идти и обследовать песчаную гряду до конца. Кияк здесь, не мог он совсем исчезнуть. Здесь зона его распространения, не будь ветра, уже нашел бы, пусть не заросли — отдельные куртины. Главное — не падать духом, идти вперед, смотреть под ноги. Смотреть под ноги... Вот именно! Сейчас я могу видеть вокруг на каких-нибудь два-три метра, не больше, и то надо наклоняться, всматриваться — песок слепит глаза. Не взял очки... в них было бы легче, хотя очки быстро запотевают, да и видно в них гораздо хуже.

Я остановился,— сердце стучало, как после сильного бега. Хотелось одного — лечь на песок. Нет, нет, только не поддаваться. Сегодня решающий день, мой день, день победы или поражения. Вот сейчас надо сесть, выпить воды, отдохнуть и идти дальше. Кияк уже недалеко, некуда ему деться. На косе люди почти не бывают, выпаса нет: в Карагеле скот не держат. Значит, надо идти вперед и искать.

Я вынул пробку из тяжелой фляги, поднес горлышко к губам и сейчас же опустил — вода была горько-соленая. Все ясно: налил из кувшина морской воды. Боже мой! Как же можно было забыть, что здесь на косе, пресная вода — ценность? Ее только пьют. А в медном кувшине — вода для умывания. Удобнее из кувшина, чем ходить к морю... Не догадался попробовать, проверить...

Сразу ослабело все тело, руки, ноги будто ватные. Во рту вдруг пересохло, нестерпимо захотелось пить... хотя бы глоток воды, всего один глоток пресной воды. Морской нельзя — будет еще хуже, начнет тошнить...

Я вылил воду из фляги. Она мгновенно ушла в песок. И песок почти не потемнел, не увлажнился, такой же сухой, светло-серый...

Мне вдруг стало страшно — один в пустыне, без воды, без пищи, и ветер все сильнее: циклон вернулся. Сколько же времени так будет продолжаться? А если я не смогу дойти до Карагеля, пролежу здесь весь день и всю ночь, совсем ослабею? Кто мне поможет? Никто! Никто не знает, где я, куда пошел... Правда, рыбаки видели, но они заняты своим делом, подумают,— обратно прошел стороной. В песчаной мгле не увидишь... Сидят сейчас в палатке, застегнулись на две полсти, ждут, когда утихнет ветер. А когда он утихнет — завтра, послезавтра, через неделю? Осень близко, пора циклонов...

Взглянул на часы — двенадцать, полдень... Уже шесть часов я в песках, до вечера далеко. Хотя не так уж далеко — с каждым днем раньше темнеет. Ночи уже длинные. Сегодня как долго ждал утра, и вот дождался, пошел за кияком, один, без посторонней помощи хотел найти...

Надо вставать. Ветер сразу же налетел, сильно толкнул, попытался свалить. Но я устоял, только пошатнулся. Попробую идти.

Я поднял воротник спецовки — защитить лицо от песка — и побрел вслепую, стараясь только не сойти с гряды. Надо считать шаги. Сделать сотню — остановиться, передохнуть. Потом еще сто, еще... Пока не доберусь до рыбачьей палатки. Хотя нет, какая палатка... Я не увижу ее отсюда, с гряды. Утром увидел, когда было тихо. Значит, придется идти так до самого Карагеля, километров двенадцать. По два километра в час — это шесть часов. Но разве я иду по два? Дай бог, километр, от силы — полтора. Это сейчас, а дальше? Пить очень хочется, и в горле больно покалывает, как при ангине.

Я закрывался воротником спецовки, но песок все равно попадал в нос, в рот, в уши. Сухой кашель заставлял останавливаться. Отдышавшись, через силу брел дальше, брел на ощупь, стараясь только не сойти с песчаной гряды, которая, нигде не прерываясь, тянется через всю косу.

Как глупо, как непростительно глупо я поступил! В отряде если бы и захотели помочь, не смогут: не оставил даже записки. Как догадаться, где я — в Азизбекове, в Дагаджике, на Дервише, на Куфальдже? Затеряться легко: Челекен не такой уж маленький.

Идти все труднее. Я уже не выдерживаю ста шагов,— что ж, буду отдыхать через девяносто. Хотя нет, так мож-

но уменьшать и уменьшать. Надо вытягивать всю сотню. Надолго ли? Ясно: до конца меня все равно не хватит — еще километр, ну два, не больше, и придется лечь, будь что будет. Лечь и... и не встать? Нет, надо идти! Упаду — буду ползти. Иначе погибну не только я, погибнет дело, из-за которого пошел сюда, на косу: никому не придет в голову рыться в моих бумагах, искать карту Вознесенского, отчет. О них не знают.

Вдруг я поймал себя на хитрости, на самообмане: отсчитываю целый шаг, а делаю всего полшага... Может, увеличить привалы? Отдыхать по часам — скажем, ровно десять минут? Но тогда меня застанет ночь. К ветру, к песку прибавится темень, холод. Нет, надо идти.

Внезапно в однообразном шуме ветра мне послышался слабый крик, крик без слов:

— А-а-а...

Я встал, приложил к ушам ладони.

Нет, ничего не слышно... Показалось, померещилось. Да и кто здесь может кричать? Кто будет искать меня?

Я двинулся дальше, но, отсчитав десяток шагов, почувствовал — надо сесть на землю, немедленно сесть, а то упаду, повалюсь и не смогу подняться... Значит, так суждено, на роду написано — пропасть, погибнуть в считанных километрах от поселка, от людей. Сам, сам виноват — все сделал, чтобы уйти от них, помешать тебе же помочь...

Я стоял, ждал, когда смогу идти.

И вдруг глаза застлало... Такого еще не было... Я быстро сел на песок. И тут совсем близко, внятно послышалось опять:

— А-а-а...

Нет, это не кажется, не должно казаться, не может казаться... Я поднял голову и не услышал — увидел вдали высокую, темную, размытую желто-серой мглой фигуру.

Голос! Подать голос!

Без слов, напрягая последние силы, я крикнул:

— А-а-а!

Неужели не услышит, пройдет мимо, исчезнет в тяжелом сухом тумане?

Я снова крикнул, но уже слабее:

— А-а-а...

Темная фигура двинулась прямо на меня. Прямо над

собой я увидел запыленное большое лицо Калугина. Глаза за стеклами очков казались громадными.

— Эй, сюда! Вот он!

Во мгле возникла еще фигура. Больше я ничего не видел, не слышал. Я схватил руку Калугина, прижался к ней лицом и плакал, громко, навзрыд, плакал, не скрывая, не стыдясь своих слез.

XIV

Перегнувшись к окну кабины, Калугин спросил:

— Квадрат?

— Да,— коротко ответил начальник.

Мы находились в начале южной косы, в самой широкой ее части. Грузовик шел по моему маршруту, так неудачно начатому три дня назад.

Как нашли, как спасли меня товарищи? Помогла выкопировка карты, снятая ночью перед выходом на Дервиш.

Когда я не вышел к завтраку, Калугин заглянул в мою комнату, увидел на столе выкопировку, старый отчет Вознесенского. Не было сомнений — я пошел искать кияк. Но куда? На карте кияк показан в нескольких местах — в центре Челекена, на северной и на южной косах. Центр Челекена отпал сразу: после изысканий Вознесенского этот район сильно изменился — появились новые заводы, рабочие поселки, карьеры. Искать там кияк бессмысленно. Остались косы. Куда я мог пойти? Разумеется, на южную, она ближе. К полудню начался циклон. Решено было ехать на выручку.

Рыбаки на Дервише подтвердили: да, утром прошел человек в спецовке, попросил воды, сказал, что ищет какую-то траву.

На карте трава была показана только на узкой песчаной гряде, проходящей посредине Дервиша.

Грузовик медленно шел по гряде. Начальник, Калугин, Костя, Инна Васильевна, все рабочие, растянувшись цепью, двигались впереди машины. Калугин первым обнаружил меня, позвал остальных. Мне дали напиться, усадили в кабину, привезли в Карагель.

О тайной переписке с Ашхабадом, о самовольной отлучке из поселка ни в машине, ни дома не было сказано ни слова.

Но когда на другой день, после завтрака, все отправились камеральничать — циклон мешал выехать в поле,— начальник остановил меня:

— Виноват я перед вами, Юрий Иванович, все время считал, что вы не очень ревностно относитесь к изысканиям. Да это и понятно: вас более влечет теория, чисто научные исследования, а мы — только практики. И вот,— он запнулся,— как плохо, когда не умеешь разбираться в людях... Все я напутал, ошибся... Оказывается, вы болели за дело, за работу отряда, думали, искали, как помочь. Благодаря вам у нас есть карта Вознесенского. Удастся или нет, а мы все вместе будем искать кияк. Может, и найдем. Пусть только циклон поутихнет...

Что было говорить? Разуверять, начать исповедоваться? Добрый, наивный человек, он просто не поверит, скажет, что я наговариваю на себя, обвиняю в несуществующих грехах. И я только молча пожал ему руку.

Циклон продержал дома еще двое суток. На третий день ветер немного утих, но небо было хмурое. Решили ехать на Дервиш.

И вот первая остановка. Здесь я уже был.

Облокотившись о крыло грузовика, начальник хмуро рассматривал карту Вознесенского, еще раз проверял себя. Ошибки не было: мы находились в квадрате с косой штриховкой киякового селитряника.

Я подошел к песчаному бугру. Густые заросли селитрянки покрывали его со всех сторон. Но, кроме нее, не было ничего,— центральную часть косы занимал типичный «чистый селитряник», без примеси других растений.

— Будем искать,— сказал начальник,— может, кияк сохранился где-нибудь в ложбинах.

Было решено тщательно обследовать весь участок. Костя со своими помощницами проложил три небольших геодезических хода. Начальник предложил соединить ходы густой сеткой поперечных визиров, заложив их через каждые сто метров. Если на участке есть даже небольшие заросли кияка, они непременно попадут в сетку.

Каждый отправился по отдельному ходу. Вскоре я потерял из виду Калугина и Инну Васильевну — они шли невдалеке, справа и слева от меня, скрытые высокими буграми с селитрянкой.

Двухкилометровый ход окончился. На всем его протяжении не было ничего, кроме этих бугров.

В конце хода мы сошлись все вместе. По лицам Инны Васильевны и Калугина я понял: они тоже ничего не нашли.

Подошел начальник.

— Переходите на визиры. По крайней мере, потом сможем сказать: сделали все, что могли...

Визиры были гораздо короче основных ходов и заняли немного времени.

Когда мы снова вернулись к грузовику, Калугин невесело усмехнулся.

— На сапером языке это называется — прочесать район насквозь.— Он сломал ветку селитрянки, нервно похлопал ею по голенищу.— Словом, дело дрянь...

— Главное, у нас нет уверенности, что кияк вообще растет на Дервише,— сказала Инна Васильевна.

— А куда же он, по-твоему, девался? — резко спросил начальник.— Возле завода на месте бывших киячников — карьеры, а здесь ведь люди почти не бывают. Дервиш — самый пустынный район Челекена. Значит, на человека вину не свалишь. И почему это кияк исчез, а никчемная селитрянка живет и здравствует? — Он сердито пнул ногой колючий кустарник.

— Смотри сапоги порвешь,— осторожно заметила Инна Васильевна.

— Ну решайте, как быть, что делать?

— Сейчас надо ехать домой,— отозвалась Инна Васильевна.— Солнце уже заходит. Завтра, если циклон опять не разыграется, продолжим поиски. Только раньше надо установить, почему кияк исчез в начале косы.

В Карагеле взялись было за камералку, но работа валилась из рук: что-то ждет нас завтра?

Начальник и Костя занимались хозяйственными делами. Мы с Калугиным и Инной Васильевной сидели в комнате Курбатовых. Калугин принес свои выписки из печатных работ по Туркмении, за столом просматривал тетради. Его большое, гладковыбритое лицо с лучеобразными следами загара было хмурым. Но вот он оживился, стал что-то подчеркивать красным карандашом.

Инна Васильевна спросила:

— Нашли что-то интересное?

Калугин вздохнул.

— Не знаю, сейчас, после стольких надежд и поражений, как-то боязно говорить...

— А что это за конспект?

— Выписки из одной кандидатской диссертации местного ученого. Работа старая, написана давно, но, возможно, поможет нам решить загадку кияка.

Калугин объяснил: еще в тридцатых годах некий Лукин, молодой ученый из Ашхабада, исследовал лесорастительные условия на Красноводской косе и на косах Челекена.

Были заложены почвенные шурфы, производилось бурение. Автор диссертации утверждал, что ему удалось обнаружить на косах Челекена интереснейшее явление — пресноводные линзы. Атмосферные осадки, просачиваясь через песок, достигали засоленных, благодаря близости моря, грунтовых вод. Пресная вода, более легкая, не смешивалась с соленой, а как бы плавала на поверхности, образуя пресноводные линзы значительной толщины. Лукин полагал: линзы эти могут питать деревья — пресные воды вполне доступны корням.

Калугин поднял на лоб очки, взглянул на Инну Васильевну.

— Что об этом думает почвовед?

— А то, что мы на пути к решению загадки нашего неуловимого кияка. Заросли его, показанные на карте, развились на пресноводных линзах. Корни у кияка длинные, мощные. Об этом пишет Вознесенский. Надо установить, сохранились ли на косах линзы.

Вошли начальник и Костя. На их кепках, на спецовках был песок.

— Опять разгуливается погодка,— сказал начальник.— Кружит циклон возле Челекена. Как бы он не обернулся штормом, бурей.

— Ничего,— усмехнулся Костя,— нам осталось обследовать только косы, а там подвижных песков мало.

— Вот как! — Калугин подмигнул мне.— А вы Юрия Ивановича спросите, каковы эти «спокойные» дюны на Дервише.

Я опустил глаза; Сергей Петрович оставался верен себе: не мог не подпустить шпильку. Но шпильки эти меня больше не раздражали. Я был уже не тем, что три дня назад...

Калугин листал тетрадку.

— Вот послушайте, Костя, каков этот, по-вашему нестрашный, шторм. Его испытывали на себе старые геоло-

ги Вебер и Калицкий. Они были здесь еще до революции и написали о Челекене целую книгу. Я сделал выписку: «После безветрия поднялся сильный восточный ветер и настолько быстро поднял пыль, что один из нас, пробежав двадцать сажен до ближайшего холма, уже не застал начала подъема пыли — солнце скрылось, и пыль поднялась на высоту до пятидесяти сажен, причем надвигалась стеной. Пыль быстро поднимается и медленно садится. В воздухе ее так много, что солнце при закате, находясь на расстоянии трех диаметров от горизонта, становится невидимым при отсутствии облаков. В отдельные дни пылевая завеса целиком скрывает море, тонущее в серой дымке. На высоте человеческого лица несется более мелкая соленая пыль, а по земле непрерывно тянутся струи пылевой поземки, состоящей из более крупных частиц, вплоть до кусочков сланца, имеющих один сантиметр в диаметре. Став на ребро, они скачками катятся по солончаку на десятки сажен».

...Ветер бушевал всю ночь. В окна ударялись песчинки, мелкие камешки. Казалось, кто-то стучится.

На рассвете ко мне зашел начальник.

— Не спите? Прямо не знаю, как быть. Ехать или нет? Конечно, будет очень трудно, особенно брать образцы грунтовых вод из шурфов, но, по-моему, сидеть дома еще тяжелее.

— Едем! — Я поднялся, стал одеваться.

Мы вышли из дома. Серый песок толстым слоем лежал на ступеньках крыльца. Под окном за ночь намело свежий бархан. На улице пусто — ни людей, ни машин. Небо затянуто сплошными тучами. В воздухе серая мгла. Моря не видно.

Инна Васильевна, Калугин, Костя, рабочие уже ждали нас в машине, отряд выехал.

На южной косе сквозь завывание ветра был слышен шум невидимого моря. Инна Васильевна наметила на плане места будущих шурфов, распределила их между рабочими. Калугин не выдержал:

— Дайте-ка и мне точку. Сейчас без дела хоть пропадай.

За ним взяли лопаты я, начальник, Костя. Участок, где на старой карте был показан кияк, в шахматном порядке покрыли точки шурфов.

Рыли в очках, но вскоре пот стал слепить глаза. Очкн сняли.

Вот готовы первые ямы.

Калугни опустнл бур на дно шурфа.

— Вода!

Мы ие своднли глаз с Иины Васнльевны. Она открыла желонку бура, попробовала воду на вкус.

— Соленая...

Перешли ко второму, к третьему, к пятому шурфу. Всюду то же самое. Все ясно: иа участке, где когда-то рос княк, пресноводных линз больше иет. Падеине уровня Каспия вызвало опускание лииз. Дойдя до сильио засолениых пород, пресная вода стала солеиой.

Инна Васильевиа поднялась.

— Дальнейшие поискн бесполезны. Линз нет, н кияка иет.

Мы стоялн у края шурфа и смотрели иа дно, где были погребены иашн надежды...

Я подошел к соседнему шурфу, вырытому у бугра с селнтрянкой. Сухой песок медлеино осыпался, обиажал стенку. И вдруг в глаза бросилось густое сплетение безлнстных светло-коричневых, похожнх на корин веток. Онн свнсали со стенки шурфа. Я взял лопату, стал раскапывать бугор. Лопата шла с трудом — наталкивалась иа невндмое препятствне.

Подошел Калугин, усмехиулся:

— Никак клад нщете?

— Да, бернте лопату.

Не поннмая еще, в чем дело, ои послушался. Через пять мннут перед нами открылась удивительиая картина. Холм иасквозь пророс селнтрянкой. Засыпаемая песком, селнтрянка ие погнбала. Она подымалась вверх, как иа ходулях. Погребениые под песчаиой толщей ветки не отмиралн: они только терялн листья н вместо иих выпускали тонкие придаточиые корни. Корин разветвлялись во все стороиы, еще сильиее укрепляли селнтряику в почве, давали новую влагу, иовую пищу. Самые верхиие ветки выбрасывали на поверхность молодые побеги. На иих появлялись светлые, сочиые листочки, похожие на маленькие лопаткн.

Прндя иа смеиу погибшим, заживо погребенным листьям, эти новорожденные листики жадио тянулнсь к свету. Барханы не могли засыпать селитряику. Чем выше

становился бугор, тем сильнее укреплялось растение. Постепенно селитрянка оплетала бугор своими колючими ветками сверху, прошивала, пронизывала его корнями изнутри. Усмиренный связанный песок переставал быть подвижным, сдавался. Селитрянка торжествовала победу над пустыней, над ее злыми силами — ветром, барханами. Теперь была понятной удивительная вездесущность селитрянки: она росла рядом с сарсазаном на шорах, селилась на ракушечных песках, не боялась осесть у подножия грозных многометровых сыпучих гор.

Ветер все усиливался, все громче грохотал Каспий. Но мы ничего не замечали. Мы кашляли от песка, терли слезящиеся глаза и упорно рыли бугры. Песчаная буря была не страшна. Мы добыли трофей, завоеванный в борьбе с пустыней, чудесное растение — колючую, неказистую на вид, так долго не замечаемую никем селитрянку.

* * *

Прошло некоторое время. Собирая материал для кандидатской диссертации о растительности Челекена, я снова прилетел на маленький полуостров.

Вышел из самолета и не узнал Челекена. На западном берегу вырос настоящий город, похожий на Небит-Даг — длинные стройные улицы, большие каменные дома, зелень в молодых парках. Челекен получил долгожданную воду по трубопроводу со станции Джебел и ждал большую воду из пустынного озера Ясхан. На складах утильсырья ржавели отслужившие свой век опреснители морской воды. В домах — водопровод, ванные с душем, в палисадниках под окнами домов — астры, маргаритки, петуньи.

Ну а как же подвижные пески, барханы, угрожавшие домам, школам, дорогам, заводам?

В тот же день в горкоме партии я спросил об этом секретаря.

— У нас есть свой лесничий,— сказал секретарь,— да, да, не смейтесь, настоящий лесничий — Володя Барабаш, инженер-лесомелиоратор. На Челекене он недавно, но уже успел кое-что сделать. Где его увидеть? Завтра утром здесь, в горкоме. Он вам все покажет, расскажет.

Тихое, майское утро. Каспий, голубой, спокойный,

мирный, уходит до горизонта. На горкомовском газике мы с Володей, двадцатисемилетним чернявым украинцем из Харькова, едем на его «лесные полосы».

Они заложены в самом пескоопасном районе. Будничным тоном Володя рассказывает о своей работе лесничего так, словно он живет не на Челекене, а в сибирском Кедрограде. Но за обычными словами — упорство и спокойная уверенность в своем деле, главном деле Володиной жизни.

Мы едем не по песчаному проселку, где столько раз проходил наш отрядный грузовик, а по отличному шоссе. Кое-где его робко пересекают жидкие песчаные полосы. Кажется, даже барханы не решаются напасть на эту ровную, без трещин и вздутий, асфальтовую дорогу, серо-синей лентой уходящую в глубь Челекена.

Сворачиваем в сторону, на песчаную целину. Но где же «лесные полосы»? Я оглядываюсь, напрасно ищу их.

— Вон наши насаждения,— говорит Володя.

Далеко в пустыню, в самое барханное пекло уходят глубокие борозды, проложенные плугом. Я подхожу к крайней, наклоняюсь. Маленький, в пяток сантиметров кустик лезет из песка. На нем пара молодых сизых листиков, похожих на маленькие лопатки. Селитрянок много. Они дружно взошли в борозде и зеленым пунктиром бесстрашно уходят в пустыню. Они не боятся барханов.

Я украдкой оглядываюсь. Володя отошел к соседней борозде, не видит меня. И тогда, не стесняясь, я становлюсь на колени и глажу мизинцем маленькие крепкие листья-лопаточки.

КАРАКУМСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕРНЫЕ ПЕСКИ

1

Что это, что это такое? — черное, жесткое, колючее... Мурад спросонья смотрит на войлочную стенку. Он не дома, он в пустыне, в песках, в кибитке у деда Черкеза.

Сразу вспомнился вчерашний день, сборы в дорогу. Вот мать в длинном красном платье до пят тащит к полуторке чемодан из желтой кожи. Мать сняла сарафан — к деду Черкезу надо ехать только в старинной туркменской одежде, только в красном койнеке.

В кузове стоит отец в синей майке, темной под мышками, старательно укладывает свернутую постель, ставит на нее цинковое корыто, корзину с продуктами, с посудой.

У отца с сегодняшнего дня отпуск — месяц не будет ходить в свою сберегательную кассу. Он уже получил путевку и завтра уезжает в дом отдыха в Киянлы.

Мурад даже не пытался просить отца поехать в пески. Зачем? Отец начнет долго говорить давно известное: «Каждый советский человек имеет право на положенный ему по закону отдых». У отца очень трудная работа — за день надо пропустить через свои руки две, а то и три тысячи рублей новыми деньгами и не обсчитаться. Потом с охранником еще нести эти деньги в банк. От такой работы поседеть можно.

Каждое воскресенье за ужином отец говорит, что подаст заявление об уходе — пойдет на любую работу. Ку-

да? Да хотя бы в геологическую экспедицию — сначала простым мерщиком на рулетке, позже можно стать коллектором — это уже почти научная работа. И деньги платят хорошие — не то что в сберкассе...

Но в понедельник утром отец молча надевает свою старую фуражку с бархатным темно-синим околышем и идет в сберкассу.

Матери в пески тоже не очень-то хотелось ехать — куда лучше в Ашхабад, в Красноводск — там большие базары, большие универмаги, везде родичи. Но ни в Ашхабад, ни в Красноводск ехать нельзя: дед Черкез прислал очень сердитое письмо — Мурад уже четыре года не был у него в песках, и, если теперь не приедет, ноги деда Черкеза не будет в Казанджике. А бывает дед Черкез часто: на Первомай, на Большой Байрам, на Октябрьскую революцию. Он приезжает в кабине колхозного грузовика, не спеша достает из кузова мешок с вещами и медленно идет в дом. Холодно на дворе или жарко, дед Черкез всегда одет одинаково — в серый стеганый халат, на голове черная баранья папаха, на ногах чабанские башмаки — чарыки, которые можно никогда не чистить ваксой.

В Казанджике дед одевается иначе — на праздничный митинг, в мечеть, в кино ходит в черном суконном костюме, сильно помятом от долгого лежания в мешке. Только папаху не хочет снимать — пусть молодежь носит кепки, шляпы, фуражки; старому туркмену-текинцу надо носить только папаху. Говорят, в Красноводске и старики уже ходят в кепках, но в Красноводске живут не текинцы, а иомуды, вот они и сняли папахи...

Когда Мурад в первый раз увидел деда Черкеза, он сильно испугался, заплакал: дед Черкез был очень высокий — почти доставал головой до шелкового розового абажура. Дед снял папаху, засмеялся. Зубы у него некрасивые — все белые, золотых, как у отца, нет ни одного.

Без папахи дед Черкез сразу стал маленький, и голова его стала маленькая, на ней мягкая красная тюбетейка без вышивки. Мурад успокоился, но черной папахи долго еще боялся, и дед Черкез, приходя домой, прятал ее в шкаф.

От деда всегда пахло дымом и овцами, даже когда он был не в халате, а в своем измятом черном костюме.

Дед часто рассказывал Мураду про овец. Весь день овцы пасутся в песках, а когда приходят на водопой, кажется, что возле колодца расстелили большой белый меховой ковер, и этот ковер все время шевелится. Вокруг лежат собаки. Сразу их не заметишь — они белые и лохматые, как овцы. Собаки лежат и смотрят, чтобы из-за бугров не выскочил волк, чтобы овцы не отбивались от отары, не убегали в пески.

— А если убегут? — спрашивал Мурад.

— Нельзя: собака погонится, вернет обратно.

— И покусает?

— Зачем кусать? Овца колхозная, денег стоит.

В последний раз дед Черкез сказал: когда Мурад приедет к нему, они вместе будут пасти овец. Возьмут чабанские палки с крючком на конце и сразу начнут пасти. Зачем крючок? А как же! Вот надо тебе поймать овцу. Идешь в отару, цепляешь крючком за заднюю ногу. Овца вырывается, хочет убежать. Где там! Ты уже повалил ее, связал ноги.

Мать говорит, что четыре года назад Мурад уже ездил в пустыню. Но ему что-то не верится: если ездил, то почему же не помнит ни овец, ни кибитки, ни Черных песков — Каракум?

...Мурад потянулся, оглядел кибитку. Он был один. Постель лежит прямо на кошме — нет ни кроватей, ни стола, ни стульев. На женской половине — постель матери. Она не свернута, как постель деда, а покрыта белым кружевным покрывалом. В ногах поставлен стоймя чемодан из желтой кожи. На нем кружевная салфеточка. Здесь складное зеркало, крем для лица, круглое душистое мыло, одеколон «Кармен», губная помада.

Мать успела уже все расставить, как дома. Даже приколола к войлочной стенке прошлогоднюю открытку от подруги: толстый большой голубь летит над маленьким синим морем, в клюве лента с надписью: «Привет с Кавказа!»

Пол в кибитке очень мягкий — весь устлан серыми кошмами. Над входом — полог из кошмы.

Мурад встал и сразу же увидел Черные пески — Каракум. Они были очень далеко — там, где кончалась уже земля и начиналось синее небо. Пески были темные, тусклые, будто на них лежит и не рассеивается паровозный дым.

Когда придет дед Черкез, надо сегодня же пойти с ним и посмотреть черные пески. Здесь, возле кибитки, песок был обыкновенный — светлый, как в Казанджике. Мурад решил проверить — нет ли черных песков где-нибудь поблизости. В одних трусах он вышел из кибитки, сделал шага три. Солнце сразу же навалилось на него, придавило жаром, ослепило тяжелым белым светом.

Черных песков вблизи не оказалось. Мурад вернулся в тень кибитки, присел на корточки. Кибитка стояла в вытянутой котловине, среди жидкой рощицы. Три высоких старых дерева с негустыми кронами росли близко, их ветки с листьями, похожими на частый гребешок, касались друг друга. Вокруг котловины — бугры, обступили ее со всех сторон. Вершины бугров совсем голые, желтые, а на самой высокой вершине стоит понурое дерево с серым стволом. С дерева тяжелыми серо-зелеными венками свисают листья. Мурад сразу же узнал саксаул. Каждую осень отец привозит домой целую полуторку серых кривых дров и всегда ругается, когда дрова нужно рубить,— саксаул хрупкий, но твердый, его легче ломать, только толстые поленья не сломаешь: хочешь, нет — руби топором.

Мурад любит рыться в дровах: попадаются очень интересные ветки — почти совсем круглые, как бублик, или похожие на ползущую змею, даже видно, как извивается серое гладкое тело. Самые лучшие ветки Мурад отбирал, тайком от матери прятал под кровать — очень далеко — за желтый чемодан, под самую стенку. Но мать все равно находила их и жгла в печке. Перед приездом деда Черкеза мать всегда делает домашнюю уборку, моет полы под всеми кроватями; зачем — неизвестно: если не наклоняться, пыли не увидишь.

Хорошо бы найти здесь хоть одну такую деревянную змею. Пока можно спрятать ее под кошмой, а когда они поедут в Казанджик — в кузов, под запасные скаты. Мать туда наверняка не полезет. Дома тоже надо сменить место — держать «змею» не под кроватью, а посадить на шкаф — там она хоть сто лет может сидеть, никто никогда не достанет: шкаф не пол, мыть его не надо.

От вершины с саксаулом бугор круто обрывается вниз, песок утыкан короткой травой — будто торчат зеленые гвозди, только не вниз, а вверх острым концом. На других буграх «зеленых гвоздей» совсем мало, там растет

другая трава — зеленые растрепанные кустики, похожие на мочальную щетку — белить стены. Кустиков штуки две-три тоже надо выкопать, вместе с деревянной змеей спрятать под скатами.

На Восьмое марта подарить матери, она обрадуется, скажет: «Вот какой у нас хозяин растет...»

Недалеко от зеленых щеток рос большой, самый интересный куст — весь рваный, будто собаки долго грызли его зубами,— тонкая кора висит лохмотьями, и на каждой лохматой толстой ветке пучками растут маленькие веточки — прямые, короткие, зеленые, с тупым концом, похожие на очень длинные неочиненные карандаши.

Мурад пошел было к кусту — сорвать несколько карандашей, но тут на него надвинулась широкая черная тень: из-за кибитки вышел дед Черкез в черной папахе с вязанкой саксауловых веток на спине, от них и от папахи тень и была такая широкая. Дед сбросил ветки, кивнул Мураду:

— Салям! Давно встал?

— Только что. Тебя вчера не было дома, когда мы приехали?

— Нет, я весь день никуда не ходил, все дела оставил. А вы ночью приехали. Я тебя, сонного, перенес на кошму.

Мурад улыбнулся: хорошо, что его перенес дед Черкез, а не мать. Очень неудобно, когда сонного второклассника мать таскает на руках.

Он подошел к деду, обеими руками взял его руку, стал перебирать пальцы.

— Ата, мы сегодня пойдем пасти овец?

— Я уже целый год не пасу овец,— сказал дед Черкез,— надо было раньше ко мне приехать.

— Это очень плохо,— опечалился Мурад,— что же ты делаешь?

— Дел много. Сейчас учу молодых чабанов.

— А меня будешь учить?

— Буду. Только сначала умойся, поешь, надень рубашку. Каракум не Казанджик — голого солнце сразу сожжет.

Мурад удивился:

— Да разве это Каракум? Здесь песок светлый, как в Казанджике. Черные пески вон там,— он кивнул вдаль.— Давай туда пойдем, ата?

Дед Черкез молчал и улыбался. Потом сказал:

— Каракум везде — и здесь, и там. Кругом пустыня. Куда хочешь поезжай — вправо, влево, весь день будешь ехать, все будет Каракум.

Мурад нахмурился. Дед Черкез говорит нарочно — не хочет идти к Черным пескам: далеко, а он старый, ноги болят. И с овцами плохо выходит: просто так пасти нельзя, нужно еще учиться вместе с молодыми чабанами. А какая сейчас учеба? До первого сентября все ребята отдыхают.

Он сказал грустным голосом:

— Если не хочешь идти к Черным пескам, сорви мне хоть один карандашик.

Дед Черкез не понял:

— Какой карандашик?

Мурад показал на куст с рваной корой. Дед сорвал целый пучок. Мурад увидел: чинить «карандаши» нельзя — они внутри пустые — просто зеленые шершавые палочки. Он бросил палочки на песок. Дед Черкез кивнул на рваный куст.

— Это Борджок. Видишь, какой зеленый? В песках один такой. Саксаул, Кандым, Сюзен, Селин — все мороза боятся, от страха желтеют. Один Борджок смелый — всю зиму зеленый стоит, на снегу очень далеко видно.

— А почему у него кора рваная? — спросил Мурад.

— Это старая кора. Борджок сейчас, как змея, линяет. Летом он и раздетый постоит, к осени новая крепкая кора нарастает, пускай вьюга, мороз — ничего не страшно.

Мурад поднял с земли шершавые «карандаши», понес в кибитку. Пока деревянной змеи нет, надо хоть Борджок спрятать. Потом будет видно, что с ним делать.

Матери все не было. Дед Черкез сам разжег костер в ямке, поджарил баранину, вскипятил чай. Сели завтракать. Дед Черкез ел мало, зато много пил кок-чая — зеленого, крепкого, без сахару. Кок-чай на весь день дает силы.

Мурад надел синие шаровары для физзарядки, клетчатую ковбойку с длинными рукавами, тюбетейку, башмаки на кожимите. Пускай теперь солнце жжет сколько хочет — не страшно!

2

Овцы были недалеко. Они не лежали целым стадом, а стояли отдельными большими кучами, повернув опущенные головы в середину круга. Когда Мурад с дедом Черкезом подошли близко, пахнуло нагретой шерстью, грязно-белые бока часто подымались и опускались и было слышно, как овцы тяжело дышат. Никакого мехового ковра не было, и собак сразу можно заметить — их всего две, лежат на боку, вытянули лапы как дохлые и не смотрят за овцами, а спят.

— Почему они спят? — недовольно спросил Мурад.— А если овцы разбегутся?

— Не разбегутся,— сказал дед Черкез,— сейчас им некогда: дышать надо. Вечером другое дело. Тогда собаки не будут спать.

Возле стада сидел чабан. Лицо его скрывала белая широкополая шляпа — такие шляпы в Казанджике носят только геологи, но по узкой спине, по синим динамовским шароварам, по ковбойке с красными пуговичками было видно, что это совсем еще молодой чабан: верно, зимой он ходил в десятый, а может, даже в девятый класс.

Увидев деда Черкеза, чабан встал и молча поклонился. При этом он не просто кивнул, как здороваются все в Казанджике; нет, он медленно и низко наклонил голову и, чуть подержав ее опущенной, поднял снова, но к деду Черкезу не подошел, остался стоять на своем месте. Мураду это не понравилось: если уж дед пришел, молодой чабан должен сразу подойти и начать учиться своему чабанскому делу. Дед будет все объяснять, потом спрашивать, а чабан — отвечать на вопросы и просить еще раз объяснить непонятное.

Мурад спросил — почему дед Черкез не учит чабана. Дед сказал, что это очень умный чабан, сам все знает. Потом дед сел на землю и не слушал, что говорит Мурад, не отвечал ему, только молча смотрел вдаль, где пески были не светлые, а темные.

С каждой минутой становилось все жарче. Теперь уже почти все небо было сверкающее, слепящее, и Мурад старался не смотреть вверх. Хотелось пить, но если скажешь, дед Черкез сразу поведет обратно, в кибитку. А там мать — увидит, не позволит больше выходить: «Возьми

книжку, почитай». Как будто он приехал сюда книжки читать!

Мурад проглотил слюну раз, еще раз. Слюны почти не было — надо сильно прижимать подбородок к груди и долго шевелить языком.

Придется отойти в сторону, сорвать «зеленый гвоздь» и незаметно пожевать.

Мурад взглянул на деда Черкеза. Дед по-прежнему сидел на песке и, опустив голову на грудь, тихо и тонко посвистывал носом, как закипающий чайник. Черная папаха свалилась на песок, дед сидел в одной красной тюбетейке.

Самые лучшие «зеленые гвозди» росли шагах в десяти — на крутом склоне. Мурад взбежал на бугор и остановился пораженный: бугры дальше сразу пропадали, внизу лежала узкая равнина, и по ней текла река. Мураду никогда не приходилось видеть настоящую реку. Было непонятно — как она может течь здесь, почему сразу же вся, до последней капли, не уходит в горячий, всегда сухой песок.

Река была двух цветов: широкую синюю полосу перерезала расплавленная солнечная перемычка. Там все сверкало, кипело, переливалось, больно резало глаза, а вправо и влево царил покой — темно-синяя, чуть выпуклая вода тяжело лежала у берегов. Берега реки были совсем разные. Один — крутой, высокий; голый светло-серый песок навис над самой рекой, еле держится. Тронь — сам поползет в воду. Другой берег — Мурад стоял невдалеке от него — низкий, пестрый от белых соляных пятен.

Первой мыслью Мурада было бежать к реке — напиться. Но как же дед Черкез? Он проснется, увидит — Мурада нет, станет искать, сильно разволнуется, в пустыне заблудиться — страшное дело: два дня будешь ходить и мучиться от жажды, только на третий день упадешь и умрешь.

А что, если сказать чабану?

Чабан сидел спиной к Мураду и не замечал ни его, ни деда Черкеза. Верно, думает — если у него шляпа как у геолога, то он все уже знает по своему делу и учиться ему больше нечему...

Мурад подошел к спящему деду Черкезу, стал в упор

смотреть в лицо. Дома он так всегда будил мать, когда просыпался раньше.

Дед сразу же открыл глаза.

— Ата,— сказал Мурад,— вставай, я нашел реку.

— Это не река,— не подымаясь с земли, ответил дед Черкез,— это Узбой. Он не течет, стоит на месте. А река отсюда много лет как ушла. Большая река — Амударья.

Они подошли к Узбою. Мурад опустился на колени, чтобы напиться, но сейчас же выплюнул воду — она была горько-соленая.

Дед Черкез засмеялся:

— Эту воду пьют только джейраны.

Мурад вздохнул: сколько воды, и никуда не годится. На всякий случай он сказал:

— Хорошо, что я дома напился кок-чая. Совсем пить не хочется.

Дед не отозвался — присел на корточки, стал медленно мыть руки.

— Умойся и ты,— предложил он Мураду,— только не намочи глаза — плакать будешь.

Мурад снял ковбойку, окунул руку по плечо, потом с опаской помазал водой щеки и подбородок. Сразу стало не так жарко. Он посмотрел на воду — совсем мелко, и дно далеко видно. А что, если искупаться — сесть в воду возле самого берега? Но он тут же испугался своих мыслей — до сих пор его купали только в корыте. И сейчас цинковое корыто приехало сюда вместе с другими вещами. А это Узбой — почти река, хотя не течет, стоит на месте.

Мурад не отводил взгляда от воды. Желтое дно, просвеченное солнцем, было в таких же складках, как вершины бугров, где растет саксаул. Вот по дну не спеша пробежал солнечный зайчик, круглый, блестящий, похожий на новенькую копейку. Потом у самого берега, как в стакане с газировкой, начали вскакивать прозрачные пузырьки. Каждый пузырек успевал еще сверкнуть на солнце, а потом уже лопался.

— Может, хочешь искупаться?

Мурад смущенно усмехнулся: непонятно, как дед Черкез угадал его мысли...

— А если я утону? Я никогда не купался в реке.

Дед Черкез покачал головой:

— В Узбое нельзя утонуть, здесь вода добрая — сама тебя будет держать.

Мурад быстро разделся до трусов. Но дед Черкез сказал, что надо снять и трусы — соленая вода сразу же их разъест, будут дырки.

Вода была теплая, как в корыте. Мурад осмелел, сделал шаг, еще шаг, и вот он стоит уже по пояс в воде.

— Окунись, не бойся,— сказал дед Черкез.

Мурад присел и сейчас же почувствовал — вода выталкивает его, как пробку.

— В Узбое не утонешь,— повторил дед Черкез,— ложись на спину, будешь лежать, как на кошме.

Мурад попробовал лечь. Вода держала его. Он вытянул ноги, раскинул руки. И вот он лежит на воде, лежит и не тонет, хотя не двигает ни рукой, ни ногой. Мурад взвизгнул, стал бить по воде ногами. Брызги радужно сверкали и как-то все разом очень тяжело падали вниз. Мурад стал загребать руками, потом встал — было уже по грудь. И тут совсем близко — только протянуть руку — в воде замерцала прозрачная башенка. Она смутно и таинственно белела на дне Узбоя. Мурад шагнул вперед. И вот он стоит рядом с башенкой, немного похожей на Спасскую башню на картинке в туркменском букваре, только эта маленькая и сделана из соли.

Мурад дотронулся до башенки и громко вскрикнул: край был острый, как бритва. С плачем выбежал он на берег. Мокрая ладонь сразу покраснела от крови.

— Покажи руку,— спокойно сказал дед Черкез. Он даже не поднялся с земли, не подошел к Мураду. Это было очень обидно. Мать бросилась бы, обняла, высосала кровь из пальца, стала бы гладить, целовать...

Тихо всхлипывая, Мурад, голый, мокрый, стоял на берегу и сосал палец. Дед взглянул на порез, отошел к буграм, у подножия их сорвал какую-то траву.

— Вот Евшан. Крепко прижми и держи. Заживет.

Мурад хмуро молчал — дед Черкез даже не вытер ему глаза!

— Я хочу домой,— угрюмо сказал Мурад.

Но дед Черкез вдруг хлопнул себя по коленкам и залился тонким смехом.

— Смотри, смотри — ты весь белый, как чурек в муке.

Мурад взглянул на свои руки, на грудь — все покрылось сплошным тонким слоем соли.

— И лицо, и волосы — все белое, все соленое,— хохотал дед Черкез.— Вот как посолил тебя Узбой! Ничего! Это хорошо — здоровым будешь.

Мурад тоже засмеялся, стал счищать с себя соль. Палец не болел — на нем осталась только красная косая полоска — Евшан лучше йода помог.

Все дальше и дальше отходили они от Узбоя, а Черные пески не приближались. Это было совсем непонятно. Мурад тяжело вздохнул.

— Ты устал? — спросил дед Черкез.

— Нет, я могу хоть целый день ходить. У меня ноги еще не старые.

— Я тоже целый день хожу по делам,— сдержанно проговорил дед Черкез.

— А вечером у тебя сильно болят ноги?

Дед быстро взглянул на Мурада:

— Откуда ты взял?

— Ты сам сказал утром.

— Я? Я тебе так сказал? — Дед Черкез остановился, на лице его была горькая обида.

— Да. Ты сказал: мы пойдем только к овцам, а это совсем близко.

— Хорошо,— ледяным голосом произнес дед Черкез,— куда ты хотел бы пойти?

Мурад снизу вверх печально посмотрел на деда, обеими руками взял его руку, приложил к лицу.

— Не сердись, ата. Что делать, если мне очень хочется посмотреть настоящие Черные пески? Я никогда их не видел. А если ты устанешь, мы сядем под саксаулом и отдохнем.

3

Защекотало в носу. Мурад замычал, спрятал лицо в подушку. Защекотало в ухе. Он отмахнулся, но муха не улетела, поползла по щеке. Мурад глубоко вздохнул, открыл глаза. Рядом на корточках сидел дед Черкез, трогал его «зеленым гвоздем» — будил. Дед был уже одет — в халате, в красной тюбетейке. Мурад зевнул.

Еще совсем рано — в кибитке полутемно. Мать с головой завернулась в ватное одеяло, спит на своей женской половине.

Дед Черкез похлопал себя пальцем по губам, кивнул

на выход. Мурад быстро оделся, оглядываясь на мать, стал пробираться вдоль стены. Наконец-то они идут к Черным пескам. Только во что бы набрать песок?

Мурад остановился в углу возле посуды, схватил спичечную коробку, сунул в задний карман. Спички можно потом выбросить и наполнить коробок песком. Интересно, какой он? Верно, вроде угля или сажи, только руки не пачкает.

Песок возле кибитки казался светлее, чем днем, и был плотный и холодный, как снег. И небо на востоке было тоже холодное, темно-красное. Оно только-только проснулось. О пустыне и говорить нечего. Вся пустыня крепко спала, будто на земле была еще настоящая ночь. Низко опустив свои серо-зеленые веники, спали саксаулы на вершинах бугров; припав к холодному песку, спали все травы — и «зеленые гвозди», и селины, похожие на мочальную щетку, и сизый Евшан, который Мурад вчера прикладывал к порезу. Один только Борджок стоял прямо и топорщил во все стороны свои неочиненные карандаши. Серые лохмотья его были не видны — скрывались в утренней, тоже серой мгле.

Дед Черкез молча шел впереди. Мурад понял — дед спешит. Поэтому они и вышли так рано — надо успеть дойти до Черных песков, пока не взошло солнце. Но перехитрить солнце было нелегко — оно, как всегда, делало свое дело. Небо на востоке совсем проснулось, холодный багровый свет прямо на глазах сменился теплым розовым, потом горячим пурпурным, потом огненным, раскаленным, как саксауловые угли в печке. Мурад подумал: если перевести все на звук, сначала это был бы звук тихий-тихий, вроде как звенит в ухе — не поймешь, вправду звенит или только так кажется. Потом было бы, как будильник тикает в темноте — то тише, то громче, а вот сейчас будильник зазвенел на весь завод: из-за горизонта высунулась солнечная макушка и сразу же выбросила вверх короткие, редкие, совсем нежаркие лучи. На них свободно можно смотреть и даже не щуриться. Но тут солнце стало подниматься очень быстро, будто его кто-то подталкивал снизу, и вот оно показалось все целиком — большое, круглое, еще желтое, низко висит над горизонтом. Смотреть на него пока можно, но только надо уже щурить глаза.

Мурад отвел взгляд в сторону, и по буграм запрыга-

ли круглые черные пятна. Он сильно заморгал — пятен стало меньше, но кое-где они еще скакали по траве, и тут на вершине ближнего бугра показалось странное существо. Кажется, это была собака, хотя таких собак Мураду никогда еще не приходилось видеть. Собака стояла боком, она была белая и какая-то ненастоящая — очень плоская, будто вырезана из картона; туловище, голова, лапы — все страшно тонкое, непомерно вытянутое, словно на собаку не хватило кожи и мяса. Особенно интересной была выемка между животом и ляжкой — там было совсем пусто, хотя у обыкновенных собак там тело.

Заметив, что на нее смотрят, собака виновато легла и прижалась к земле. Мурад указал на нее деду Черкезу:

— Ата, что это, дикая пустынная собака?

Дед Черкез усмехнулся:

— Дикая? Нет. Это мой пес — таазы, уже два года зайцев ловит.

— А почему он к нам не подходит? Боится?

Дед Черкез покачал головой:

— Боится? Он волка не боится. Я не позвал его, он сам пошел. Теперь стесняется подходить. Сакар! — крикнул дед.

Пес громадными прыжками кинулся с бугра. Казалось, он летит по воздуху. Подбежав к хозяину, таазы сразу лег, положил длинную, острую, как у щуки, морду на вытянутые лапы, стал снизу вверх смотреть на хозяина.

— Ладно, ладно,— сказал дед Черкез,— вставай, пойдем с нами.

Пес медленно поднялся, опустив грязно-белый хвост, вихляясь поплелся за дедом. Мурада он не замечал, будто того совсем не было.

С каждой минутой становилось все теплее, но песок был еще по-ночному плотный, следы отпечатывались резко, как на влажной земле. Было видно, как цепочка их сбегает с лысой вершины, теряется на травянистом склоне, потом снова проступает на голой вершине соседнего бугра.

Еще виднелась вдали острая черная верхушка кибитки, когда дед Черкез, внимательно оглядев вершину ближнего бугра, быстро взошел наверх, присел на корточки.

— Смотри, Мурад!

Ровные складки были смяты — три неглубокие треугольные ямки вдавлены в песок.

— Джейраны ночью прошли.

— Они тут остановились и смотрели на нашу кибитку,— догадался Мурад.

— Нет, только пробежали — спешили к Узбою; они ночью пьют, а ночь короткая.

— Но ты же не видел их, ата,— удивился Мурад,— откуда ты знаешь?

Дед Черкез постучал пальцем по лбу Мурада:

— Думать надо! На песке все написано: следы длинные, косые, их мало — три всего. А когда джейраны стоят, следов много: джейраны в одиночку не бегают — одному скучно по пескам бегать...

— А ты вот по своим делам все один ходишь,— заметил Мурад.

Дед Черкез ничего не сказал, только посмотрел на Мурада, потом вправил ему под тюбетейку выбившуюся на лоб блестящую черную челку.

— Почему голову не побрил? Жарко...

— Я второклассник,— с достоинством пояснил Мурад,— нам директор позволил оставить чубчик.

Он хотел уже спуститься с бугра, но дед Черкез удержал его за руку:

— Погоди! Ты не все увидел. Надо сейчас смотреть: ветер подымается — все вершины станут одинаковые.

Кроме джейраньих ямочек на песке оказалось много других следов, будто со всей пустыни собрались сюда и целую ночь напролет скакали, бегали, ползали разные обитатели песков.

Через всю вершину тянулась толстая песчаная кишка, словно кто положил шланг для подсоса бензина и сверху присыпал песком.

— Песчаный удав — кум-илян прополз,— сказал дед Черкез.

— Змея?

— Да, только он не ядовитый.

— А почему кум-илян не ползет поверху?

— Нельзя: ящерица заметит — убежит. Что ему тогда кушать? А тут ящерица не убежала...

И правда: на самом краю вершины песчаная кишка вдруг оборвалась. Мурад увидел: невдалеке от кишки протянулась еле заметная извилистая дорожка: песчин-

ки чуть-чуть вмяты маленькими лапками. Резко оборвалась вздутая кишка, исчезли и следы лапок — больше не бегать им по буграм.

Мурад внимательно смотрел на голую вершину. Вся она, как классная доска в большую перемену, исписана вдоль и поперек разными знаками — были здесь ровные стежки, как бы простроченные на швейной машинке, были извилистые следы в мелкую елочку, тянулись чуть заметные дорожки — они то появлялись, то пропадали — еле касался песка какой-то совсем маленький жучок. На самой кромке вершины — уже рядом с травой — виднелись новые, не похожие ни на что, непонятные знаки — точно кто писал на песке: вот вывел дужку, вот кривую линию, вот просто черкнул — раз, два, три... Так ребята пробуют новое перо.

— Кто это писал? — спросил Мурад.

— Он рядом с тобой сидит.

Мурад испуганно оглянулся — никого! А дед Черкез наклонил с краю «зеленый гвоздь», острым концом черкнул по песку — получился новый знак.

— Ветер писать учился...

Мурад тоже наклонил «зеленый гвоздь», вывел буквы «М. А.» — «Мурад Аширов».

— Хорошо?

Дед улыбнулся:

— Лучше, чем у ветра: он неученый...

— А я второклассник — Мураду было приятно это вспомнить. Он сорвал «зеленый гвоздь», которым писал, смял в пальцах, кинул через плечо.

Дед Черкез внимательно посмотрел на него:

— Знаешь эту траву?

— Конечно. Она тут везде растет.

Дед Черкез молча обеими руками стал осторожно выкапывать из песка кустик, с которого Мурад сорвал лист. Кустик легко выходил наружу. Нижняя часть была плотно обернута прозрачными, как папиросная бумага, пленками, потом показались тонкие светло-коричневые корешки в коротких усиках. Дед запустил руку чуть не по локоть и вытащил крепкое, толстое, почти черное корневище. От него рос не только кустик, оборванный Мурадом,— как просмоленная водопроводная труба, залегшая в глубине земли, корневище поило много других «зеленых гвоздей». От корневища отходили бурые, спутанные ста-

рые корни, похожие на войлок. И этот войлок все тянулся и тянулся из-под песка,— видно, его собралось там очень много за долгие годы.

— Где же его конец? — изумился Мурад.

— Где конец? Нет конца. Вон туда ушел,— дед Черкез кивнул на темнеющие вдали бугры, — вся пустыня на корнях лежит. Корни в песке жары не боятся, день и ночь сосут воду. Илак пьет сколько хочет, потому круглый год живет. Придет зима, снег. Овцам что есть? Илак — всегда под ногами, только разрой снег копытом.

Мурад оторвал кусок корневища — осенью показать ребятам: «Что это?» Кто в песках не был, ни за что не скажет.

Поднялся ветер, пока не жаркий — с Узбоя. Дед Черкез двинулся дальше. Шаг у него был короткий, быстрый. Чтобы не отставать, Мурад, спускаясь с бугров, бежал вперед, но дед Черкез вскоре нагонял его. Они взошли на бугор и увидели три черные кибитки. Кибитки стояли поодаль друг от друга — каждая в неглубокой котловине, зеленой от илака. За кибитками — серая голая глинистая земля, изрытая овечьими копытами,— тырло, место для водопоя. Посредине тырла — колодец. Рядом — темная от старости деревянная колода. Дед Черкез, не оборачиваясь, кивнул на колодец:

— Дас-Кую.

Возле кибиток не было никого, но, когда показались дед Черкез с Мурадом, из черного проема средней кибитки сразу выставилось много голов, как на фото, где сият весь первый класс «А». Женщины — и старые, и молодые — были в длинных красных платьях. Возле женщин стояли дети — все маленькие, дошкольники, и Мурад сразу же решил не обращать на них внимания. Он хотел уже пройти прямо к колодцу, но вдруг сзади женщин увидел мать. Она тут же скрылась. Это непонятно: когда она успела прийти, чего прячется? Мурад взглянул на деда Черкеза, но дед молча шагал к колодцу, не смотрел на кибитки. Колодец Дас-Кую был выше, чем казалось издали. Серое большое — в полроста Мурада — бетонное кольцо возвышалось над землей.

Мурад заглянул в колодец, но увидел только темноту. В глубине она сгущалась, нельзя рассмотреть даже стенки. Из колодца веяло погребным холодом, и Мураду опять захотелось пить. Но как достать воды? В колоде

лежало кожаное ведро на веревке, привязанной к вороту. Опустить его в колодец? А если не сможешь вытащить?

На дне колоды стояла вода — овцы не всю выпили. Мурад попробовал зачерпнуть в ладони; нет, воды слишком мало. Тогда он наклонился над колодой, стал пить по-овечьи. Губы коснулись деревянного скользкого дна, вода была теплая, но он все пил и пил и боялся одного, что воды не хватит. Но воды оказалось не так мало. Мурад оторвался от колоды, когда услышал, как забурчало в животе.

Дед Черкез стоял невдалеке на склоне бугра; складным ножом он срезал ветку с невысокого куста и счищал с нее кору. Мурад хотел подойти, спросить деда, зачем ему эта ветка, но в это время со стороны кибитки послышался приглушенный говор, потом веселые крики, смех. Побежать взглянуть? А если чужие женщины из кишлака увидят его, скажут: «Чего надо? Уходи!» Мурад решил посоветоваться с дедом Черкезом, но дед Черкез ничего не слышал и все стругал свою ветку. Мурад подошел к нему:

— Ата, я сейчас видел мать. Она вон в той кибитке. Можно к ней пойти? Я быстро вернусь.

Дед Черкез не ответил. Он отрезал от толстого конца ветки короткую палочку, стал заострять ее с одного конца.

— Я только на минутку сбегаю,— робко повторил Мурад,— можно, ата?

— Как хочешь,— равнодушным голосом сказал дед Черкез,— я не знаю, кто там есть в кибитке.

— Там мать. Разве ты не видел, ата?

— Нет... Хочешь — иди...

Мурад понесся к кибиткам. Возле входа не было никого. Он заглянул вовнутрь. Женщины в длинных платьях сидели на кошмах. В середине их красного круга стояла мать. У ног ее лежал раскрытый чемодан из желтой кожи. На матери было уже не красное койнеке, а серый шерстяной джемпер с длинными рукавами. Мурад видел его впервые. Зимой мать носила другой джемпер. И тут Мурад заметил белый картонный ярлык, пришитый к джемперу. Мать небрежно держала ярлык в руках и показывала его женщинам. Мураду бросилось в глаза, что круг посредине кибитки был не сплошь красный: женщины из кишлака рассматривали разные материнские наря-

ды, кто набросил на грудь сиреневое вязаное платье, кто смотрел на свет черный, в розовых цветах шелковый платок. Платков было много — штук пять, а то и больше. Мурад не мог понять, откуда они у матери и зачем ей столько...

Осмелев, Мурад вошел в кибитку.

Его никто не заметил. Все внимательно слушали мать.

— Живем очень хорошо,— говорила мать,— прекрасно живем, жаловаться нечего — мой Ораз каждый месяц меньше двух тысяч не приносит. Правда, работа не легкая — все время с экспедицией, все время в поле.

— Ты, апа, сказала «две тысячи»,— хриплым басом проговорила седая красноглазая старуха,— это старыми или новыми деньгами?

— Старыми, конечно,— сдержанно сказала мать.

— И давно Ораз в экспедицию устроился?

— Давно,— коротко отозвалась мать.

— А нам Черкез-ата на днях говорил, что его Ораз в сберегательной кассе работает,— простодушно сказала старуха,— каждый день сдает в банк две, а то и три тысячи новыми деньгами. В кожаном мешке их носит, и охранник с ним идет — чтобы никто не напал.

— Это раньше он там работал,— сказала мать.— Теперь он в экспедиции работает.

Старуха зацокала языком:

— Бедный Черкез-ата! Не знает таких хороших новостей. Верно, Ораз редко пишет отцу?

В кибитке раздался приглушенный смех.

Мурад не верил своим ушам — что это говорит мать? Разве отец работает в экспедиции? Он только собирается туда поступать.

Мурад хотел было потихоньку выйти из кибитки, но увидел: красноглазая старуха поднялась, подошла к матери и положила ей на плечи сморщенные, тонкие коричневые руки:

— Эх, кыз, пускай и дальше твой Ораз носит каждый день две тысячи новых денег в банк. Это хорошие, честные деньги.

Мураду стало страшно стыдно за мать: ее, большую, взрослую, при всех сейчас назвали девочкой! Больше всего он боялся, что мать увидит его и догадается, что он все слышал.

Низко пригнувшись, Мурад стал незаметно выбират ь-

ся из кибитки. Но тут сидевший у входа совсем маленький мальчик в короткой — до пупка — рубашке схватил его одной ручкой за штаны, другой стал бить по ноге, приговаривая:

— Ба-ба, ба-ба...

— Пусти, пусти! — зашипел Мурад, стараясь освободиться, но все уже повернули к нему головы.

— Сын? — спросила красноглазая старуха.

— Сын.— Мать с досадой посмотрела на Мурада: — Иди домой, я сейчас приду.

— Вот он, верно, будет работать в экспедиции,— усмехнулась старуха.

Мурад вышел из кибитки.

Деда Черкеза возле колодца не было. Что делать? Мурад растерянно оглядывался, когда из-за крайней кибитки выскочил мальчишка ростом с Мурада или немного повыше, без тюбетейки, в синих дырявых трусах, в синей, тоже дырявой майке,— видно, все на нем прохудилось от узбойской воды. Мальчишка влетел в среднюю кибитку, крикнул:

— Скорей! Пошли скорей! Черкез-ата будет колоть нос Шайтану.

Из кибитки вышла молодая женщина, обернулась на ходу:

— Момыш, пойдем смотреть.

Другая, постарше, с маленьким рябым лицом, не спеша пошла за ней.

Увидев, что мать уходит, мальчик в короткой рубашке заорал. Рябая подхватила его и быстро пошла за подругой. Мурад тоже собирался пойти, но тут над его ухом раздалось:

— Ты кто такой? — Паренек в дырявой майке оглядывал его с ног до головы.

— Я? Я Мурад Аширов. А что?

— Ага! Из Казанджика! Пошли, твой дед сейчас повалит Шайтана.

— Какого Шайтана?

— Давай, давай! — на ходу уже крикнул парень и скрылся за буграми.

Мурад перевалил через одну гряду, через другую и вышел к колхозному стану.

На вытолоченной до желтых плешин траве лежала старая верблюдица. Возле нее, широко расставив длин-

ные, толстые в коленях ноги, стояли два верблюда. На боках, на спине у них висели бурые клочья зимней шерсти. Кожа, где шерсть уже слезла, была коричневая, и по ней ползали зеленые мухи. Высоко подняв маленькие головы на длинных, сильно выгнутых вперед шеях, верблюды большими блестящими черными глазами с густыми ресницами смотрели поверх людей и медленно двигали узкими челюстями. А люди — три колхозника-чабана в одинаковых синих спецовках из чертовой кожи — боролись с молодым голенастым верблюдом. Видно, это и был Шайтан. Он зло лягался задними ногами и все норовил укусить чабанов. Когда его наконец повалили на землю, Шайтан заревел от бессильной ярости, потом стал глухо стонать.

Молодые женщины смотрели на Шайтана и громко смеялись, и на груди их чуть слышно позвякивали серебряные ожерелья. Мальчишка в дырявой майке как бес крутился возле чабанов, потом бросился к поверженному Шайтану, сел ему на шею, крикнул:

— Давай, Черкез-ата, мы держим его, держим!

И тут к Шайтану подошел дед Черкез — без халата, без папахи, в голубой трикотажной рубашке с засученными рукавами. В руках его была белая свежеоструганная палочка с острым концом. Дед Черкез оттолкнул мальчишку — тот мешал. Мальчишка соскочил с Шайтана, запрыгал вокруг него, ища себе дела, и вдруг навалился всем телом на задние ноги верблюда, хотя верблюд и так лежал неподвижно под тяжестью трех чабанов. Дед Черкез сел на Шайтана, острой палочкой стал прокалывать ему нос. Шайтан захрипел, задергался, но его держали очень крепко. Белая палочка медленно вошла с одной стороны носа и вышла с другой — уже не белая, а красная. Шайтан сразу обмяк и только прерывисто вздыхал, будто всхлипывал. Вдруг один из чабанов взвизгнул, стал с хохотом вытирать мокрую руку о шерсть Шайтана. Мурад увидел: из-под верблюда течет по траве пенистый желтый ручеек.

Дед Черкез слез с Шайтана.

— Вставай, вставай,— сказал он верблюду,— попробуй теперь кусаться, попробуй не работать.

Чабаны отпустили Шайтана. Он поднялся; шатаясь, с минуту стоял на слабых, дрожащих ногах; палочка в носу была уже красной с двух сторон. Шайтан медленно по-

брел к взрослым верблюдам. И Мурад подумал, что, верно, Шайтан хочет попросить у старых верблюдов прощения за то, что очень плохо вел себя и позорил все стадо. Но старые верблюды, не замечая Шайтана, все так же жевали жвачку и смотрели вдаль своими большими немигающими глазами.

Мурад подошел к деду Черкезу. Тот даже не взглянул на него, продолжал разговаривать с колхозниками — давал им советы, как дальше быть с Шайтаном: через неделю, когда ранка заживет, палочку надо вынуть и зануздать Шайтана. Впрочем, дед сам все сделает — пусть только ему напомнят, а то забыть легко: занят с утра до вечера, некогда даже совершить намаз[1].

— Спасибо, спасибо, Черкез-ата,— заговорили чабаны,— через неделю другое имя надо дать Шайтану: начнет работать — какой он Шайтан!

— И имя придумаю,— сказал дед Черкез,— только напомните мне, хорошее имя придумаю.

Чабаны заговорили с дедом Черкезом о разных колхозных делах. Сначала они говорили стоя, потом все четверо сели на песок. Один чабан сломал ветку саксаула, стал чертить на песке план какого-то отгонного пастбища, а дед Черкез качал головой — не соглашался. Но чабан стоял на своем — еще и еще раз обводил план веткой. Тогда дед Черкез вскочил, быстро затоптал нарисованное, выхватил у чабана ветку, начал чертить новый план.

Мурад не понимал, о чем они говорят, ему было скучно и сильно хотелось есть. Он уже собирался подойти к деду Черкезу и сказать ему об этом, но вдруг увидел: мальчишка в дырявой майке не ушел — стоит на бугре и делает знаки — зовет.

Мурад подошел.

— Чего тебе?

— Хочешь увидеть одну штуку?

— Какую штуку?

— Нет, ты скажи — хочешь или нет?

— Ну, хочу.

— Тогда пошли,— и мальчишка легко побежал с бугра в котловину, поднялся на новый бугор, опять спустился. Видно было, что в песках он свой человек.

---

[1] У мусульман — название каждой из пяти ежедневных молитв.

4

Мурад побежал за ним. Они несколько раз спускались и подымались, пока мальчишка не остановился.

— Слушай!

Мурад услышал глухой железный лязг, будто за бугром стукнули буфера вагонов. Откуда взяться поезду в пустыне? Здесь на десятки километров пески.

Они снова взбежали на бугор. То, что увидел Мурад, поразило его куда сильнее, чем Узбой. К западу — насколько хватал глаз — уходила в пески узкая длинная траншея: на одной стороне ее лежали очень толстые черные просмоленные трубы; они лежали близко одна к другой — черная полоса перемежалась узкими желтыми промежутками песка. Дальше светлых промежутков уже не было видно, к горизонту уходила одна сплошная, бесконечная черная труба. Но самое главное было не это. Совсем близко — чуть левее бугра, где стояли мальчики,— синее небо косо пересекала стальная стрела экскаватора с натянутыми на ней тросами, с маленьким флажком наверху — уже не красным, а бледно-розовым от солнца. Экскаватор только что высыпал песок возле траншеи. Огромный ковш с отвисшей нижней челюстью на секунду замер вверху, и четыре острых, белых, отполированных песком клыка сверкали на солнце. Но тут раздался железный лязг, пасть ковша захлопнулась, оставшийся песок полился вниз редким, сухим золотистым дождиком. А ковш, хищно попятившись, стал делать новый заход, нацеливаясь своими белыми клыками на податливую рыхлую стенку траншеи.

— Порода плохая, слабая,— сказал мальчишка в дырявой майке и сквозь зубы сплюнул на песок.— С такой породой намучаешься — течет, как вода сквозь пальцы.

— А что они тут роют? — спросил Мурад.

Мальчишка усмехнулся:

— Не знаешь? А еще в Казанджике живешь.

Мурад смущенно молчал.

В это время экскаваторщик увидел их из кабины, на полпути остановил густо истекающий песком ковш, крикнул по-туркменски:

— Эй, Курбан, скоро будете колоть нос верблюду?

— Уже прокололи,— отозвался мальчишка.

Ковш быстро описал дугу, высыпал песок и замер вверху. Экскаваторщик в синем комбинезоне, в пилотке из газеты «Туркменская искра» выскочил из кабины, взлетел на бугор.

— Как прокололи? Ты ж обещал, что прибежишь сказать?

— Не мог я, Петро,— огорченно проговорил Курбан.— Понимаешь, никак не мог — не успел: Черкез-ата утром пришел и сразу начал колоть. Идти сюда уже некогда — помогать надо.

— Эх ты, друг,— жалобно сказал экскаваторщик,— вот так и понадейся...

Лицо его было совсем молодое; длинный серый от пыли чуб выбился из-под бумажной пилотки и лез на глаза. И по лицу и по имени это был русский, но говорил он потуркменски совсем чисто: Мурад никогда не встречал такого. Старый инженер-геолог в Казанджике умел говорить по-туркменски, но так коверкал слова, что ребята отворачивались и зажимали нос, чтобы не рассмеяться и не обидеть инженера.

— Такой редкий случай пропустил,— жалобным голосом сам себе уже по-русски сказал экскаваторщик,— никогда в жизни не видел, так интересно было посмотреть...— Он повернулся спиной к Курбану, медленно побрел к своей машине.

Курбан был огорчен не меньше, чем экскаваторщик. Сначала он смущенно плевал сквозь зубы, потом сломал ветку саксаула, стал обрывать побеги и кидать через плечо.

Мальчики сошли с бугра, остановились возле экскаватора, стали смотреть на его работу.

— Не стой под стрелой! Правил не знаешь? — сердито по-русски крикнул экскаваторщик, хотя Курбан стоял совсем не под стрелой.

Курбан и Мурад покорно отошли в сторону.

— Вот злится на меня,— вздохнул Курбан,— а разве я виноват? Не мог я его позвать. Пока прибежал бы сюда, пока пришли, Черкез-ата все сам бы сделал.

— Это для вашего колхоза траншея? — спросил Мурад.

Курбан быстро обернулся.

— Ты что, совсем дурак или только прикидываешься? Кто же для одного колхоза будет рыть траншею на

полтораста километров? Это стройка республиканского значения. Понятно?

— Понятно,— ничего не поняв, сказал Мурад.

— В Казанджике живешь, должен знать: по этим трубам вода пойдет от озера Ясхан до самого моря — на полуостров Челекен. Там пресной воды нет совсем.

— А как же там люди живут? — спросил Мурад.

— Так и живут — морскую воду перегоняют, делают пресной. Правда, недавно из Джебела получили. Да это что! Им много воды надо. Там сейчас новый город построили. Вот наши и тянут «нитку».

— А ты был в Челекене?

— Нет. Осенью поеду, как «нитку» кончим. Петро обещал взять. Он сам челекенский. Всю жизнь пил морскую воду.

— А по-туркменски где он научился?

— Я же сказал — родился на Челекене в поселке Карагель. От туркменских ребят научился. Сам он украинец, сорок третьего года рождения. Родители его давным-давно — перед самой войной — туда переселились.

Мурад стоял и смотрел на экскаватор, которым управлял украинец из туркменского поселка Карагель. Стрела с бледно-розовым флажком на конце подымалась вверх, опускалась вниз, потом описывала полукруг, ковш легко набирал песок, густо просыпая его, нес к насыпи. Насыпь росла очень медленно. Но экскаватор не обращал на это внимания и все работал и работал.

— Эй, парень! — раздалось по-туркменски из кабины. Мурад увидел — экскаваторщик, одной рукой держась за рычаг, другой машет ему.

Курбан хмуро отвернулся: Петро назло зовет в кабину незнакомого парня...

Мурад подбежал к кабине.

— Давай сюда! — сквозь шум мотора крикнул экскаваторщик.

И вот Мурад стоит в кабине. Под его ногами мелко дрожит железный пол. Вся кабина полна железного лязга, железного скрипа, моторного гула. Все здесь железное, твердое, горячее, все пахнет машинным маслом, нагретым металлом.

— Ты откуда? — кричит ему на ухо экскаваторщик.— Из Казанджика? К деду Черкезу приехал? Дед у тебя хороший мужик!

Совсем близко Мурад видит до синевы загорелое лицо, по нему текут струйки пота, пересекают старые следы. Бумажная пилотка совсем размокла, съехала на ухо, длинный чуб, жесткий и пегий от пыли, лезет на глаза. Экскаваторщик дует на него вверх, но чуб намок, его не сдуешь. Тогда экскаваторщик молча тянется головой к Мураду, и тот откидывает волосы с мокрого лба.

— Спасибо! — говорит экскаваторщик.— Все никак не соберусь побрить голову. На нашей работе волосы — беда. Ты вон тоже гриву отпустил. Зачем? Жарко!

Так, крича друг другу на ухо, мешая туркменские и русские слова, они разговаривали минут пять. Экскаваторщик расспрашивал Мурада про Казанджикскую школу. Сам он учился в Карагельской, тоже туркменской — русской школы тогда не было: в поселке жило две русских семьи, и все ребята хорошо говорили по-туркменски. Окончил семь классов, пошел работать. Третий год на экскаваторе. Машина держит первенство по выработке. А как его тут удержишь, когда порода проклятая, песок течет из ковша.

Мурад увидел, как бледно-розовый, вылинявший на солнце флажок вместе со стрелой вновь проехал над траншеей. Казалось, он заглядывает в ковш — смотрит, сколько тот набрал песку.

— Может, хочешь попробовать? — вдруг спросил Петро, кивнув на рычаги.

— Что? — Мурад растерялся — он не мог поверить, что Петро говорит серьезно, не смеется над ним.

Между тем Петро встал уже с сиденья.

— А ну, давай!

И вот Мурад сидит на месте экскаваторщика, правая рука его на блестящей рукоятке, только ноги не достают до педалей. Ничего! Петро сам нажимает на педали.

— Бери на себя! — командует он.

Мурад изо всех сил потянул рукоятку рычага. Неужели она не поддастся? Рука сразу становится мокрой, по лицу, по шее, по груди катятся соленые струйки. Выжмет или не выжмет он рукоятку? Выжмет или не выжмет? Вся сила его сейчас собралась в правой руке. Жми, жми, жми ее вниз! И вот рукоятка подается — не такая уж она тугая. Видно, как кабина поворачивается, делает полукруг, как ковш идет вниз, легко вгрызается в предательски податливый песок, набирает его, наполовину рассы-

пав, проносит над траншеей; железная челюсть отваливается, песок летит вниз.

— Ну вот и проделал сам весь цикл,— раздается над ухом Мурада,— для начала неплохо.

Мурад встает с железной скамеечки, вытирает рукавом мокрое лицо. Он тяжело дышит от счастья — сейчас сам, своими руками он управлял экскаватором, сам набирал в ковш песок, сам рыл трассу для ясханской воды, которая осенью пойдет на Челекен.

— Шабаш! — кричит Петро.— Слегка подымим.

Он останавливает мотор, выходит с Мурадом из кабины.

— Курбан, спички есть?

Курбан, который минуту назад лежал, повернувшись спиной к экскаватору, подбегает, с сожалением хлопает себя по трусам.

— Да я и забыл — ты же бесштанный,— смеется Петро.

— Можно стеклом зажечь,— советует Курбан,— дай я наведу.

Экскаваторщик вынимает «Беломор», увеличительное стекло, подает Курбану. Тот наводит стекло на солнце. Папироса дымится. Петро закуривает.

— А вы не курите? — говорит он.— Правильно делаете, я вот с малых лет курю, теперь уж трудно бросить. Да и работа наша... без курева тут не очень-то...— Он затягивается в два приема, и папироса сразу сгорает до половины.

Незаметно для себя все перешли на русский язык. Курбан и Мурад говорят по-русски так же, как Петро по-туркменски. Им всем троим все равно, на каком языке говорить.

Мурад спросил — правда, что вода по трубам пойдет на полтораста километров?

— Правда,— сказал Петро,— а что тут такого?

— Целый поезд труб понадобится.

— Поезд? — Петро усмехнулся.— Нет, брат, тут одним поездом не обойдешься.— Он приподнялся на локте, кивнул на уходящую вдаль линию черных труб, сплюнул сквозь зубы.— Наша «нитка» что, мелочь! В пустыне не такие вещи делают. Про Каракум-реку слыхал?

— Это Узбой — я плавал в нем! — гордо сказал Мурад.

— Какой Узбой! — махнул рукой Петро.— Узбой — лужа, мертвая вода. Каракум-река от Амударьи течет, дочка ей, по пескам, по барханам на сотни километров течет. Роют для нее дорогу день и ночь. Видал в кино войну? Как танки идут в атаку? Ну вот на трассе Каракум-реки машины вроде танков — страшной силы, только они никого не атакуют, просто роют песок. Если днем очень жарко, сталь раскаляется,— все шабашат до вечера, потом всю ночь роют. Машинки там знаешь какие? Моя рядом с ними — детская игрушка.

Мурад взглянул на экскаватор Петра — хороша игрушка!

— А где их делают? — спросил он.

— Где? — Петро кивнул на экскаватор.— Видишь на кабине буквы?

— Вижу,— сказал Мурад,— УЗТМ.

— Ну вот. Уральский завод тяжелого машиностроения, находится в Свердловске. Оттуда к нам на «нитку» и на Каракум-реку идет техника. Да и не только оттуда — из разных городов, за тысячи километров везут.

— А ты видел Каракум-реку?

— В кино видел. Пароходы среди песков ходят. Волны, когда ветер, будь здоров! — утонешь за милую душу.— Петро сильно затягивается, окурок вот-вот станет жечь пальцы, но Петро забыл про него.— Кончим «нитку», обязательно подамся на Каракум-реку. Лучше поздно, чем никогда. Четвертую очередь буду делать, поведем воду к вам, в Казанджик.

— А сейчас почему не едешь? — спросил Мурад.

— Надо одно дело кончить, потом за другое браться. А «нитка» эта наша, челекенская.

Мурад долго смотрел на Петра, не решаясь сказать,— а вдруг тот начнет смеяться, но потом все же спросил: нельзя ли отсюда увидеть Каракум-реку?

Петро быстро обернулся.

— Отсюда? С этого места?

— Ну да. Воздух в песках очень чистый, вдаль хорошо видно...

— До Каракум-реки сотни километров,— усмехнулся Курбан,— в телескоп и то не увидишь.

— Нет, почему? — говорит Петро.— Если с высокого места долго смотреть, может, и покажется.— Он оборачивается к Мураду: — Хочешь взглянуть с кабины?

Мурад глубоко вздыхает — хочет ли он!

Они втроем идут к экскаватору, и Петро, став на основание стрелы, берет Мурада под мышки, легко подымает на крышу кабины.

О, как далеко видно отсюда! Какая огромная бескрайняя пустыня — вся дрожащая, переливающаяся под солнцем раскинулась до горизонта во все стороны! Но Мурад смотрит только на юг, смотрит очень долго, стараясь не моргать. И видит: между темными песчаными буграми медленно проступает светло-голубая гладкая вода. Она ширится, затопляет темные бугры, поглотив их, уходит далеко-далеко и сливается с таким же светло-голубым небом.

— Каракум-река! — Мурад неподвижно стоит на раскаленной стальной крыше, боясь пошевелиться, моргнуть глазом,— если долго смотреть, может, увидишь и пароходы? Но нет, Каракум-река, ее светлая, широкая, огромная вода остается пустынной, спокойно стоит на горизонте.— Вижу! — тихо говорит Мурад.— Я вижу Каракум-реку.

— Где? — недоверчиво спрашивает снизу Курбан, но в голосе его уже слышно сомнение.— Это мираж. Что, не знаешь, не говорили вам в школе?

А Петро молчит и улыбается. Потом протягивает вверх свои сильные, большие загорелые руки и, крепко обняв Мурада, ставит его на землю.

— Еще, брат, увидишь Каракум-реку,— говорит он Мураду,— вблизи увидишь.

Время идет. Надо работать.

— Пошел ворочать,— Петро кивает мальчикам.— Черкезу-ата салям передайте.— Он взбирается в кабину, садится на железную скамеечку и включает мотор.

Мурад и Курбан поднялись на бугор, последний раз взглянули на трассу, на экскаватор. В золотисто-голубом небе ходил, все ходил не знающий покоя бледно-розовый от солнца флажок. Маленькое полотнище, уже зубчатое по краям, развевалось на горячем ветру, который не переставая дует там, в небе, высоко над пустыней.

5

Дед Черкез нисколько не переживал из-за Мурада. Он сидел на ковре в жидкой саксауловой тени. Перед ним прямо на песке была разостлана маленькая белая скатерть. На ней пиалы, мелко наколотый рафинад, чурек. Возле деда Черкеза сидело уже не трое, а пятеро чабанов — старые и молодые. Все сняли папахи, остались в тюбетейках и не спеша пили кок-чай.

— Где ты был? — не оборачиваясь к Мураду, спокойно спросил Черкез-ата.

— На трассе,— сказал Мурад,— тебе Петро салям передавал.

— «Салям, салям»,— недовольно заворчал дед Черкез.— Ты видел, как работает его машина?

— Видел. Я сам на ней работал,— гордо ответил Мурад,— весь цикл проделал.

— Песок течет из ковша? Течет? И он еще не стыдится передавать мне салям? Почему в Небит-Даг не сообщит — сколько времени уходит зря? Этак мы и до прихода Азраила[1] не кончим «нитку».

— Черкез-ата,— сказал очень полный, видно, самый старший чабан,— в Небит-Даге нет ковшей, из которых не вытекает песок. Эти машины не для песка. Где же Петру взять другой ковш? А челекенские иомуды подождут — они привыкли: всю жизнь пьют морскую воду.

Дед Черкез вдруг поднялся, быстро надел папаху.

— Слушай, Реджеб: ты всю жизнь пьешь хорошую, сладкую воду из Дас-Кую. И Джума, и Кадыр, и я — все пьем сладкую воду. Правда? А челекенские иомуды, по-твоему, пускай пьют морскую. Почему? Потому, что они всю жизнь ее пьют? Или потому, что они — иомуды?

Дед Черкез круто повернулся и пошел, не попрощавшись.

Но тут все бросились за ним, стали наперебой объяснять, что Реджеб не хотел обидеть Черкеза-ата и челекенских иомудов — просто не подумал, сказал глупое слово. Постепенно дед Черкез успокоился, но возвращаться не стал — домой пора.

Все начали прощаться, и чабаны снова принялись благодарить деда Черкеза за Шайтана.

---

[1] Азраил — ангел смерти у мусульман.

Курбан тоже, словно взрослый чабан, сказал:

— Большое, большое спасибо, Черкез-ага,— и с важным видом взглянул на Мурада. Курбан вместе с чабанами держал Шайтана, не боялся, что тот укусит, а Мурад только стоял и смотрел. А может, Курбан был недоволен, что Петро позвал к себе в кабину Мурада и дал ему сделать полный цикл? Кто знает...

Чабаны проводили деда Черкеза и Мурада до ближайшего бугра и повернули обратно.

Пройдя несколько шагов, Мурад обернулся.

Чабаны в высоких черных папахах уже скрывались за буграми, в последний раз мелькнула стриженая голова Курбана. Он даже не оглянулся. Видно, уже забыл, что есть на свете такой Мурад Аширов, второклассник из Казанджика...

Они долго шли молча. Дед Черкез, как всегда, шел впереди и ни разу не посмотрел на Мурада,— видно, все-таки сердился за то, что Мурад бросил его и убежал на трассу.

Сакар по-прежнему трусил за дедом Черкезом и тоже не замечал Мурада.

Было уже очень жарко. Солнце поднялось на страшную высоту, стояло посредине неба, и от него некуда было деться. Легкие светлые тени саксаулов укоротились; только узкий кружок лежит под самым деревом. Кругом было тихо, как в комнате, когда все спят.

Мурад сильно устал и из последних сил плелся за дедом Черкезом. Одна надежда — скоро покажутся три кибитки. Может, мать еще не ушла и они все трое пойдут домой. Вот и последний бугор. В котловине показались три кибитки. Из средней вышла мать Мурада. Она вышла одна. Ее никто не провожал. В правой руке мать несла чемодан из желтой кожи. Новые замки слепяще сверкали на солнце, даже больно было на них смотреть. Чемодан показался Мураду непомерно большим и легким, словно он сам двигался по пескам и тащил за собой мать.

Мурад хотел было крикнуть, что он здесь, но дед Черкез вдруг свернул в сторону, пошел без дороги, по диким пескам, потом сбежал в узкую глубокую котловину. На пологом склоне, среди красноколрых кустов, вдруг показалось нечто необыкновенное: на песке торчали две светло-желтые мясистые палки с толстыми набалдашниками, которые, словно мелкими наростами, были усаже-

ны странными лиловыми бляшками на бледных ножках. Среди скромного илака, приземистых краснокорых кустов кандыма эти яркие палки прямо-таки лезли в глаза: «Посмотри, посмотри на нас — какие мы высокие, какие красивые».

Увидев палки, Мурад вздохнул: как жалко! — не удастся взять даже одну — сломать трудно, палки толстые, а срезать ножом дед Черкез не захочет — вон он бежит через лощину, ни на что не смотрит... И тут Мурад увидел: дед Черкез свернул прямо к красивым палкам, на ходу вынул и раскрыл нож. Значит, палки ему тоже очень понравились. Но дед Черкез не стал их срезать, а принялся выкапывать ножом. Мурад подошел, заглянул в ямку. Внизу палки утолщались, в земле у каждой был еще второй набалдашник, только гладкий, без всяких бляшек. Дед Черкез опустил в ямку руку с ножом, стал подрезать невидимый корень. Лицо деда покраснело от натуги — корень не поддавался.

— Не надо, ата,— робко сказал Мурад,— тебе тяжело.

Дед Черкез опустил руку до самого локтя и все резал и резал упрямый корень. Сильный рывок, глухой хруст — и в руках деда Черкеза оказались сразу обе палки. На нижних концах их не было корней, вместо них — толстые, тупые, деревянно-твердые наросты, похожие на серые крепко сжатые кулаки.

Дед Черкез положил палки на песок. Странно, как же они живут без корней, как добывают себе воду? Мурад наклонился над палками. Нет, корень есть — коротенький кусочек, обрезанный с двух сторон, был как в тисках зажат между двумя сросшимися внизу серыми тупыми кулаками, неотличимо похожими один на другой. Мурад попытался высвободить корень и не смог — кулаки присосались к нему намертво.

— Это чужой корень,— строго сказал дед Черкез — впервые за все время он заговорил с Мурадом.— Смотри красивый Илан-дродак, правда? Весь золотой, высокий, выше Кандыма. А что делает? Сосет соки из Кандыма. Поймал корень под землей, сел верхом и присосался — не оторвешь. Потому и вырос такой высокий, жирный.

Тяжелым чабанским чарыком дед Черкез с силой наступил на Илан-дродак; палка сочно хрустнула, слома-

лась легко, как гнилая. На конце выступил густой клейкий сок.

Дед Черкез размахнулся, желтые обломки полетели в кусты с краснокорыми ветками.

Медленно двинулись дальше. Из-за бугра выглянули зеленые кроны. Издали казалось — они обнимают друг друга. Среди ветвей чернела острая верхушка кибитки деда Черкеза.

— Очень есть хочется,— признался Мурад.— Верно, мать уже дома, ждет нас...

Дед Черкез молчал. Сорвав пучок илака, он вытирал руки, липкие от сока Илан-дродака.

Спустились с холма. Со стороны кибитки послышалось глухое гудение: чтобы не готовить пищу на костре, мать привезла из Казанджика примус.

Перед самой кибиткой дед Черкез вдруг замедлил шаг — вопреки обычаю, пропустил вперед внука. Он был глубоко обижен: жена сына второй день не разжигает очаг в его доме, не трогает ветки саксаула, припасенные для гостей. Это значит: дом хозяина для жены его сына — чужой дом...

Мать, склонившись над примусом, поджаривала свиную тушенку на алюминиевой сковородке. Перевернутая жестяная банка с вспоротым верхом валялась на полу, жирный желтый сок пролился, запачкал кошму. Мурад увидел: наклейки на банке окружали ее сплошным пояском, на каждой наклейке маленькая белая свинка опустила голову, будто нюхает кошму. Возле примуса прямо на кошме — непочатая банка со сгущеным молоком. Тут же рядом стоял чемодан из желтой кожи, покрытый салфеткой,— чемодан-стол. На нем синяя чашка с золотыми буквами «Пей на здоровье». Эту чашку мать подарила Мураду зимой на день рождения. С тех пор он пил какао и молоко из синей чашки, а не из маленькой пиалы.

Возле чашки, на тарелочке с розами — тонко нарезанный батон из Казанджика.

Мурад взглянул на мужскую половину кибитки, где лежала свернутая постель деда Черкеза. Как там неуютно, как пусто, одиноко! Вся посуда сбилась в угол — к самой войлочной стенке; вон черная сковородка с белым застывшим жиром. Вчера на этой сковородке дед Черкез жарил баранину, жарил прямо на костре из саксауловых веток: баранина сильно пахла дымом, и они, как чабаны,

ели ее прямо руками, а потом пили крепкий кок-чай из закопченного чайника. Дед Черкез заварил целых пол-плитки и наливал кок-чай в старые, надтреснутые пиалы. Пить было не горячо, блюдца не надо.

Сейчас обе пиалы были перевернуты прямо на кошму, и чайник был холодный. Он стоял, уткнув свой длинный витой носок в войлочную стенку, и Мурад подумал, что мать нарочно поставила чайник в угол носом за то, что он такой закопченный, черный...

— Садись кушать, сынок,— ласково сказала мать, не отрываясь от примуса,— где ты ходил так долго? С самого утра ничего не ел, ушел голодный.

Мурад стал было рассказывать ей про сегодняшнее утро: про Борджок, про Сакара и Шайтана, про ветер, который умеет писать. Мать смотрела на него, кивала головой, говорила: «Да? Ах, как интересно!» Но Мурад видел: матери не нужны ни Борджок, ни Сакар, ни Шайтан с его проколотым носом.

Только услышав, что Мурад купался в Узбое и стал совсем белый от соли, она сказала:

— Никогда больше не купайся в реке. Слышишь? У нас есть корыто...

Мурад умолк, присел возле стола-чемодана, устало облокотился, и вдруг стол-чемодан легко подался вбок — он был пустой! Мурад удивленно взглянул на мать, она отвела глаза, стала ножом переворачивать тушенку. Тушенка громко зашипела, плюнула горячим жиром. От сковородки повалил синий чад. Примус вдруг перестал гудеть и тоже зашипел, синее пламя пропало, из черной дырочки в горелке пошел керосиновый дым — жир попал на горелку.

— Провались ты, проклятый!

Мать наклонилась, стала шарить кругом — искать примусную иголку. Иголки нигде не было, примус все шипел и шипел, в кибитке потемнело от дыма.

И тут в светлом проеме показался дед Черкез. Сквозь дым Мурад увидел только его высокую черную папаху. Дед Черкез остановился у входа и не шел дальше. Опустив голову, он смотрел на пустую банку из-под тушенки и тихо трогал ее своим чабанским башмаком, рассматривал трех свинок, которые все еще нюхали запачканную кошму.

Мурад вспомнил: в Казанджике, когда мать жарила

свинину, дед Черкез молча вставал, надевал свою папаху и на весь день уходил из дома. А сейчас ему некуда было уйти.

Наконец мать нашла иголку, присела возле обиженно умолкшего примуса, стала прочищать горелку.

— Мама,— сказал Мурад,— я не хочу тушенки. Она жирная.

— Будешь есть что дают,— крикнула мать,— тоже мне мусульманин нашелся! — Она сидела спиной к входу и не заметила деда Черкеза.— Где я тебе возьму баранины? В Казанджике, кроме тушенки, ничего нет. Садись ешь!

— А что будет есть ата? — спросил Мурад.

— Можно подогреть кабачки, щи без мяса: консервов много.

Мать качнула насос, из черной дырочки забил тонкий керосиновый фонтанчик.

— Спасибо, мне есть не хочется,— спокойно сказал дед Черкез. Он все еще как чужой стоял у входа и тихо кашлял от дыма. Синие космы редели, плыли к выходу. И Мурад увидел, как дед Черкез медленно сквозь дым пошел из кибитки.

— Ата! Подожди меня, ата!

Мурад кинулся за дедом Черкезом, но мать загородила ему дорогу.

— Садись ешь! На сегодня хватит — нагулялся.

Снаружи послышалось затихающее покашливание. Дед Черкез уходил, уходил, как тогда, у колодца Дас-Кую...

— Ата, куда ты? Ата! — крикнул Мурад и заплакал во весь голос.

6

Ночью Мурад долго не спал — все ждал деда Черкеза. Он беззвучно плакал и старался не сморкаться, чтобы не услыхала мать. Но дед Черкез так и не пришел домой,— верно, бросил свою кибитку, перебрался в кишлак.

Заснул Мурад только на рассвете. Ему показалось, что он проспал минут пять, не больше, и сразу же открыл глаза. Дед Черкез сидел на кошме и смотрел на него.

Он не будил Мурада, не щекотал его лицо «зеленым гвоздем», нет, он просто сидел н смотрел на своего внука.

Мурад быстро взглянул на женскую половину. Матери не было.

— Выспался? — спросил дед Черкез.

— А тебя почему всю ночь не было?

— Я ходил по важному делу,— сказал дед Черкез.

— По какому делу? Ты был в колхозе?

— Вставай, увидишь.

Мурад быстро вскочил. Давно уже наступило утро — солнце поднялось до самых верхушек деревьев с листьями-гребешками, жарко просвечивало сквозь их зелень, будто говорило: «Постойте, постойте! Вот подымусь выше, тогда вы меня узнаете!»

Дед Черкез, как всегда не оглядываясь, пошел вперед. Он обогнул кнбитку и направился к крайнему дереву.

В двойной прохладной тени — под деревом и под крышей шалашика из веток — на толстом свежем саксауловом суку сидела большая тяжелая птица с бурымн перьями. Птица медленно переступала с ноги на ногу, сжимая и разжимая острые темно-серые когти. На глаза птнцы был надвинут черный кожаный колпачок.

Дед Черкез кивнул на птицу:

— Это сокол — нтельги. Я вчера за ним далеко ходил — в колхоз «Кызыл аскер» — двадцать километров. Председатель Берды-ата — старый человек, хороший охотник. У него трн ительги. Я говорю: «Одолжи одного, хочу поохотиться». Он говорит: «Возьми хоть двонх, Черкез-ата. Почему редко просишь? У тебя хороший таазы. Вместе с нтельги они много зайцев наловят».

Услышав голос, сокол тяжело слетел с сука, стал скрести когтямн песок.

— Сердится,— усмехнулся дед Черкез.— Очень не любит, когда грязно.

Взяв саксауловую ветку, дед вымел помет из шалашика, посыпал пол свежим песком.

— А где его взял Берды-ата? — спросил Мурад.

— На Саракамыше поймал, когда ительги еще был птенцом. Вндел вчера мальчика на колхозном стане? Курбан зовут — внук Берды-ата. Он взял из гнезда нтельги.

Мурад был изумлен: как? Курбан, этот гордый маль-

чишка в дырявых трусах и в дырявой майке, державший Шайтана, умеет еще ловить соколов? Это было невероятно! Мурад почувствовал острую зависть.

— В прошлом году поймал,— продолжал дед Черкез.

И он рассказал, как было дело.

Весной Курбан упросил деда взять его иа Саракамыш. Берды-ата ехал туда по колхозиым делам. Возле Саракамыша много глиняных холмов. На буграх гнездятся соколы.

Берды-ата и Курбаи весь деиь бродили по пустыне — искали гиездо с птеицами. Были гиезда, да все пустые,— весиа коичалась, молодые соколы уже улетели в пески.

Гиездо, где сидел ительги, висело иад обрывом. Старых птиц ие было в гиезде.

Ительги увидел людей, испугался, стал пищать. Курбаи сказал:

— Ата, я возьму его.

Дед спросил:

— А как ты доберешься до гиезда?

Курбан сказал:

— На веревке. Привяжи меия за пояс и спусти вниз.

Курбан очень ловкий. Ои добрался до гиезда, взял ительги, спрятал за пазуху, и дед иа веревке поднял их обоих.

В кишлаке ительги поселили в шалаше. Курбаи ходил за иим: убирал пол — ительги очеиь не любит грязи.

Ительги быстро рос. Через месяц сам разрывал живых тушканчиков, которых ловил ему Курбаи. За лето ительги привык к Берды-ата и к Курбаиу, кричал, когда видел их издали.

Пришла осень. Наступила пора учить ительги. Теперь Берды-ата редко кормил его и ие давал долго спать; на заре дед сажал ительги иа руку в кожаиой перчатке, выходил в пески — приучал сидеть иа руке.

Ительги сильно похудел, он был всегда голодиый и злой. Берды-ата сделал алвай — мешок из белой кошмы, пришил к нему красиый лоскут, клал в мешок мясо, из алвая понемиогу кормил ительги.

Настал главный день. Курбаи с дедом вышли в пески. Ительги сидел иа руке деда. Курбаи отошел далеко, поднял алвай, крикнул:

— Хайт-хайт!

Ительги взмахиул крыльями, полетел на мясо.

Но Курбан отдернул алвай. Ительги рассердился, взмыл вверх.

— Хайт-хайт!

Алвай с красным лоскутом снова замелькал перед глазами ительги. Голодный, злой, он бросился на алвай, стал рвать его когтями, клевать мясо.

Прошла неделя. Берды-ата поставил капкан, поймал зайца, переломил ему заднюю ногу, сделал надрез на голове. Заяц стал похож на алвай. Вечером дед с внуком вышли в пески. Курбан нес зайца. Берды-ата — ительги. Зайца выпустили. Серый с красным алвай мелькнул перед ительги. Алвай был живой — он убегал в пески.

— Хайт-хайт! — Берды-ата подбросил сокола. Распустив крылья, ительги кинулся вдогонку за зайцем, вцепился когтями, ударил клювом в голову, убил.

Берды-ата отнял зайца, вырвал из груди сердце, бросил ительги — получай награду за труды! С тех пор ительги охотится с Берды-ата, с Курбаном.

— Они охотятся без таазы? — спросил Мурад.

— Почему? У них есть таазы.

— А как его зовут?

— Сакар. Все таазы — Сакары,— дед Черкез хитро взглянул на Мурада.— Хочешь пойти на охоту?

Хочет ли он! Мурад от радости схватил руку деда, молча прижался к ней лицом.

— Одевайся. Сейчас поедим и пойдем.

Они вошли в кибитку. Мать уже вернулась, но дед Черкез не замечал ее. Он проходил мимо матери и смотрел поверх ее головы. Мать совсем притихла. Она неслышно ходила по кибитке и отводила глаза, когда на нее смотрел Мурад,— видно, чувствовала себя виноватой.

Дед Черкез разжег костер, поджарил баранину, вскипятил чайник. Как в первый день, они с Мурадом поели вдвоем. Потом дед Черкез вынес бараньи кости, окликнул Сакара, покормил его.

Они стали собираться в путь: Мурад оделся как охотник, заправил рубашку в штаны, через плечо перебросил веревку — привязывать зайцев. Дед Черкез натянул на левую руку кожаную рукавицу, подошел к ительги, погладил его по бурой спине, посадил на руку. Сакар, увидев ительги, сделал огромный прыжок, но дед Черкез цыкнул на него, и Сакар успокоился.

Они вышли вчетвером и сразу повернули на восток: дед Черкез сказал — в этой стороне особенно много зайцев. Правда, сейчас лето, заяц линяет, прячется, много поймать не удастся.

Тропинок не было. Бугор — котловина, бугор — котловина. Дед Черкез с Мурадом подымались, спускались, обходили бугры, совсем одинаковые, очень похожие друг на друга; только по саксуалам еще можно их различить — на этой вершиие стоит одно дерево, на той — два или три. А так все-все одинаковые: на половине склона краснокорые кусты кандыма, чуть повыше — зеленый, с заметной уже желтинкой кушак селинов — кустиков-щеток. Они опоясывают каждый бугор.

Сакар уже не плелся за хозяином. Он бежал впереди, задрав хвост, на ходу обнюхивал песок, искал заячьи следы. Но зайцев пока не было. Ительги, опустив голову, мерно покачивался на левой руке деда Черкеза, дремал, погруженный во тьму.

— Он тяжелый? — спросил Мурад.

— Нет, с кило.— Дед Черкез протянул Мураду сокола: — На, понеси.

Кожаная рукавица была для Мурада слишком длинной, почти до локтя. Ительги перешел к Мураду, ничего не заметив, так же спокойно покачивался на руке. У Мурада сразу крупно вспотел лоб, струйка потекла по виску, попала в глаз. Не вытирая пот, поддерживая левую руку правой, Мурад шел и шел, а в затуманенных глазах мелькал совсем близко — у самого лица — твердый черный колпачок и круто изогнутый, темно-серый, в желтой молодой кожице у основания, страшный клюв ительги. От перьев птицы исходил слабый, почти неуловимый запах, от этого запаха у Мурада сильно билось сердце.

Что, если сейчас Сакар поднимет зайца и придется самому запускать ительги — дед Черкез не успеет его взять,— надо быстро снять колпачок, показать зайца, потом с силой подбросить ительги и крикнуть «хайт-хайт!».

Но они все шли и шли, всходили и сходили с бугров, Сакар давно скрылся, а зайца все не было и не было. Пот уже высох на лице Мурада, он опустил правую руку — ительги был совсем не тяжелый.

И тут издали послышался голос Сакара. Лай был нервный, короткий.

— Поднял!

Мурад оглянулся и не узнал деда Черкеза. Лицо его потемнело, он тяжело дышал, будто сильно устал с дороги.

— Давай ительги! — дед Черкез почти отнял птицу у Мурада. Они побежали на лай.

Из-за бугра выкатился серый комок; обезумев, он летел прямо на Мурада и деда Черкеза. Заяц заметил людей, резко метнулся в сторону.

Дед Черкез остановился, сильно свистнул — подал сигнал ительги, одним движением снял с него колпачок, отцепил ремешок. На мгновение Мурад совсем близко увидел широко раскрытые круглые, безжалостные глаза ительги. Дед Черкез изо всей силы подбросил его, пронзительно крикнул:

— Хайт-хайт!

Сокол распустил неожиданно огромные крылья, косо взмыл вверх. Он летел медленно — был уверен в себе, в своей зоркости, в своей силе. Он поднялся так высоко, что стали чуть видны прижатые к животу ноги. Не двигая крыльями, ительги стоял в воздухе — смотрел, где заяц; увидев его, пустился вдогон.

Мурад и дед Черкез взбежали на вершину бугра. Заяц шел не быстро — собака отстала, сокола он не видел, птица летела высоко, но как раз над зайцем, и вдруг ительги почти сложил крылья, стал падать, падать.

Крыльями, грудью, всем телом сокол со страшной силой ударил зайца. Заяц упал замертво.

Запустив когти, ительги сидел на зайце, быстро и сильно клевал его своим железным клювом. Он добывал зайца не для хозяина — для себя.

Дед Черкез бросился к нему, отнял зайца, схватил ительги, посадил на руку, закрыл ему глаза колпачком. Ительги тяжело дышал, царапал когтями рукавицу, потом успокоился, стал мерно покачиваться на руке шагавшего по буграм деда Черкеза.

Мурад перекинул зайца через плечо, за задние ноги привязал к поясу. Заяц был еще теплый. Длинноухая голова покорно свесилась вниз, круглые, уже матовые глаза уставились в землю. С редких седых усов скатыва-

лась темная густеющая кровь. Мурад чувствовал: рубашка на спине стала липнуть к телу. На минуту ему стало жаль зайца, жаль легкое, по-летнему худое тельце в серой линяющей шерсти, жаль длинноухую голову с испачканными кровью усами; чтобы не поддаться этой жалости, Мурад сильно дернул зайца за задние ноги, поправил его на плече. Ноги были уже холодные, остыли быстрее, чем тушка.

Совсем близко, из-за соседнего бугра, выскочил Сакар, в три прыжка оказался рядом с дедом Черкезом, пошел чуть поодаль, терпеливо ожидая заслуженного.

Дед Черкез остановил Мурада; не снимая с его плеча зайца, ножом отсек задние лапы, бросил Сакару. Пес жадно схватил, почти не жуя, проглотил с шерстью, с когтями — Сакар был голоден всегда: за всю свою жизнь он ни разу не поел досыта: дед Черкез только перед самой охотой кидал ему баранью кость, кусок чурека. Да еще, как вот сейчас, давал заячьи лапы в награду за старание. В остальное время Сакар питался чем попало: ел сусликов, тушканчиков, ящериц, даже змей. Было непонятно, как он еще живет на земле. Но Сакар не унывал, сразу являлся на свист, усердно служил своему строгому хозяину, не признавая, кроме него, никого.

Сейчас Сакар исчез. Насколько хватал глаз, его нигде не было видно.

— Он не заблудится? — беспокойно спросил Мурад.

— Кто? Таазы?

Дед Черкез усмехнулся:

— В мешке на машине завези — все равно домой придет. Таких собак, как наши таазы, нигде нет. Только в Туркменистане есть. Лучший на свете каракуль — сур, лучший на свете конь — ахалтекин, лучшая на свете собака — таазы. Где все живут? У нас, в Туркменистане! — Дед Черкез гордо взглянул на Мурада, правой рукой поправил черную папаху и, казалось, стал еще выше.

7

Становилось все жарче. Желтые, лысые вершины накалились, над ними дрожал горячий воздух. Если долго смотреть вдаль, то саксаулы на вершинах тоже

начинали дрожать и слегка извиваться, как змеи. Кстати, змей встречалось довольно много, это были светлые «стрелки» — ок-иляны. Они неподвижно свисали с веток Кандыма, Борджока — грелись на солнце. Даже когда дед Черкез с Мурадом подходили близко, ок-иляны все так же продолжали висеть на ветке — они редко видели человека, а может, никогда не видели его и поэтому не боялись, как птицы в Арктике, о которых рассказывала в школе учительница.

Сакара все не было. Мураду стало скучно. Раз зайца нет, надо охотиться хотя бы на ок-илянов.

Он взял у деда Черкеза нож, вырезал и очистил от веток длинную саксаулину с вилкой на конце — прижимать ок-иляна к земле, стал смотреть вокруг — не висит ли поблизости ок-илян. И тут издали послышался приближающийся лай Сакара.

— Нашел! Гонит! — Мурад сразу забыл о змеях, с дедом Черкезом они снова взбежали на бугор. На этот раз Сакар, кажется, напал на старого, матерого зайца. Заяц не летел как угорелый, нет, он ловко петлял между буграми, перебегая от одного кандымника к другому. Скрывшись в зарослях, заяц сидел там несколько секунд, потом выскакивал в неожиданном месте, летел до другого кустарника.

Ительги, услышав лай, встрепенулся, не дожидаясь команды, стал горбиться, подаваться вперед — давал знак «хочу лететь!». Но дед Черкез, беспокойно переступая с ноги на ногу, все следил за зайцем и не спешил спускать сокола: ительги не любит неудач — если зайца сразу не поймает, рассердится, во второй раз полетит неохотно, а может и совсем не полететь. Дед Черкез выжидал, пока заяц выберется на чистое место, без кустов. Но заяц, казалось, разгадал замысел охотника: он все дольше и дольше задерживался в редеющих кандымниках — сидя там, высматривал, выбирал для нового броска мало-мальски подходящее укрытие.

Приближалось самое трудное, смертельно рискованное для зайца: кандымник становился совсем редким, исчезал. Дальше шла почти голая лощина — на дне ее далеко друг от друга уныло торчали три чахлых куста. Зато сразу же за ними, совсем близко, в трех, от силы в пяти, заячьих прыжках, снова начинался чудесный,

непролазно густой кандымник. Отсюда, с вершины он казался темно-серым и уходил за бугры.

Мурад быстро взглянул на деда Черкеза. Дед упорно смотрел на голую лощину.

Показался Сакар, он молча несся к зарослям, укрывшим зайца. До кандымника ему оставалось с десяток прыжков, когда заяц вылетел из зарослей, кинулся в лощину к среднему, жидкому, но близкому кусту.

Не отводя взгляда от зайца, дед Черкез сорвал колпачок, с силой подбросил ительги вверх. Он даже не свистнул — ительги и без того очень волновался.

— Хайт-хайт!

Мурад вскинул голову, перестал дышать. Увидит или не увидит ительги зайца? Сокол распустил крылья, ветер от них ударил в лицо Мурада.

Прижав уши к спине, заяц несся к среднему кусту. Ительги кинулся за ним на бреющем полете. Заяц услышал за собой нарастающий страшный, смертный шелест. Подавшись вперед, ительги весь напрягся, выставил вперед когти, готовый к удару, но тут заяц нырнул под куст. Ительги пронесся над ним, взмыл вверх, сделал круг — он не мог броситься на куст. И тогда Мурад увидел: дед Черкез сорвал свою черную папаху, с размаху ударил ею оземь и сразу сел на песок, опустив маленькую голову в гладкой красной тюбетейке.

Никто не заметил, как хитрый, умный заяц выскочил из-под куста и скрылся в густом кандымнике.

Дед Черкез встал на ноги, поднял руку в кожаной рукавице. Ительги сделал плавный разворот, тяжело опустился на рукавицу. Дед Черкез быстро надвинул ему колпачок на глаза. Ительги сидел понурый, сгорбленный, кажется, больше всех переживал неудачу. Подошел Сакар, остановился в нескольких шагах, будто он один был виноват в потере зайца.

Дед Черкез взглянул на Мурада, пожал плечами:

— Что поделаешь, очень умный заяц — всех перехитрил.

Мураду немножко надоела эта охота; оказывается, зайца не так легко взять, да и охотятся-то по-настоящему только двое — Сакар и ительги. Дед Черкез просто несет сокола, потом отпускает его, кричит «хайт-

хайт!». А Мураду и совсем нечего делать. Он посмотрел на свою саксаулину с рогулькой на конце. Эх, если бы дед Черкез позволил поохотиться на ок-илянов — сбить с кустов несколько штук. Ок-иляны злые — ловят маленьких ящериц, глотают птичьи яйца, поедают птенцов в гнездах. Пользы от них никакой, только вред. Но как скажешь деду Черкезу? Он очень не любит, когда Мурад бросает его одного...

Они повернули обратно. Заячья кровь на рубашке давно высохла, но нести зайца становилось все тяжелее, рубашка взмокла от пота.

Дед Черкез, как всегда молча, шел впереди. Но вот он, не оборачиваясь, остановился, поджидая Мурада.

— Отдохни, я понесу зайца,— и, не ожидая, что скажет Мурад, перебросил себе через плечо заячью тушку. Потревоженный резким движением, ительги недовольно распустил крылья, будто грозя улететь, но сразу же успокоился, погрузился в дремоту.

Мурад вдруг набрался смелости:

— Ата, можно мне пойти вперед? Я хочу поймать ок-иляна.

— Иди,— согласился дед Черкез,— только ты их не поймаешь, ок-иляны очень хитрые.

— Ничего! Поймаю! — С саксаулиной наперевес Мурад побежал между буграми.

И правда — змея подпускала Мурада совсем близко, но, когда он примеривался, чтобы сбить ее саксаулиной, ок-илян, не спускаясь с ветки, падала вниз и сразу же пропадала, точно проваливалась в песок. Мурад тщательно осматривал место, куда упала змея,— песок как песок, нигде ни норки, ни ямки, а ок-илян исчезла неизвестно куда.

Мурад спугнул уже трех змей. Неужели ему так и не удастся ни одной прижать к земле? Нет, надо действовать хитрее, подкрасться сзади и сразу ударить. Только как же узнаешь, где у змеи перед, где зад? Она висит вниз головой, и ей кругом все хорошо видно.

А что, если зайти со стороны солнца? Ок-илян тоже не может на него смотреть. Вот тут ее и пришибить!

Мурад оглянулся — далеко ли отошел от деда Чер-

кеза? Нет, вон он идет... Надо не терять его из глаз, все бугры кругом одинаковые — потеряться очень легко, тогда хоть плачь, хоть кричи — никто тебя не услышит, не увидит; среди бугров человека трудно найтн — бугры заслоняют его, глушат голос. Деду Черкезу прндется ндти в кишлак, оттуда звонить по телефону в Казанджик, чтобы выслали «ПО-2» — тот быстро найдет: отец говорил — были уже такие случаи. Но пока поговорят по телефону, пока вылетнт самолет, наступит вечер, темнота. Придется одному ночевать в пустыне.

При мысли об этом Мурад быстро взглянул назад. Дед Черкез спускался с бугра, высокая черная папаха мелькала среди редких веток саксаула. Мурад спокойно пошел дальше. Солнце больше не поднималось вверх, остановнлось на месте — маленький исходящий белым светом кружок — и жгло, палило все вокруг: лысые вершнны, замерзшне на них серо-зеленые саксаулы, желтовато-зеленый борджок, зеленую траву — нлак.

Держа наготове саксаулину, Мурад пошел через бугры с подсолнечной стороны. Как назло, ок-иляны не попадались. Он миновал одну лощину, другую. Ничего, пусто! Как будто по своему радио передают друг другу — «берегись».

Надо дойти еще вон до того бугра, потом догнать деда Черкеза — он сказал правду: ок-нляна не проведешь — очень хитрая змея.

До бугра оставалось шагов десять, когда Мурад заметил наконец ок-иляна. Это была прекрасная, очень длинная, верно уже пожилая, змея, даже издали было вндно, как снльно согнулась красная веточка Кандыма, на которой она повисла. Ок-илян удобно устроилась в развнлке, внсела неподвижно и была очень похожа на белый ремень, которым отец Мурада подпоясывает в выходной день чесучовые брюкн. Мурад согнулся, не сводя взгляда со змеи, стал подкрадываться. Сначала он ставил каблук, потом опускал всю подошву — так ходят все охотники, выслеживающие хитрого и опасного зверя. Ок-илян висела неподвижно. Верно, она повернулась к солнцу спнной и поэтому не замечала Мурада, подходившего со стороны солнца. Держа саксаулнну наизготове, пригибаясь почти до земли, Мурад все крался и крался к бугру. Шагах в трех надо кинуться, оглушить змею, потом прижать к земле и добить.

Кусты совсем близко — можно даже различить темные полосы вдоль светло-серого тела. Круглая головка, похожая на костяную пряжку брючного ремня, выделяется на конце бессильно повисшего тела. Змея крепко уснула на солнце, не чует, что пришел ее последний час.

Мурад остановился, вытянул вперед саксаулину, одним прыжком ринулся на змею. Удар! Еще удар! Змея замертво лежала на песке. Мурад сделал шаг к ней и вдруг по щиколотку провалился в сусличью нору, Он хотел вытащить ногу, но ее будто пружиной подбросило вверх — из песка, раздвигая его, поднималась желтая, как песок, толстая змея. Она росла прямо на глазах; ввинчиваясь в воздух, кольца ее тела вращались со свистящим шорохом. И все выше и выше подымалась плоская голова с широким белым крестом на темени.

— Эфа! — Мурад замер на месте, он смотрел в круглые сонные глаза змеи и не мог двинуться, словно глаза эти приказывали: «Стой!»

Прошла секунда, еще секунда. Эфа зашипела, выбросила жало, готовясь к прыжку, всем телом откинулась назад. И тут справа из кустов на змею бросился Сакар. Послышалось клацанье зубов, длинное тело змеи вытянулось, сжалось, сильный хвост бил Сакара по лапам, по спине, по голове, но пес мертвой хваткой держал эфу за шею, не давая ей ужалить. Шатаясь от ударов, Сакар старался удержаться, не упасть. Но эфа все била и била своим длинным, мускулистым, очень сильным телом. Мурад закричал, заплакал, схватившись за голову. Над кустами показалась черная папаха деда Черкеза. Дед быстро ссадил на землю ительги, кинулся вперед. Ударом ножа отсек голову эфе, вырвал из зубов Сакара труп змеи. Сакар лег, он тяжело дышал, уронив голову на вытянутые лапы.

Совсем близко Мурад увидел очень черные глаза деда на очень белом лице.

— Ужалила? Она тебя ужалила? — дед Черкез хватал Мурада за голову, за плечи, руки его дрожали, будто ему было очень холодно. Мурад испугался еще больше, он не мог уже плакать и только икал со страха.— Где, где? — задыхаясь, повторял дед Черкез, его

легкие, сухие руки метались по телу Мурада, искали укус.

— Ни-нигде,— заикаясь проговорил Мурад,— ее Сакар схватил...

— Правда, это правда? — Дед Черкез вдруг тихо, робко засмеялся, все сомневаясь, еще не веря. И Мурад увидел, что лицо деда Черкеза уже не такое белое, а глаза стали блестящими и из одного глаза выкатилась совсем маленькая слезинка. Дед Черкез быстро смахнул ее кулаком.— Ты очень сильно напугал меня...

Он подошел к безглавой эфе, ударом чарыка отбросил ее далеко в кусты.

— От укуса эфы погибают даже верблюды.

Дед Черкез поглядел на лежавшего Сакара, кивнул одобрительно:

— Молодец, хороший пес!

Сакар радостно и робко завизжал, на животе подполз к деду, он очень ценил скупую ласку хозяина, но дед Черкез уже отвернулся, бережно поднял с земли ительги, посадил на руку. Сокол сидел понуро, он не видел, что произошло здесь, и не знал, каким героем оказался его товарищ по охоте Сакар.

Идти до дома было еще далеко, теперь дед Черкез не отпускал от себя Мурада, шел рядом и время от времени правой рукой трогал его за плечо, будто хотел проверить, здесь ли он. Сакар тоже держался близко — трусил сзади, чуть не тычась носом в ноги,— хотел оправдать похвалу хозяина. Мурад благодарно посматривал на Сакара, но не решался погладить — неизвестно, понравится ли это Сакару.

Мурад подумал, что дед Черкез теперь, когда прошла опасность, должен очень сильно на него сердиться: если бы не Сакар, Мурад был бы сейчас уже мертвецом. Он робко посмотрел на деда Черкеза:

— Ата, ты больше никогда не возьмешь меня на охоту с ительги?

— Почему? — сказал дед Черкез.— Мы с тобой еще будем охотиться.

— Когда?

— Когда? Осенью. Тогда и мех у зайцев будет густой, не такой, как сейчас,— видишь, линяет,— и дед

Черкез рукой стал счищать заячью шерсть со спины Мурада. Он счищал очень долго, пока не осталось даже волоска, как будто деду Черкезу было приятно просто так водить рукой по спине Мурада. Мурад чувствовал на себе эту легкую, быструю руку, и ему хотелось, чтобы на спине было побольше шерсти и дед Черкез все счищал и счищал ее...

— Ата,— тихо сказал он,— ты не сердишься на меня, ата?

— За что? — так же тихо спросил дед Черкез.

— За эфу, за то, что она меня чуть не укусила.

— Нет, не сержусь. Я сам виноват — не надо было отпускать тебя одного: мы в песках.— Дед Черкез задержал руку на плече Мурада.— Ты очень сильно испугался?

— Очень,— тихо сказал Мурад,— я никогда, никогда больше не буду уходить от тебя, ата.— Он взял руку деда Черкеза и стал тереться о нее лицом.

8

Возле кибитки не было никого, внутри тихо. Значит, мать опять ушла, не сидится ей дома...

Дед Черкез остался с ительги — надо было посадить его в шалашик, накормить, а утром отнести к хозяину.

Мурад вошел в кибитку. Бросились в глаза аккуратно сложенные в углу вещи — чемодан из желтой кожи тускло посверкивал своими замками, под чемоданом постель в ремнях, корзина с посудой и продуктами. К ним прислонено цинковое корыто.

Мурад обомлел: как? Они уезжают? Но почему? Что случилось?

Из угла на женской половине раздался жалобный стон. Мать лежала на кошме, обернувшись лицом к стене. Она сняла красное койнеке, была в серой жакетке, в серой юбке.

Мурад испуганно наклонился над нею:

— Мама, что с тобой? Тебе плохо?

— Плохо,— чуть слышно сказала мать,— в животе сильно болит, с правой стороны. Верно, опять приступ аппендицита. Надо скорее ехать домой.— Снизу вверх она внимательно посмотрела на сына.

Мурад молчал: он был ошеломлен, подавлен двумя словами, только двумя словами: «ехать домой».

Ехать домой — это возвратиться в душный, пыльный Казанджик, где сейчас почти нет ребят, и с утра до вечера сидеть дома, читать по приказу матери учебники или слоняться по голому двору.

Ехать домой — это проститься с дедом Черкезом и не видеть больше его высокую черную папаху, не слышать его тихого смеха, и его громкого свиста, и его крика «хайт-хайт!».

Ехать домой — это не взбегать на бугры и не сбегать с бугров, не ходить на охоту с Сакаром и ительги и не слышать чудесного звонкого лязга, когда берешь на себя рычаг. Это — не видеть розового флажка, и не сидеть на твердой железной скамеечке, и не делать самому полного цикла, не смотреть с раскаленной крыши кабины на далекую Каракум-реку.

Одним словом, ехать домой — это самое большое несчастье, самая большая беда...

Мурад, опустив голову, смотрел на кошму, по щекам его катились слезы и орошали «пустынную ковбойку» с длинными рукавами.

— Слушай, сынок,— слабым голосом сказала мать,— слушай: пойди попроси ата сходить в колхоз за полуторкой — нам надо пораньше выехать.

Мать села на кошме, одернула юбку, чтобы не очень измялась.

Мурад вышел из кибитки. Дед Черкез стоял возле шалашика и кормил ительги — давал ему из рук кусочки сырой баранины. Он увидел заплаканное лицо Мурада, понял все...

— Ата,— сказал Мурад,— у матери в животе приступ аппендицита. Она говорит — нам надо ехать в Казанджик.

— Хорошо,—сказал дед Черкез,— я сейчас пойду за машиной.— Он подал Мураду красные кусочки мяса: — Хочешь покормить ительги?

— Да,— сказал Мурад,— давай кормить вместе.

Они молча стали давать ительги мясо: кусочек — Мурад, кусочек — дед Черкез. Но мяса было немного, ительги ел быстро, и скоро у деда Черкеза и Мурада ничего не осталось. Они долго вытирали руки

пучками травы и смотрели, как сытый ительги тяжело сидит на насесте, опустив голову с колпачком на глазах.

Не глядя на деда Черкеза, Мурад тихо спросил:

— Ты уже идешь?

— Да, надо идти.

— А когда вернешься?

— Через час. Приеду на полуторке.

Мурад хотел попросить деда Черкеза взять его с собой, чтобы они в последний раз вместе прошли, а потом в последний раз вместе проехали по пескам, но вспомнил: мать сказала, что она больна. Значит, ее одну нельзя оставлять в кибитке.

— Я буду ждать тебя, ата,— сказал Мурад.

— Хорошо,— ответил дед Черкез,— я пошел. Я скоро вернусь.

Но он не уходил, а стоял и смотрел на Мурада и на дремлющего ительги. Потом резко повернулся и сразу исчез за буграми.

Мурад заглянул в кибитку. Кажется, матери стало легче: она уже не лежала на кошме, а сидела возле вещей — раскрыла чемодан из желтой кожи и копалась в нем.

На секунду у Мурада мелькнула надежда, что они останутся. Пусть ненадолго — на неделю, даже на пять, на три дня.

Можно сейчас разжечь костер, нагреть песку; мать положит его на живот. Сразу станет легче.

Он решил немедленно поделиться с матерью своими мыслями.

Она увидела Мурада, хлопнула крышкой, с тяжелым вздохом схватилась за живот.

— Ата пошел за машиной?

— Пошел,— убитым голосом ответил Мурад.

Мать легла на кошму, повернулась на правый бок — лицом к войлочной стенке.

Все пропало! Мурад вышел из кибитки. Ительги попрежнему дремал в своем шалашике. Тень от шалашика удлинилась, потемнела — скоро вечер. Мурад присел на корточки, мизинцем осторожно погладил темно-серые когти ительги, каменно-твердые, с загнутым острием, потом провел рукой по бурым перьям с рыжей ка-

емкой. Сокол дернулся всем телом, будто хотел сбросить с себя чужую руку,— ительги был суров, не любил ласки.

Мурад сидел на песке и думал — как хорошо, если бы в колхозе все полуторки оказались на приколе из-за резины, или из-за горючего, или, на худой конец, в разгоне — еще не пришли из рейса. Тогда они с дедом Черкезом еще раз поджарили бы себе баранины на костре и напились крепкого кок-чая, а завтра... Да мало ли что может случиться до завтра...

Потом он стал думать, что если сейчас приедет машина, то надо объяснить матери, как опасно ехать в пески под вечер: в темноте очень легко потерять дорогу, будешь ездить по пустыне до утра, сожжешь весь бензин — что тогда делать? Загорать? Машины в песках ночью ходят очень редко. Да, да! Это самое лучшее — если уж ехать, то только завтра. Водитель переночует в кибитке, вместе с ними поужинает и, кстати, расскажет про взаимодействие частей мотора. Может, даже откроет капот и запустит мотор.

Полуторка подошла незаметно — без сигнала. Мурад увидел, как беспокойно заходил на насесте ительги. Он первый услышал негромкий шум мотора.

Из кабины вышел дед Черкез, за ним выскочил водитель — молодой парень в пилотке из газеты «Совет туркменистаны», в матросской тельняшке, недовольно взглянул на солнце.

— Ну, кто едет? Давайте скорее!

Нет, такой не останется ночевать и не будет рассказывать о взаимодействии частей...

Все произошло очень быстро: водитель подхватил сразу две корзины — с посудой и с продуктами. Он хотел еще взять под мышку постель, но мать потащила ее сама. Потом она подала в кузов водителю чемодан из желтой кожи.

Дед Черкез стоял возле кибитки и не помогал матери, а смотрел вдаль, где пески перед вечером, как всегда, становились совсем черными — настоящими Каракумами. Мурад стоит рядом с дедом Черкезом, он уже взял из-под кошмы Борджок и коричневый войлок Илака. А ветку Саксаула, похожую на змею, ему так и не удалось найти.

— Все? — водитель ухватился за борт, чтобы выскочить из кузова.

— Нет, нет! — крикнула мать и побежала в кибитку за цинковым корытом.— Вот на, последнее! — она подала водителю корыто, обернулась к Мураду: — Поехали, сынок, прощайся с ата. До свиданья, ата!

Она очень спешила — надо ехать, пока светло.

Водитель залез в кабину, включил мотор. Мать одернула юбку, села рядом.

— Скорей прощайся с ата, Мурад!

Водитель дал сигнал, начал разворачивать полуторку.

Ительги испугался, распустил крылья, сильно взмахнул ими, теплый ветер ударил в лицо Мурада.

— А где Сакар? — спросил Мурад.

Дед Черкез свистнул. Из-за кибитки выскочил Сакар, подбежал к хозяину, сел чуть поодаль. Он мельком взглянул на полуторку, на Мурада, потом перевел глаза на хозяина и смотрел уже только на него.

Водитель дал очень длинный сигнал — он сердился на проволочку.

— Ата, слушай, ата,— голос Мурада стал хриплый, как при ангине,— ты еще приедешь к нам, в Казанджик?

— Приеду, — сказал дед Черкез, — обязательно приеду.— Он подошел к Мураду и, как тогда, в песках, вправил под тюбетейку упавшую на лоб черную прядку.— Дома побрей голову, лето длинное — жарко.

— Завтра побрею,— сказал Мурад.— А ты когда приедешь? На Большой Байрам?

— Нет, на Большой Байрам не смогу — в колхозе дел много. На Октябрьскую революцию приеду.— Дед Черкез кивнул Мураду:— Садись в кабину. На будущий год опять приезжай в пески. С отцом приезжай.

— Я приеду,— сказал Мурад,— и мы пойдем смотреть настоящие Черные пески? Да?

— Конечно, пойдем. Везде будем ходить.

Мать держала дверцу кабины, пока Мурад садился, потом хлопнула ею.

— Не так! — крикнул водитель.— Ударь со злостью! — Он протянул руку и больно задел Мурада по

носу. Дверца открылась, сильно и звонко хлопнула. Полуторка дала задний ход, кусты Борджока зацарапали борт. Водитель включил газ. Машина рванулась с места, пошла покачиваясь на буграх. В открытом окошке показался дед Черкез. Он поднял руку, машет вслед Мураду. Рядом сидит Сакар, беспокойно смотрит на полуторку. Ительги не видно — скрылся в своем шалашике.

Полуторка вышла на дорогу, и через ветровое стекло Мурад сразу же увидел Черные пески. Не приближаясь, они темнели далеко впереди, будто убегали от машины, и казалось, над ними лежит и не рассеивается густой паровозный дым.

ГОЛОВА МЕДУЗЫ

1

В Ашхабаде Стрельцов был раза три, но всегда проездом — по дороге в район изысканий; поэтому, где находится Туркменская Академия наук, знал лишь понаслышке: кажется, улица Энгельса, недалеко от центра.

Сейчас, идя по этой улице, он искал глазами большое здание с колоннами, с барельефами на фронтоне: такой положено быть каждой академии.

Конец улицы, а нужного здания нет как нет. Не ошибка ли в адресе?

Стрельцов перешел на другую сторону, двинулся обратно.

И вот он стоит перед скромным одноэтажным домом, и доска из черного стекла утверждает: это и есть Туркменская Академия наук.

В вестибюле вахтерша сказала, что профессора Решетова Ивана Ивановича надо искать во дворе; там во флигелях помещаются институты академии: после землетрясения который уже год в городе теснота.

Когда Стрельцов вышел из главного здания, зачастил дождь — октябрь, осень...

Пришлось вернуться в вестибюль. Он положил на пол ботанические сетки с засушенными растениями, присел у вахтерского столика. Здорово ему повезло! Вовремя управился с полевыми изысканиями, собрал гербарий, провел описание почвенных шурфов, составил карту растительности. И все сделано в самое лучшее время — весной и в сентябре. Удалось избежать и страшного летнего зноя, и осенних песчаных бурь, когда ветер подымает в воздух не только песок — мелкие камни.

По совести говоря, ему можно было не торчать здесь, а недельку-другую отдохнуть дома, в Москве, потом засесть за диссертацию, но Решетов, видный ботаник,

член Ученого совета, будет присутствовать на защите. Неплохо показаться, познакомиться, раз уж защищать надо в Ашхабаде.

Стрельцов выглянул из дверей. Дождь не унимался, со стороны вокзала плыли новые тучи, низкие, тяжелые, совсем московские, такие тут не часто увидишь... Должно быть, циклон на всю неделю.

Вахтерша взглянула на стенные часы:

— Сейчас перерыв. Все уйдут на обед.

Стрельцов растерянно топтался на месте. Жди теперь целый час!.. Да и неизвестно, придет ли профессор после обеда. День-то у него ненормированный.

— Да, видно, дождь не переждешь. Пойду!

Он снял синий макинтош, завернул в него гербарные сетки, рысью пустился по двору академии.

Белые, один в один, институтские флигели были уже пусты.

Из крайнего домика вышел уходящий последним тщедушный старик в брезентовом плаще, в кирзовых сапогах, стал запирать двери. Стрельцов окликнул его:

— Эй, дорогой! Не знаете, профессор Решетов подолгу обедает?

Старик быстро обернулся:

— А он еще и за стол не садился, желанный мой!

Стрельцов сжал зубы: «Вляпался!»

— Простите, ради бога... Иван Иванович?

— Он самый, и идет обедать, ибо утром вернулся из песков и домой еще не заглядывал.

— Так я подожду,— покорно проговорил Стрельцов.

Профессор маленькими острыми глазами быстро оглядел его потемневшую от дождя спецовку.

— Что ж, ждите. Только плащ наденьте.

— Нельзя: в нем гербарий.

— Гербарий?! Откуда?

— С Челекена.

— Чего же вы молчали? — крикнул Решетов.— Битый час под дождем болтаем...— Он быстро распахнул дверь, за мокрые плечи втолкнул Стрельцова во флигель.

— Вам ведь покушать надо, Иван Иванович,— робко сказал Стрельцов.

— «Покушать», — передразнил Решетов. — Челе-

кеи — почти белое ботаническое пятно. Я четверть века назад был там, еще при басмачах, с тех пор все ноги не доходят. У вас вот дошли. Давайте развязывайте сетки. Как фамилия?

Стрельцов назвал себя.

— Слышал. Из Москвы. На Челекене давно сидите. Ну-ка, развязывайте!

— Мертвым узлом затянулось, — пробормотал Стрельцов.

— Мертвым? Дайте я.— Решетов наклонился над сеткой. Загорелые морщинистые пальцы с неожиданной силой вцепились в узел, быстро развязали бечевку. Профессор осторожно развернул серый гербарный лист.— Так... Эфемеры. Весенние сборы. Якши...— Решетов двумя пальцами взял высушенный до невесомости маленький тонкий стебелек с парой вытянутых листочков-ниточек: на конце — белая звездочка о четырех острых лепестках-лучиках.— Лепталеум филифолиум... Хорошая работа.

Стрельцов не понял.

— Высушен хорошо?

Профессор досадливо мотнул головой:

— Что тут сушить? Природа, говорю, сработала здорово. Смотрите, как прочерчены листовые жилки. На такой микроскопической площади — и так симметрично, четко. Лесковскому Левше впору.

Стрельцов недоуменно покосился на Решетова: «Что особенного? Обычный эфемер, притом неяркой окраски, примитивного строения. Увлекается старина...»

А Решетов уже разворачивал новый лист. Маленькие, выцветшие, глубоко посаженные глаза его увлажнились, заблестели.

Он пристально разглядывал пунцовые пустынные маки.

— Вы их при солнце собирали или было пасмурно?

Стрельцов пожал плечами:

— Право, не помню.

Профессор чуть смутился, хмурясь потер колючую седую щетину на подбородке.

— Виноват, это очень субъективно. Мне всегда казалось: маки в пасмурную погоду цветут ярче: на мертвом сером песке утром вспыхивают, как маленькие взрывы.— Он почти сердито закрыл гербарный лист с

маками. Остальные растения просматривал бегло, словно наказывая себя за чрезмерные лирические излияния.

Отложив в сторону последний лист, сказал сухо:

— Эфемеры у вас хороши. Но не в них суть. Главное — представители постоянных растительных группировок: травянистые многолетники, полукустарники, кустарники.

— Кустарниковый ярус на Челекене выражен очень слабо,— сказал Стрельцов,— только в прибрежной зоне, да и то отдельными пятнами... Антропогенный фактор: туркмены рубят на топливо.

— Это все ясно,— нетерпеливо перебил Решетов.— Кустарники там под угрозой полного уничтожения. Барханы того только и ждут: тогда, мол, наступит для нас раздолье. Надо, чтоб не наступило. А это уж от нас с вами зависит.— Он отстранил Стрельцова, сам стал развязывать очередную сетку.— Кустарниковые у вас здесь?

— Здесь,— неуверенно сказал Стрельцов.— Только их мало, Иван Иванович!

— Видов мало? — Решетов сбросил на пол верхнюю сетку, снял упаковочные газетные листы.— А там много и не растет. Зато те, что растут, вижу, полностью собраны: сетки вон какие пузатые!

Стрельцов стал передавать профессору гербарные листы. Решетов разворачивал их, оглядывал растения: травянистые были засушены целиком, из кустарников — отдельные ветки. Работа Стрельцова нравилась: профессор бормотал латинские названия, усмехался, должно быть борясь с какими-то сомнениями, может, споря с собой.

Вот еще одна сетка разобрана.

— Дальше!

Стрельцов подал новую, развернутую уже сетку. Решетов открыл первый лист, вздохнул разочарованно:

— Что, опять солянки? Да они были уже! Кустарники мне, кустарники давайте! Вон кандымов у вас всего пять листов. Открывайте новую сетку.

— Кустарниковых видов больше нет,— смущенно сказал Стрельцов.

Решетов взглянул на него непонимающе:

— Как нет?

— Больше не собрал, Иван Иванович.

— Но почему? Заболели? Досрочно выехали?

— Нет, совсем недавно оттуда.

— Так где же экземпляры с плодами? Без них Кандыма не определишь. А Кандым там — главная фигура. На него вся надежда. Один сдерживает свирепость барханов. Наши ботаники там давненько не были. Выходит, вы полпред челекенской флоры. Надо установить, какие виды выжили, потом заняться ими. Ну, какие же это виды? — Решетов снизу вверх смотрел на Стрельцова. Худой, маленький, в вылинявшей от солнца синей спецовке, он смотрел, ждал.— Где экземпляры с плодами? Хоть один покажите.

Стрельцов сказал виновато:

— Мне удалось собрать только цветущие экземпляры, Иван Иванович.

— Как же вы определите виды? Цветы у кандымов все одинаковые.

— Знаю. Но видов там очень мало... можно по литературе посмотреть.— Уже сказав, он спохватился: «Что я несу?» Поздно! Решетов все понял, смотрел на него, как на стол, шкаф, пустую сетку.

— Ах, вон что! А я-то, дурак, и не сообразил... В самом деле, до чего же просто: по «Флоре СССР» примерно установить виды — некоторые наверняка совпадут. И незачем лазить по барханам, жариться на солнце, пыль глотать. Другие уже и лазили и жарились. Тем паче главное-то налицо: основная часть растительного покрова — эфемеры, солянки — собрана образцово; карта в красках составлена, почвенные шурфы описаны. Все есть, что требует ВАК. Подумаешь, нет кандымов с плодами! Обойдется! Таков ход мыслей? Угадал?

Решетов стал быстро-быстро укладывать гербарные листы, прикрыл стопку сеткой, аккуратно перевязал бечевкой, не глядя протянул Стрельцову:

— Прошу: ваш гербарий. А засим желаю всяческих свершений и удач!

«Да он же меня выставляет! — холодея, подумал Стрельцов.— Боже мой! Как же это?..»

Он сказал задыхаясь:

— Я исправлю свою ошибку. Укажите как, и я все, все сделаю. Только помогите мне, Иван Иванович!..

Засунув одну руку в рукав плаща, Решетов обернулся к Стрельцову:

— Как? Найти кандымы с плодами. Без этого все идет насмарку.— И, встретив молчаливо-умоляющий взгляд, жестко добавил: — На Челекене сильное развевание. Опавшие плоды могут сохраниться в наметенных буграх под кустами. Найдете — ваше счастье. Нет — ждите будущего года.— Он помолчал и, увидев, что Стрельцов опять заворачивает сетки в макинтош, сказал: — Не надо! Дождь, кажется, перестал.

2

Стрельцов не заметил, как, миновав двор, вышел на улицу. Дождь кончился, только холодная водяная пыль сеялась с низкого, плотно забитого тучами неба. Он поднял воротник макинтоша, сгорбясь зашагал по тротуару.

Автомобильный сигнал рявкнул над самым ухом. Стрельцов вздрогнул, отскочил в сторону. Такси, завизжав тормозами, остановилось почти вплотную. Шофер высунул в окошко дыневидную, иссиня выбритую голову, злым, плачущим голосом крикнул:

— Что, на ходу спишь, старый ишак?

Увидев, что ошибся, он добавил еще что-то, видно посильнее, но уже по-туркменски, потом с места, словно текинского скакуна, рванул машину, обрызгав Стрельцова грязной водой.

В гостинице «Октябрьская» над столиком дежурной висела бессменная табличка «Свободных мест нет», но в коридоре было тихо, пусто — все на работе.

Стрельцов прошел в свой двухкоечный номер, стащил брезентовые сапоги, повалился на кровать. И почему нельзя вернуть прошлое, совсем недавнее прошлое? Разве не мог он сегодня поработать с гербарием, полистать газетную подшивку, наконец, просто поспать подольше? Поезд-то из Красноводска пришел во втором часу ночи. Чудом нашлась вот эта койка — лежи, отдыхай. Так нет же, не выспавшись, схватился, побежал в академию — искать Решетова. Вот и нашел его на свою голову...

Стрельцов лег вниз лицом, зарылся в подушки. Он все еще убегал, прятался от горькой мысли о неизбеж-

ном отъезде в Москву: до весны здесь нечего делать. Искать плоды Кандыма в буграх — это искать иголку в сене... А весной снова отправляйся на Челекен, жди, пока созреет Кандым.

Тоскливо оглядел гостиничный номер с его обычным комфортом — зеркальный шкаф, хрустальная люстра, тумбочка с большим никелированным чайником и маленьким чайником для заварки. Всего несколько часов назад он вошел сюда счастливый: прибыл к цели!

В комнате потемнело: снова наплыли тучи. Стрельцов с утра ничего не ел, но сама мысль об обеде была сейчас противна. Эх, заснуть бы, потом проснуться — и нет ни Решетова, ни проклятого Кандыма... Он, как в детстве, накрыл голову подушкой, приготовясь нырнуть в сон, в забытье.

...Пронзительный белый свет больно ударил в глаза, разбудил. В хрустальной люстре слепяще горели все пять ламп. Стрельцов поднял голову, и вдруг по спине пронесся холодок. У соседней койки стояла кожаная нога в коричневом шелковом носке, в модном узконосом полуботинке.

— Салям! — громко сказал новый жилец, хотя был русский. Он стоял у двери с палкой в руке, с полотенцем через плечо — узкоплечий, узколицый, небритый, в черной спецовке из «чертовой кожи» — и пристально смотрел на Стрельцова. Левая культя в сером шелковом носке была привычно подогнута в колене.— Чего это вы спозаранку улеглись, да еще в полном боевом снаряжении?

— А который час? — спросил Стрельцов.

— Скоро одиннадцать.

— Вы с поезда?

— Нет, на «козле» из Небит-Дага прикатил.

Жилец затолкал в угол кожаную ногу, присел на свою кровать.

— Давно в туркменской столице?

— Вчера приехал.

— Значит, старожил уже... А я завтра хочу домой.

— В Небит-Даге работаете? — чтобы не молчать, спросил Стрельцов. Меньше всего ему хотелось сейчас разговаривать с кем бы то ни было.

— Ага. Геологом на нефтепромыслах. Прибыл по

вызову начальства.— Он прилег на кровать, очень громко зевнул.— Есть у начальства такая неприятная черта — отрывать вас от дела в самую горячую минуту — так сказать, попридержать за руку, когда вы напрягли все мускулы для решающего удара. Мол, в интересах дела — сначала основательно подумайте, потом не спеша ударяйте.

Для Стрельцова любой человек был сейчас в тягость, а рассуждающий сосед показался и вовсе нестерпимым. Сначала хотелось, чтобы он замолчал и погасил свет, теперь появилось другое желание: поспорить, разозлить.

Очень вежливо Стрельцов сказал:

— Не в меру размашистую руку, может, и стоит попридержать, а то вдруг ударит мимо цели. Вот в нашей экспедиции две пылкие девицы без спроса отправились в пустыню — искать редкостные растения, сразу же заблудились. Весь отряд искал их потом полдня. Науке пользы не принесли, а рабочий день сорвали.

Геолог приподнялся на локте.

— А какая у вас экспедиция?

— Геоботаническая.

Геолог сел на кровати, с веселым изумлением уставился на Стрельцова:

— Интересно! Впервые вижу ботаника-мужчину. До сих пор полагал, что этой наукой занимаются в основном девы — старые и юные. А тут муж в самом соку и — нате вам! — цветами увлекается. Редкий случай.

Стрельцов молчал.

«Странный товарищ... Сперва начальство обличал, теперь на ботанику накинулся». И вдруг все стало ясно: сосед взвинчен, нервничает, но старается скрыть это от посторонних, а может, и от себя...

Голос Стрельцова прозвучал почти сочувственно:

— У вас, должно быть, личные неприятности с не в меру заботливым начальством?

Геолог весь как-то подобрался, съежился. Стрельцов отвел глаза: попал в цель...

— Личные мои дела тут ни при чем. Ими я сам займусь.— Сосед рывком вскочил с кровати, на одной ноге поскакал к окну, распахнул форточку: Стрельцов только что закурил.

Угловатая фигура геолога с подогнутой культей на фоне огромного, темного, веющего ночным холодом окна показалась такой неприкаянной, что Стрельцов мысленно пожалел о сказанном: слова-то пришлись как соль на рану...

В номере стало очень тихо. Только через распахнутую форточку порывами долетал мокрый шелест полуоблетевших, по-ночному черных платанов.

— Простите,— примирительно сказал Стрельцов,— мы еще не познакомились, а уже ссоримся...

Хватаясь за стол, за стулья, геолог молча добрался до кровати, откинул одеяло, стал раздеваться. Заговорил он невнятно, будто про себя:

— Моя вина: и культя расходилась, ломит на погоду, и предстоящие неприятности злят... А неприятности большие... Все разом...— Он с хрустом вытянулся на кровати, закинул руки за голову.— На Челекене мы готовим морское бурение, как у соседей через Каспий. Небось слышали... Дело новое, рисковое. Пробили первую скважину — газ ударил, нефти нет. Холостая проходка... Ребята приуныли: больше месяца даром возились... Но я-то знаю: есть газ — и нефть есть, не здесь — рядом. И хорошо, что газ пошел: нападем на нефть, газ ее сам на-гора́ выбросит. Даю команду: на той же геологической структуре бить вторую скважину. Только прошли двести метров — стоп! Вызов — немедленно явиться. И это сейчас, в самую горячую пору... Народ узнал — толпой окружили, прямо со смены, за «козел» держатся, не хотят отпускать. Дал сигнал — отскочили... На ветровом стекле следы от рук... Нефть — минеральное масло...

Геолог кулаком ударил подушку раз, другой раз.

— А на вас я налетел зря: у каждого свое.

Стрельцов молчал.

Сейчас погаснет люстра, каждый останется наедине со своими мыслями. У геолога завтра спор о скважине. Чем бы ни кончился, он вернется домой, будет продолжать свое дело. Без этого дела геологу нет жизни. А дело потруднее, чем найти плоды Кандыма. Да, каждому свое... Еще днем он радовался: как все гладко идет — и вдруг первое препятствие, первая неудача сшибла с ног. Но почему? Решетов обозлился, почти выставил его? А как же иначе? Старик сам развязывал сетки, искал

только одно — колючие кандымовые шарики, и ему в ответ: «Возьму виды из «Флоры СССР». Он же всю жизнь провел в пустыне, ходил здесь с гербарной папкой, когда по барханам еще рыскали басмачи...

А он вот сразу же оплошал, собирается ждать до весны.

На будущий год Решетов спросит: «Ну как, удалось найти осенью?» И наверное, еще посочувствует, пожалеет. Бедняга! Вернулся на Челекен, опять ходил по пескам, искал. И вот все-таки нашел. Упорный парень! А «упорный» парень готовится удрать в Москву, не попробовав добиться своего... Зачем же было просить Решетова помочь «исправить ошибку»? Ошибка... Не больше ли?

Стрельцов вдруг сел на постели. Надо ехать на Челекен, ехать завтра же. Кстати, оказия под боком: на «козле» доберешься вдвое быстрее, чем на поезде с его чертовыми стоянками. Но как скажешь геологу? Вдруг опять начнет смеяться: «За травками едешь?»

Нарочито небрежным тоном Стрельцов попросил соседа подбросить его до Небит-Дага: надо кое-что уточнить на местности.

— Что ж, можно,— не сразу отозвался геолог. Он уже дремал: утомился с дороги.— Только я рано не поеду, как с делами управлюсь.

Стрельцов сказал, что подождет в гостинице.

— Ладно, покатим.— Геолог кивнул на туго набитые сетки: — А травку как, в камере хранения оставите? Там новой наберете? — И лукаво покосился на Стрельцова: не сердится ботаник? Тот улыбнулся: хотелось хоть чем-нибудь поддержать геолога перед завтрашней нелегкой встречей — пусть себе хоть над ботаником посмеется... — Что ж, спать? — сказал геолог.— На фронте перед серьезным делом мы всегда пораньше ложились, если, конечно, обстановка позволяла.— И он погасил свет.

В громадном, сразу посветлевшем прямоугольнике окна смутно возникли сначала черные стволы платанов, потом крупные ветки.

Где-то далеко в вестибюле в глубокой ночной тиши, не заглушаемые дневными шумами, большие напольные часы медленно, протяжно, тяжело пробили полночь.

3

На другой день, когда Стрельцов проснулся, геолога уже не было.

Вернулся он неожиданно быстро, не стуча, с шумом вошел в номер — раскрасневшийся, оживленный, почти веселый.

Стрельцов, сидя на полу, перевязывал гербарные пачки, чтобы опростать сетки, снизу вверх взглянул на геолога:

— Что, обошлось?

Тот махнул рукой:

— Обошлось, обмялось... Риска не любят... И то сказать, одна холостая скважина — куда ни шло, а две — ой-ой как кусаются! Ну, обосновал, привел примеры из жизни. Повздыхали, покряхтели, а все же позволили: тоже ведь нефтяники, хоть и за письменным столом сидят... самим охота зеленую полоску увидеть.

— Какую полоску?

Геолог усмехнулся:

— А вот бросай травку, поедем со мной — увидишь. Из скважины ударил поток глинистого раствора. Мы стоим, ждем, дышим тяжело. Мутная струя бьет и бьет. И вдруг проблеснула зеленая полоска: нефть! Тут такое, брат, подымается, крик, хохот, шапки на землю летят, один лицо от радости трет, другие сцепились — борются... — Геолог прикрыл глаза, тихо засмеялся, будто увидел уже свою зеленую полоску...

Через полчаса они выехали в Небит-Даг. Там геолог устроил Стрельцова на караван трехтонок с нефтетрубами для Челекена.

Когда Стрельцов садился в кабину, геолог мельком взглянул на тощие ботанические сетки, перетянутые шпагатом, усмехнулся:

— Удачи с травкой! — И заковылял по глубокому песку, припадая на левую ногу.

Хмурый шофер, не глядя на Стрельцова, толкнул ногой сетки в угол кабины, сильно хлопнул дверцей.

К вечеру караван был на Челекене.

Стрельцов снова увидел все, что оставил совсем недавно: Каспий в низких, темных, тяжелых волнах, Карагель.

Старый рыбак Мамед-ата, у которого раньше останавливался Стрельцов, встретил его так, будто они расстались утром:

— Салям, Андрей! Пойдем жареную селедку кушать.

Маленький, сухой, очень стройный, в длинном стеганом халате, в мягкой красной тюбетейке, семидесятидвухлетний Мамед-ата был похож на сказочного колдуна: коричневое треугольное лицо с неожиданно большим, словно с другого лица, орлиным носом, просвечивающая насквозь белая борода растет под подбородком. Волосы на щеках и вокруг рта начисто выщипаны. Из-под белых, как борода, только густых бровей смотрят, не мигая, по-птичьи блестящие черные глаза.

За ужином Стрельцов спросил:

— Что, бури начались?

— Почти каждый день есть.

— Плохо...

— Очень плохо. Лодка на берегу лежит совсем сухая.

Они сидели на полу посредине комнаты. Пол застлан темно-красным ковром. Миски, пиалы расставлены на белой скатерти.

Столы, стулья и кровати в доме Мамеда-ата не водились.

Хозяин ни о чем не расспрашивал, ждал, когда гость начнет первым, но Стрельцов ел молча, после ужина сразу пошел спать.

На рассвете в окно кто-то с силой кинул горсть песка — раз, другой. Стрельцов встал,— должно быть, к хозяину. Но за темным стеклом только смутно белели молодые, наметенные недавно барханы. И тут невидимый песок снова ударил в стекло: на Челекен налетела буря.

Встали поздно — спешить некуда: как в пургу, из дому не выйдешь.

В окне ни неба, ни земли, только сухой, густой, серый туман. Кажется, что дом опущен в мутную воду. Ветер поднял мелкую пыль, не дает ей оседать, держит в воздухе.

Весь день Стрельцов без дела слонялся по дому. Хозяин столярничал в сарае. Старуха Биби жарила рыбу.

В комнатах стоял синий, жирный чад — не продохнешь. Завтра, если не будет бури, надо пойти в пески...

С утра бури не было. Ветер устал, истратил всю силу.

Пыль за ночь осела. Открылось море — серое, пустынное, безжизненное; рыбаки и дикие утки — кашкалдаки — не верили в затишье, буря может налететь в любую минуту.

Стрельцов взял сетки, вышел из дому. По карте Қандым значился в двух километрах от поселка — на южной косе Дервиш.

Дорогу вдруг пересекла глубокая лощина — она пролегала между двумя барханными грядами. Обойти или спустнться? Лучше спуститься — короче, быстрее. Увязая в песке, он сбежал вниз и остановился пораженный: со дна лощины, с мелких бугров, со склонов на него смотрели в упор сотни глаз.

Қуш-гези — по-туркменски «птичий глаз».

Стрельцов быстро развязал сетки, забыв о профессоре, о Қандыме, стал жадно собирать куш-гези.

Мясистые, наполненные горько-соленым соком листья, стебли были хрупки. Стараясь не повредить их, он осторожно выкапывал солянки ножом.

Вначале брал все подряд, потом увидел — сеток не хватит, стал выбирать самые яркие. Ему хотелось собрать куш-гези так, чтобы получился постепенный переход в окраске, гамма цветов от нежного, лимонного, до мрачного, багрового.

Тут же на песке он разложил солянки. И вот разноцветные и круглые глаза пристально глядят в глухое, низкое, серое небо.

Он стал перекладывать куш-гези гербарной бумагой. Сетки сразу же разбухли. Стрельцов придавил их коленом, туго перевязал бечевкой.

Наверху кто-то негромко свистнул. Стрельцов поднял голову,— наверное, мальчишки-пастухи? Но кругом не было ннкого, и тут свист повторнлся — резче, громче. С острой вершинной грани барханной гряды тяжелым сухим облачком взметнулся песок, медленно осел, пополз по склону.

Буря!

Подхватив сетки, Стрельцов быстро выбрался из лощины. Он почти бежал: задержишься — будешь вслепую добираться до Карагеля. Крайние домики уже заволакивала густая серая мгла.

Дома Стрельцов попросил хозяйку поскорее вскипятить воды.

— Что, замерз? Чаю хочешь? — спросил из кухни Мамед-ата. Кончив работу, он умывался над тазом. Жена из медного кувшина — ктры — лила ему воду в смуглые узкие ладони.

— Нет, какой там чай! — развязывая сетки, отозвался Стрельцов.— Собрал куш-гези. Смотри, какие красивые! Надо сразу же обварить кипятком, а то листья гнить начнут.

Редкая седая борода хозяина свалялась как пакля, продолговатая голая голова блестела. Стрельцов впервые видел Мамеда-ата без тюбетейки.

Буря не утихала весь день, сыпала, стучала песком в окна. На подоконниках копился тонкий серый слой. Время от времени старуха Биби выходила из кухни, сметала песок платяной щеткой.

За обедом хлеб, жареная рыба, картошка в супе — всё хрустело на зубах. На дне пиалы с чаем серый осадок. На темно-красном ковре серые следы.

— Скажи, Мамед-ата, ты давно живешь на Челекене?

— Давно, Андрей. Всю жизнь.

— И никогда нигде не был? Не выезжал отсюда?

— Почему никогда? Был молодой, много ездил: в Баку, в Персии был.

Хозяин оживился, стал рассказывать о далеком прошлом.

Стрельцов недоумевал: Мамед-ата видел другую жизнь, видел зеленые сады, веселые синие реки, большие города. И каждый раз возвращался на свой Челекен — дикий, голый, с вечными ветрами, с барханами, с опресненной морской водой, которой нельзя напиться. Что его влекло сюда?

— Почему же ты не уедешь в Ашхабад, в Мары, в Ташауз? Везде ведь лучше, чем на Челекене.

— Как ты говоришь? — переспросил хозяин. Ма-

мед-ата встал с ковра, взял Стрельцова за руку, подвел к окну:— Смотри, во-он там Дервиш, море. Да? Сейчас ветер, пыль, ничего не видно. А когда тихо, я смотрю туда — там утонул мой отец. Весной вышел на судака, налетела буря — в мае буря редко бывает, а тут налетела. Все рыбаки утонули, лежат на кладбище. И отец мой там лежит. На могиле большой камень, далеко — с Большого Балкана — камень привезли. А ты: «Уезжай, Мамед-ата, с Челекена в Ашхабад, в Ташауз, уезжай»,— тонким веселым голосом повторил хозяин. Он был сильно обижен, но не хотел показать этого гостю.

Старик вдруг широко развел руки:

— Видишь мой дом? Хороший, да? Четыре комнаты, а нас двое — я и старуха. Зачем такой дом? Для детей строил. Десять детей было. Пять маленьких умерли, пять живут. И у них уже двенадцать детей. Я их еще не всех видел — далеко живут: на Украине, в Сибири, в Мары только одна дочка. Самый младший, Курбан, в Арктике работает,— вот куда заехал, подальше от Челекена. Почему так? Говорят, как ты: «Совсем плохо тут, песок ночью в окно стучится, в дом хочет». Окончит школу сын, дочка — и сейчас: «Отец, хочу уехать. Плохой Челекен, скучный». А все родились на Челекене.

Мамед-ата умолк, пристально смотрел на Стрельцова.

— Как ты думаешь, Андрей: можно своей матери сказать: «Мать, ты глупая, плохая. Не хочу тебя!»? Нет, с матерью надо вместе жить, не бросать ее, пока жива. Пускай бедная, старая, скучная, она — мать...

В комнате темно, хотя еще совсем не поздно — осенью в пять часов сумерки. В окно по-прежнему стучит песок, но уже тише, реже — буря устала; верно, успокоится к ночи.

Старуха Биби неслышно встает. Ее красное платье кажется черным. Она вносит жаровню с горящими углями — в доме сыро, изо рта идет густой пар, как на морозе.

Хозяин берет подушку, придвинувшись к Стрельцову, кладет ему за спину.

— Так хорошо, Андрей? — Он смущен: не сказал ли чего обидного для гостя?

4

Это началось ровно в полдень, сейчас было четверть третьего. Уже два часа Стрельцов лежал у бугра с редким, чахлым кустом Кандыма. Застала-таки буря в пустыне...

Лежать было холодно. Стрельцов двинул плечами, песок на нем зашевелился, сухими струйками потек вниз. Пролежи до вечера — засыплет с головой. Но и сейчас песок был везде: в ушах, в носу, в волосах, в бровях, на теле под рубашкой. Платок, прижатый ко рту, посерел от пыли. Главное, чтоб она не набилась в горло,— кашель задушит. Прополоскать горло нечем, фляга пуста: опресненная морская вода давно выпита.

Стрельцов поднял голову. Ветер после передышки снова летел на пустыню. С ближних барханов взметнулись жидкие сквозные смерчи, крутясь поднялись над землей, медленно опали.

Рано утром, когда он вышел из дома, было тихо. Надо опять идти на Дервиш — вчера не дошел туда из-за куш-гези. Сейчас он полностью зависит от этих колючих шариков... «Кандым — главная фигура на Челекене...» Стрельцов усмехнулся: старик представляет себе Челекен таким, каким тот был четверть века назад — при басмачах: пунцовые маки, непролазные кандымовые заросли... Приехал бы он сейчас сюда полюбоваться на барханное море!..

Дервиш начиналась сразу же за ложбиной с куш-гези, так непредвиденно задержавшей его накануне. Неширокая — с полкилометра в поперечнике — полоска земли, постепенно сужаясь, уходила в море. Море было совсем близко, оно волновалось, бушевало, хотя кругом стояла тишина, но где-то далеко, может быть возле Баку или дальше, в Иране, еще не утихла буря. Темные, почти черные валы с нарастающим рокотом катились к пологому берегу и рушились, выплескивая на песок сероватую пену. Неровная подвижная кромка, светлея на темном, мокром песке, терялась вдали.

Редкие, сквозные кусты Кандыма росли на невысоких буграх посредине косы. Кустов было немного — то здесь, то там на вершинах бугров торчали тонкие острые пеньки. Стрельцов присел на корточки. Красноватые, кургузые ветки чуть слышно посвистывали, когда

с моря порывами налетал несильный ветер. Концы веток были обгрызены овцами. На песке виднелись их коричневые орешки.

Под кустом лежал слой мелких, похожих на хвою — только короче, мягче — палых веточек. Весной и летом они были зеленые, заменяли Кандыму листья, после первых заморозков осыпались.

Стрельцов обшарил вокруг куста весь слой — бурый, легкий, влажный. Плодов не было. Надо порыться в песке — шарики опали еще летом. Он запустил руки в холодный как снег, светло-серый песок, стал просеивать между пальцами. Нет ничего... Под вторым, под третьим, под пятым кустом — пусто, везде пусто... Руки быстро замерзали. Расстегнув плащ, спецовку, рубаху, Стрельцов спрятал руки под мышками — быстрей отогреются. Да, недаром сказал Решетов: «Если посчастливится, найдете...»

Он вдруг почувствовал сильную усталость, словно провел в песках весь день,— ныла спина, зябли и уже не отогревались руки. Скорее бы добраться до дома, лечь на кошму и ни о чем не думать! Он напоследок взглянул на море. Оно было видно, как сквозь мутное стекло; на берегу уже вставали невидимые издали жидкие смерчи.

Буря началась сразу. Ветер рванул из рук тощие сетки, сильно толкнул в спину. Стрельцов быстро натянул на уши кепку, поднял воротник плаща, лег у ближайшего бугра с нетронутым кустом — все-таки защита. Сколько придется лежать так — час, два, пять часов? Буря может разыграться на всю ночь. Тогда лежи тут, на ледяном песке, до утра.

Время шло медленно. Тусклый дневной свет заметно упал. Неужели смеркается? Стрельцову нестерпимо хотелось пить, да и не ел он почти ничего — утром не дождался завтрака, спешил управиться, пока тихо. Старуха Биби на ходу сунула ему в карман какой-то сверток. Сейчас он достал его, развернул промасленную газету — ломоть хлеба с куском жареной селедки уже посерел от песка. Все же он попробовал есть — сразу захрустело на зубах.

Ветер вдруг ослаб, переменил направление, стал дуть прямо в лицо. Стрельцов на коленях переполз на

другую сторону бугра, тяжело опустился на землю. Лежать было неудобно: сильно давило в бок. Рука нащупала толстый корень, хотел отбросить, но корень не давался — уходил в землю. Стрельцов приподнялся, взглянул. Бугор с одной стороны развороченн. Верно, мальчишки-пастухи пытались вырыть тут яму — укрыться от ветра, разжечь костер. Но рыхлая стенка обвалилась, бугор был виден в разрезе. Это был живой бугор — его плотно населяли корни, могучая, неистребимая подземная семья.

Стоя на коленях, Стрельцов начал рыть ножом, отбрасывать песок руками. Неведомый, сокровенный мир открывался перед ним. Корни пронизывали, прошивали весь бугор, тянулись за его границы. От основания куста вглубь уходил основной толстый корень в бурых, почти черных чешуях, корень-отец; он давал начало коричневым длинным корням-сыновьям. Пройдя метр-полтора, они разветвлялись, порождали новые корни, корнивнуки.

Пригибаясь от сбивающего с ног ветра, жмурясь от песка, Стрельцов стал осторожно высвобождать боковой корень. Медленно истончаясь, корень шел на небольшой глубине. Стрельцов мерил шагами его длину — пять, десять, пятнадцать, двадцать метров... Но корень — светло-коричневый, тонкий шпагатик — все выходил и выходил из-под песчаной толщи. Чтоб не оборвать его, Стрельцов пополз на коленях. Корень стал хрупким, истончился до предела — веревочка, нитка, темная паутинка... Конец!

Тридцать метров!

Стрельцов выпрямился. Он не замечал ни ветра, ни бьющего в лицо песка. Он видел только чахлый, кургузый, обгрызенный овцами кустик, косо торчавший на развороченном бугре. Отдельные ветки отсюда было уже трудно различить.

На сотни метров протянулись корни под землей, соединились с корнями других кустов. Вся середина косы пронизана внутри мощными тяжами, оплетена хрупкими мочками. Они обвили каждый комочек, каждую песчинку, отбирают влагу, несут ее кустам. И кусты, вырубаемые человеком, травимые овцами, не поддаются, живут, сковывают кочующие барханы, превращают их в спокойные, неподвижные бугры.

Стрельцов бережно вырыл Кандым, освободил из-под песка и смотал в кольца все корни, обернул растение гербарной бумагой, увязал в сетки. Это был уже не вымирающий кустарник, один из сотни местных видов, нет, это был единственный стойкий защитник Челекена, в одиночку воюющий с барханами.

Октябрьский день кончался. Буря, как всегда, к вечеру утихла. Песок в воздухе медленно оседал, даль прояснялась. Пустыня готовилась к ночи. Море в сумерках казалось спокойной темной равниной. Стрельцов поднял сетки с Кандымом — пора домой. Он придет, положит сетки на пол возле своей кошмы, сядет ужинать.

«Что нового нашел, Андрей? — спросит Мамед-ата.— Кандым нашел? Зачем он тебе? Куш-гези — другое дело: красивая трава, приятно смотреть. А Кандым что?»

А если показать ему корни Кандыма, которыми оплетена под землей вся коса, и сказать, что Кандым надо не трогать, только не трогать, и он свяжет все барханы на косе, там прекратится развевание песков — если так сказать Мамеду-ата, поверит он или нет? Вряд ли... Всю жизнь считал он, что Кандым — это дрова, всю жизнь рубил его, таскал домой вязанки веток. А барханов на Челекене с каждым годом больше и больше, смотреть на них — тоска берет. Поэтому дети Мамеда-ата все реже приезжают на Челекен, только письма пишут, зовут к себе — в Мары, в Москву, в Арктику. Зовут, не знают, что, когда человеку семьдесят два года, он редко, очень редко уезжает из родных мест, даже если это место — Челекен.

Буря замела все тропинки к Карагелю. Стрельцов шел по свежему песку, как по пороше. Быстро темнело, песок становился светлее. Показались домики Карагеля, черные, спящие. Только в одном окне светился огонек: старуха Биби оставила для гостей «летучую мышь» на подоконнике.

Сильно заскрипело высокое старое крыльцо. Дверь была не заперта.

— Ты, Андрей? — окликнул его из темноты хозяин.
— Я, Мамед-ата. Не спишь?
— Зачем спать? Ночь длинная...

Проходя в узкую дверь, Стрельцов задел ее сеткой.

— Что-то большое нашел — в дверь не входит,— сказал Мамед-ата. Он стоял на пороге в халате нараспашку, светил «летучей мышью».

Стрельцов развязал сетки, свет фонаря упал на темные мотки корней.

— Ого, корни какие! Кандым? — Мамед-ата присел на корточки, пощупал куст.— Сам маленький, а корни большие, сильные. Крепко держатся в земле...

— На этих корнях весь Челекен держался.— Стрельцов осторожно разматывал корни.

Мамед-ата молча наблюдал за ним, он не шутил больше, он смотрел на корни, протянувшиеся через всю комнату. Корням было тесно здесь, они доходили до стен и поворачивали обратно к кусту, маленькому, кургузому кусту, который жил невзирая на все беды.

— Хороший куст,— сказал Мамед-ата,— крепкий, сильный. Крепко вяжет песок. Пускай большой ветер, буря — песок под кустом не поднимется, будет спать.

5

Всю долгую осеннюю ночь Стрельцов не спал — думал: что делать, где искать плоды? Обычный кустарник мог остаться безымянным. Кандым, открытый вчера, должен был обрести свое имя. Кто он? В обширном роде кандымов десятки и десятки видов. Почти все широко распространены в Средней Азии. Какой же из них этот, челекенский? Нужен хоть один плод, один-единственный шарик... Где его найти?

Заснуть удалось только под утро. Его разбудил свет — теплый, желтый, веселый. Солнце поднялось прямо из моря, после долгих дней ненастья оно светило в полную силу. И небо было чистое, ярко-синее, радостное — наконец-то освободилось, очистилось от туч.

Мамеда-ата не было дома — ушел к лодкам, к морю.

Стрельцов стоял на песчаной, пока мало наезженной дороге. Куда идти? Снова на Дервиш — незачем, можно перещупать подстилку, песок еще под сотней кустов — ничего не найдешь, там выпас, заготовка дров. Тогда на северную косу, на Куфальджу: она подальше.

Буря окончилась, все вокруг ожило: ребята шли в школу, уже не закутанные с головой в материнские платки,— нет, они бежали, со смехом увязая в глубоком песке, и весело дрались дерматиновыми портфелями. Без надобности сигналя, просто так, для большего шума, в райцентр на недозволенной скорости проносились грузовики. А если выйти на берег, увидишь кашкалдаков — стайкой чернеют на тихой голубой воде. Касаясь моря острым белым крылом, проносятся чайки... Где они прятались во время бури, неизвестно.

Надо «голосовать» — до Куфальджи десять километров, не близкий путь. Но шоферы, грузчики только улыбались, кивали из кабины, из кузова: дескать, рады бы взять, да некогда — долго стояли на приколе.

Он пошел пешком,— сокращая путь, двинулся без дороги, прямо через дикие пески.

Куфальджа шире Дервиша — справа и слева до моря по километру, и растительность здесь обильная: на сером песке зеленели густые, высокие кусты, как маленькие развесистые деревца,— гигантская солянка чоротан. Ветки, листья полны горько-соленого сока. Чоротан запасает влагу впрок, поэтому и живется ему хорошо — зной не страшен, овцы и человек не трогают.

Стрельцов отломил хрупкую ветку; листья — зеленые с серым налетом — свисали тяжелыми гроздьями. Такие не зашелестят на ветру, будут только мертво шуршать, как железная стружка. Чоротан рос сплошными зарослями. Кусты Кандыма встречались кое-где, совсем редкие, низкорослые, забитые. Палых веточек под ними почти нет, сквозь тонкий слой сереет песок. Верно, Кандым не цвел здесь совсем...

Он ходил от куста к кусту, осматривал ветки, щупал песок под кустами — пусто, везде пусто, ничего нет. Дальше по косе идти бессмысленно: если и попадутся кусты Кандыма, то только мертвые — чоротан убил их, у берегов он разросся особенно буйно; поселяется там, где морская вода совсем близко к поверхности,— сосет ее своими густыми короткими корнями. Вдали от моря чоротан не жил, зато здесь, у берега, он был полным хозяином и беспощадно глушил всех чужаков, не давая им ходу.

Низкое осеннее солнце ярко освещало серый песок, серо-зеленые неподвижные чащи чоротана, похожие на растительность древних, доисторических времен. Солнце стояло над морем, отражалось в нем белыми искрами. Уже не черное, а синее, мирное, усталое после многодневной бури, море гнало к берегу невысокие спокойные волны, без свирепых белых гребней. Было тепло и тихо. Стрельцов расстегнул плащ, снял кепку. Идти обратно будет, пожалуй, жарко. Правда, он сегодня вышел налегке — сетки заняты, там лежит Каллигонум специес — «Кандым неизвестный». Последнее слово обозначается сокращенно, только двумя начальными буквами — стыдливое признание ботаника в своем неведении. Будут определены десятки видов — все эфемеры, все солянки, редкие пустынные астрагалы; не повезло одному Кандыму — останется безымянным, хотя все растения только растут, а Кандым еще и борется с барханами.

Стрельцов повернул обратно. Он шел медленно, по своим же следам, четко отпечатанным на песке. Спешить некуда: засветло доберется до Карагеля, соберет вещи, вечером в последний раз посидит вместе с хозяевами, а рано утром — в райцентр, искать попутную машину до Небит-Дага. Машин туда после бури идет много.

Вокруг лежали малохоженые пески — мелкие бугры, покрытые кое-где суровой, скудной растительностью пустыни. Ржавым проволочным клубком преграждал вдруг путь пустынный вьюнок, взъерошенный, колючий, цепкий, совсем не похожий на своего стелющегося европейского сородича. Между буграми росла солянка — боялыч, тоже колючая: крепкие кривые ветки приподняты над землей, песок свободно проносится под ними.

Уже при выходе на торную дорогу на склоне бугра попался старый астрагал. Короткий, опробковевший стволик раздвоился, поник,— видно, зимой в сильную стужу замерзший сок разорвал древесину, но половинки ствола, склонившись к земле, жили, на них зеленели редкие перистые листочки.

Да, трудно жить на скудной песчаной земле, раскаленной летом, промерзающей в бесснежные морозные зимы. И все же растения крепко держатся за эту бед-

ную землю: корявые, в бурых наростах ожогов, с ветками, кривыми от опавших, побитых морозом побегов, в рваной, серой, мочалой свисающей коре, они не поддаются, живут. Люди их не трогают: ветки колючие. За всех терпит Кандым — с гладкой красноватой корой.

Показался Карагель. Окна рыбачьих домиков, всегда тусклые, слепые, сейчас горели, плавились в лучах заходящего за барханы солнца. Потемневшее вечернее море синело между сваями.

Стрельцову не хотелось идти по улице — рыбаки уже вернулись домой, сидят возле домиков, еще спросят, не нашел ли новую куш-гези. Мамед-ата наверняка все рассказал...

Он решил пойти в обход, задами. Песчаная пустыня подступала вплотную к недлинной цепочке домов на сваях. Барханы притаились здесь, как вражеские солдаты в перебежке.

Нога сразу же увязла в глубоком песке. Вышагивая последние десятки метров, Стрельцов еле шел. Только сейчас он почувствовал, как вымотали его эти дни.

Показался дом Мамеда-ата, влево от него застывшими серыми волнами уходила до горизонта мертвая пустыня. На самом ближнем гребне темнело что-то, верно последний погибающий кустик колючего боялыча — низкорослой корявой солянки. Маленькое, готовое исчезнуть пятнышко жизни среди мертвых холодных песков. И Стрельцову неудержимо захотелось продлить хоть на месяц, хоть на неделю продлить жизнь этого бедного кустика.

Песок, полузасыпавший куст, еще не уплотнился. Стрельцов руками стал разгребать его.

Одну за другой куст благодарно выпрастывал ветки; они были не колючие, нет! Они были гладкие, красноватые, членистые. Бархан, надвигаясь на куст, нес ему гибель, но пока спасал от потравы, от порубки: куст был жив, в одиночку он боролся с барханами, не поддавался им, упрямо топорщил во все стороны свои гибкие густые ветки. Стрельцов раздвинул их. Внизу, в развилке, темнело что-то. Боясь поверить, он просунул руку туда, в развилку, и ощутил шершавое прикосновение как бы банной мочалки.

И вот на ладони его лежат два легких, бурых, сцепившихся щетинками сухих шарика. Верно, первые плоды молодого куста.

Стрельцов сел прямо на песок, подождал, пока перестанут дрожать руки, потом вынул носовой платок, уложил шарики, завязал концы одним узлом, другим, третьим, положил под рубашку — прямо на грудь, на голое тело. Потом срезал ножом две ветки, сунул туда же.

Мамеда-ата не было дома. Хозяйка на кухне. Стрельцов вынул из рюкзака свернутый в трубку том «Флоры Туркмении», похожую на наперсток ботаническую лупу и подошел к окну.

Темно! Восток уже померк, весь свет сейчас на западе. Солнце только что зашло, золотые лучи густо и широко разметались по небу.

Он прошел в комнату хозяев, подвинул табурет к окну, постелил на подоконник чистую бумагу, достал из платка шарики, осторожно расцепил их, рядом положил ветки. Потом сел, раскрыл «Флору», стал читать описание рода. Научное название «каллигонум» происходило от греческих слов «каллос» — красиво и «гонос» — колено.

Он взял в руки ветку. Она была неповрежденная, целая, трехколенчатая. Только сейчас он увидел, как удивительна эта слегка изломанная линия. В свете зари гладкая кора казалась темно-вишневой, а может, она отражала свет зари? Он пальцем тихо погладил ветку, положил обратно. Смеркается, еще несколько минут — и нельзя будет рассмотреть строение плода. При «летучей мыши» ничего не увидишь. Ждать утра невозможно. И все же он не смог заставить себя читать быстрее, он читал вслух, внятно, отделяя каждое слово:

— «Плод снабжен четырьмя кожистыми или перепончатыми крыльями, края их цельные, зубчатые, шиповатые, но никогда не щетинистые — Секция Птерококкус».

Это было не то. Он сразу понял, что не то, и все же дочитал до конца, продлевая секунды, которые не повторятся. Потом перешел к параграфу второму: «Плод без крыльев, одетый одними щетинками».

Это был верный путь. Таблица вела к новой секции, к видам со щетинистыми плодами.

Вот первый вид: «Кустарник до двух метров высоты, кора взрослых ветвей розоватая, плод шаровидный; расположение щетинок густое, скрывающее орешек».

Он наклонился над бумагой, навел лупу. В косо падающем, неожиданно усиленном лупой, размытом матовом свете виднелось нечто темное, непонятное, страшное. На снежно-белом поле лежала большая безликая голова, круглая, дико лохматая, в толстых бурых вздыбленных волосах. Сквозь них чуть темнел надежно укрытый орешек. В нем таилась молчаливая упорная жизнь зародыша, ростка, куста. Этот куст останавливал, укрощал злые барханы.

Стрельцов взглянул в книгу, прочел: «Calligonum Caput Medusae — Кандым Голова Медузы».

ЦИКЛОН

1

Сейчас она выйдет из палатки, уже скрипнула раскладушка — это Леся вылезла из спального мешка, оделась, теперь отстегивает полсть — шесть крючков.

Ашир сидит на холодном утреннем песке спиной к Лесиной палатке, перебирает собранные накануне растения. Сверху лежит совсем свежий Патлак, цветущий экземпляр, по-латыни — Смирновия Туркестана.

На верхушке твердого серо-зеленого стебля — прута — с мелкоперистыми листочками светятся, тихо сияют удивительные цветы — все разные, непохожие друг на друга: верхние — розовые — постепенно переходят в голубые, в синие и, наконец, в лиловые.

Кажется, разноцветные, ярко освещенные солнцем мотыльки сели отдохнуть на жесткий прут, сложили крылышки и эти крылышки чуть вздрагивают — вот-вот раскроются, маленький рой вспорхнет и унесется ввысь, в небо.

Вчера Ашир увидел Смирновию на барханных песках, недалеко от лагеря, осторожно вырыл, держа в вытянутой руке, быстро пошел в лагерь.

И все-таки от жары Смирновия немножко увяла. Ашир поставил ее в банку из-под тушенки и посолил воду.

За ночь Смирновия отошла. Другие растения вон какие вялые, а она совсем живая...

Сейчас Леся пройдет мимо, хрипловатым со сна голосом скажет:

— Салям, Ашир! Как спалось? Что снилось?

Потом увидит Смирновию, всплеснет руками:

— Боже мой! Какая прелесть! Где же вы ее взяли? Как она называется?

А он засмеется:

— Это? Это Патлак. Растет только у нас, в Туркменистане,— и подаст ей совсем живую Смирновию.

Ашир кладет Смирновию в верхний гербарный лист, как будто она тоже лежала в папке. Он оглядывается, он знает каждое движение Леси. Вот она откинула полсть, вышла, посмотрела на еще бессолнечное, темно-синее небо, заложив за голову тонкие, ровно загорелые руки, громко зевнула. Короткие рукавчики красной блузки сдвинулись до самых плеч. На левой руке — три пятнышка — прививка оспы в детстве.

Ашир наклоняется над гербарным листом, указательным пальцем гладит жесткие пепельно-зеленые, словно запорошенные барханной пылью, листочки Смирновии, потом мизинцем — кожа на нем не такая грубая — осторожно расправляет разноцветные лепестки.

Шаги на песке неслышны, но Ашир чувствует — сейчас Леся проходит возле него, осторожно ступая по холодному песку босыми ногами. Он задерживает дыхание, концами пальцев чуть приподымает с листа Смирновию, чтобы Леся сразу ее заметила.

— Здравствуйте, Ашир!

Он быстро оборачивается и видит Лесину спину — прошла мимо, не спросила: «Как спалось? Что снилось?» Нет, просто поздоровалась, и не как всегда — по-туркменски, а безразлично, холодно — «здравствуйте», будто только вчера познакомились...

Ашир укладывает Смирновию в гербарный лист, закрывает его. Красивое, очень красивое растение, ничего не скажешь... Но чтобы было какое-то особенно выдающееся — нет, этого нет, стебель грубый, как палка, а пестрая окраска — от неодновременного распускания цветов; сменяется химическая реакция клеточного сока, только и всего. По форме цветок самый обыкновенный, как у всех бобовых,— неправильного, асимметричного строения: парус, лодочка, два весла. А пигмент очень нестойкий — после сушки венчики быстро обесцвечиваются, становятся прозрачными, как осиные крылья.

Он быстро укладывает растения в ботаническую сетку, туго перевязывает шпагатом и идет к своей палатке.

Леся умывается возле кухни, сама себе льет воду на руки. Еще вчера он лил ей воду, а она ему. Больше этого никогда не будет. Зачем? Леся уже все забыла, забыла, как вчера они сидели возле ее палатки, разбирали гербарий; он говорил, как по-туркменски называются пустынные растения, а она записывала в общую тетрадь и смот-

рела на него из-под длинных, густых, очень черных, будто насурмленных, ресниц.

Когда он увидел ее в первый раз — две недели назад в Казанджике перед выездом сюда в пески,— сразу подумал: неужели может быть такая красивая? Никогда не видел он такой в жизни, только в кино, но то были артистки, а Леся — просто студентка Киевского университета, как и он, перешла на третий курс. И он в душе сразу же стал придираться, искать недостатки — вот ресницы наверняка сделала себе в Ашхабаде, в дамской парикмахерской на Первомайке. Едет в пески, а красоту наводит... Но потом увидел ее совсем близко — нет, ресницы не насурмленные, настоящие, такие выросли, и маникюр старый, только на одном ногте остался, волосы прямые незавитые. Не была она на Первомайке.

Сильно удивила его Лесина речь — неправильно говорит по-русски, куда хуже, чем он: не «горох», а «хорох», и еще — «хора», «хоре». И ударения ставит не там, где надо.

Он подумал — сказать, поправить? Нет, не стоит — еще обидится: «Не вам меня учить русскому языку. Сперва сами хорошенько научитесь», или что-нибудь такое, что иногда говорят нерусским. И он только, разговаривая с нею, стал подчеркивать твердое «г», повторяя сказанное ею слово, и выделять правильные ударения, но она ничего не замечала, говорила по-прежнему — «хорох, хора, халоши». Нет, ничего с нею не поделаешь...

Прошло несколько дней, и он с удивлением заметил, что ему нравится и это мягкое «г» — почти «х», и неправильные ударения, и совсем уж украинское — «Та ну вас! Та шо вы!».

И он понял: ничего теперь он с собой не поделает, ничего уже нельзя поделать...

Вчера вечером они сидели возле ее палатки, разбирали гербарий, и она спрашивала, как будет по-туркменски «да», «нет», «отец», «мать», «вода», «хлеб», и все записывала в красную книжечку тонким карандашиком с золотым колпачком. Потом вдруг спросила:

— А как будет: «Я вас люблю»? — и близко посмотрела ему в лицо, прищурив свои небольшие, орехового цвета глаза.

Ои опустил голову, сквозь смуглоту румяиец ие пробился, только лицо еще больше потемнело.

Зачем спросила? Хочет посмеяться?

А оиа дернула его за рукав:.

— Ну чего ж молчите?

Он сказал очеиь тихо:

— Меи сеии сойярии.

— Как? — переспросила оиа.— Как? Громче, Ашир, ие слышу.

Он повторил совсем уж шепотом.

— Ну вот спасибо,— сказала оиа и попросила записать это в красную книжечку.

Он хотел записать своим караидашом, ио оиа протянула тонкий карандашик с золотым колпачком:

— Нет, нет, вот этим запишите, разборчиво, красиво запишите. Слышите, Ашир?

Потом проверила, как иаписано, спрятала книжечку.

— Мне это очеиь, очень иадо знать. Большое спасибо, Ашир,— и посмотрела на него из-под своих украинских реси니ц. Потом опять стала спрашивать, как по-туркмеиски «дом», «сад», «иебо», «верблюд».

Ашир отвечал, ио ему вдруг стало совсем неинтересио говорить о всех этих вещах.

Вскоре они простились как обычно:

— Спокойной ночи, Леся.

— Спокойиой ночи, Ашир. Приятных вам сиовидений.

Она всегда говорит такие вежливые слова.

Очень быстро смеркается в песках — заря живет полчаса, а может, даже минут двадцать. Солице сразу восходит, сразу заходит.

Ашир лежит в темиой палатке. В слюдяное окошечко видна Лесииа палатка, светлое пятно от «летучей мыши» желтеет на брезентовой стенке.

Не спит... Что делает? Читает? Пишет письмо в Киев? Кому пишет? Может, нарочио и про эти слова спросила, чтобы написать в письме? Как узнаешь...

Все темиее и темнее в окошечке, видно только светлое пятио. Вот и оно пропало. Ночь. Очеиь тихо, совсем темио кругом.

Ашир выходит иаружу, садится на уже холодиый, посветлевший песок.

Что делать — неизвестно. Никогда еще не было ему так трудно... Ашир тронул рукой песок — быстро он остывает в пустыне. И вдруг вспомнилось — была уже такая ночь, так же сидел он один на холодном песке, и кругом было темно и тихо. Нет, нет, не на песке сидел он, на твердой холодной земле. И было ему куда тяжелее, чем сейчас. Он сидел и плакал. Рубашка на груди стала мокрая и холодная от слез. Но это очень давно было... сто лет назад было — он жил в детдоме. Их всех, троих братьев, сразу же устроили в детдом, когда отец ушел на фронт. Мать осталась одна с маленькой Айсолтан, работала уборщицей в школе.

Через два месяца мать пришла с похоронкой, показала Аширу — он был старший, все понимал. Они сидели во дворе детдома и молчали, а Айсолтан смеялась — узнала Ашира. Сначала мать была совсем спокойная, потом вдруг выпустила из рук Айсолтан и упала вниз лицом, молча начала кусать глину. И лицо ее стало мокрое и желтое от глины. Одна Айсолтан заплакала — очень испугалась.

Айсолтан скоро умерла — мать сильно горевала, у нее пропало молоко.

В ту ночь Ашир, когда все заснули, вышел из дому; как и сейчас, сел на землю. Теперь он надолго остается в детдоме — пока не вырастет. И отец никогда не вернется, не сделает, что обещал. Они многое хотели сделать: поехать вместе в пески — ловить змей для научного института, поехать на Амударью,— Ашир еще не видел настоящей реки. Теперь неизвестно, когда увидит... И лежать с отцом во дворе на кошме больше не будет. Вокруг кошмы колючий канат из конского волоса — от змей, от фаланг. Из-за глиняных, еще теплых домов тихо выходит красная, круглая луна, большая, тяжелая, очень медленно подымается. От твердой земли через кошму идет дневное тепло... Никогда этого больше не будет. В детдоме все спят в комнатах, на кроватях, змей не ловят, делают физзарядку под баян, пьют кипяченую воду из бачка, запертого на висячий замок, едят манную кашу без масла. Теперь придется все время ее есть и пить воду из запертого бачка... Целый котел каши съешь, сто бачков воды выпьешь...

И правда, он долго, очень долго жил в детдоме.

А сейчас ему двадцать один год, он уже на третьем

курсе биофака Туркменского университета, работает в экспедиции практикантом.

Десять человек с их курса хотели поехать, взяли его одного, хотя заведующий кафедрой профессор Решетов Иван Иванович только один раз с ним поговорил — пришел на практические занятия: они определяли солянки. Это лебедовые — очень трудное семейство, самое трудное в систематике цветковых. Но Каракум — царство солянок. Туркменский ботаник должен их очень хорошо знать.

На столе лежали ветки крупной древовидной солянки.

Профессор спросил:

— Что это, знаете?

Ашир взял две ветки, посмотрел на свет.

— Знаю — Черкез. Только тут два разных вида.

— Да? — сказал профессор.— Какие же?

— Этот Черкез растет на барханах, этот — на спокойных песках.

— А в чем разница?

В чем разница... Как скажешь, как объяснишь? Он хорошо говорит по-русски, но есть туркменские слова, которые просто не знаешь, как перевести. Скажешь — нет, совсем не то.

— Мне трудно объяснить по-русски,— сказал Ашир.

— Говорите по-туркменски,— сказал профессор.— Я родился в Туркменистане, прожил здесь всю жизнь.

Он так и сказал — «в Туркменистане», а не «в Туркмении», как всегда говорят русские.

Ашир заговорил по-туркменски. Профессор внимательно слушал, иногда улыбался, говорил:

— Да? Вон что! Интересно...

Потом сказал:

— Хорошо, правильно,— и отошел к другим студентам.

А через неделю Ашира зачислили в экспедицию.

2

Кончился завтрак. Сейчас ехать в пески. Вот начальник отряда вышел из палатки, несет пустую миску к кухне, но повар уже бежит мелкой рысью навстречу, обеими руками принимает миску,

Ашир едет с одной бригадой, Леся — с другой. Они практиканты при специалистах. Он — при геоботанике, она — при мелиораторе.

Ашир медленно идет к машине с деревянным домиком в кузове. Рабочие уже сели. Ждут геодезиста Валю. Он вечно опаздывает. Но вот и Валя вышел из палатки.

В Казанджике девушки-чертежницы называли его «Евгений Онегин».

Валя в правой руке несет деревянный ящик с теодолитом, левой осторожно трогает длинные косые бачки. Он очень следит за своими бачками: каждое утро подбривает их опасной бритвой — специально держит ее для этого.

Валя подымает в кузов теодолит.

— А ну, хлопцы!

Рабочие бережно ставят теодолит возле кабины. Там Валино место. На фанерной стенке нарисованы теодолит и перекрещенные рейки — чтоб никто не занял место по ошибке.

Можно ехать. И вдруг Ашир видит: Леся стоит возле своей машины, не садится в кузов. Она уже не в красной блузке, а в синем комбинезоне из «чертовой кожи», поэтому кажется высокой. Чего она ждет? Все сели, а она стоит, смотрит на «ЗИЛ». На «ЗИЛ»? Нет! Она на Ашира смотрит, смотрит и улыбается, ждет, когда он на нее взглянет.

Ашир не верит своим глазам. В чем дело? Что случилось? Ему кажется: все рабочие из обеих машин, все специалисты, повар, оба шофера — и Садыков и Кравченко — все, все смотрят только на них — на него, на Лесю. А Лесе все равно. Она кричит:

— Қош бол, Ашир!

Она прощается с ним по-туркменски — запомнила эти слова, хотя и не записывала их в свою красную книжечку...

Ревут моторы, стреляют синим дымом.

Бригады едут в разные места. «ЗИЛ» — к колодцу Қапланли, «ГАЗ» — к колодцу Дас-Кую.

Ашир сидит на боковой скамейке сзади всех, на самом плохом месте. Его трясет, качает, бьет о стенку. Он ничего не замечает, ничего не чувствует. Он тяжело дышит, и

улыбается, и ие вернт, что все случнвшееся сейчас — правда.

...Работать было очеиь трудно: с полудня подиялся ветер — иа пустыию шел цнклои. Пришлось вериуться в лагерь.

На севере цнклон иесет с собой дождь, а в песках — только ветер. Два дня в воздухе будет висеть душная желтая мгла, все видншь в сухом тумане. Утро иаступает позже, вечер — раньше. Ночью по палатке все время, как мелкий дождь, стучнт сухой холодный песок. Застегнешь иа все крючки обе полстн, все равно к утру иа брезеитовом полу иаметет тоикнй серый слой. Его почти не вндио; только когда встанешь с раскладушкн, сразу отпечатаются следы босых ног. И песок везде — в киижках, в гербарнн, в супе, в карманах, на простыие. Никто его уже ие замечает, будто он был всегда.

Ашир, как прнехал с поля, сразу же застегнул обе полсти, достал нз-под раскладушки две туго перевязаиные ботаническне сетки, снял с иих булыжинк — пресс.

Смнрновия была в самом инзу — последннй лнст.

Как быстро сохнут растення в пустыне! Всего суткн — а лепесткн вои уже погасли, не светятся больше,— обычиый гербарный экземпляр. Не надо было так быстро закладывать ее в сетку, в солеиой воде она долго могла бы жить.

Ашнр вытаскнвает нз рюкзака «Флору Туркменнн» — пять томов, без переплета; чтобы ие нзмялнсь, каждый вложеи в папку от старых школьных учебнников: в «Грамматнке туркмеиского языка» — бобовые, в «Задачннке по арнфметике» — зонтичиые, в «Кннге для чтеиия по русскому языку» — злаки. Ашир аккуратно обрезал поля, суровой ииткой вшнл лнсты в папкн. Еще дома хотел закленть обложкн, написать сверху «том первый», «том второй», ио не успел, а сейчас прнвык различать тома по старым обложкам.

Пока цнклои, можно заняться камералкой — провернть, уточннть сомиительиые виды, иапнсать этнкеткн.

Ашир берет гербарный лнст, сверху иа этикетке пишет названне вида, потом указывает место сбора: «Бархаииые пескн возле колодца Дас-Кую». Против «собрал и

определил» расписывается очень четко, полностью — «Ашир Атаев» — и ставит дату.

Сейчас Смирновия смешается с другими гербарными сборами. В последний раз он смотрит на цветы: какие они стали плоские, на синих и розовых венчиках появились маленькие морщинки. Как ни расправляй, венчик изменяется больше всего. Очень уж он нежный...

И тут за брезентовой стенкой раздается слабое царапанье, будто мышь скребет. Ашир вскакивает, отстегивает одну полсть, другую. Перед палаткой стоит Леся, трет глаза обеими руками — песок висит в воздухе.

— Можно, Ашир? Я хотела попросить вашу «Флору». Мне нужны бобовые.

Ашир пропускает ее в палатку, ветер врывается следом, шуршит гербарными листами.

— Закрывайте, закрывайте скорее,— говорит Леся,— сейчас налетит полно песку.

На раскрытом гербарном листе она видит Смирновию, быстро наклоняется.

— Какая чудесная! Что это?

— Это Патлак,— говорит Ашир,— по-латыни — Смирновия Туркестана.

— Из бобовых? — Леся осторожно берет Смирновию, подносит к слюдяному окошечку.— У нее разноцветные цветы. Почему?

— Розовые — молодые, лиловые — старые. С возрастом цветка изменяется клеточный сок — сначала он кислый, потом щелочный, и антоциан — красящий пигмент — тоже изменяется.

Но Леся не слушает и все смотрит на Смирновию.

— Чудесный цветок! Даже сейчас, в засушенном виде, она прекрасна. А какая же была живая? Я еще не видела Смирновии даже в гербарии. Когда вы ее нашли?

— Вчера.

— И не показали мне, сразу положили под пресс... Почему? Нехорошо, Ашир!

Он молчит. Что скажешь? Разве не правда? Чего обиделся? Зачем поторопился? А теперь Смирновия умерла... Ашир грустно смотрит на Смирновию, что чуть

увяла, потом за ночь ожила, распустилась, а теперь вот умерла. Очень жаль, что так получилось... Он сам виноват.

Леся осторожно кладет на кошму гербарный лист.

— Теперь уж мне никогда не увидеть живую Смирновию... Самый красивый цветок в Каракумах... Была в песках и не увидела...

— Можно еще найти,— неуверенно говорит Ашир.

Леся качает головой:

— Нет, не утешайте меня, я же не ребенок. Я знаю — жара с каждым днем все сильнее. Сейчас последние растения отцветают. Если попадается Смирновия — только с плодами. Это совсем не то — цветов не будет...

Ашир молчит — все правильно: через неделю, даже раньше, в песках не найдешь ни одного цветущего растения.

— А мне так хотелось увезти домой самый красивый цветок пустыни,— печально говорит Леся,— на память о Каракумах, о нашей экспедиции, о том, как вы меня учили говорить по-туркменски.

Ашир не поднимает глаз, но чувствует: Леся смотрит прямо ему в лицо. Они сидят на кошме совсем близко, и она пристально смотрит на него. Он боится пошевелиться: сразу коснешься ее. Что тогда делать? Он и хочет и боится этого. А она все смотрит на него, молчит и смотрит; кажется, придвинулась еще ближе — Ашир чувствует на лице ее дыхание.

— Ашир,— шепотом говорит Леся,— подарите мне на память живую Смирновию. Ладно, Ашир? Дома я буду смотреть на нее и вспоминать наши встречи.

— Хорошо,— тихо говорит он,— завтра я пойду в пески и непременно найду вам живую Смирновию.

— Нет, Ашир, не завтра. Завтра мы поедем на работу, будет некогда. Надо найти ее сегодня, пока мы свободны. Вы же знаете, где она растет.

Ашир подымается с кошмы.

— Хорошо, сейчас пойду за Смирновией.

Леся берет его за руку:

— Вы хотите идти за ней один, Ашир? Почему? Мы пойдем вместе. Мы будем в песках только вдвоем. А ког-

да мы найдем Смирновию, я что-то скажу вам по-туркменски. Хотите, Ашир?

— Да,— проговорил он чуть слышно, ему трудно было дышать.

— Или, может, вы не хотите, чтоб я вам что-то сказала по-туркменски?

— Хочу,— он произнес это без звука, одними губами, потом вдруг вслух сказал какие-то непонятные слова — забылся, заговорил на родном языке.

— Что? — спросила Леся.— Что вы сейчас сказали?

Он сидел неподвижно, совсем темный от волнения.

— Когда же мы пойдем за Смирновией, Ашир?

Он сказал, что надо идти попозже,— может, ветер немного утихнет. Сейчас ничего не увидишь,— песок засыплет глаза.

— Ну вот, «попозже»...— она обиженно отодвинулась.

Он взглянул испуганно:

— Вы рассердились, Леся?

— Нет, что вы! Чего сердиться? Вам просто не хочется со мною идти — так и скажите,— она поднялась.

Ашир вскочил, взял ее за руку:

— Нет, Леся, нет. Мы сейчас же пойдем за Смирновией. Хотите, вот прямо сейчас пойдем?

Она улыбнулась:

— Это же совсем недалеко. За час дойдем и вернемся.

Он расстегнул полсти. Ветер ударил в палатку, взметнул гербарные листы. Ашир оглянулся.

— Леся, можно я один пойду? Я быстро схожу и вернусь.

— Почему сами? Боитесь остаться со мною вдвоем в песках?

— Нет, просто ветер очень сильный, бьет песком в лицо. Смотрите, что делается. Вам очень трудно будет идти.

— Ну и что? Я же буду с вами. Вы пойдете вперед и заслоните меня от песка, от ветра.

Она стояла у входа, и смотрела на него, и не заслонялась от песка. Песок сыпался ей на голову, бил в лицо, а она смотрела на Ашира и ждала.

— Хорошо,— сказал он,— пойдем вместе.

Он взял ботаническую папку для Смирновии, потом подумал и вынул из-под раскладушки флягу в войлочном футляре, перекинул через плечо ремешок.

Леся засмеялась:

— А фляга зачем? Тоже мне экспедиция!

— Надо,— он шагнул к выходу,— пошли.

Ветер, кажется, упал. Уже не воет за палатками. Бывает, что циклон к концу первого же дня прекращается. Хорошо бы все-таки подождать с полчаса... Но разве Леся согласится?

Он сразу взял направление на юг. Надо двигаться прямо, все прямо, никуда не сворачивая. Метров через пятьсот они выйдут к ложбинке между барханами с редкими зарослями Смирновии, возьмут два-три экземпляра и по своим же следам быстро вернутся в лагерь. Надо только успеть, чтобы не замело следы. Тогда плохо будет...

Ашир взглянул на небо. Ровная серая пелена кое-где посветлела. Да и песок оседает: вон уже видны все шесть палаток.

Они быстро прошли через лагерь: увидит начальник или кто из специалистов — все пропало, сразу возвращайся назад. Но лагерь был пустынный, палатки закрыты наглухо. Рабочие спят, играют в домино. Специалисты обрабатывают полевые материалы — используют циклон.

3

Они вышли из лагеря, и сразу спереди, сзади, справа, слева окружил их летучий песок. Воздух кругом был желтый, мутный — все видно, как сквозь грязное стекло. Ашир понял: надо немедленно поворачивать, сейчас же идти назад, по своим следам, пока их не занесло, но Леся шла позади — шаг в шаг, он слышал ее дыхание. Она шла за ним, доверилась ему. Они идут вместе,— значит, он не может не найти Смирновию.

Он хорошо помнит: было несколько кустов — три-четыре. Он выбрал один, с наиболее обильным цветением, по шкале Хульта «пять» — высшая отметка, но там были и другие, с «тройками»,— большинство цветов уже синие, розовых почти нет,

Теперь хотя бы один экземпляр найти, даже с «тройкой» — и сразу назад, в лагерь, пока еще можно различить следы.

Ашир наклонился к земле; щурясь от песка, прикрывая глаза ладонями, стал всматриваться — нет, ничего не видно, везде голый песок, только кое-где торчат одинокие кусты Большого Селина, стоят как зеленые снопы. Никакая буря им не страшна, пробьются сквозь любые песчаные заносы. К лагерю примыкает широкая полоса барханных песков. Лагерь возле колодца. Пески тут сильно разбиты овцами. Смирновия любит такие пески. Искать ее надо только здесь. Но где, где искать? Разве он думал вчера, что опять придет сюда за Смирновией в бурю?

Выйдя из лагеря, Ашир стал считать шаги, сбился на второй сотне, начал снова. Пятьсот шагов давно уже прошли, а Смирновии нет. Верно, они отклонились в сторону. Разве при таком ветре можно точно выдержать направление? Ориентиров нет, все закрыто песком, тонет в душном сухом тумане.

Сколько времени они идут — неизвестно. Он не взял часы, время не засечешь. Да если бы и взял, пользы мало — можно легко сбиться в сторону, сделать полукруг. Даже в спокойной пустыне трудно держать направление.

Леся дернула его за хлястик спецовки:

— Ашир, скоро?

Скоро! Как будто он знает, когда им попадется Смирновия. В тихую погоду не сразу найдешь, надо походить, посмотреть кругом, а сейчас буря.

— Ашир, ну где же она?

Они останавливаются. Куда ни глянь — непроглядная желто-серая мгла. Сквозь нее смутно видны острые вершины ближайших барханов. Они, как маленькие вулканы, сильно курятся песком. Весь мир наполнен песком. Он лезет в глаза, в нос, в уши, в рукава спецовки. Солнца нет, только мутный рассеянный свет. Иногда тонко свистнет ветер из-за бархана да прошипит у ног песчаная поземка. Над всей землей висит желто-серая мгла, скрывает все, и нет ей конца.

Ашир поворачивается к Лесе:

— Надо возвращаться в лагерь.

— Что вы! — удивленно говорит Леся.— Возвращаться с пустыми руками? Зачем же мы ходили, мучились? Я вся в песке — и все это напрасно? Смирновия же совсем близко от лагеря, вы сами сказали — пятьсот метров. Она где-то здесь, рядом. Давайте искать.

Леся поворачивается вправо, всматриваясь в землю, удаляется от него. Ашир быстро нагоняет ее:

— Леся, не отходите от меня. Мы же сразу потеряем друг друга.

— Но иначе как же искать? Надо наметить небольшую площадь и прочесать ее. Потом двинуться дальше.

Ашир останавливается — что с ней делать? Ничего не понимает, думает только о Смирновии, не понимает, что они уже заблудились, неизвестно как вернутся в лагерь.

— Давайте же искать,— упрямо повторяет Леся,— если вы боитесь потеряться, пойдем вместе и будем смотреть под ноги. Обидно ничего не найти.

Некоторое время они молча идут рядом, вглядываясь в голый песок.

— Возьмем правее,— говорит Леся,— пройдем по счету сто шагов, потом повернем влево — и опять пройдем сто; может, наткнемся на Смирновию.

Ашир злится на себя — он сознает бессмысленность этих блужданий, но у него не хватает решимости сказать Лесе, что вот так кружить — это не только не найти Смирновию, это еще дальше отойти от лагеря, совсем сбиться с дороги. «Сейчас скажу ей,— думает он,— скажу, что надо забыть о Смирновии, какая тут Смирновия!» Но вместо этого он покорно идет следом за Лесей, считая шаги — пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь — и так до ста, потом они поворачивают влево.

Леся останавливается, кашляет — песок попал в горло. Кажется, она наконец начинает понимать, что случилось.

— Ничего не выходит,— с досадой говорит Леся.— Не понимаю, как вы могли сбиться на таком коротком отрезке? Всего пятьсот метров! Из-за этого мы впустую ходим в проклятом песке. Ничего не поделаешь. Надо возвращаться в лагерь. Пошли!

Но Ашир делает несколько шагов в сторону и опускается у подножия ближайшего бархана, ложится у его крутого подветренного склона.

Леся удивленно смотрит на него:

— Вы что? Устали?

— Нет, нам надо подождать, пока прекратится буря,— он старается говорить как можно спокойнее.

— Ждать? Здесь, на ветру?

— Да, пока песок не уляжется, мы не сможем определить, где находится лагерь. Идти наугад нет смысла. Будем только кружить на месте.

Леся изумленно смотрит на Ашира.

— Слушайте, Ашир,— говорит она раздраженно,— разве вы не знаете: буря — это циклон. А циклон может продолжаться и два и три дня.

— Знаю,— тихо говорит Ашир.

— Значит, мы все это время будем сидеть у этого поганого бархана?

Ашир молчит. Что скажешь? Надо было не выходить из лагеря. Он говорил, доказывал — она не послушалась. Теперь ничего не поделаешь.

— Чего вы молчите?

— А что мне говорить? — он ответил так тихо, что Леся не услышала.

— Ну вот, молчит... А я думала, туркмен в пустыне как дома — всегда найдет дорогу.

Ашир кладет подбородок на согнутые колени. Если он туркмен, значит, должен уметь, как собака, найти дорогу даже с завязанными глазами? Сейчас глаза ни к чему: где север, где юг, даже старик кумли́ — житель песков — и тот не скажет.

Леся не садится, стоит, ждет,— может, Ашир одумается. Волосы выбились из-под красной косынки, из черных стали серыми. Ашир чувствует на себе ее взгляд, но не подымает глаз. Нет, больше она не заставит его слоняться по пустыне. Надо сесть и сидеть здесь, у бархана, пока не утихнет ветер.

Наконец Леся, тяжело вздохнув, опускается рядом с Аширом.

— Ладно,— говорит она,— если вы не можете найти дорогу, подождем, пока стемнеет. Тогда разведем костер, из лагеря увидят — придут.

Ашир не отзывается, думает: как быть? Сейчас сказать Лесе, что костра не будет — он не взял спичек, или подождать до вечера? Может, Леся успокоится, перестанет волноваться. Нет, лучше сказать сразу. Не надо скрывать правду, даже если она горькая.

— Леся, я не взял с собою спичек,— говорит Ашир.

Она быстро оборачивается:

— Почему? Забыли совет Бориса Ивановича: «Идешь в пески на минуту — бери огонь и воду»?

— Вода у нас есть,— напоминает Ашир.

— Ага! Значит, вы водой попробуете разжечь костер? Интересная новаторская идея!

Наступает долгое молчание. Кругом тихо, только порой из-за бархана вдруг свистнет ветер да прошуршит песчаная поземка. Бархан высокий, немного прикрывает от ветра, но с вершины все время сносит песок, он тонким слоем ложится на спину, на плечи; пошевельнешься — песок течет в рукава, за воротник спецовки, в карманы. Песок уже на теле, в волосах, в бровях. Время от времени надо прочищать уши, нос — песок мешает дышать. Глаза лучше держать закрытыми, а то будут слезиться.

Очень медленно тянется время. Который час — неизвестно. Рассеянный ровный свет не тускнеет — май, дни длинные, стемнеет не скоро. Солнца нет. Песок давно остыл. Леся ежится, ей холодно в комбинезоне. У Ашира под спецовкой рубашка, майка.

— Слушайте, Леся,— неуверенно говорит он,— возьмите мою спецовку. Я тепло одет.

— Спасибо. Не надо,— сухо отвечает она.— У вас, в Туркмении, любят тепло одеваться. Взяли бы с собой ватный халат — можно спокойно сидеть под барханом хоть до утра.

Ашир ничего не говорит — ей холодно, вот она и сердится.

Он снимает спецовку из «чертовой кожи», накрывает Лесины плечи.

— Я ж сказала — не надо, мне не холодно,— раздельно, по слогам говорит Леся, но спецовка остается у нее на плечах.

Рубашка у Ашира с воротником. Рукава длинные. Он разгребает песок, ложится в ямку. Ничего, жить можно.

Кажется, начинает смеркаться. Куст Большого Селина справа из зеленого стал серым, бархан за ним совсем плохо виден. Ашир приглядывается. Нет, это просто песок несет гуще — ветер подул сильнее. Вон опять показался бархан, и Селин стоит зеленый. Ветер то усиливается, то ослабевает. Сколько времени он будет так дуть?

Ашир плотнее прижимается к бархану. Без спецовки ему сразу стало очень холодно, но бархан сейчас не греет, он холодный, как ветер... А если углубить ямку? Он начинает осторожно рыть одной рукой — надо, чтобы не заметила Леся. Еще спросит: «Что вы делаете, зачем?» — и сразу же сбросит с себя спецовку.

Ямка стала глубже, но на дне ее песок сырой, от него еще холоднее.

Он прижал руки к груди, крепко стиснул зубы, чтобы унять внутреннюю дрожь. А ветер все дует, дует по-прежнему.

Вечер, вечер... Как всегда в пустыне, темнеет сразу, без сумерек. Уже не видно Большого Селина, не видно соседних барханов. Пропала желто-серая мгла. Кругом густая, непроглядная тьма. Только бархан, под которым они сидят, чуть белеет.

Ашир скорчился. Колени его чуть не касаются подбородка. Надо, чтобы тело занимало как можно меньше места. Но это не помогает — еще немного, и он уже не сможет сдержать дрожь, начнет стучать зубами. А впереди вся ночь, холодная пустынная ночь... Потом день... Каким он будет? Утихнет ли ветер? Но что об этом сейчас думать?

Леся лежит молча. Заснула? Ашир прислушивается — нет, не спит, вздыхает. Вот зашевелилась. Спина, плечи сразу почернели, посыпался песок.

— Ашир, вы спите?

— Нет, Леся.

— Дайте мне воды. У меня во рту совсем пересохло.

— Сейчас, Леся.

Он приподымается, подползает к ней на коленях, снимает надетую через плечо флягу. Дать воды... Но у них всего одна фляга... На сколько времени?

Он садится рядом, отвинчивает металлический колпачок, осторожно вынимает пробку, держа флягу обеими руками, подает Лесе.

— Пейте, только немного.

— Дайте же мне флягу,— требовательно говорит она.— Я не маленькая, чтобы меня поили из рук.

— Нет,— тихо говорит Ашир,— пейте только так.

Он дает ей выпить три глотка и сейчас же отнимает флягу, закрывает пробкой, завинчивает металлический колпачок.

— Вы мне дали всего одну каплю,— Леся с трудом говорит спокойно.— Почему? Бережете для себя? Дайте еще. У меня все горит внутри.

— Нет, Леся. Больше нельзя.

— Ну что ж,— печальным голосом говорит она,— я понимаю, фляга ваша, и я еще смеялась — зачем ее берете. Вы могли бы совсем не дать мне воды. Спасибо и за это...

Ашир ложится на свое место. «Ваша фляга...» Зачем, зачем она так говорит?

Ему хочется как-то смягчить отказ. Но что скажешь? Конечно, ей очень трудно — впервые в пустыне; о жажде в песках только читала в каких-нибудь «Каракумских записках». В лагере, в поле воды хватает: у каждого — фляга; не хватит — в кузове запасный бочонок с шлангом. А тут и холод и жажда. И неизвестно, когда все кончится...

Леся приподымается, садится возле бархана. Она больше не просит пить: по голосу Ашира поняла — воды он ей не даст. Но она больше не может терпеть эту муку — сразу вдруг заболело горло, колет, как при ангине. А он сидит под барханом и молчит, жалеет глоток воды, всего один глоток. Леся коротко всхлипнула, но сейчас же крепко сжала зубы — плакать? Нет! Его же ничем не проймешь — полудикарь... всю жизнь они живут в песках, в своих войлочных кибитках... От культурного человека — только костюм, больше ничего, а душа осталась, как и была тысячу лет назад...

Леся охватывает руками колени, горестно прижимается к ним лицом. Зачем, ну зачем было идти сюда? Она впервые в пустыне, ничего не знает, но он-то родился здесь, должен понимать, должен был отговорить, удержать ее. Так нет — сразу схватился, побежал в пески. Теперь вон спать собрался, ничего не чувствует — что

ему? С детства привык обходиться без воды, как верблюд...

Она тосклнво оглядывается — кругом непроглядно чернеет ночь, холодная пустынная ночь. А завтра? Что, если весь день опять будет дуть этот проклятый ветер? Значит, весь день они проведут вместе возле этого холодного бархана? И он будет давать ей глоток воды, поить из рук... Леся чувствует вдруг жгучую ненависть к Аширу. От этой ненависти ей даже трудно дышать. Но что она может ему сделать?

— Хорошо,— бессильно шепчет она,— погоди, погоди, хорошо!

Леся всем телом поворачивается к Аширу, и он слышит тихий смех.

— Что вы, Леся? — встревоженно спрашивает Ашир.— Что с вами?

— Ах, господи,— хриплым, веселым голосом говорит Леся,— ах, господи, до чего глупо! Ну просто дико глупо. Я — дура, только сейчас сообразила...

— Что сообразилн? — тихо спрашивает Ашир.

— «Что», «что»... Понятно, почему случилось все это! Сама я во всем виновата. Вы же не за Смирновией шли, Ашир! Вы знали, что она отцвела,— последний экземпляр с цветами сорвали, а пошли, побежали в пески, несмотря на бурю. Почему?

Ашир молчит. Он затаился в своей сырой ямке. Он хочет одного, только одного — чтобы Леся больше не говорнла нн слова, замолчала совсем.

Но она уж поняла — удар нацелен точно.

— Ужасно, ужасно глупо! И как я сразу не сообразила — сама не знаю.

Ашнр вндит: она подползает к нему на коленях. Вот уже видны глаза, нос, чуть белеют зубы. Она смеется, молчнт и смеется.

— Слушайте, Ашнр, вы побежалн в пески, чтобы услышать что-то по-туркменскн. Правда? Для этого пошли сюда в бурю и меня повели за собой? Да?

Она прндвннулась совсем блнзко, хочет рассмотреть его лнцо. Он вжимается в бархан.

— Ашнр, вы хотелн услышать три слова, только три слова; что, разве не правда? Ну вот, так и быть, я говорю

вам эти три слова: мен сеии сойярин! Довольиы вы? Сойярин,— повторяет раздельно — сойярии! До чего смешное слово! Господи, и говорят же люди на этаком языке — сойярии! — Она хохочет, вплотиую приближается, заглядывает в лицо.— Ну вот, ваше желание исполнилось — можете иа радостях хлебнуть из своей персональной фляжки и сладко заснуть под родимым барханом.

Леся подымается, секунду стоит иад Аширом, потом идет и ложится с противоположиой — плоской, иаветренной стороны бархаиа.

Тишина. Ашир лежит в своей сырой ямке. Его бьет крупная дрожь, трясутся руки, иоги, стучат зубы. Отчего? От холода? Не знает он, не знает...

Ашир даже не пытается унять дрожь, ои только часто дышит и сильиее прижимается к холодиому бархану, осыпающему его мелким, холодным песком.

...Спал ои или ие спал в ту иочь? Кажется, все же забылся перед рассветом, потому что, когда открыл глаза, увидел: над песками, над всей пустыней стоит огромная тишина. Темио-синее, бессолнечное небо, совершенно чистое, по-иочному холодное, спокойно ждет солнца.

И солнце взошло, как всегда в пустыне, очеиь быстро. Над выгнутой лииией горизоита возиик иежаркий лучистый сегмеит, а через минуту показалось по-дневиому иебольшое, сразу лучистое, слепящее солице, стало деловито подыматься вверх, готовое к своей привычиой работе — иещадио палить остывшую за сутки пустыию.

Ашир подиялся, стряхиул песок. Леся спала. На ее побледневшем, очеиь красивом лице иочные слезы оставили извилистые грязиые следы.

Но вот она проснулась; щурясь от солица, посмотрела вокруг, остаиовила строгий взгляд иа Ашире.

— Пошли?

— Да, — сказал Ашир, — сейчас сориентируемся и пойдем.

Ои говорил обыкиовеииым спокойиым голосом, будто иичего ие произошло.

Они двинулись в путь.

Солице, видно, решило наверстать упущенное — с са-

мого утра, даже еще не поднявшись как следует, палит в полиую силу.

Оии взяли иаправление на север.

Леся гордо шла впереди — иадо показать, что больше не нуждается ни в ком.

Ашир шел шагах в десяти, смотрел иа малеиькие четкие следы и старался не наступать на них, ие касаться их.

Вдруг Леся остаиовилась. Под иогами, придавлеиный молодым, иоворождеиным бархаиом, виднелся иевысокий редкий кустик. Ветки покрыл серый песок, только одиа иаверху. Редкие темно-фиолетовые, почти чериые цветы, похожие на птичий клюв, лежали на песке. Смириовия...

Леся наклоиилась, отгребла песок. Под ним были мертвые, сморщеиные цветы — до срока увяли на холодном ветру, под холодным песком.

Все же оиа вырыла Смирновию, оглянулась. Где Ашир?

Он шел уже далеко впереди, шел быстро, как будто был один в песках.

— Ашир! — громко позвала она.— Подождите, я нашла Смириовию.

Нет, идет не оглядываясь, вон уже скрывается среди барханов — видеи по колено, по пояс, вот только голова видна в ковровой тюбетейке...

Скажите, какой самолюбивый! Обиделся за вчерашнее. Но она сильно переиервничала, вот и позволила себе лишнее. Да и что особенного она сказала? Надо поиимать — девушка впервые в пустыне, заблудилась... Надо же поиимать...

Леся уверенно шла по большим, широко расставлеиным следам Ашира, стараясь ступать след в след. Ничего! Сейчас тихо — следы ие пропадут.

Оиа мииовала большой старый бархан и увидела Ашира: ои сидел на песке — ждал. Заметив ее, поднялся, пошел дальше.

Оиа умерила шаг. Ладно! Пусть идет. К нему как к человеку, а он еще ломается. Еще вопрос — кто должеи обижаться? Другая и ие посмотрела бы. А у иее мягкий характер, отходчивый.

Леся оглянулась. Барханы кончились, пошли песча-

ные бугры, поросшие кустарником,— как и барханы, одинаковые, неотличимо похожие друг на друга.

Непонятно, как Ашир находит дорогу? Все-таки вчера она немножко резко с ним обошлась... Он снял спецовку, отдал ей, а сам всю ночь дрожал в одной рубашке. Ну ничего! В лагере надо попросить полить на руки, когда умываешься, невзначай положить руку на плечо — песок, мол, попал в тапочки,— и полный порядок! С парнями чем строже, тем лучше — больше ценят.

Солнце умерило ход, медленнее подымается, а в зените остановится, начнет палить во всю силу. Над саксаулами на буграх уже дрожит горячий воздух. Очень жарко, даже жаль ночного холода. Она вчера почти не пила, сейчас опять все горит внутри. Позвать Ашира? Вода у него есть — туркмен, привык мало пить.

— Ашир,— крикнула она,— дайте напиться!

Ага! Остановился, ждет.

Она подходит, смотрит на него из-под ресниц. «Ну что, мы еще сердимся?»

Не отвечая на взгляд, он снимает флягу, отвинчивает колпачок, вынимает пробку.

Она смеется:

— Что, опять как младенца будете поить? Вы меня совсем за ребенка считаете, Ашир.

Он молча смотрит поверх ее головы.

— У-у, злюка! — Она приникает к фляге.

Он дает ей выпить чуть больше, чем вчера, и забирает флягу:

— Довольно.

Ей очень хотелось пить еще, но она ничего не сказала, только спросила:

— Далеко лагерь?

Он молча, будто не слышал, пошел дальше. Она забежала вперед.

— Вы сердитесь, Ашир? Такой злопамятный? А я вот что нашла,— она вынула из-под спецовки Смирновию. Цветы осыпались. Остался голый, твердый, серый прут. Но Ашир даже не взглянул на Смирновию. Он смотрел вперед и все шел и шел. За одну ночь лицо его почернело, осунулось, стало какое-то острое.

И опять они шли и шли по пескам. Ей снова захотелось пить. Все время хотелось, но сейчас стало совсем невтерпеж. Надо позвать Ашира...

И тут из-за бугров показался красный флажок — он проступил среди веток саксаула, был чуть виден — обвис на мачте, ветра не было даже вверху.

Она засмеялась, схватила Ашира за руку:

— Смотрите, Ашир! Красный флаг. Лагерь! Наш лагерь! Теперь можно напиться?

Он снял через голову перевязь, молча протянул Лесе флягу. Она взяла, стала отвинчивать колпачок.

Леся взглянула на него с последней надеждой:

— А может, мне сейчас много пить вредно, Ашир?

— Не знаю,— спокойно сказал он,— как хотите...

И, не взглянув на нее, пошел вперед — в лагерь.

КРАСНАЯ РЫБА

1

Кара обеими руками обхватил мокрую тяжелую сеть, вытащил из баркаса, отнес на сухой песок, ногами разбросал по берегу.

С моря дул несильный ветер — уже холодный, октябрьский. На таком ветру сеть будет долго сохнуть, надо бы поднять ее на шесты, но очень уж она худая, штопаная-перештопаная. Зашьешь прорехи, выйдешь в море — опять дырки, уже в другом месте.

Кара два раза ходил в правление, говорил председателю Гельдыеву — надо сменить снасть. Как ловить такой дырявой? Председатель внимательно смотрел на него, кивал головой:

— Да, да, надо, надо!

Но было ясно — председатель только смотрит на Кара, но не видит его, не слышит, просто говорит: «Да, да» или «Ага! Правильно! Сделаем!», а думает совсем о другом. Если спросить через час: «Был у вас Кара Давлетов?» — председатель только удивленно посмотрит:

— Кара? Постой! Кажется, был. Много рыбаков приходит, трудно запомнить — кто был, кто не был.

Артель неважно работает, давно не выполняет план — в Каспии плохо с рыбой. Вот председатель и смотрит на тебя, а не видит — о своем думает. Ему есть о чем думать...

Будь деньги, съездить бы в Ашхабад, купить в «Союзохоте» капроновую сеть. Но что об этом думать — разве соберешься с деньгами, если за последнюю неделю только для себя с Овезом наловили да матери отнесли домой килограммов десять — вот и весь улов. А каждый день в море...

Кара садится на твердый холодный песок, отбрасывает полу клеенчатого плаща, вынимает из стеганки жестяную коробочку от зубного порошка. На крышке еще видны остатки слов «мят» и «шок», остальное съела

морская вода. Руки от нее всегда холодные, кожа очень белая, сморщенная. Пальцы с трудом сворачивают цигарку. Давно уже пришлось перейти на махорку. Сигарет в сельпо завозят мало, их не хватает, остаются только дорогие сорта — «Люкс», «Любительские», лежат на полке до Октябрьского праздника. Тогда рыбаки все раскупят — «Люкс», коньяк, даже шампанское. Правда, отец Кара и в будни курил только «Люкс», но он был первый человек в Карагеле, первый рыбак, мог себе позволить.

Очень быстро идет время. Третий сезон Кара с братом работают в артели, бросили школу — дома мать, две сестры, всех надо кормить. Какая там школа! Кара хоть семь классов окончил, а Овез всего пять.

Отец умер в прошлом году в марте — ушел в море. Надо было снять рыбу с трех переметов — полтысячи крючков. Налетел циклон с ледяным дождем, с мокрым снегом. Отец снял всю рыбу, привез домой на машине-«инвалидке» два мокрых тяжелых мешка. А к ночи заболел. Думал — чепуха, простуда. Выпил водки с перцем. Оказалось воспаление легких.

Сердце не выдержало, на фронте испортил. Три года воевал в пешей разведке. В сорок четвертом вернулся домой на костылях. В Ашхабаде сделали хороший протез, стал ходить с палкой. На песке следы отца все узнавали — правая нога немножко вывернута наружу, рядом маленькие ямки от палки. В Карагеле он один так ходил — больше всех пострадал за Родину.

Были, конечно, еще инвалиды второй, третьей группы, а первой только один — гвардии сержант Давлетов.

В поселке это хорошо понимали: товарищу Давлетову продукты, саксауловые дрова, вода из опреснителя — в первую очередь.

Пятого числа каждого месяца все карагельские инвалиды на полуторке ездили в райцентр за пенсией. Полный кузов людей. Отец с шофером сидел в кабине — в суконной, еще чуть теплой от утюга офицерской гимнастерке, слева медаль «За отвагу», справа орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и еще гвардейский значок, за тяжелое ранение золотая нашивка. На сержантских погонах почетная белая полоска — командир в отставке. Хромовые сапоги матово блестят от

бархотки — в Ашхабаде сшили по особому заказу, как инвалиду первой группы, орденоносцу.

Резиновые сапоги с длинными, до паха, голенищами дожидались хозяина дома в особом сарайчике. Там вся рыбацкая снасть — сеть, переметы, верши на бычков. Бычки — наживка для переметов.

Ловить красную рыбу вообще-то запрещено. В Каспии ее осталось очень мало, но в войну все ловили — кормиться надо.

После войны опять пошли строгости. Одноглазый рябой милиционер Байрамов отобрал у рыбаков несколько переметов. Один гвардии сержант Давлетов ловил по-прежнему.

Вечером, когда он, сильно хромая, возвращался домой с тяжелым мокрым мешком за плечами, Байрамов, увидев его издали, сворачивал с дороги, прятался за домами, ждал, пока пройдет. Калека, безногий, сколько он там поймает. И рыбаки, у которых Байрамов отобрал переметы, тоже старались не встречаться с Давлетовым.

Гвардии сержант медленно и тяжело брел посередине улицы, заваленной серыми барханами, и в обвисшем мешке за его плечами шевелилась, чмокала жабрами живучая красная рыба.

В воскресенье отец брал с собой Кара и Овеза. Братья не любили этих поездок: сиди в мокром баркасе, наживляй на крючок живых, трепыхающихся бычков.

Потом баркас отплывал от берега, отец ставил переметы. Через пять-шесть часов их выбирали, снимали с крючков остромордых, сильных, больно, до крови бьющих твердым хвостом осетров и севрюг.

Сначала отец возил рыбу в райцентр на попутных машинах, потом на персональной машине, на «инвалидке». В райцентре оптом сдавал каким-то скупщикам, те тайком разносили по домам.

Позапрошлой осенью, уже под конец сезона, красная рыба прямо-таки осатанела — сразу набрасывалась на живца, как только поставишь перемет. В день снимали по сотне штук, а то и больше.

Кара и Овез на время бросили школу, каждый день выходили с отцом в море. Отец работал по пятнадцать часов в сутки — ловил бычков, наживлял на крючки, ставил переметы, выбирал рыбу, сортировал, взвешивал на безмене, потом отвозил в райцентр. Ребята, конечно,

помогали, но это же не взрослые рыбаки. Не ткнешь носом — не сделают как следует.

Отец в эти дни много ходил, сильно натер культю. Пришлось снять протез, стать на костыли. Похудевший, густо заросший, сгорбленный, злой, он ковылял по берегу, кричал на сыновей, ругался, порой бил костылем.

У Кара и Овеза сильно болели руки, в кровь исколотые твердыми плавниками; ранки гноились от рыбьей слизи.

На восьмой день с суши, из пустыни, подул ровный сильный ветер — на полуостров Челекен шла песчаная буря.

Братья вышли на высокое крыльцо. Дом был дедовский, старый, стоял на сваях. Когда-то море в шторм дохлестывало волной до самых стен. Теперь Каспий далеко отступил, только в бурю его слышно.

Кара и Овез молча смотрели на рыбацкий сарайчик. Прислоненные к двери стояли инвалидские костыли, поверху толсто обмотанные свежими бинтами. Отец отвык от костылей, они натирали ему подмышки.

Из открытой двери шел слабый синий дымок «Люкса». Отец точил напильником крючки, беспрерывно курил, кашлял.

Братья стояли тихо: скрипнет половица — конец! Сразу позовет: «Идите помогать!»

Они стояли и смотрели на море. Даже отсюда видно, какое оно темное, грязное — волны у берега уже взбаламутили песок со дна. Над поселком, над завалившими его единственную улицу широкими серыми барханами несмело вставали жидкие, ломкие смерчи. Они тут же опадали, но в другом месте подымались новые. Скоро ни барханов, ни моря — ничего не увидишь; кругом будет только сухая желто-серая мгла, свист ветра и глухой шум моря.

— Плохо дело, буря! — вздохнул Кара.

— Да, совсем плохо,— отозвался Овез.

Они зажали нос, чтобы не засмеяться, и убежали в дом.

Днем стало ясно: буря надолго. Отец вытащил на берег мокрый, скользкий от слизи баркас, развесил в сарайчике переметы, стал собираться в Ашхабад — отвезти в ремонт протез.

Отец больше не злился, не кричал: буря, что поделаешь... Можно бы еще с недельку половить, но и так добыли слава богу — за считанные дни взяли больше, чем за целый сезон.

Аккуратно упаковав протез, отец положил его рядом с костылями, сел в машину, включил мотор, помахал рукой.

— Скоро вернусь! — и по курящейся песчаной поземкой дороге покатил в райцентр. Там он оставит машину в военкомате, пересядет на грузовик до Небит-Дага. Оттуда поездом — в Ашхабад.

2

Отец вернулся через три дня. Кара и Овез готовили уроки — сильно отстали по всем предметам. Отец снял шинель, сел за стол рядом с сыновьями, молча раскрыл полевую офицерскую сумку, вынул две общие тетради. Это были самые дорогие тетради — по четыре рубля восемьдесят копеек старыми деньгами, толстые — по двести страниц, в твердой, как книжный переплет, коричневой обложке; на ней золотыми буквами написано: «Общая тетрадь», чтобы все знали — это не дешевая тетрадка в бумажной обложке с таблицей умножения на обороте.

Отец достал из сумки новую блестящую черную самопишущую ручку ленинградского завода «Союз», на первой странице красиво написал: «Тетрадь ученика 7-го класса Карагельской школы Давлетова Кара». Потом на другой тетради написал, что она принадлежит ученику 5-го класса той же школы Давлетову Овезу.

До самой полуночи, пока не выключили движок в поселке, Кара и Овез читали вслух печатную инструкцию, набирали и выпускали синие чернила из квадратного пузырька с голубой пластмассовой крышечкой, без конца расписывались «К. Давлетов», «О. Давлетов».

Когда шли спать, еще раз поблагодарили отца:

— Большое, большое спасибо, ата!

— Вот что,— сказал отец,— в школе пишите только сами. Ребята сломают авторучку — чинить негде, в Ашхабад надо везти.

У всех учеников были обыкновенные простые ручки с одинаковыми перьями «Пионер».

Кара положнл самописку на самом видном месте, но никто из ребят даже не взглянул на нее, будто на парте ничего не было.

Тогда Кара снял верхнюю часть ручкн с блестящим стальным зажимом, отвинтил черный колпачок, стал смотреть на свет — есть ли чернила в стеклянной трубочке. Трубочка была вся темная, только наверху светлый пузырек — чернил много.

Краем глаза Кара увндел: на соседних партах и справа н слева ребята смотрят на авторучку, но, как только он завинтнл колпачок, надел верхнюю часть с зажимом и стал писать, все сразу отвернулись, заговорили черт знает о чем.

Кара снльно обиделся, всей грудью лег на парту, повернувшнсь спиной к соседу Сухану Мурадову. И вдруг с затаенной радостью почувствовал на шее теплое дыхание — Сухан молча смотрел, как пншет Кара. А Кара нарочно пнсал очень медленно, очень красиво; он выводнл каждую букву, потом слегка встряхнвал авторучку, смотрел на свет — как там перо — н писал дальше. И тогда Сухан не выдержал — попросил дать ему авторучку, напнсать на новой тетрадке по арифметнке свою фамилию. Только фамилию и имя — «Сухан Мурадов» — больше ничего.

— Ладно,— сказал Кара,— на, пиши.

Сухан взял самописку и очень медленно стал выводить буквы.

Кара поднял голову — в правом, в левом, в среднем ряду, с первой, со второй и даже с третьей парты ребята стоялн и смотрелн, как пишет Сухан. Они не смотрели, когда писал Кара, а сейчас глаз не сводили с Сухана и с ленинградской авторучки. Кара взглянул на тетрадь Сухана. Тот напнсал не только свое имя и фамилию, но уже кончал писать на верхней линейке — «ученика Карагельской средней школы». «Средней» никто не писал — от себя прнбавил, чтобы дольше писать авторучкой. Это было против уговора.

— Стоп! — сказал Кара.— Хватит! Ты просил — только имя и фамилию.

— Сейчас кончу,— не оборачнваясь, ответил Сухан. Он выводил последние буквы.

— Нет, нет, давай сюда; еще сломаешь — чинить негде.

И Кара отобрал у Сухана самописку.

В классе стало очень тихо. Только было слышно, как чуть повизгивает авторучка в руке Кара.

Он оглянулся. Ребята со всех парт молча смотрели на него, не на самописку, а на Кара смотрели. А Сухан взял свою тонкую простую ручку, фиолетовыми — не в масть — чернилами дописал «школы» и сказал:

— Эх ты! На красной рыбе самописку заработал...

Кара вскочил, ударил Сухана по лицу; тот дал сдачи. Вошла «арифметичка».

— Мурадов! Хулиганишь? В угол!

На последнем уроке Кара потряс авторучкой, пробормотал:

— Что с ней? Не пишет... Дома промыть надо,— и спрятал в портфель.

С тех пор он писал авторучкой только дома, а потом и дома стал писать тонкой желтой ручкой с обгрызенным концом. Еще в четвертом классе ее обгрыз, когда дроби начали. Теперь они проходили материал куда труднее. А самописку не погрызешь — на конце металлический колпачок, еще зубы сломаешь.

3

Все это было давно — полтора года назад, а теперь самописки, дерматиновые портфели, учебники Кара и Овез отдали сестрам. Пускай учатся, а Кара и Овез будут ловить селедку, судака, воблу, сдавать их в артель, выполнять план.

Когда отец умер, председатель артели Гельдыев, тоже инвалид, только второй группы, спросил:

— Хотите работать в артели? А как будете ловить — как отец или как все рыбаки?

— Как все рыбаки,— сказал Кара.

— Ладно. Давайте работайте.

Они стали ловить только сетью и сдавать рыбу в артель.

Зимой Кара и Овез временно работали в порту разнорабочими, делали что придется. Зарплата очень маленькая, но все-таки лучше, чем ничего.

А весной опять перебрались на косу Куфальджа. Это километров десять от поселка, рыба там непуганая, лучше идет в сети.

Живут в брезентовой палатке. Домой приходят — принести матери рыбы, сменить белье, взять продукты — и опять на косу. За уловом приезжает полуторка из артели.

...На песке шаги не слышны. Кара не заметил, как сзади подошел Овез.

Овез знает: Кара очень не любит, когда неслышно подойдешь,— вздрогнет, разозлится — очень нервный стал... Поэтому Овез подходит стороной и тихо свистит — Кара услышит, тогда ничего.

— Кара, иди есть.

Каждый день Овез готовит одно и то же: суп из селедки или из судака — смотря что ловится. На второе — тоже рыба, вытащенная из супа. Потом пьют кок-чай в прикуску, курят махорку. Голодать не голодают — рыбы, хлеба, рафинада, кок-чая, махорки в общем хватает. А для рыбака главное — быть сытым.

Стоя за спиной Кара, Овез смотрит на разбросанную по песку сеть. Ух ты, сколько дырок! Если б даже селедка хорошо шла, половина через дырку уйдет. Кара надо бы чинить сеть, а он вон сидит, курит, смотрит на море. Сказать нельзя — начнет ругаться, очень нервный стал, без причины злится.

— Иди есть,— повторяет Овез.

— Слышу, не глухой,— Кара оборачивается к брату. В длинном, не по росту брезентовом плаще Овез совсем как мальчик. В сельпо нет его размера. Овез закатал рукава, но полы все равно достают до земли, плечи висят. Не растёт совсем, шестнадцать лет, уже паспорт получил, а по виду тринадцать, ну четырнадцать от силы — больше не дашь. Только руки большие, как у Кара, и кожа на них тоже сморщенная, очень белая.

Они сильно дружили при отце: в школу, из школы, на футбол, дома уроки делать — всегда вместе. Кто не знал — думал: близнецы. Очень похожи лицом и ростом почти одинаковые.

Когда Кара стал старшим в семье, сделался другим — сильнее, выше, серьезнее, начал покрикивать на брата, говорить чаще всего только по делу.

Овез не обижается: Кара — хозяин, на нем баркас, снасть, и за план он отвечает.

Обедают у входа в палатку на кошме. Кара накрошил

в миску хлеба — сделал тюрю. Отец научил — на фронте всегда так ел, чтоб было сытнее.

Кончили суп. Овез вынул из котелка вареную селедку, разложил по мискам.

Кара попробовал.

— Солил рыбу?

— Суп солил.

— Я не про суп — рыба как трава. Дай соли.

Овез подал деревянную солонку. Соли совсем мало — надо, чтоб до воскресенья хватило, когда пойдут домой за продуктами, за бельем. Кара это знает, но берет со дна солонки последнюю соль. Завтра придется есть совсем без соли... Но как скажешь? Сразу крикнет: «Не твое дело!»

Сколько раз так было.

Овез не солит себе — пусть хоть немножко соли останется на завтра.

Потом они молча пьют кок-чай. Овезу хочется спросить — выйдут они завтра в море или нет. Если выйдут, надо после обеда чинить сеть, работы много.

Прихлебывая из пиалы горячий чай, Овез незаметно смотрит на брата. В это время Кара всегда добреет, но сейчас он такой же, как был, когда ел тюрю, потом вареную рыбу.

Нет, сейчас не стоит спрашивать. Надо подождать, пока закурит.

Они вместе сворачивают цигарки. Овез первым дает прикурить старшему брату, потом сам прикуривает от той же спички.

Сейчас Кара глубоко — в два приема — затянется махоркой, ляжет на кошму, выпустит сизый теплый дым. Вот тогда и спросить.

Обед окончен. Овез убирает посуду, складывает маленькую белую скатерку. По палатке плывут густые, тяжелые космы махорочного дыма.

Кара лег навзничь, руки закинул за голову, вытянул ноги в резиновых сапогах.

— Кара, мы пойдем завтра на баркасе?

Кара молчит, курит, смотрит в прорезь палатки — рядом с палаткой торчат серые кусты сарсазана, приземистые, ломкие, растут вдоль всей косы. Слышно, как в кустах слабо свистит ветер.

— А за чем выходить?

— Как за чем? За селедкой.
— За селедкой?.. А чем ее ловить? Твоими штанами?
— Можно починить сеть,— робко говорит Овез.
— Починить? — Кара приподнимается с кошмы.— Ты хочешь чинить эту поганую сеть? Хочешь? — Он уже кричит, кричит во весь голос, стал сапогами на кошму и кричит:— Ее нужно порубить топором и выбросить в море. Ни у кого нет такой сети. Это позор — ловить такой сетью. Хорошо, что ее никто не видел,— все бы смеялись!
Овез испуганно молчит — Кара никогда еще таким не был.

4

— Салям, ребята!
Кара и Овез разом обернулись — у входа в палатку, застя свет, стоял незнакомый человек — низенький, узкоплечий, в грязной, защитного цвета стеганке, в старой солдатской пилотке. Большая голова с длинным большим лицом кажется взятой с другого туловища.
— Рыбачите? — Он взглянул влево, где была раскинута сеть, радостно охнул.— А это почему здесь? Неправильно! В республиканский музей надо! Научная ценность!
— Мы ею ловим,— хмуро сказал Кара.
— Ловите? Ею? — Незнакомый человек отошел от палатки, наклонился, пощупал сеть.— Э, нет, в музей не пойдет, в утиль пойдет!
Кара встал, вышел из палатки.
— Чего смеяться? Своя будет, сдавайте в утиль.
— А ты не злись,— спокойно сказал незнакомый человек,— мне труда вашего жалко, вот я и смеюсь.
Он присел на корточки, взял двумя руками веревочную ячейку, слегка потянул — маленькая круглая дыра сразу увеличилась.
— Не трогай! Твоя она, да? — Кара схватил незнакомого человека за стеганку, рванул к себе. Большая голова на узких плечах дернулась назад, от стеганки отлетела пуговица, упала на песок. Стеганка очень старая, пуговица легко оторвалась «с мясом».
Незнакомый человек молча нагнулся, поднял пуговицу; Кара увидел его шею, худую, тонкую, с выгибом, как у Овеза, только в морщинах.

Кара отошел, быстро стал сворачивать сеть — незачем чужому человеку смотреть на дырки.

— Брось ее,— спокойно, как будто ничего не было, сказал незнакомый человек.— Это же гниль — вот как моя фуфайка. Надо достать новую снасть. Денег нет — самим сплести из шпагата. Дело нехитрое.

— А кто вы такой? — грубо спросил Кара — ему было стыдно за крик, за пуговицу, он старался скрыть это.

— Кто? Был рыбаком, потом с годок не рыбачил, отдыхал за эту же самую рыбку.

— Срок отбывал?

— Ага.

Незнакомый человек сел на песок, сбросил с плеч «сидор», вытащил из стеганки пачку «Беломора», протянул братьям.

— «Беломор» в райцентре брали? — спросил Кара.

— Нет, у вас в поселке.

— Давно не было.

— Сегодня привезли. Я взял десять пачек. Пока хватит.

Он затянулся, пыхнул дымком, потом снял линялую солдатскую пилотку с темным следом от звездочки, подставил ветру не по росту большую, длинную голову, в густо отросшем, пегом от седины «бобрике», глубоко вздохнул:

— Хорошо у вас, рядом море — Большая вода. Я на Волге родился. С малых лет на воде. Спросишь отца: «Куда приплывем, ежели по течению плыть?» — «В море, говорит, в Каспий». Только сейчас увидел, какой он, Каспий...

Кара усмехнулся:

— Хороший, нравится?

— Да.— Незнакомый человек поднял голову, снизу вверх взглянул на Кара.— Примете к себе, ребята? Очень хочется рыбы половить.

— Это надо через правление,— сказал Кара,— мы не от себя, мы в артели.

— А где правление?

— В райцентре.

— Далеко...— Незнакомый человек устало вытянулся на песке.

— Почему — далеко? От поселка десять километров. Машины ходят.

— Да отсюда до поселка пять. Тут машин нету?

— За рыбой приходят. Теперь скоро не придет — позавчера ушла пустая. Экспедитор очень сильно злился. Не знаю, когда приедет. Пешком придется.

— Нет,— сказал незнакомый человек,— у меня ноги никуда: два километра в час — и все. А сейчас совсем отказали. В поселке увидел море, пошел — поближе взглянуть. Иду, иду, коса все уже. Так и забрел сюда. Не прогоните — посижу, пойду назад.

— Зачем прогонять,— Қара стало жаль старого рыбака,— оставайтесь, живите, в море вместе выйдем.

Незнакомый человек усмехнулся:

— С чем выйдем? С дырявой сетью? Разве что так покататься с парусом, с удочкой на бычков посидеть...

— На удочку у нас не ловят,— сказал Қара,— у нас сети; раньше переметы ставили, на бычков — верши.

— Переметы и я мальчишкой ставил, на сома, на красную рыбу. Сома вы небось и в глаза не видели?

— Нет. А красная рыба и у нас есть — осетр, севрюга.

— Севрюга острорылая...— рыбак усмехнулся.— Интересная рыба — злая, сильная. Не помню уж, когда ее видел... Она усатая?

— Нет, это осетр усатый.

Рыбак вздохнул:

— Забыл уже... Ловить их не придется. На Волге у нас запрещено их ловить. Бог с ней, с красной рыбой...

— У нас тоже запрещено,— сказал Қара,— а рыба верно очень интересная: тянешь ее — даст хвостом, плакать будешь.

Рыбак быстро взглянул на него:

— А ты ловил?

— С отцом ловили, когда жив был.

— Не боялись?

— Отец — инвалид первой группы, ногу потерял на фронте. Ему не запрещали.

— Ну и правильно,— сказал рыбак,— инвалиду почему не позволить? Он для народа кровь пролил. Когда умер-то?

— В прошлом году весной.

— Да, значит, отловил свое... Нам уж не придется. А хотелось бы хоть одну севрюжку или осетра вытащить, просто так, для интереса — посмотреть на них, ухи

попробовать... На переметных шнурах мать небось белье сушит?

— Нет, зачем,— сухо сказал Кара,— женщины в рыбацкие дела не мешаются. Перемёты дома, целы.

— Хорошо бы для баловства, для смеха крючков пяток нажнвить — что выйдет. Пока сеть сплетем, за дело возьмемся. Главное — шпагату достать: два-три дня — и будет новая снасть.

Кара очень понравились слова старого рыбака. Если быстро сплести сеть, можно кое-как поправить план — дать процентов семьдесят, и то неплохо.

Он сказал, что завтра брат пойдет домой за продуктами, заодно перемет прихватит.

Кара встал перед гостем:

— Пожалуйста, покушайте с нами — суп есть, вареная селедка есть... Не знаю, как вас зовут...

— Зовут Иван Иванович,— сказал рыбак,— имя простое, легкое. А тебя как, хозяин?

Кара назвал себя.

— Ага! Значит, Кара Давлетович.

— У нас отчества нет,— сказал Кара.

— Все хорошее надо у русских брать,— наставительно сказал Иван Иванович,— у нас самостоятельного человека, работника всегда называют по отчеству.

Они разговорились. Кара рассказал Ивану Ивановичу о матери, о сестрах, о заработках. Он не жаловался на жизнь, чего жаловаться? Ловят недавно, так все рыбаки начинали. Вот только сеть худая, денег нету...

— Деньги — дело нажнвное,— сказал Иван Иванович — он уже съел остатки супа, доедал вареную селедку. Овез отдал ему последнюю соль. Завтра все равно идти в Карагель за продуктами, за переметом.

5

— Погоди, Давлетыч, погоди — ты не мни его в руках. Зачем? Это рыбка нежная, веселая. Ты поиграй с ним, перебрось в пальцах, а крючок вкалывай тихонько, под самый плавничок. Вот, смотри.

Иван Иванович опустил руку в мокрую прутяную вершу, вытащил слабо извивающегося бычка и незаметным, точным движением вколол крючок как раз под задний плавник.

— Только так надо. Выше вколоть — позвоночник заденешь. Бычок скоро уснет на крючке. Ниже — кровь покажется: внутренности повредил. Опять он не жилец. А так — будет играть, плавать, пока осетр не наскочит.

Работа идет быстро. Иван Иванович и Кара наживляют перемет с двух сторон. Крючки с живцами сразу опускают за борт, чтобы бычки не уснули.

— Стоп! — Иван Иванович, приподняв из воды перемет, считает живцов:— Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Хватит!

— Есть еще бычки,— говорит Кара.

— Ну и что? Весь перемет хочешь наживить? Я же говорил — десяток-полтора крючков. У нас два. Довольно. С этим шутить как — не знаешь? А я, брат, хорошо знаю... Пошли в море.

Иван Иванович поднялся с кормы, легко прошел по баркасу, взял вершу, выпустил оставшихся бычков в воду.

Овез, стоявший на берегу, с сожалением зацокал языком.

— Зачем так? Суп можно сварить. Еды у нас нет — один хлеб.

— Будет еда! — Иван Иванович сел на среднюю банку, разобрал весла.— Оттолкни!

Овез всем телом налег на нос, ногами уперся в песок. Баркас сначала тяжело, потом легче, легче съехал с мели, тихо поплыл.

— Не скучай, друг! Скоро вернемся! — Голос Ивана Ивановича на воде стал громче, сильнее.

Иван Иванович глубоко погрузил весла, всем телом откинулся назад — раз-два, раз-два! Давно не был на воде, не держал весла в руках...

Баркас идет быстро, плавно, без рывков. Кара сидит на руле, направляет баркас в открытое море.

В километре от берега засекают ориентир — палатку, против нее ставят перемет. Рыба пока еще не ушла в глубину, ходит везде.

На поверхности закачались крупные пробковые поплавки. По краям перемета торчат привязанные к бечевке толстые темные палки. Кара взглянул на ручные часы.

— Сколько? — спросил Иван Иванович.

— Восемь двадцать.

— В двенадцать вытащим. Возьмем, что есть.

— А сейчас домой? — спросил Кара.— До двенадцати долго ждать.

— Куда нам спешить? — Иван Иванович снова снял пилотку. Отросший, давно не стриженный бобрик на голове совсем не шевелился от ветра — волосы были пособачьи густые, жесткие, толстые; ни спереди, ни сзади не поредели.

Баркас тихо шел вдоль берега, не приближаясь и не отдаляясь; хотя Иван Иванович почти не двигал веслами, только держал на них руки, баркас шел как хорошо объезженный конь.

И видно было, что на этот баркас, и на серое, под цвет неба, холодное, хмурое море, и близкий берег в зарослях серого сарсазана — на все это Ивану Ивановичу очень приятно смотреть, очень приятно вот так тихо плыть, чуть покачиваясь в баркасе, и чувствовать, как он подчиняется незаметному движению твоей руки.

На воде недалеко от баркаса чернела стайка диких морских уток — кашкалдаков. Легкая зыбь подбрасывала, качала их.

Иван Иванович свистнул. Кашкалдаки только чуть отвернули в сторону, хотя были совсем близко.

— Утка у вас тут совсем непуганая.

— Ее не бьют,— пояснил Кара,— первый раз попадешься — штраф, второй раз — в нарсуд передадут. И с красной рыбой так. Участковый очень строгий.

— Это рябой такой, с бельмом?

— Ага. Байрамов. Двадцать лет тут работает. Меня еще на свете не было.

— Значит, один глаз, а все видит?

— Ага. Лучше, чем другой двумя глазами. Очень строгий.

— Молодец! — похвалил Иван Иванович.— Другой бы инвалид работал «не бей лежачего», а этот вот старается, охраняет природу родного края.

Баркас медленно идет вдоль самого берега. Видно, как невысокая волна взбегает точно до темной кромки на песке и откатывается назад. Кромка очень ровная, как по линейке проведена; сухой песок гораздо светлее.

Кара хочется на берег: полежать бы в палатке, почитать «Сержанта милиции» без начала и конца — оторвали на курево. Но как повернешь к берегу? Иван Ивано-

вич — гость, ему интересно побыть на баркасе: давно не плавал, не держал весел в руках, а моря вообще не видал. Ладно, пускай поездит...

Без пилотки, в расстегнутой телогрейке, еле шевеля веслами, Иван Иванович вел баркас вдоль берега, потом незаметным движением ставил его против невысокой волны. Они опять отплывали в море метров на пятьсот, поворачивали обратно и опять шли вдоль берега.

Так сделали несколько кругов. Поплавки перемета то приближались, то уходили вдаль, пропадали совсем.

Но вот Иван Иванович сильным движением повернул баркас:

— Айда вынимать! Хватит!

— Как хватит? — удивился Кара.— Всего полтора часа стоит.

— Ничего! Возьмем, сколько есть. Давай на весла.

Он поднялся, не качнув баркаса, перешел на корму. Руки его, освободившиеся от весел, теперь все время беспокойно двигались — то он расчесывал пятерней густой бобрик, то застегивал и расстегивал фуфайку, то резко, без толку дергал руль, и баркас тоже нервничал, вихлялся на ходу. Приближающиеся поплавки метались то вправо, то влево по борту.

Кара удивленно смотрел на Ивана Ивановича — никогда не видел, чтобы кто-нибудь так волновался из-за рыбы, так переживал.

Но вот Иван Иванович положил руки на руль, взгляд его был направлен куда-то поверх правого плеча Кара.

— Суши весла!

Иван Иванович повернул баркас кормой к крайнему поплавку. Палка над ним с якорем внизу тихо покачивалась на слабой волне. Стеганка мешала, сковывала движения. Иван Иванович рывком стащил ее, подмял под себя, остался в выцветшей добела солдатской гимнастерке старого фасона, с отложным воротником.

Вблизи было видно, как беспокоятся пробочные поплавки.

Не оборачиваясь, Иван Иванович бросил:

— Сачок, багор есть?

— Нет ничего,— виновато сказал Кара,— брат забыл взять, давно не ловили.

— Плохо дело... крупную вручную не вытащишь...

Иван Иванович тяжело дышал; морщинистый лоб его под густым пегим бобриком порозовел, взмок.

— Давай сюда. Если что, вместе подхватим.

Он до локтя закатал рукава гимнастерки, осторожно взялся за шнур перемета, потянул к себе — шнур сильно дернуло.

— Сидит!

Перегнувшись за борт, Иван Иванович стал перебирать шнур. Баркас послушно плыл за рукой.

Пока шли голые крючки. Мокрые потемневшие поводки, виновато свиваясь, ложились на дно баркаса.

Пятый крючок. Поводок натянутый, звонкий.

— Есть!

Неуловимо-мгновенное движение — и на дне баркаса, костяно выгибаясь, почти становясь на хвост, забилась, заплясала небольшая севрюга с длинным, острым, сильно загнутым кверху носом. Вдруг она подпрыгнула очень высоко, еще чуть правее — и упала бы за борт, но не рассчитала, ударилась о ногу Кара. Кара прижал ее каблуком.

— Стой! Не топчи! — Иван Иванович выхватил из-под себя стеганку, накрыл севрюгу, опять перегнулся за борт. На следующем крючке у живца откушена голова. Безглавое тельце жалко повисло вверх хвостом. — Хитрая, стерва! Накололась, выплюнула.

Опять голый крючок, еще два голых...

Поводок четвертого, не дождаясь прикосновения руки, уже резал воду: почуяв беду, рыба металась в глубине.

Иван Иванович взялся за поводок, и сейчас же под его рукой возник темный крутящийся водоворотик — большая рыба на малой глубине непрерывно ходила по кругу.

— Багра нет! — плачуще, тонко сказал Иван Иванович. — Нет багра! Уйдет! Сейчас уйдет!

Он чуть потянул за поводок, тот не поддался, стал еще злее резать воду.

Кара смотрел на крутящуюся воронку.

— Надо тащить — оторвет губу, уйдет.

— Что ж делать! Потащим!

Иван Иванович встал, уперся ногами в дно баркаса. Все длилось секунды, но какие длинные секунды!

В темной, холодной растревоженной воде возникло

бурное движение. Еще ничего не видно, а маленькие сердитые волночки так и бьют, так и хлещут о борт. Волночек становится все больше, и вот среди них промелькнула длинная острорылая голова. Рыба борется всем своим твердым, сильным, скользким телом, длинная пасть раскрыта, все зубы ее готовы впиться в руку Ивана Ивановича; подымаются и опускаются жабры — серые, твердые, остро отточенные по краю. Черные, круглые, никогда не закрывающиеся глаза ненавидяще-тупо смотрят на человека. Вынырнул хвост — сильный, гибкий, зло хлещущий воду. Удар! Рука Ивана Ивановича глубоко рассечена, кровь сразу выпуклыми каплями проступила на коже, но не течет — накапливается.

— Стеганкой, черт, стеганкой хватай!

Кара окутывает рыбу стеганкой. Рыба свирепо чмокает, тянется разверстой пастью к Кара. Поздно! Осетр на дне баркаса. Кара веслом стукает его по голове. Мелкая дрожь, затихая, проносится по рыбьему телу. В последний раз вяло поднялся и опал хвост. Конец!

Иван Иванович слизнул кровь с руки, но кровь все течет и течет.

— Хорошо задел,— он опускает руку за борт,— сейчас море все промоет.

— Давайте я буду выбирать,— предложил Кара.

— Нет, нет, Давлетыч, не лезь, не мешай. Сегодня мой день.

Иван Иванович опять берется за шнур, ведет баркас к последним крючкам.

Часть живцов здесь сорвана, часть помята зубами.

Последней берут севрюгу — тоже небольшую, как и первая.

— Ничего, и этого хватит.— Иван Иванович накидывает на плечи мокрую, в рыбьей слизи стеганку, приподымает со дна баркаса уснувшего осетра. Рыбьи глаза уже помутнели, смотрят мертво.— Килограммов на восемь... не знаю, как мы его взяли без багра...

Он меряет рыбу четвертями, заглядывает в пасть, дергает за поводок. Крючок намертво увяз в глоточных зубах, не поддается.

— Ладно, потом достанем,— Иван Иванович осторожно кладет осетра на место.— Я давно, на воле еще, читал книжонку — что-то там про жизнь на земле, про какие-то эры... Все забыл, одно помню: красная рыба —

самая древняя из всех рыб. Ни сома, ни щуки, ни сазана — ничего не было, а севрюга, осетр, белуга уже плавали... Потому она такая сильная, дикая — очень древняя рыба...

Еще рано — всего двенадцать часов, а ловля кончена — добыча лежит на корме.

На берегу рыбу разделывают все трое. Иван Иванович перевязал руку тряпкой, тоже чистит севрюгу. Большого осетра потрошит Кара.

— Самка,— говорит он, выбирая внутренности,— весной икру метала.

Овез перестает чистить, подходит, смотрит.

Иван Иванович уже управился со своей севрюгой, быстро нарезает ее большими кусками.

— А у вас самец? — спрашивает Кара.

— Самец, самец — вон молоки.

— Хорошо, что эта, большая, всю икру весной выбросила,— говорит Овез,— мальки сейчас уже плавают, растут.

Рыба порезана на куски, сложена в котел.

Всем очень хочется есть — с утра пили только кок-чай с хлебом. Овез принес из дому буханку хлеба и соли — денег дома нет. Мать давно занимает у соседей, когда отдавать — неизвестно.

Пока варится рыба, все сидят молча, курят, ждут. Потом жадно едят рыбу — прямо из котла, не выкладывая в миски. Первые куски съедают без соли.

Постепенно наступает насыщение. Жуют теперь медленно, руки тянутся к солонке.

Можно еще есть и есть, но Иван Иванович накрывает котел крышкой:

— Хватит! На ужин, на завтрак надо оставить.

Кара и Овез улыбаются — наелись, повеселели.

Все снова закуривают, ложатся на кошму в палатке. Иван Иванович пускает дымовые кольца, нанизывая их одно на другое.

— Вот мы сыты,— говорит он,— лежим, покуриваем. А мать ваша, сестры — они как, ели?

Кара и Овез смущенно молчат. Правильно, все правильно — забыли совсем про дом. Чужой человек вспомнил...

— Можно вареную рыбу отнести,— неуверенно говорит Кара.

— Наши объедки? Эх, хозяии, хозяин...— Он достает свежую пачку «Беломора».— Давайте по последией, и айда верши ставить. Вечером все крючки иаживим. Что делать — нужда... Разживемся шпагатом, сеть сплетем, тогда верши, переметы — все побоку. Хорошего в них мало...

Поставили верши и легли спать — очень плотно наелись, двигаться тяжело, в сои клонит.

Первым проснулся Иваи Иваиович — замерз под непросохшей стеганкой. Секунду сидел, моргал глазами — иепоиятно, где находится. Все вспомнил, быстро встал на ноги.

Ровиый свет пасмуриого неба уже потускнел — ни день, ии вечер.

Кара и Овез спали иа кошме в стегаиках, в резииовых сапогах, повалились тут же — сои сморил после сытного обеда.

— Рыбаки, подъем!

Иваи Иваиович, ежась, иадел в рукава непросохшую стегаику, пошел к баркасу.

Верши стояли недалеко от берега, в зарослях морской травы. Там всегда миого бычков. Иван Иваиович поехал к иим одии.

Тем времеием братья готовили перемет — распутывали поводки с крючками.

Оии сидели возле кибитки и смотрели, как Иваи Иванович, почти ие двигая веслами, подплывает к вершам. На море было тихо — даже отсюда слышио, как стекает вода с прутяиых вершей, как слабо бьются бычки.

— Обещал сеть сплести, а ловит бычков,— сказал Овез.

Кара подиял голову от перемета:

— А шпагат где? В лавке есть? Ты заходил?

— Нет.

— Почему?

— Деиег все равио нет, и я шел с вершами. Куда с ними пойдешь? От сарая свериул прямо по бархаиам, к морю.

Кара молча полез в плащ, вытащил пачку «Беломора». Осталась одиа папироса. Ои посмотрел на нее, выбросил, достал коробку с махоркой.

— Будешь крутить?
— Давай.
У Овеза был свой кисет, ио он взял у брата.
Оии курили и смотрели иа море. Иваи Иванович уже причалил к берегу, выбросил на мелкую воду три верши. В иих слабо забились и тут же смолкли поймаииые бычки — успокоились в воде; плавают, думают — все в порядке.
Иван Иванович махиул братьям — пора за работу.
Кара и Овез взяли перемет за оба коица, осторожно понесли, чтобы не запутать поводки. До темиоты иадо наживить полтораста крючков, выйти за километр в море, поставить перемет иа якоря.
Работали все трое. Иваи Иванович иаживлял с одиого коица, Кара и Овез — с другого. Иваи Иваиович работал очеиь быстро, вскоре подошел к крючкам Овеза, оставил ему десяток, перебрался иа середииу, пошел иа сближение с Кара.
Кара иаживлял медлеиио, невольно отвлекался, смотрел на руки Иваиа Иваиовича — тот работал прямо как фокусиик. Старая рыбачья сноровка. Куда ей деться...
Время от времеии Иваи Иваиович поглядывал вдоль косы. На влажиом песке еще видиы следы артельиой полуторки, что третьего дия ушла порожняком в райцентр.
Кара заметил, подумал: Иваи Иваиович хочет поехать в райцентр — договориться в правлеиии, раздобыть шпагата, только иапрасио: скоро ие придет полуторка — иезачем...
— Они с утра всегда приезжают,— сказал Кара, отвечая своим мыслям,— сегодия уже ие будет. Может, завтра придет...
— Завтра? — Иван Иванович подиял голову.— Завтра им тоже тут делать нечего. Сети иет — рыбы иет. Правлеиие ваше само кругом виновато. Молодые кадры надо обеспечивать хорошей техникой в первую очередь. А иачальство зажралось, плюет иа рядового человека. Ну ничего! Проплюется! Прошли их времеиа. Поеду — поговорю иа «ты». Парторганизация у вас есть? Сколько в артели коммуиистов?
— Не зиаю,— сказал Кара.
— Ты комсомолец?
— Нет. В школе пиоиером был, выбыл по возрасту.

— Плохо! Ваш отец — защитник родины, герой, а вы что ж — отставать, плестись в хвосте? Нельзя, брат! В жизни, в труде надо всегда идти впереди.

Кара и Овез молчали и старательно нанизывали бычков.

Иван Иванович кончил свои крючки, сказал весело:

— Ну, кого на буксир взять?

— Мы сейчас кончим,— отозвался Кара.

— Давайте, давайте. Да за качеством следите. Поврежденный бычок — не живец: сразу уснет. А красная рыба дохлятиной брезгает. Ей свеженькн подавай!

Снарядив перемет, Иван Иванович и Кара сели в баркас. Овез оттолкнул его. В надвигающихся сумерках на иловой воде старый баркас казался черным, быстро уходил от берега. Иван Иванович сидел на веслах, греб сильно, размеренно, направляя баркас к месту, облюбованному еще накануне.

6

Ночью неожиданно распогодилось. Ветер утих. Серые сплошные тучи разошлись, пропали. К полуночи на чистом, по-зимнему высоком небе заискрились, заиграли зимние созвездия, богатые самыми яркими звездами,— Большой Пес, Орион, Телец.

Утром тяжелого, серого Каспия как не бывало, всюду простиралась голубая, спокойная Большая вода. Только на востоке стояла высокая белая стена тумана. Она была непроницаемая, почти твердая и заслоняла весь горизонт. Но вот у подножия стены слабо проглянуло что-то тусклое, размытое, жалкое. Оно не росло, не увеличивалось, только слабо мерцало. Когда наплывали густые туманные слои, оно совсем пропадало, потом опять слабо светилось, трудно борясь с плотной мглой, поддаваясь, уступая ей и все же незаметно увеличиваясь, разгораясь. И вот над невидимым, не обозначившимся еще горизонтом заколыхался зыбкий, вытянутый багровый шар. Он висел так очень долго, потом стал еле заметно подыматься; тело его вдруг прожгло белую стену, и она начала бесшумно рушиться, исчезать в море. А солнце постепенно округлялось, светлело, меняло цвета: и вдруг разом все вспыхнуло, засветилось длинными, слепящими, еще не жаркими лучами.

Восход застал Ивана Ивановича и братьев Давлетовых уже в море, за работой. Когда баркас приблизился к перемету, Иван Иванович наметанным глазом заметил: палки по обоим концам снасти качаются в спокойной голубой воде. Кара тоже заметил это, снял стеганку — подхватывать рыбу.

Иван Иванович обмотал тряпками обе руки и ловко, без опаски выхватывал из воды осетров и севрюг. Шли двух-трехкилограммовки. Рыбы было много, один, два, три голых крючка — и снова поводок звенит, ходит по кругу, режет воду.

Иван Иванович больше не волновался — спокойно, умело вытаскивал из воды красную рыбу, Кара подхватывал ее мокрой, тяжелой стеганкой, бросал на дно баркаса, прижимал сапогом. Иван Иванович уже тянул за новый поводок.

За полчаса взяли двадцать три штуки. Во время лова молчали, только Иван Иванович подавал короткие команды:

— Хватай! Кидай! Прижми!

Кара выполнял все молча. Сапоги его мокро шуршали в живой гуще шевелящихся, изгибающихся в судорогах небольших костяно-твердых рыб.

Последние крючки были пустые. Иван Иванович аккуратно уложил на дно баркаса палку с булыжным якорем на конце, снял пилотку, крепко вытер ею лицо. Густой бобрик его потемнел от пота.

— Весы, безмен у вас есть?

— Здесь нет. Дома есть безмен.

— М-да... Багор дома, безмен дома... На кой хрен они там? Они тут нужны!

— Мы переметом не собирались ловить,— оправдываясь, сказал Кара,— а селедку экспедитор сам взвешивает.

— Сегодня же пошли брата в Карагель,— сказал Иван Иванович,— матери рыбы отнесет и безмен, багор прихватит.— Он устало прилег на корму, кивнул Кара:— Греби к берегу.

Рыбу сложили возле палатки. Иван Иванович отобрал десяток некрупных осетров.

— Это матери. Пускай сварит, засушит, повялит. Только чтоб не продавала — может скандал быть.

— Мать красной рыбой никогда не торговала,— сухо сказал Кара.

— А куда ж девали при отце?

Кара нахмурился:

— Отец отвозил в райцентр, там не знаю, куда девал...

Иван Иванович ничего не сказал, молча смотрел на свои солдатские ботинки, рыжие, потрескавшиеся, должно быть сроду не знавшие мази. Потом спросил:

— А ты в райцентре никого не знаешь, кому рыба нужна?

— Не знаю,— сказал Кара,— мы там редко бываем.

— Ладно,— вяло проговорил Иван Иванович,— что-нибудь придумаем, а нет — посушим, повялим, сами съедим. Верно? Нам только бы на шпагат деньгами разжиться.

За завтраком рыбы ели вволю, но много одолеть не смогли — вчера наелись.

После завтрака Овез отложил отобранных для дома осетров в рюкзак, пошел в Карагель.

Иван Иванович, сидя возле палатки, смотрел ему вслед, пока Овез не скрылся за густыми зарослями сарсазана, потом вынул из мокрого мешка оставшуюся рыбу, стал насухо вытирать тряпкой.

— Зачем вы это? — удивился Кара.

— «Сидор» вымокнет, темные пятна пойдут. Кто увидит — сразу подозрение. А так — идет человек, мало ли что у него в мешке. Верно?

Иван Иванович переложил рыбу сухими ветками сарсазана.

— Пойду в райцентр, посмотрю — как, что... Кстати в правление загляну. Может, у них шпагатом разживусь.

— В правлении у нас каждый только о себе думает,— сумрачно сказал Кара.

— А ты не суди людей,— строго сказал Иван Иванович,— может, им помочь надо, советом помочь, делом каким... Вы тут сидите на своей косе, руки опустили, плана не выполняете. Сеть дырявая! Да кто же вам ее чинить должен? Вы ж рыбаки, члены артели, обязаны о себе сами помыслить. Нельзя так! Надо дело делать! Ясно? Подержи-ка «сидор», я лямки надену.

Овез вернулся под вечер.

— Ну что мать? — спросил Кара.

— Обрадовалась очень. Говорит, теперь будут и продукты и деньги.

— Как деньги? — вспыхнул Кара.— Она что, хочет торговать рыбой?

— Да. Говорит — дома денег нет совсем. Как одну рыбу есть? Масло, мясо, сахар, хлеб тоже надо, и долги отдать надо.

Кара молчал, смотрел вдаль. Солнце, описав поосеннему малый круг, садилось в тяжелое, багровое море. Возле берега вода потемнела, чуть слышно плескалась слабая зыбь.

— Нельзя этого делать — красной рыбой торговать,— сказал Кара.— Забыл, как на нас все при отце смотрели? А теперь хуже будет — мы не инвалиды.

— Я знаю,— сказал Овез,— только им есть нечего. Одной рыбой как кормиться? Надо сеть сплести. Он обещал. Почему не делает?

— Без тебя знаю,— резко сказал Кара. Больше он не разговаривал с братом, лег на кошму, повернулся лицом к стенке, накрылся с головой плащом.

Иван Иванович пришел уже затемно. «Сидор» за его спиной был по-прежнему полный.

Кара вздохнул:

— Обратно принесли?

— «Обратно»! Эх ты, хозяин! — Иван Иванович сдвинул Кара тюбетейку на глаза.— Кто ж это рыбу таскает взад-вперед? Да еще красную! На, получай!

Он развязал «сидор», стал выгружать продукты. На кошму легла банка тушенки, батоны, колбаса, масло, плавленый сыр, компот в стеклянной банке, потом, слабо булькнув, легла поллитровка «Московской», четыре бутылки жигулевского пива.

— Вы — мусульмане, водку не пьете, вам пиво, а мне, православному, авось Христос простит.

— Я пива не пью, оно горькое,— сказал Овез.

— Дело хозяйское. А брат твой выпьет. Выпьешь, Давлетыч? Со мной за почин, за новую сеть, а?

Кара пожал плечами:

— Можно.

Иван Иванович оживился:

— Вот и хорошо, вот и ладно! После рыбачьих трудов почему не выпить? Верно?

Ужинали медленно, долго — много было хорошей еды, и все разная. Хотелось попробовать и того и другого. Руки не знали, что и брать.

Иван Иванович выпил водки раз, другой раз, стал уговаривать Кара — не пить, нет! Зачем пить? В водке что хорошего? Горькая, проклятая сивуха — вот и все. Пиво куда лучше, и крепость малая — шесть градусов, это же квас... Но для интереса, просто чтоб вкус узнать, почему не попробовать? Правда? Только сто грамм — и хватит. Сто грамм — и все! Крышка! Больше нельзя! Отца нет, ребята молодые, легко избаловаться. Но сто грамм при старом рыбаке — пожалуйста. Можно! Разрешается!

Кара выпил, сморщился — очень горько, очень печет и невкусно совсем... Он быстро запил пивом, заел колбасой, стал просить Ивана Ивановича попробовать пива.

— Не могу,— вяло сказал Иван Иванович,— водкой начал, водкой кончу. А пиво — это ерш получится. Нельзя!

— Обидеть меня хотите? — угрюмо спросил Кара. На него уже подействовал ерш, и Иван Иванович то появлялся, то исчезал в сером тумане.— Хотите обидеть, да? Так и скажите! «Плохой рыбак, дырявой сетью ловит, план — сорок процентов».

— Ладно, не плачь.

Иван Иванович долил пива в стакан с водкой, выпил залпом, как спирт, замотал большой, волосатой головой:

— Пропал — ерш!

Они тут же сорвались: стали пить без разбора — водку и пиво, ослабевшими руками шарили по скатерке, сталкивали с нее снедь на кошму, опрокидывали стаканы, разливали ерш.

Кара хотел закурить, но папирос не было. Он достал коробку с махоркой. Пальцы не слушались, просыпали махорку в компот, в пиво.

Иван Иванович кивнул на Овеза:

— Постой! А он на что? Мы пьяные, он трезвый. Пускай свернет.

— Сделай папиросу,— приказал Кара.

Овез молча поднялся, вышел из палатки.

— Куда? — по-туркменски крикнул Кара.— Вернись, грязный ишак! Кому я сказал? Кто здесь хозяин?

Но шаги Овеза сразу затихли на песке.

— Плохо! — замотал головой Иван Иванович.— Ты ему вместо отца, а он не слушает... Ай, плохо! Распустился совсем...

Они долго еще бормотали, пробовали петь — Иван Иванович по-русски, Кара по-туркменски, потом повалились на середину кошмы, на остатки колбасы, масла и заснули тяжелым пьяным сном, с хрипеньем, с зубным скрипом, с глухими стонами.

Ночью Овез боязливо заглянул в палатку, тихо вошел, погасил «летучую мышь», не раздеваясь улегся у входа, накрывшись с головой старым отцовским брезентовым плащом.

7

На косе началась новая жизнь. Это была совсем другая жизнь, чем та бедная, голодная, с холостыми выходами в море, которой жили до сих пор Кара и Овез, когда на берег привозили мокрую, тяжелую сеть и несколько жалких килограммов селедки, запутавшейся в гнилых веревочных ячеях.

Теперь все было по-другому.

На третий день Кара сам пошел домой, в поселок, принес еще один перемет и две верши. Посоветовал Иван Иванович: сезон идет к концу, остаются считанные дни. Не сегодня-завтра может случиться: поставишь перемет, приедешь выбирать, все живцы целы — красная рыба ушла на глубину зимовать. Значит, надо ловить момент. Два перемета — не один: это триста крючков. Поработаешь крепко, повозишься с вершами, с живцами, зато внакладе не будешь. Шпагата для сети можно не искать. Зачем? Три, четыре, пять дней — и есть деньги на капроновую сеть — последнее слово науки и техники. День до Ашхабада, день обратно — и выехали в море с сетью, какой нет и не было ни у кого на всем Челекене.

Переметы сразу же пошли в дело: один ставили на ночь, другой днем. С каждого брали улов попеременно.

Красной рыбы в палатке не держали. Сами рыбаки ее теперь совсем не ели. Малую часть Овез относил матери. Большую часть Иван Иванович переправлял в рай-

центр. Носил в двух «сидорах» — один спереди, другой на спине. Ходил туда не по общей дороге, а по берегу моря, по диким пескам, редко поросшим колючей солянкой — боялычем и сухим серым сарсазаном.

Ходить приходилось много, но Иван Иванович на ноги не жаловался — как-то сразу втянулся, привык.

Из райцентра он всякий раз приносил полный «сидор» провизии — дорогие закуски: сардины, шпроты, паштет из печенки, в кульках шоколадные конфеты «Ласточка», печенье «Отелло», маслянистое, коричневое,— все лучшее, что было в гастрономе.

За палаткой оборудовали бутылочное кладбище — зарывали там в бархан посуду из-под водки, вина, пива. Нехорошо, если кто посторонний приедет на косу, заглянет в палатку, увидит пустые бутылки: «Ага! Рыбаки плана не выполняют, пьянствуют. А деньги откуда?» И пошло-поехало... Ни к чему это!

Бутылки зарывал Овез.

Иван Иванович велел:

— Закапывай поглубже, дружок!

С Овезом он ни разу еще не поговорил,— только приказывал: «Подай, принеси, отнеси, сделай то-то».

Разговаривал Иван Иванович только с Кара, с хозяином, да и то редко: некогда разговаривать. Работы много. Все светлое время на ногах.

Когда уходил в поселок Овез или в райцентр Иван Иванович, оставшиеся работали на пару. Возвращался третий — тут же без отдыха, с ходу брался за работу. Иначе нельзя: два перемета, триста крючков.

Черный, закопченный казан, в котором раньше варили рыбу, теперь отдыхал. Костер разжигали только вскипятить кок-чай. Питались всухомятку, на ходу.

Иван Иванович возвращался из райцентра уже затемно, тяжело садился на кошму, сбрасывал с плеч лямки «сидора», молча наливал себе и Кара по полтораста граммов. Выпивали, жадно ели вкусные консервы, потом пили кок-чай с «Ласточкой», с «Отелло». Не раздеваясь, как были, в телогрейках, только стащив резиновые сапоги, заваливались спать.

Рыбаки не брились, не умывались — чуть плескали в лицо, перегнувшись через борт баркаса,— вот и все.

С вершами, со вторым переметом Кара принес багор и безмен. Иван Иванович брал рыбу, зацепив багром под

жабры, на берегу взвешивал, записывал в новенький синий блокнот, что-то подсчитывал, тихо шевеля губами, потом складывал рыбу в «сидоры».

Кара не спрашивал, сколько весит рыба, кому, почем сбывает ее Иван Иванович. Зачем? Спросишь — еще обидится: «Ах, хозяин мне не доверяет? Проверять решил? Всего вам хорошего» — и уйдет. Что тогда делать? Надо ждать, когда Иван Иванович сам скажет: «Вот деньги. Езжай, Давлетыч, в Ашхабад, привези капроновую сеть из «Союзохоты».

На седьмой день ночной перемет поставили на новом месте — у мыска, где много пузырчатой мягкой морской травы. Утром Иван Иванович впервые не встал как всегда, не сказал: «Рыбаки, подъем!»

Кара осторожно тронул его за плечо,— видно, заснул крепко.

Иван Иванович сказал хрипловатым голосом:

— Я не сплю. Сейчас встану.

Как обычно, сам без побудки поднялся Овез, тихо зевнул, стал отстегивать крючки на входной полсти.

С каждым утром туман становился все гуще. Солнцу нужно было подняться над горизонтом на два-три своих диаметра, чтобы осилить туман и показаться земле.

Весь баркас был в серой, крупной ледяной росе. Даже страшно подумать, что сейчас надо садиться на холодную, мокрую скамейку, брать в руки холодные, мокрые весла.

Изо рта валил густой сырой пар, как на морозе.

Когда Овез взялся за нос баркаса, Иван Иванович сказал:

— Оттолкни и садись, поедешь с нами. Что-то руки у меня дрожат, зябнут, и по спине — как снега за воротник насыпали...

Он сел на корму, надвинул на уши пилотку, глубоко засунул руки в карманы телогрейки.

В густом тумане баркас шел очень медленно — новое место, легко пройти мимо. Кара чуть двигал веслами, оглядывался по бортам — не пропустить бы переметные палки.

Сделали один круг, другой, зашли на третий. В тумане даже воду плохо видно. Со всех сторон плывут рваные белые клочья.

Переметная палка сама подала весть: тихо стукнула о корму — проехали мимо, не заметили.

Стали выбирать рыбу. Иван Иванович постепенно размялся, действовал багром как всегда — ни одной не упустил, всех побросал в баркас. Взяли немного — полтора десятка, все некрупные — двух-трехкилограммовки.

Выбрав последнюю севрюжку-килограммовку, Иван Иванович опять сник, нахохлился,— руки в карманах, даже поднял воротник телогрейки.

— Пошли на берег.

— Плохо вам? — участливо спросил Кара.

— Да, знобит,— должно, простыл. Работа собачья, а мои года — не ваши...

Кара и Овез собрали рыбу, понесли в палатку. Иван Иванович всегда сам это делал, никому не давал. Сегодня впервые шел налегке, ссутулился, делая большие шаги, чтоб укрыться в палатке от сырости, от тумана.

Но в палатке было почти так же холодно, как и снаружи.

Не глядя на Овеза, Иван Иванович велел разжечь костер, наложить горячих углей в жаровню.

Улов свалили здесь же, в углу. Кара стал складывать рыбу в твердые, задубевшие от слизи «сидоры».

Иван Иванович лег на кошму, натянул на себя два одеяла, дождевик, спросил:

— Когда последний раз из артели приезжали?

— Перед тем как вы пришли.

— Давно... Совсем забыли про вас... С утра приезжают?

— С утра.

— Теперь каждый час жди.— Иван Иванович натянул одеяло до подбородка, приподнялся на локте.— Рыбу надо убрать немедленно. Застукать могут...

— А куда ее? — спросил Кара.

— Я скажу куда. В палатке ни одной чтоб не было. Переметы в бархан, верши в воду. Пускай приезжают! Бросили молодых, неопытных рыбаков на произвол судьбы. В «Туркменскую искру» таких руководителей! — Иван Иванович повернулся к сидевшему, как всегда, у входа Овезу: — Как там костер, дружок? Набери углей, сколько есть. Не могу согреться.

Овез вышел.

Иван Иванович кивнул Кара:

— Иди сюда.

Кара сел рядом.

— В райцентре давно был?

— В прошлом году.

— Давненько... Что ж оторвался? Где строится клуб нефтяников, знаешь? Коробка бетонная такая?

— Знаю.

— Затемно войдешь в клуб,— будет ждать человек. Скажешь: «От Ивана Ивановича». Три слова! Ясно? Переложишь все в его тару — и сразу домой. По дороге туда зайдешь к матери. Для нее я сейчас отберу. Подай-ка «сидор».

Иван Иванович взял сверху три небольших осетра, подкинул в руке, подумал, потом махнул свободной рукой:

— Ладно... пускай питаются...— Он вытер о кошму руки, зябко спрятал их под одеяло.

Вошел Овез, внес жаровню с горящими синим огнем углями.

— Поближе ставь,— сказал Иван Иванович,— авось согреюсь.

Он кивнул Кара:

— С богом, Давлетыч. Только дорогой не иди — можешь с экспедитором встретиться... К чему это? Правда? Ну, счастливо!

Поеживаясь, он смотрел, как Овез помогает брату продеть руки в лямки «сидора», потом, когда Кара нагнулся, выходя из палатки, сказал Овезу:

— А ты, дружок, чайник поставь да завари покрепче. Напьюсь горячего,— может, согреюсь.

И Кара вдруг подумал, что за целую неделю Иван Иванович ни разу не назвал Овеза по имени.

8

Кара шел по самой береговой кромке, рядом с прояснившейся уже от тумана водой. Песок был темный от прибоя, очень плотный. Нога не проваливалась, оставляла неглубокий след. Дорога отсюда проходила в километре. С машины, конечно, человека легко заметить, да кто будет смотреть по сторонам? Шофер смотрит на дорогу, а экспедитор никуда не смотрит, мотает головой, дремлет. Неплохая работа — принимай рыбу, сдавай ры-

бу; море только из кабины видишь. Кара все собирался спросить — плавал ли экспедитор когда на баркасе, да раздумал: обидится, начнет придираться... Пускай катается на своей полуторке.

«Сидор» был не очень тяжелый — килограммов двадцать. Иван Иванович впервые не взвесил рыбу на безмене, махнул рукой: «Ладно, пускай идет как есть».

Интересно, когда же Иван Иванович скажет, что можно ехать в Ашхабад за капроновой сетью?

Кара стал прикидывать в уме улов по дням, но сразу же сбился — разве упомнишь, сколько поймали одним переметом, сколько двумя? Часть улова Овез относил матери. И главное — неизвестно, почем Иван Иванович сдает рыбу в райцентре. Верно, третью часть выручки захочет взять себе. А может, не треть, а половину. Он из заключения, едет домой, очень хороший рыбак и все это дело придумал. Конечно, половину возьмет и стоимость продуктов вычтет — не обязан на свой счет всех кормить.

Кара бросил думать о деньгах — сколько бы ни было, а на капроновую сеть должно хватить. Обязательно надо ее достать. Иначе — зачем же они все так стараются?

Берег сделал резкий поворот. Дорога здесь совсем близко. Если пройдет машина, его обязательно увидят. Кара с опаской посмотрел вдаль. Нет, никого. Забыли о них в артели: есть или нет на косе рыбаки Давлетовы — никому нет дела... Ну и пускай! Обойдутся они без артели, купят капроновую сеть — выйдут в море с Иваном Ивановичем — такого рыбака нет на всем Челекене. Старый рыбак, очень хорошо дело знает. Весь род их такой, рыбацкий,— и отец и дед ловили на Волге.

Солнце высоко поднялось над морем, осветило Карагель с его свайными домиками.

Кара остановился. Он никогда еще не приходил домой с красной рыбой. Отец приносил — это другое дело. А сейчас надо самому пройти по улице с «сидором» за плечами. Он ясно представил себе свой путь: сразу за косой — стоянка баркасов. Тут навряд ли кто есть. Дальше магазин, поссовет, школа. В магазине утром мало людей, в поссовете — один председатель, а школа? Сейчас занимается первая смена. Их класс теперь уже девятый... Какой урок идет в их классе? Какой предмет? Забыл он, забыл совсем, какие предметы должны были они прохо-

дить в девятом классе. Даже то, что в седьмом учили, уже плохо помнит... Очень давно это было...

Когда стоишь, «сидор» сильнее давит на плечи. Кара взялся обеими руками за лямки, подтянул обвисший «сидор». Сегодня наспех положили мокрую рыбу, на «сидоре» уже темные пятна, и на спине, верно, пятна... Надо идти задами, это дальше, но можно пробраться к дому незаметно — подойти со стороны сарайчика, где отец держал свою рыбацкую снасть.

Кара свернул в дикие пески. Они были здесь высокие, со всех сторон подошли к Карагелю; мертвые серые барханы выросли вровень с домами — заглядывают в окна.

Петляя между барханами, переходя из тени в тень, Кара подошел к своему дому. Теперь надо взойти на высокое свайное крыльцо.

Как же быть? Идти с мешком? Из любого окна его увидят...

Кара снял с плеч «сидор», понес в руке — не так заметно.

Он взбежал на крыльцо, толкнул дверь. Не заперто, мать дома.

В просторных полутемных сенях положил «сидор» в угол, поискал глазами — чем прикрыть. Любой человек может найти, увидеть... В сенях стояло корыто с мокрым бельем, рядом веник, совок для мусора...

В глубине дома раздались шаги — не матери, очень легкие.

— Кто там? — Момыш, младшая сестра, в длинном красном койнеке, приоткрыла дверь, две черные тонкие косы упали на грудь.— Кара! Ты? Салям!

Кара не ответил, поднял от порога тряпку — вытирать ноги, прикрыл «сидор». Больше нечем.

— Мать дома?

— Нет... что это, Кара? Рыба? Красная рыба?

Момыш испуганно смотрела на «сидор» под грязной тряпкой.

— Целый мешок... Кара, ее надо вынести из дома, надо закопать в песок...

— Зачем говоришь глупые слова? — крикнул Кара.— Иди в дом!

— Нет! — с плачем крикнула Момыш.— Нет, ты ничего не знаешь. Байрамов встретил мать, она несла рыбу в ведре. Байрамов кричал, что придет к нам домой, соста-

вит протокол. Мать испугалась, вечером послала меия. Я понесла рыбу по домам в кошелке. Байрамов стоял на улице.

— Он и иа тебя кричал?

— Нет. Он отвернул мне воротник пальто, увидел пионерский галстук, сказал: «Пойдешь завтра с красной рыбой, обязательио сними красный галстук. Отец свой орден позорил, ты — галстук».

Момыш громко заплакала, схватила обе косы, прижала к лицу, закрылась ими.

Кара молча стоял, как чужой, на пороге своего дома и смотрел на «сидор», прикрытый половой тряпкой. Изпод «сидора» показалась лужа. Мертвая рыба оседала под своей тяжестью, выпускала воду.

— Перестань! — строго сказал Кара.— Я сейчас оставлю вам три осетра и уйду.

— Нет! — крикнула Момыш.— Я их зарою в бархаи. Байрамов к нам каждый день приходит, спрашивает — почему ты не идешь в правление, в поссовет, не требуешь хорошую сеть. Я знаю — ты ие хочешь, за красную рыбу дают много денег. Вы там пьянствуете, на косе. Торгуете рыбой в райцентре и пьянствуете. Я все знаю.

— Замолчи! — крикнул Кара.— Где мать?

— Ушла в Дагаджик. Ночью ушла. Поиесла туда красную рыбу. Тут нельзя продавать — все знают. А у нас совсем нет деиег. Что делать? Выбрось рыбу, Кара, иди в правление, иди в поссовет. Придет Байрамов — мы все пропадем. Тебя заберут в тюрьму. Меня исключат из школы. Директор уже говорил: «Спекулянтов держать в школе не буду».

Кара подошел к «сидору», сбросил половую тряпку. «Сидор» потемнел от влаги. Еще рыба иачнет портиться...

Он подиял за лямку отяжелевший мешок, с трудом взвалил на плечи, молча вышел из дома, быстро спустился по ступенькам, задами прошел к Большим Бархаиам. Надо уйти подальше от поселка, оттуда дикими песками пробираться в райцентр. День теперь уже не длинный — светлое время все убывает. Затемно нужно войти в райцентр, передать рыбу скупщику. Ничего! Это последние тяжелые дии. Сегодня он скажет Ивану Ивановичу — одно из двух: или ехать в Ашхабад за капроновой сетью, или, если денег мало, немедленно сплести иовую сеть. Ждать больше иельзя.

9

От поселка до райцентра десять километров — два часа хода, это самое большее — если идти, как сейчас, с грузом; а до темноты еще далеко. И все это время надо пробыть в песках, пробыть подальше от людей: даже один человек увидит, другому скажет: «Кара Давлетов опять принес с косы мешок красной рыбы». И все! Сразу пойдут слухи по Карагелю. Байрамов приедет на косу, увидит перемены, увидит Ивана Ивановича. «Что за человек? Ага, был в заключении, сейчас красную рыбу ловит...» И конец — всем отвечать. Выгонят из артели, а может, будут судить...

«Сидор» на спине сильно намок, был уже не в пятнах, а весь темный, обвис до поясницы, лямки резали плечи, как будто в «сидоре» не рыба, а камни.

Кара остановился, подсадил «сидор» сзади руками, но «сидор» опять сполз к пояснице.

Кара задами вышел из поселка, взял в сторону от дороги — в дикие, малохоженые пески. Барханы здесь были огромные, как горы,— метров восемь, а может, десять. Все одинаковые, очень похожие. Тропинок между ними нет — все ездят, ходят только по дороге, по асфальту. Он один должен прятаться, пробираться между барханами...

Кара шел очень медленно, стараясь растянуть время.

Как долго тянется день; октябрьский день, а какой длинный... Кажется, вчера вышел с косы, заходил домой, видел, как плакала Момыш, закрывала косами лицо. Хорошо, хоть матери не было дома...

Кара почувствовал усталость, голод. На косе ничего не ел, думал дома позавтракать. А в дом и войти не пришлось... Он остановился, сел на холодный песок. Рубашка прилипла к спине — «сидор» был мокрый насквозь, даже стеганку промочил. Песок сразу облепил его.

Не снимая лямок, Кара привалился к бархану, надавил на «сидор». В мешке слабо хлюпнуло, пискнуло, будто рыба была еще живая.

Надо идти. Он встал, двинулся вперед, петляя между барханами.

Как ни медленно шел — еще засветло из-за барханов показалась, стала подыматься, расти красная труба кирпичного завода. Два километра — и райцентр...

Кара свернул в сторону — сделать крюк. Он уже не смотрел на часы, смотрел только на небо.

Надо не думать ни о чем, идти и идти. Скоро все кончится. Он сдаст рыбу, вернется на косу. Надо, чтобы все это кончилось. Как — неизвестно, не знает он как, но надо одно — кончить это, и все!

Он вдруг опять, незаметно для себя, подошел к шоссе, к дороге. Дорога была пустынной, уходила вдаль — к райцентру. Кара заметил: асфальт потускнел, уже не отсвечивает голубым — солнце наконец-то ушло за высокие барханы, и над ними стояло багряно-золотое зарево. Значит, солнце еще не скрылось.

Кара снова сел на песок. «Сидор» сильно холодил спину. Ничего! Теперь уже недолго ждать.

Вот небо дрогнуло, стало быстро гаснуть, будто кто повернул там выключатель — солнце опустилось за горизонт. Сразу почернели тени от больших барханов, потом барханы сами стали уже не серыми, а темными.

Можно идти. Он не решился сразу выйти на шоссе, хотя через двадцать минут совсем стемнеет — в пустыне зори очень короткие. Но как обидно будет, если его сейчас увидят,— целый день напрасно старался никому не попасться на глаза.

Кара шел рядом с шоссе. Песок здесь был неглубокий, нога не увязала. Опять полезла из земли труба кирпичного завода — уже не красная, а темная, резко выделялась на гаснущем небе.

Показались первые домики окраины. Окна их светились от зари.

У шоссе стояли две буровые вышки — геологическая разведка. Весь Челекен обследуют, нефть ищут.

Кара оглянулся — пусто, никого. Теперь уже смело можно идти по шоссе,— если кто и встретится, в темноте не увидит ни лица, ни «сидора» за плечами.

Усталые ноги легко ступали по твердому асфальту — куда лучше идти, чем по песку, даже мелкому.

Давно он не был в райцентре — целый год. Вышки вот появились...

Новый Дом культуры — бетонная коробка без крыши, без окон, без дверей — темнел недалеко от вышек. Такой он был и в прошлом году. Верно, законсервировали стройку. Нефть бурят на большой глубине, очень много денег надо.

В огромном темном зале было холоднее, чем под открытым небом. В окна, в двери смотрит тьма, ночь.

Тихо, никого нет. Может, ушел перекупщик?

Кара кашлянул. Сейчас же от темной стены отделился, словно вышел из нее, темный человек, но не пошел навстречу, остановился, ждет.

Кара сказал негромко три слова:

— От Ивана Ивановича.

— О, салям алейкум!

Туркмен! И сразу узнал, что Кара тоже туркмен, хотя он сказал русские слова.

— Салям! — коротко ответил Кара.

Только старики говорят еще приветствие полностью, как сейчас вот этот...

Они заговорили по-туркменски...

Почему не пришел сам Иван Иванович? Болен? Ай, плохо, плохо! Много работает, часто в море выходит, вот и заболел. Нельзя так. Надо здоровье беречь...

Перекупщик снял с плеч мешок, быстро развязал «сидор», переложил рыбу.

— Помялась сильно... Вчера ловили?

— Сегодня утром.

— А почему совсем твердая?

— Шел сюда очень долго... Днем как пройдешь?

— Правда, правда,— торопливо согласился перекупщик,— днем никак нельзя. Милиция везде стоит, на всех смотрит. Опасно днем ходить. Только ночью можно. А ночью один пост — возле райисполкома. Ходи где хочешь, носи что хочешь,— он засмеялся тихо, но отрывисто, будто напала икота.

Кара сложил вчетверо твердый мокрый «сидор», взял под мышку, собрался идти. Но перекупщик стоял, не уходил.

Глаза привыкли к темноте. Можно рассмотреть широкое лицо, круглую каракулевую шапку.

— Ты рабочий из порта?

— Нет,— сказал Кара,— я рыбак.

— Рыбак? В артели?

— Да.

— А почему переметы ставишь?

Кара не хотел объяснять, сделал шаг к выходу.

Перекупщик взял за руку.

— Обожди.

— Чего ждать? — грубо сказал Кара. Он устал, сильно хотел есть, а до косы еще пятнадцать километров.

— Иван Иванович уезжает домой,— знаешь? Больше не придет сюда. Очень хорошо! Зачем он нам, правда? Разве без него не сможем работать?

Слова перекупщика ошеломили Кара.

Иван Иванович уезжает! Почему же он молчал? Как теперь быть с сетью? Сколько дней пропало...

— Иван Иванович очень жадный,— сказал перекупщик,— очень любит деньги. Много денег брал. Красную рыбу никто не ловит: нельзя — штраф. Иван Иванович брал с меня сколько хотел. Очень нехорошо делал. Я тоже должен заработать. Правда? Мне надо продать рыбу — самое опасное дело. А Ивану Ивановичу что? На косе людей нет. Поймал рыбу, принес, сдал, получил деньги.— Перекупщик беспокойно взглянул на молчавшего Кара, заговорил еще быстрее: — Верно, он тебе мало денег давал? Очень жадный — все только себе берет. Я буду хорошо платить — шесть рублей за килограмм. Мало? Ладно! Семь рублей за килограмм. Больше не могу. Через день приноси сюда, в Дом культуры, когда стемнеет. Второй день будешь для артели ловить. Тридцать процентов плана сделаешь — скажут: «Молодой рыбак, больше не может, еще не умеет». Приедут на косу — вы все хорошие продукты спрячьте. «Один хлеб и селедку едим, очень плохо живем».

Он опять коротко засмеялся — заикал.

— Сколько Иван Иванович брал за рыбу? — спросил Кара.

— Э, что Иван Иванович! — перекупщик махнул рукой.— Ивана Ивановича больше нет. Мы с тобой остались — хорошие рыбаки, номуды, друзья. Как твое имя? Я — Мамед.

Кара ничего не ответил. Он думал. Семь рублей — это цена перекупщика. Выгодная для него цена. Он говорит: «Иван Иванович очень много брал». И все деньги прятал, только покупал продукты, чтоб они не ели дорогой рыбы. Ее продать можно по большой цене. Значит, давно уже были деньги на капроновую сеть. Давно можно было поехать в Ашхабад, вернуться, ловить селедку, спокойно ждать машину из артели, спокойно ходить в Карагель, не по барханам ходить — по дороге, по которой все ходят, спокойно встретить кривого Байрамова:

«Салям, Кадыр-ата!» — «Салям, Кара. Как селедка идет? Ловишь?» И матери не надо было бы ходить ночью в Дагаджик, и Момыш не плакала бы, не закрывала косами лицо.

— Сколько красной рыбы ты взял у Ивана Ивановича? — спросил Кара.

Перекупщик нетерпеливо дернул головой, он уже сердился, но не показывал вида.

— Э, «сколько, сколько»... Много взял, много денег отдал. Иван Иванович каждый хвост считал. Сейчас ты его долг принес. В прошлый раз-сдачи не было. Сказал: «Рыбой отдам». Не будем его вспоминать. Лучше скажи: «Мамед, давай вместе работать». Тебе деньги нужны? Я дам.

Перекупщик вытащил толстый бумажник, отвернулся, зашуршал деньгами. Выбрал бумажку, очень близко поднес к глазам, долго смотрел, потом протянул Кара:

— Вот возьми задаток. Иомуд иомуду должен верить.

Кара взял бумажку, разорвал пополам, плюнул на нее, бросил в глаза перекупщику и выбежал из Дома культуры.

10

Он быстро шел по темному ночному шоссе, шел и плакал злыми слезами. Прижатое к телу локтем, под мышкой лежало что-то твердое, мокрое, липкое. Кара даже задохнулся от ярости, ударил свернутый «сидор» об асфальт, ногой отшвырнул далеко в темноту.

Под низким, рыжим от электрического света небом остался позади райцентр, пропала в темноте черная коробка Дома культуры, буровые вышки.

Невидимое шоссе уходило вдаль, к Карагелю. Нога чувствовала надежную твердость асфальта. С моря подул ветер, несильный, ровный, на всю ночь. Кара ощутил мгновенный холод на мокрых веках, но веки тут же высохли. Он убыстрил шаг, почти бежал. И по обеим сторонам шоссе мимо него неслись яркие, осенние звезды.

Он не заметил, как встал из темноты Карагель, тихий, пустынный, темный, спящий — движок давно уже выключили, было очень поздно. Мелькнули и пропали последние окраинные домики. Между свай была темнота.

Шоссе сразу оборвалось. Но нога нащупала слабо на-

езженную колею, дорогу в диких песках. По ней ходили и ездили люди.

Кара шел широким, твердым шагом. Он не чувствовал ни голода, ни усталости. Все пропало от злости, от обиды, от слез, высушенных ветром.

Песчаная дорога была светлее асфальта, тускло мерцая в темноте, шла за линией берега — то удалялась от него в глубь косы, то подходила к морю совсем близко; тогда из тьмы Кара слышал глухой, слабый плеск невысокой ночной волны. Каспий был невидим, но он не молчал, подавал голос. И Кара становилось спокойнее, легче на душе.

Палатки он не заметил, увидел только красное пятно костра. Оно светилось ровным, неподвижным светом, потом стало увеличиваться, расти.

Костер горел, жил: уже можно было различить его дымное пламя.

Кара взглянул на часы — начало первого. Они уже спали в это время. И тут на ярком, языкатом, подвижном фоне возник понурый черный силуэт.

Песок заглушил шаги. Кара внезапно появился у костра. Согнутая спина Овеза испуганно вздрогнула, распрямилась — он сидел у огня, подбрасывал сухие ветки сарсазана. Овез блестящими от огня глазами снизу вверх смотрел на брата.

— Почему не спишь?

— Тсс! — Овез поднял палец, указал на палатку.— Он заснул. Сказал: «До утра жги костер, меняй угли в жаровне».

Кара почувствовал, как внутри него подымается страшная, злая сила, толкает к палатке.

Обеими руками он раздвинул полсть.

Тускло горела «летучая мышь». Рядом с фонарем на белой скатерке стояла пустая бутылка коньяка, возле нее на бумажке — обсосанные ломтики лимона, открытая коробка папирос «Люкс».

Иван Иванович лежал у стенки на кошме, дышал тихо, спокойно. В ногах его в жаровне мелкими синими огоньками горели свежие, недавно принесенные из костра багровые угли.

Секунду Кара молча смотрел на большую длинную голову с жестким густым бобриком, лежавшую на подушке, на маленькие крепкие руки, сложенные на живо-

те. Руки мерно подымались и опускались вместе с дыханием спящего. Два одеяла накрывали Ивана Ивановича, края их были аккуратно подоткнуты с боков.

— Подъем! — негромко сказал Кара.

Иван Иванович глубоко вздохнул, открыл глаза, увидел Кара, улыбнулся.

— Почему так поздно, Давлетыч?

— Подъем! — повторил Кара.

Лицо Ивана Ивановича недовольно сморщилось.

— Ты что, выпил? Давай ложись. Ночь на дворе.— Он обеими руками подтянул повыше края одеял.

Кара нагнулся, сорвал с Ивана Ивановича одеяла, швырнул в угол.

— Уходи!

Иван Иванович быстро сел на кошме. На лице его появилось смятение, все же он попытался еще говорить строго:

— Чего буянишь? Ложись спать!

— Сейчас уходи отсюда, грязный шакал! — Кара засунул руки в карманы стеганки. Он очень боялся за свои руки.

Иван Иванович увидел, как вспухли, зашевелились карманы стеганки. Кулакам в них было тесно.

Он подобрал ноги, сел по-турецки, он явно опасался встать и приблизиться к Кара.

— Успокойся, Давлетыч. Завтра все обсудим.— Голос его стал испуганным, ломким. На всякий случай он взял из-под подушки и быстро надел в рукава телогрейку, натянул на голову пилотку.

— Если не уйдешь через минуту, буду бить,— сказал Кара.— Даю одну минуту.

Иван Иванович понял — это последнее слово. Надо убираться.

Он обул ботинки, пощупал телогрейку на груди; видно, там все было в порядке, все на месте. Покорным страдающим голосом сказал:

— Я иду, иду. Сейчас ухожу... До утра не дал побыть... Вот она, благодарность... Ладно, бог с вами!

И, согнувшись, прижимаясь к брезентовой стенке, почти выполз из палатки, в последний раз — уже у выхода — боязливо оглянулся на Кара — не ударил бы напоследок.

Но Кара не смотрел на него. Он стоял и пристально

смотрел на «летучую мышь». Потом вышел из палатки. Было тихо, даже моря не слышно. Кругом стояла глубокая тьма. В ней исчез, пропал Иван Иванович.

Кара подошел к костру, ногами разбросал по песку догорающие ветки, вернулся в палатку.

Овез сидел на обычном своем месте у входа. При Иване Ивановиче он редко проходил на середину палатки.

— Плохо получилось,— сказал Кара,— обманул он нас. Совсем плохо получилось...

— Я знал это,— тихо отозвался Овез,— с первого дня знал.

— А почему молчал?

— Боялся, ты будешь сердиться...

— Ладно,— сказал Кара,— нитки у нас есть?

— Есть.

— Завтра утром надо починить сеть. Она не такая плохая. Хорошо починим — можно еще ловить.

— Конечно, можно,— сказал Овез.

ОБЛАКА
И ЗВЕЗДЫ

КУМУЛИ

1

На рассвете Осокину сквозь сон послышалось, что в дверь его кабинета кто-то постучал. Он поднял голову и, затаив дыхание, прислушался: кругом было тихо.

«Приснилось,— подумал Осокин,— никого там нет». Он с огромным облегчением провел рукой по лбу и закрыл глаза. «Спать. Теперь спать...»

И в ту же минуту стук повторился снова.

— Кто там? — вполголоса спросил Осокин.

— Дмитрий Михайлович,— раздался громкий шепот медицинской сестры,— Елене Николаевне совсем плохо, она просит к себе вас и Мишу.

— Сейчас иду,— сказал Осокин.

Еще час назад, напрасно стараясь уснуть, он думал о том, что это неминуемо должно произойти, но внутренне поверить этому не мог, и теперь, когда это уже произошло, он удивился, что случилось все так, как он и ожидал со дня на день.

С Еленой Николаевной Осокин прожил восемь лет. Когда она пришла работать на его метеорологическую станцию, он был уже не молод, жизнь его была занята наукой, и он почти свыкся с мыслью, что навсегда останется одинок. К Елене Николаевне он отнесся так,

как относился ко всем женщинам,— вежливо и безразлично.

Ей было двадцать два года, она только что окончила институт; на метеорологическую станцию ее приняли младшим наблюдателем.

Первый разговор их произошел в марте. Елена Николаевна вышла на площадку, чтобы записать скорость движения облаков. Она стояла у нефоскопа Бессона и смотрела на облака. Осокин подошел к ней.

Услышав сзади шаги, она, не оборачиваясь, вдруг спросила:

— Дмитрий Михайлович, какие облака вы больше всего любите?

— То есть как? — не понял Осокин.

— Ну, о каких облаках вы можете сказать — это самые хорошие, самые мои облака? — И, не дожидаясь ответа, сказала: — А мои любимые — вот, кумули,— она показала вверх — там плыли огромные кучевые облака.— Они прилетели позавчера, вместе с первыми грачами.

Она взглянула на Осокина, и он впервые заметил необычайное сочетание в ее лице: брови и ресницы черные, а глаза и волосы совсем светлые. Он смутился и, рассердившись на себя за это, резко повернулся и пошел к станции.

Через полгода они поженились. И на протяжении всего того времени, что прожили они вместе, Осокина не покидала мысль, что вся его теперешняя жизнь, все то счастье и радость, которые принесла ему Елена Николаевна, все это настолько необычно и не заслужено им, что вскоре неминуемо должно исчезнуть. Когда год назад врачи нашли у Елены Николаевны белокровие, Осокин подумал: «Ну вот и конец».

Дмитрий Михайлович оделся и вошел в комнату к сыну. Сквозь сетку детской кроватки у окна он увидел лицо Миши. Сейчас оно особенно поражало необычайным сходством с лицом матери: продольная морщинка на лбу, появлявшаяся только во время сна, черные брови при очень светлых волосах — все было как у нее.

Осокин вдруг вспомнил, как пять лет назад они с Леной сами заплетали эти шнурки — белые с си-

ним, а потом долго не могли решить, где поставить кроватку, пока Миша сам не указал на место у окна: «Хочу тут».

— Михаил! — негромко позвал Осокин.

Мальчик открыл глаза.

— Одевайся, пойдем к маме.

Осокин отошел к окну и, пока Миша одевался, молча смотрел на совсем уже светлое апрельское небо.

2

Елена Николаевна лежала на высоко взбитых подушках. Лицо ее, обращенное к окну, было освещено зарей. Она слабо улыбнулась, увидя мужа и сына.

— А вот и Осокины пришли...

Она в шутку любила так называть их. Она хотела поднять руку, но не смогла, и тогда Дмитрий Михайлович понял, что силы уже оставили ее.

— Плохо мне, Осокины, родные мои Осокины,— тихо проговорила она.— Что на дворе, утро уже?

— Утро,— сказал Дмитрий Михайлович.

— И мороза не было? Ну вот видишь, твои синоптики опять напутали, а ты боялся, что яблони побьет... Открой окно, Дмитрий.

Осокин хотел возразить, так как на дворе было совсем еще холодно, но она взглянула на него, виновато улыбнулась, словно ей было неловко, что холод теперь уже больше не может повредить ей. Тогда Дмитрий Михайлович быстро подошел к окну, сильным рывком вынул зимнюю раму и широко распахнул окно.

В комнате стало очень светло и свежо. В саду цвели яблони, под ними слабо курились догоравшие костры — их разложили еще ночью, боясь, что на рассвете ударит мороз. Но мороза не было, и теперь, осторожно продираясь сквозь ветки цветущих деревьев, над садом поднималось большое малиновое солнце. Нижний край его был наискось срезан темной чертой горизонта.

— Вытри мел на рукаве, Дмитрий,— сказала Елена Николаевна,— вечно ты испачкаешься...

Он взглянул в окно.

— Вы видели вчера первые кумули, Осокины? Они лежали вдоль горизонта весь день. И сегодня лежать будут...

Она не могла уже говорить и знаком подозвала их к себе — отца и сына. Они опустились возле нее на колени и стояли молча, без слов, строго и неподвижно и смотрели в последний раз на живое лицо ее.

Елена Николаевна пошевелила пальцами, и тогда они оба наклонились к ее рукам, головы их сблизились. Они прижали к лицу эти холодеющие руки, словно стараясь вернуть им тепло и жизнь.

Глаза Елены Николаевны потускнели. Она опустила веки, глубоко вздохнула. По лицу ее тихо покатились последние слезы. Тогда медицинская сестра подошла к Мише, взяла его за руку и повела из комнаты.

3

Быстрая золотая молния рассекала темные тяжелые тучи. Истекая синим дождем, тучи неслись над полями, погруженными во тьму.

А вдали, на горизонте, освещенном невидимым пока еще солнцем, сиял омытый лес. В нем, должно быть, уже пели птицы и на них с веток сыпались светлые дождевые капли.

Миша стоял перед большой картиной и смотрел на дождь.

Большой старинный дом был выстроен еще в конце восемнадцатого века. Здесь родилось и жило несколько поколений Осокиных. Путешественники, натуралисты, они большую часть жизни проводили в далеких экспедициях, изучая северное сияние, уральские горные породы или растительность тундры.

Из года в год дом Осокиных наполнялся новыми коллекциями, гербариями, чучелами птиц, редкими книгами и картами, старинными картинами, изображавшими природу. И постепенно дом этот стал похож на некий ковчег науки.

В одном углу зала висели изображения облаков. Это были не картины, а портреты. Художник писал каждое облако отдельно, придавая ему неповторимые черты, словно изображал человека. Разглядывая тихий розовый

цирус, плывущий на страшной высоте, или стоячее огромное кучевое облако, или свирепый желтобрюхий нимбус, несущий грозу, Миша смотрел на них, как на всамделишные живые облака.

Но это было прежде, а теперь, глядя на знакомые изображения, Миша думал, что и облака, и дождь, и молния почему-то вдруг потускнели, словно остановились в своем движении и умерли, и на холсте вдруг стали заметны мазки красок.

Этого не было при маме. Они приходили сюда каждый день, садились под картину, на которой шел дождь, и, накрывшись маминым платком, «слушали дождь». Под платком было совсем темно. Миша спрашивал:

— Мама, можно посветить?

— Посвети.

Он вынимал из ее косы гребень, распускал волосы и быстро проводил по ним гребнем. С волос с сухим треском сыпались искры.

— Горю! — смеясь, кричала мама. Она сбрасывала платок и бежала к картине со степным полднем и миражами на горизонте. Они садились на солнце и «сушились от дождя».

Оттого что волосы у мамы были легкие и светлые и с них сыпались искры, Мише казалось, что, когда мама входит в полутемный зал, картины видны яснее.

...Скрипнула дверь. Послышались шаги отца. Миша нахмурился и быстро вышел из зала.

Осокины были далеки друг от друга. Они словно присматривались один к другому. Дмитрий Михайлович не знал, как вести себя с сыном. Еще при Лене он, слыша смех и беготню в зале, на цыпочках подходил к двери, но войти не решался, боясь смутить и жену и сына.

С Леной Осокин никогда не говорил об этом. Она тоже молчала и только раз, незадолго до конца, сказала тихо:

— Ах, Осокины, Осокины! Когда же вы узнаете друг друга?..

Миша вышел в сад. Стоял конец мая. Было очень жарко и тихо, как в комнате. Природа настороженно

прислушивалась к себе, была беззвучной. Невысокое горячее небо затягивала белесая полупрозрачная муть. На западе бесформеииой грудой копились мягкие серые облака. Солнце быстро погружалось в них, оно спешило уйти от этой тревожной тишииы.

Больше месяца уже ие было дождей. Земля отвердела, покрылась извилистыми глубокими трещинами. Под яблонями лежали маленькие зеленые плоды. Они морщились от зноя и иеслышно падали на землю.

Миша ходил по саду и думал о маме. Он помнил: когда-то давио она шла по этой аллее и, наклоняясь иад сиреневыми кустами, искала Мишу. Он сидел притаившись здесь же, но она, не глядя иа него, протягивала вперед руку и говорила громко, словно про себя:

— Странно... Где же он мог спрятаться? — И дотронувшись до его лица: — Ничего не понимаю! Только что был здесь — и нет...

А ои давился от смеха, потом вскакивал и повисал у нее иа шее...

Миша вериулся в дом, сел к столу, раскрыл старый большой атлас с облаками и тучами. Мама очень любила этот атлас, и они вдвоем часто рассматривали его. Миша переворачивал листы и, увидев рисунок, закрывал глаза, стараясь представить себе, какое лицо было у мамы, когда она смотрела на этот рисунок. Каждый раз выражеиие лица у нее менялось. Глядя на серые стратусы, иесущие холодные осеиние дожди, мама хмурилась и быстро переворачивала страницу. А когда встречались кумули, оиа долго смотрела на них, и лицо ее светлело. Миша дергал ее за рукав:

— Мама, дальше!

Но она все смотрела на кумули и тихо отводила его руку.

...Миша стал листать атлас, ища кумули, ио в зале было уже совсем темно. Полупрозрачная муть сгустилась, почернела и заволокла все иебо. Миша взглянул иа запад, где иедавно село солнце. Там было сейчас особеино темно. Миша взял атлас и пересел иа диван, поближе к окиу. Ои нашел кумули, но рассмотреть их было уже иельзя. И тогда ои подумал, что если бы сейчас сюда вошла мама, то в зале сразу бы посветлело и они вдвоем стали бы рассматривать атлас. Но теперь он уже ни за

что не торопил бы ее, не дергал за рукав. Он смотрел бы на кумули хоть целый час, хоть целый год смотрел, лишь бы только мама была с ним вместе и он держал бы ее за руку и слушал, как она дышит и как бьется ее сердце.

Миша лег на диван, закрыл глаза и стал думать, как ему трудно, как плохо без мамы.

И вдруг сквозь закрытые веки он увидел мгновенный, сильный свет.

«Пришла!» — догадался Миша.

Смеясь, она стояла у дивана. Миша смотрел на нее, и его удивляло, что свет от волос ее такой яркий. Он спросил робко:

«Мама, отчего ты сегодня такая светлая?» — Но она молча присела к нему на диван и раскрыла атлас. Он увидел ее любимые кумули, несущиеся по голубому небу, и заметил, что лист атласа словно освещен электричеством — даже видно чернильное пятнышко внизу, которое мама как-то неосторожно оставила на бумаге.

И тогда он спросил опять, но уже смелее:

«Мама, почему ты сегодня такая светлая?»

Но она ничего не ответила, быстро поднялась и, улыбнувшись ему, вышла.

Миша проснулся, вскочил с дивана. Кругом была разлита густая тьма. Но вдруг во все окна, в раскрытую в сад дверь хлынул мгновенный синевато-белый свет. И сейчас же в темном саду грохнул звенящий удар.

— Гроза! — громко сказал Миша.

Он выбежал на веранду и замер на месте. Он не узнал грозы. Он никогда не видел ее такою — изменчивой, живой, веселой и страшной. Она разразилась над всем миром и наполняла его сверканием и грохотом.

Молнии рассекали, прошибали тучи, рвали их в клочья, а тучи опять смыкались и гасили молнии. Но молнии прорывались снова. В их вспышке возникал вдруг весь старый сад, с аллеями, кустами, деревьями. Каждое дерево шумело всеми своими ветками, и листья на них были мокрые и живые.

И Миша вдруг беззвучно заплакал. Огромная осокинская страсть к природе, страсть, родившаяся вместе с ним и дремавшая в его крови, проснулась в нем в эту

минуту. Он протягивал вперед руки, он ловил дождь, невидимый, теплый, насыщенный тьмой и электричеством.

Косая молния осветила белую стену веранды, и Миша увидел на ней высокий черный силуэт отца. Отец подошел к сыну и положил ему на голову тяжелую, большую руку. Они стояли вдвоем и молча смотрели и слушали грозу, дышали ею.

Дождь перестал, деревья с шумом стряхивали с себя темные капли. Небо над садом вдруг прояснилось, и между обессиленными борьбой тучами проглянула и быстро пронеслась по небу большая синяя Вега — звезда майской полуночи.

— Ну вот и первая гроза прошла,— тихо сказал отец,— теперь уж все пойдет расти и жить.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

Большой земляной ком перелетел через забор, упал на садовую аллею, разбился вдребезги. Миша Осокин сидел на корточках под яблоней, выкапывал червей. Твердый обломок ударил его по руке.

Миша вскочил, согнувшись перебежал к старому тополю, присел за толстым стволом. Тополь был окопан еще с весны. Миша обдернул рубаху, стал быстро набирать в подол сухие, ломкие комья. В глубокой тишине прошла минута, другая... Миша, выглядывая из-за тополя, ждал. Над забором показались вцепившиеся в верхнюю доску руки, затем веснушчатое, очень белое, как у всех рыжих, лицо Ромки Букова. Тяжело дыша, он влез на забор и спустил ноги в осокинский сад.

Прячась за тополь, Миша быстро выбрал из подола ком потверже, покрупнее, встал на одно колено, медленно отвел назад руку. Удар был неожиданный и меткий. Ромка пригнулся, закрыл лицо руками. Не давая опомниться, Миша в упор забрасывал его твердыми комьями. Ромка перевалился на бок, тяжело соскочил по ту сторону забора.

— Ну что? Получил? — Миша вытер руки о штаны. Ему было немного не по себе: все-таки Ромка бросал вслепую и ни разу не попал в него.

— Ну, берегись, Осока! Поймаю — убью! — донесся издали тонкий плачущий голос Ромки.

С первой же встречи Буков и Осокин невзлюбили друг друга. Еще в начале учебного года Миша, придя в класс, увидел, что на его месте сидит какой-то незнакомый рыжий парень.

— Вот, перешел к нам из пятого «Б»,— неприязненно сказал Мишин сосед Валентин.— Я ему говорю — место занято, а он кулак показывает.

Миша подошел к рыжему:

— Ты чего на чужом месте расселся?

— Здесь не кино — места некупленные,— огрызнулся рыжий.

— А я говорю — вставай.

Миша покраснел, белки его больших синих глаз выделялись резко, как у негра. Он вплотную придвинулся к рыжему. Тот хлопнул откидной доской, вскочил из-за парты. Жарко дыша в лицо друг другу, они уже начали толкаться, повторяя: «Ты чего, ма-а-альчик», выговаривая «мальчик» врастяжку и особенно презрительно. Весь класс притих, повернулся в их сторону. В эту минуту вошел математик.

— Осокин! Буков! Вы что? Вы где находитесь?

Пришлось разойтись. Но во время урока Буков часто оборачивался, взглядом искал Осокина, быстро делал страшную рожу и показывал кулак. Миша в ответ тоже строил свирепые гримасы, пока математик не пригрозил выставить обоих из класса и снизить отметку за поведение.

Выйдя из школы, Осокин и Буков не дрались — возле школы был милицейский пост. Но как только свернули в боковую улицу, сразу же стали швыряться камнями и грозить друг другу смертью.

Зима и весна прошли в постоянных стычках. Теперь, когда наступили летние каникулы, Буков часто подходил к осокинскому дому, дразнил Мишу, бросал в сад земляные комья и камни. Приходилось быть начеку.

Миша вернулся под яблоню. Земля была сухая. Черви попадались редко — только на большой глубине, да и то никудышные — короткие и тощие. Свернувшись клубком, они лежали в маленьких клейких норках. Миша с трудом набрал половину консервной банки, отнес в погреб.

Вечером он собирался пойти на реку, посидеть зорю. В июле вообще клев плохой — очень жарко, но авось удастся поймать хоть пяток окуней — будет на ужин Бурану.

Буран был гораздо старше Миши. От старости он из черного стал пегим, глаза его подернулись мутной пленкой, он почти лишился голоса и не мяукал, а только беззвучно разевал рот. Но, схватив живого окуня, кот преображался — он, как тигр, хлестал себя хвостом, грозно урчал.

В доме пробило шесть часов. Скоро с метеорологической станции должен прийти отец, принести прогноз погоды на завтра. Миша сверял его со своими записями,

Вот уж год, как он вел наблюдения на маленькой метеорологической станции, устроенной в саду еще дедом Миши — академиком Михаилом Семеновичем Осокиным.

Отец, как всегда, пришел в половине седьмого. Миша увидел из сада через окно его нескладную высокую фигуру. Обедали они вдвоем.

— Хочу сегодня на речку сходить, посидеть зорю,— сказал Миша.

— По такой жаре? — Дмитрий Михайлович отодвинул стул, горячий солнечный луч упал на тарелку, слепяще вспыхнул.— Вся рыба сейчас на дне хвостом вверх стоит, только плавники шевелятся.

— А ты видел? — с любопытством спросил Миша.

— Ну, а что же ей еще делать? — улыбнулся отец.— Впрочем, дело хозяйское — иди, только будет ли толк? Третьего дня опять ничего не принес, а Буран как ждал! Неужели и не клюнуло ни разу?

— Клевало на хлеб, да я прозевал: смотрел, как альто-кумули переходят в цирро-кумули. Знаешь, когда большое облако, как сугроб, плывет, плывет, а потом начинает отделять от себя маленькие пушистые барашки. Их много — целое стадо, и они медленно уходят на запад... Вытаскиваю удочку, а крючок голый: мелкая плотва объела.

— Не рыбак ты, нет, не рыбак,— засмеялся Дмитрий Михайлович.

Миша наскоро доедал компот.

— Папа, если я задержусь, ты проведешь за меня наблюдения в двадцать один час? Ключ от станции над моей кроватью, ты знаешь.

— Хорошо, будет сделано,— сказал отец.

— А на Цельсия поправку помнишь?

Дмитрий Михайлович вздохнул:

— Поправка эта, друг мой, существует сорок лет и все время остается неизменной. Ноль-ноль тридцать девять. Так?

— Да,— улыбнулся Миша.— Значит, помнишь... Ну, я пошел.

Миша немного запоздал и поэтому спешил, чтобы захватить вечернюю зорю. Выйдя за город, он шел полем среди зреющих хлебов. От сухих колосьев веяло жаром. На некоторых из них сидели тяжелые хлебные жуки бронзового цвета. Миша взял несколько штук в спичечную

коробку. Для язя это лучшая приманка. В конце концов, удастся же ему когда-нибудь поймать крупную рыбу.

Река протекала между двух высоких меловых гор. Миша спустился вниз и вдруг встал, ослепленный. В глаза ему ударило белое сияние. Солнце склонялось к закату и в последний час словно стремилось отдать земле весь свой свет. В лучах его плавилась река, сверкала меловая гора на той стороне, масленно блестели сухие, зеленые кружки кувшинок и длинные, острые как штык, даже с выемкой посредине, листья аира; блестели синие крылья стрекозы, качавшейся на коричневом крестике камыша; на миг серебристо вспыхивали выпрыгнувшие из воды мелкие уклейки.

Перед глазами заплясали темные пятна. Миша умыл лицо, напился из горсти, стал разматывать удочки. Он опустил в воду ивовую корзинку с крышкой, насадил на один крючок червяка, на другой — жука и закинул удочки в реку, воткнув толстые концы удилищ в мягкий илистый берег.

У берега вода была голубая, на нее приятно было смотреть. Желтые камышовые поплавки, чуть наклонившись, стояли неподвижно. Отражение их в воде было ярче и резче, чем они сами. Кругом царила глубокая тишина. Только изредка из воды высовывалась полосатая пучеглазая лягушечья голова. Раздув шейные мешки, лягушка глухо урчала и быстро ныряла в воду.

От горизонта по блекло-голубому небу тянулись длинные облачные пряди и, не дойдя до зенита, истончались, исчезали.

Вдали на челноке проплыл рыбак. Мокрая лопасть весла, показываясь из воды, слепяще вспыхивала на солнце. С борта челнока свешивалась темная, тяжелая сеть, сзади, на длинной рукоятке, касаясь воды, тянулось ботало. Борта челнока были очень низки; издали казалось, что рыбак до половины погружен в воду.

Клева не было. Может быть, действительно вся рыба стоит на дне вверх хвостом?.. Миша подумал: «Все-таки до захода надо посидеть — авось на заре возьмет».

Солнце склонилось за гору. Сразу стало прохладнее, над водой низко закружилась вылетевшая из камышей серая мошкара. Недалеко от берега вода вдруг забурлила, серебристым веером метнулись вверх мелкие уклейки, за ними выскочила большая полосатая щука, мельк-

нул хищный изгиб ее мокрой темной спины. Листья стрелолиста тихо закачались во встревоженной воде, и опять все затихло.

Миша вытащил удочки, надел на оба крючка свежую насадку. «Если сейчас не клюнет, значит, конец».

Прошло полчаса.

И вдруг правый поплавок, мелко задрожав, наполовину погрузился в розовую гладкую воду, потом вынырнул, остановился и вдруг пошел боком, боком, медленно уходя вглубь, и скрылся под водой. Конец удилища напружинился, хлестнул по воде. Миша, не притрагиваясь к удилищу, держал руку наготове, потом резко подсек вправо. Леса натянулась.

«Окунь,— подумал Миша,— а вдруг...— он почувствовал, как мгновенно захватило дыхание,— а вдруг сазан? А у меня и сачка-то нет. Что делать?»

Но леса быстро ослабела — рыба была некрупная. Миша подтянул к себе взъерошившегося колючими плавниками окуня. Как всегда, окунь показался в воде больше, чем был на самом деле. Миша взял его левой рукой с головы, крепко сжал, чувствуя, как окунь силится расправить колючую пилу на спине; вынув крючок, опустил рыбу в корзину. Некоторое время оттуда раздавались сильные всплески — окунь буянил в неволе, потом затих — примирился со своей судьбой.

Что ж, теперь не страшно возвращаться домой: Буран обеспечен.

Миша насадил нового червяка, поплевал на него, забросил удочку подальше.

Вскоре поймался еще один окунь. Потом мелко затрясся и пошел в сторону поплавок второй удочки, поставленной на жука. Миша вытащил крупную краснoперую плотву. Теперь он еле успевал менять насадку. От волнения у него дрожали руки. Никогда в жизни ему не случалось попадать на такой клев. Часто он торопился подсекать, рыба срывалась или совсем не попадала на крючок, но сейчас же клев возобновлялся снова.

Скрытое горой солнце зашло за горизонт. Тени на реке сгустились. Меловая дорога, уходившая на запад, была розовой от зари и пустынной. Миша, увлеченный ловлей, ни разу не взглянул в ту сторону и не заметил, когда на дороге показался Ромка Буков. Как видно, он с утра караулил Осокина и теперь шел к реке. Карманы его

штанов оттопыривались. Они были набиты кусками мела. Мел лежал у него и за пазухой. Штаны, ботинки, руки и даже нос у Ромки были белые. Пройдя незамеченным по дороге, Ромка бесшумно шмыгнул в камыши. Он решил подождать, пока Миша пойдет домой. Тогда можно будет неожиданно напасть на него и забросать мелом. Сидя в камышах, Ромка следил за каждым движением Осокина.

Наживив крючки, Миша закинул удочку, потом подошел к корзине, с трудом приподнял ее. Корзина затряслась, как живая, изнутри ее раздался сильный плеск. Миша осторожно приоткрыл крышку, заглянул в щель и радостно присвистнул. Потом, не опуская корзины, он оглянулся, и Ромка увидел, как корзина выпала из рук Осокина и плюхнулась в воду. Осокин стоял неподвижно и, не поднимая корзины, смотрел на небо. Ромка перевел взгляд туда же.

На месте зашедшего солнца стояли теперь светлые, необычайного вида облака. Они стояли высоко над догорающей зарей и мерцали странным серебристым светом. Свет этот был прерывистый, неровный, облака словно дышали, то вспыхивая, то угасая. Очертания их медленно менялись. Сквозь облака просвечивали первые звезды. Это было необычайно и, как все непонятное, немного страшно.

Ромка вылез из камышей, подошел к Мише.

— Осокин, что это такое? — тихо спросил он.

Не оборачиваясь, Миша поднял вверх руку, словно боясь, как бы Ромка не спугнул облака.

— Слышь, что это? — Ромка тронул его за плечо.

— Это серебристые облака,— шепотом сказал Миша,— они появляются страшно редко.

Он вынул из кармана записную книжку, стал набрасывать в ней быстро меняющиеся очертания облаков. Ромка подошел к нему совсем близко, они стояли рядом и смотрели на чудесные облака.

— Который теперь час? — спросил Миша.

— Не знаю; верно, уже десятый...

— Это надо бы точно знать. Я сейчас пошлю телеграмму в Академию наук.

— Куда? — испуганно переспросил Ромка.

— В Москву, в отдел атмосферной оптики Академии наук.

Миша спрятал книжку.

— Это облака необыкиовеииые,— горячо заговорил он,— оии состоят ие из паров, а из космической пыли. Поэтому они самые высокие — восемьдесят километров иад землей. Видел падающие звезды? Ну вот, когда они сгорают, получается космическая пыль. Ее учеиые иаходят на самых высоких горах. Оиа лежит там иа вечных снегах — такие малеиькие чериые точки.

Миша искоса взглянул иа Ромку:

— А ты не занимаешься естествозиаиием?

— Занимаюсь,— запнувшись, ответил Ромка.

— Чем?

— Я... бабочек собираю,— хриплым, низким голосом сказал Ромка.

— А махаоиы есть?

— Пять штук, и «мертвая голова» есть, и «павлииий глаз». Целых три ящика. Да ты прих...— он вдруг остаиовился, подозрительио взгляиул иа Мишу: Ромка больше всего боялся, что Осокии подумает, будто ои подлизывается и теперь лезет, чтобы помириться.

— Я приду,— тихо сказал Миша.— А ты ко мие придешь?

— Обязательно приду,— облегчеиио вздохнул Ромка,— а что у тебя есть?

— Что есть? — Миша помолчал, потом сказал медлеино и зиачительио: — Есть иастоящая метеорологическая стаиция, осиованная в тысяча восемьсот восемьдесят втором году. Я провожу там иаблюдеиия.

— Врешь? — Ромка был ошеломлен.

— Приходи — увидишь.

— А на стаиции что?

— Как что? Приборы. Стаиция иастоящая, только малеиькая. На ией дед мой работал, потом папа, потом мама, теперь я.

— А где твоя мать?

Миша молчал.

— Умерла?

— Да.

Было уже совсем темно. Ромка сел иа землю, иезаметио стал вытаскивать куски мела из карманов и класть их под себя.

— А какие приборы есть иа станции? — спросил ои иеестественно оживлеиным голосом.

— Есть два Цельсия, Вильд, Бессон,— как все метео-

рологи, Миша называл приборы по именам их изобретателей.— Словом, приходи — увидишь.

— Завтра приду. Держи!

Ромка протянул было Мише руку и вдруг опустил ее.

— А ты мне здорово дал сегодня,— обиженным голосом сказал он.— Пять синяков поставил. Не вернишь — покажу.

— Ты же первый стал кидаться,— вздохнул Миша.— Так когда завтра придешь? Хочешь в тринадцать ноль-ноль? Я в это время снимаю показания.

— Ладно. В тринадцать ноль-ноль приду.

Они взглянули на запад — от серебристых облаков не осталось и следа,— везде ярко светили июльские созвездия. Большой Лев зашел почти совсем, а Дева пока только опустила за горизонт свою левую руку.

В НЕХОЖЕНОМ ЛЕСУ

После обеда отец спросил у Миши:

— Ты вечером никуда не собираешься?

— Хотел к Букову пойти. А что?

— К нам приедут гости: Виктория Викторовна с дочками. Мы как-то были у них года три назад. Помнишь?

— Да. Мы ездили еще с мамой,— сказал Миша,— это было очень давно. Девочки эти, кажется, близнецы?

Отец молчал. Он прислонился лицом к нагретому солнцем столбу веранды и смотрел в сад. Короткие, подстриженные под машинку волосы отца были редкие, седые.

В густой листве старых вязов и лип острый железный флажок флюгера домашней метеостанции терялся, был чуть заметен.

Миша знал: сейчас отец взглянет на него так, будто только что увидел, и скажет что-нибудь совсем ненужное — лишь бы Миша не заметил, что он опять думает о том, как мама каждое утро, собираясь на метеостанцию, вот с этого самого места смотрела в сад, искала глазами железный флажок. Зимой флажок весело зеленел среди голых черных ветвей, и даже было слышно, как он поскрипывает на морозном ветру. А летом он прятался среди деревьев, и их густая шелестящая листва заглушала его голос.

— Итак, сегодня мы принимаем наших милых гостей,— сказал отец.

Миша нахмурился: он обещал Ромке Букову зайти за ним, потом вместе снять вечерние показания приборов, а теперь вот сиди дома, дожидайся каких-то девочек, потом веди их на метеостанцию, объясняй, как устроены приборы. Через минуту девочки все забудут, только даром потеряешь время...

— Я пойду к Букову,— упрямо сказал Миша,— на кой мне эти близнецы?

— Нет, Михаил,— мягко, но решительно сказал отец,— Виктория Викторовна звонила мне в институт, я пообещал, что ты будешь дома. А теперь выходит, что я обманул и ее и девочек. Надо остаться.

Миша тяжело вздохнул: «Что поделаешь — не подводить же отца».

Гости приехали перед вечером. По усыпанной серыми ракушками аллее, держась за руки, шли две девочки, неотличимо похожие друг на друга. Они были в чесучовых курточках и в чесучовых длинных штанах. Только по мягко рассыпающимся, почти белым, зачесанным назад волосам с бантами можно было догадаться, что это — девочки. За близнецами шла их мать Виктория Викторовна — очень похожая на них, только взрослая и не в штанах, а в чесучовом платье.

— Бог мой! Да неужели это Миша? — Виктория Викторовна всплеснула руками и схватила Мишу за голову, больно придавив ухо кольцами.— Разве ты не помнишь Галю и Лилю? Вы же ровесники, играли вместе. Ты приезжал к нам еще со своей мамой.— Очень длинные, черные как уголь ресницы Виктории Викторовны печально опустились и поднялись. Мише показалось, что они даже тихо хлопнули.

Близнецы молчали и строго смотрели на Мишу. Прямо не верилось, что они настоящие, а не загримированные нарочно, как в кино. Он покорно подошел к ним, подал руку.

— Здравствуй, Галя. Здравствуй, Лиля.

Виктория Викторовна расхохоталась:

— Ну вот! Так я и знала! Сразу же перепутал. Ты запомни, дорогуша: Галя с голубым бантом, Лиля с розовым.— Она обернулась к отцу: — Знаете, Дмитрий Михайлович, только я одна умею их различать, а спросите, по каким признакам,— не смогу ответить.

— Да, сходство необыкновенное,— любезно согласился отец.

— Как две капли воды, правда? — засмеялась Виктория Викторовна.— Тут эта близкая вашей метеорологической душе поговорка особенно уместна.

Гости уселись на веранде.

— Что ж, друг мой, развлекай своих дам,— шут-

ливо предложил отец,— покажи им сад, свою метеостанцию.

Миша встал.

— Пойдемте, девочки, в сад.

Он с опаской взглянул на близнецов, которые до сих пор не проронили ни слова: «Что они, немые?»

— В саду очень жарко,— сказала Галя.

— Да, очень жарко,— неотличимым от сестриного голосом проговорила Лиля.

— Ну, тогда пойдемте пока в дом.

На стенах огромного прохладного зала висели картины, изображавшие утренние, розовые, только что родившиеся из водяных паров кучевые облака, грозу, дождь.

Лиля остановилась у картины, на которой черную тучу рассекала ломаная молния.

— Яркая какая... прямо глазам больно... Только плохо, что без грома.

— Гром нельзя нарисовать,— пояснила Галя,— его слышно, но не видно.— Она оглядела зал.— Как у вас много картин. Но почему все про погоду? Верно, они нужны твоему папе для научной работы?

— Да. Папа по ним предсказывает погоду,— сказал Миша.

Галя обиделась:

— Неправда! Погоду предсказывают по приборам. Я знаю. А картины только для красоты.

— Если знаешь, зачем спрашиваешь?

Галя дернула чесучовым плечиком, молча отошла к тонконогому столику, раскрыла большой метеорологический атлас, стала рассматривать облака.

Миша предложил Лиле:

— Пойдем в сад.

Она сразу же согласилась:

— Пойдем.

В старом саду было уже не жарко, по-вечернему тихо. Солнце только что скрылось, и небо на западе было слепяще-золотое. Листья деревьев, освещенные снизу, выделялись резко, каждый в одиночку.

— Хочешь на метеостанцию? — спросил Миша.

Лиля не ответила. Она хмуро смотрела на толстые

старые липы с дуплистыми, искривленными стволами в каменно-твердых серых наплывах, на чешуйчатые колонны сосен с углублениями от сброшенных ветвей. За ближними деревьями стояли другие деревья, за ними еще и еще, они уходили вдаль и там терялись.

— Это что, лес? — тихо спросила Лиля.

— Какой лес? — удивился Миша.— Это наш сад, только он очень старый.

— А почему тут лесные деревья, нет дорожек, везде трава?

— Фруктовые деревья почти все уже вымерли, а траву не трогают. Папе так больше нравится.

Лиля вздохнула:

— Тут, может, и волки есть?

Миша не ответил: ему очень хотелось, чтобы волки были, но сказать так — значит соврать. Он искоса взглянул на Лилю: она и так поверила.

— Ну, пойдем на метеостанцию? — повторил он.

— А что там?

— Разные приборы.

— А, знаю,— круглые такие, как часы, только у них стрелки не идут.— Лиля быстро оглянулась.— Нет, давай лучше пойдем знаешь куда?

— Ну?

— Куда глаза глядят.

Миша пожал плечами:

— Вот чудачка! Так мы выйдем к забору.

— Нет, нет! — Лиля замотала головой.— Неужели не понятно? Как только покажется забор, мы сейчас же свернем вбок, как будто его и не видели, и опять пойдем в самую чащу. И будем ходить там, где еще не ступала нога человека.

Мише понравилось.

— Ладно, идем.

Но Лиля стояла на месте.

— А как же Галя?

— Она сама с нами не захотела. Смотрит атлас.

— Да, она любит книжки.

— Ну и пусть себе любит. Пошли!

Солнце все глубже уходило за горизонт. Золото на западе тускнело, переходило в багряную краску. И только маленькое облачко, одиноко стоявшее над тем местом,

куда ушло солнце, все заглядывало за горизонт. Во всем мире оно одно сейчас еще видело солнце и, прощаясь с ним, светилось тихо и печально.

— Вот последнее облачко осталось,— сказала Лиля.

— Сейчас и оно растает,— сказал Миша.— Кучевых облаков днем было много; я поставил балл — три, а сейчас все исчезли. Будет хорошая погода. Барометр второй день показывает «ясно».

Лиля не слушала и все смотрела на запад.

— Бедное облачко... Оно очень любило солнце и теперь не хочет без него жить...

— Воздух сухой, водяных паров мало, вот оно и растаяло,— сказал Миша.

Под старыми деревьями лежали уже густые тени. Между толстыми стволами виднелась голая черная земля. На ней росли маленькие кустики с блестящими круглыми листьями.

Лиля наклонилась над ними.

— Вот и растения здесь все дикие. А ты говоришь — «сад». Я такие видала только в Гончаровском лесу, на даче.

— Это копытень,— сказал Миша,— он уже много лет тут растет — когда-то пересадили из леса. Он любит сырые места, и опыляют его не пчелы, а улитки.

Лиля не поверила:

— Ну вот еще! Что ж, улитки летают, как пчелы?

— Они ползают по цветам копытня и переносят пыльцу. Цветы у него темные, некрасивые. Пчелы такие не любят.

Лиля удивилась:

— Откуда ты это знаешь?

— Наша семья уже полтораста лет изучает природу,— гордо сказал Миша.— Еще папин дедушка, мой прадед, был путешественником, писал книги о Сибири, собирал гербарий, коллекции минералов. И его сын был ученый, академик.

— А твой папа — тоже ученый?

— Да, метеоролог, профессор.

— Ну, пошли путешествовать,— сказала Лиля,— у нас дорога дальняя.

Они двинулись напрямик, продираясь сквозь заросли уже темных кустарников.

— Плохо, что компаса не взяли,— сказала Лиля,— можем заблудиться.

— А звезды на что? Они скоро покажутся.

— Ты знаешь звезды?

— Конечно. Все главные созвездия уже год как знаю.

Миша взглянул вправо: в сотне шагов отсюда стоят «три сестры» — старые березы, растущие от одного корня. За ними поляна, на ней метеостанция. Но если сказать — пропала игра.

Лиля шла впереди. Ветки цеплялись за ее курточку, дергали за волосы, но она не останавливалась, а еще подгоняла Мишу:

— Давай быстрее!

Миша недовольно поглядывал на нее: дома казалась тихой, а здесь вон командует.

— Чего гнать-то? — недовольно проворчал он.

Лиля удивленно оглянулась:

— Как чего? Мы должны скорее попасть в нехоженые места.

Миша ничего не ответил. Неужели она думает, что в саду есть такое место, где бы он не побывал? Но Лиля по-своему поняла его молчание.

— Ничего! Скоро придем. Теперь уже недалеко. Только через эту чащу продеремся, а там дальше наверняка никто никогда не ходил.

— А если там волки?

Лиля тревожно оглянулась, секунду подумала.

— Волки... Ну и что ж! Они только зимой нападают на людей.

Некоторое время они шли молча, борясь с кустарником, который становился все гуще, все темнее. Теперь он окружал их со всех сторон, и казалось, ему не будет конца.

Вдруг Лиля споткнулась и упала — она ступила в неглубокую яму, доверху наполненную палыми, сопревшими листьями. Лиля сейчас же вскочила на ноги и наклонилась над ямой.

— Вот, начинается.

— Что начинается? — не понял Миша.

— Звериное царство! Это же старая лисья нора.

Миша взглянул на яму. Странно! До сих пор он

никогда не видел ее. «Где мы?» — он оглянулся. Сумерки сгустились. Деревья и кусты обступили их непроницаемой стеной. Кругом стояла глубокая лесная тишина.

— Сейчас мы найдем вход в нору.— Лиля села на краю ямы, запустила руку в сухие листья, стала ощупывать стенки.— Ага! Вот он. Только обвалился совсем. Видно, лиса давно тут не живет.— Лиля встала, прислушалась.

За деревьями раздавался легкий шорох; кто-то тоже продирался через кусты.

— Знаешь, кто там? — шепотом сказала Лиля.— Барсук! Они ночью по лесу шатаются, сами нападают на людей — хуже, чем волки: подпрыгнет и сразу за горло! Не отобьешься — загрызет насмерть.— Она быстро отломила от дерева две ветки.— На, возьми, а то пропадем.

Миша крепко сжал ветку в руке: сейчас, у этой незнакомой норы-ямы, среди черных деревьев, можно было всего ожидать.

— Пошли,— сказала Лиля,— мы еще не такое увидим.— Она двинулась прямо на шорох, в сгустившуюся, совсем уже ночную темноту.

Миша видел впереди белевшую курточку и покорно шел за нею. Теперь он уже не узнавал ни одного дерева — все они были черные, незнакомые.

Вдруг над головой пронеслось мгновенное, бесшумное дуновение, острая тень мелькнула и пропала.

— Летучая мышь,— тихо сказала Лиля,— тут, должно быть, их гнездо, они живут в самой глухомани.

— Она может в волосы вцепиться,— угрюмо сказал Миша.

— А я не боюсь. У нее коготки маленькие, я на картинке видела.— Лиля вдруг засмеялась.— Знаешь, недавно мне приснилось, что летучая мышь мне на голову села, сидит и лапками перебирает, а мне щекотно. Взяла ее в руки, а у нее сердце, как у птички,— тук-тук. Испугалась сильно. Я проснулась, ищу кругом — ничего нет.

Мише вдруг стало жутко.

— Пойдем домой,— сказал он,— а то поздно уже.

Лиля быстро обернулась.

— Ага! Боишься?

— Ничего я не боюсь.

— Тогда пойдем дальше.

Между деревьями проступил слабый свет. Из сухой вечерней мглы медленно выбиралась огромная, вся в глубоких черных пятнах, багровая луна. Она была совсем тусклая, и звезды, не замечая ее, светили, как и прежде.

Вдруг где-то очень близко раздался негромкий, тонкий, чистый, протяжный свист.

Лиля остановилась.

— Вот! Гадюка свистит. Мне бабушка говорила: когда луна взойдет, гадюки просыпаются, выходят на охоту. Пошли искать ее, а то она сонных птиц в гнездах поест.

— Темно ведь,— сказал Миша,— где ее найдешь...

Лиля вздохнула:

— Да, правда. А когда луна взойдет, гадюка уже уползет далеко.

Но луна подымалась очень быстро — прямо на глазах она уменьшалась, бледнела, становилась ярче. Она стояла уже над деревьями и обливала их холодным светом. Темные листья прояснялись, начинали сверкать, как маленькие зеркала — овальные, круглые, трехлопастные. Звезды пропали. Небо было светящимся, серебристым, до краев наполненным лунным сиянием. Только по краям горизонта испуганно мерцали еще самые яркие звезды, но видно было, что луна, поднявшись выше, загасит и их и будет одна властвовать в этом огромном, бескрайнем небе.

Лиля и Миша стояли и молча смотрели на небо.

— Как сильно светит,— сказала Лиля,— похожа на зимнее солнце — яркая, а тепла нет.

— Она, как зеркало, только отражает чужой свет,— пояснил Миша.

— Какое там зеркало! — сказала Лиля.— Вон на ней сколько пятен. Бабушка говорила — это нарисовано, как старший брат убил младшего. Она и имена сказала, да я забыла. Про них в священных книгах написано. Я спросила у папы, а он разозлился на бабушку — говорит: «Не забивайте ребенку голову вашей чушью». И потом сказал, что пятна на луне — это моря, как у нас на земле.

— Ну, не совсем как у нас,— сказал Мнша,— на луне нет воды. Пятна — это огромные впаднны. Их только называют морямн, а онн пустые,— он кнвнул на луну,— сейчас очень хорошо вндны главные моря.

— А ты н нх знаешь? — уднвнлась Лнля.

— Знаю. Папа по лунному атласу показал.

Онн прошлн еще немного, н тут Мнша услышал слабый, еле различнмый ухом скрнп — голос флюгера.

Мнша тнхо засмеялся от радостн. Он не помннл такого временн, когда бы не знал этого голоса. Совсем маленького мать воднла его за руку на метеостанцню и, остановнвшнсь на поляне, указывала на флюгер:

— Вндншь?

И он, подняв голову, уднвленно смотрел, как высоко в небе, весело поскрнпывая, вращается на своем железном древке острый, всегда развевающийся, не знающий покоя флажок.

— Пошлн быстрее! — почтн крнкнул Мнша. Онн сделалн всего несколько шагов н вдруг очутнлнсь на открытой поляне. Посреднне ее стояла маленькая метеостанцня. Все прнборы: дождемер, сквозной ящнк для термометров н барометра, высокая мачта флюгера — все сверкало, отражая голубой лунный свет. Лнля остановнлась н шнроко открытыми глазамн смотрела на метеостанцню.

— Вот она какая!

А Мнша стоял рядом н улыбался. Никогда еще его метеостанция не казалась ему такой чудесной, ннкогда он не радовался так, что она прннадлежнт ему н он работает на ней.

— Мы сейчас вместе с тобой снимем показания приборов,— сказал он.

Но тут нздалн донесся ннзкнй краснвый голос:

— Лн-ля! До-очка! Домой!

— Тебя зовут...— печально сказал Мнша.

— А как же метеостанцня? — И Мнша увндел, что Лиля, смелая Лнля, которая не боится нн барсука, нн летучнх мышей, ни гадюкн, сейчас заплачет.

— Стой! Знаешь что? — быстро заговорнл он.— Ты не отзывайся. Пока онн будут нас нскать, мы снимем показання.

Лнля безнадежно махнула рукой:

— Ну что ты! Они еще сюда придут. Тогда все, все пропало...

— Да, верно,— печально согласился Миша.— Давай немножко послушаем флюгер и пойдем.

Они стали под мачтой.

Шла ночь. Ветер усилился, и острый флажок громко пел свою железную песню.

— ...Ли-ля! Ли-ля!! Ли-ля!!!

Теперь кричали уже два голоса — низкий и высокий; они кричали нетерпеливо, сердито, угрожающе.

— Вон и мама и Галя зовут,— сказала Лиля.— Надо идти...

Впервые за весь вечер они взялись за руки и медленно пошли к дому.

ПРИВИДЕНИЕ

— Здравствуй!

— Здравствуй! — Лиля стояла перед Мишей на дорожке, усыпанной серыми ракушками, смотрела на него и улыбалась. Она стояла одна — мать и Галя кивнули ему и прошли мимо, на веранду, к Дмитрию Михайловичу, сходившему с крыльца навстречу гостям.

Миша сразу заметил: Лиля одета сегодня совсем подругому — в синем чехословацком платье, с красным кожаным чехословацким поясом, в кремовых сандалиях — тоже не наших.

— Все заграничное надела?

Она усмехнулась:

— А что, плохо?

— Нет,— тихо сказал Миша,— хорошо, очень хорошо, что ты опять приехала...— Он смотрел на нее без смущения, смотрел с откровенной радостью, что она здесь, что впереди у них весь длинный летний вечер. И вечер этот еще не начинался. Солнце только-только коснулось верхушек пирамидальных тополей. Можно все успеть: посмотреть атлас Мессера с черными звездами на белом небе, и атлас облаков, и все уральские минералы в коричневых ящиках под стеклом, и Брэма — старого, немецкого, с красной шелковой закладкой, с прозрачной тонкой бумагой, покрывающей блестящие цветные рисунки зверей и птиц. Потом из дома можно выйти в сад, на метеостанцию, и снять показания приборов, и долго слушать флюгер, и смотреть, с какой стороны дует ветер. А когда стемнеет, можно в полевой бинокль наблюдать звезды.

— Чего мы тут стоим? — нетерпеливо сказала Лиля.— Пошли в дом — я там как следует еще ничего не увидела.

— И Галя будет с нами? — осторожно спросил Миша.

Лиля вздохнула:

— Куда ж она денется?

— Она может немножко посидеть на веранде. Папа расскажет, как он, когда еще был гимназистом, нашел настоящий метеорит.

— Она не захочет слушать про метеорит,— грустно сказала Лиля.

— А что она хочет?

— Что? Ходить со мной и говорить, что можно, что нельзя...

— Ладно,— уныло согласился Миша,— если очень хочет, пусть ходит. Дело хозяйское...

В зале было тихо и прохладно, как в музее. Лиля ходила вдоль стен и рассматривала картины. Потом спросила:

— А почему нигде нет чистого неба?

Миша не понял.

— Какого неба?

— Ну вот, взять и нарисовать только одно голубое, чистое небо, без облаков, без туч. И чтобы было совсем как настоящее: если долго смотреть, начнут плавать такие прозрачные цепочки. Моргнешь глазом — пропадут, потом опять плавают. Отчего это, не знаешь?

— Свет неодинаково преломляется в глазном хрусталике,— пояснил Миша,— у каждого человека свои цепочки.

— А ну, давай проверим.

Они подошли к окну; старый сад стоял неподвижно, весь освещенный еще сильным солнцем. Темно-зеленые, загрубевшие листья позднего лета серебристо сверкали. Лиля подняла голову, стала смотреть на небо. Светлые, легкие волосы упали ей на глаза, она нетерпеливо сдунула их.

— Ага, вот поплыли, поплыли, закрученные, как червячки. А у тебя какие?

— Что? — растерянно спросил Миша. Он смотрел не на небо, а на Лилины волосы.

— Ну вот, заштокал! — недовольно сказала она.— Наблюдай! Чего стоишь?

Миша перевел взгляд на небо.

— У меня не цепочки, а похоже на соты,— сказал он чуть погодя.

— Это, верно, потому, что у нас глаза разные: у тебя светлые, а у меня темные...

Но вдруг Лиля опустила голову, прислушалась.

— Тише! Что это шуршит? — она уставилась в угол зала, откуда раздавался чуть слышный шорох.

— Мыши, верно,— сказал Миша,— с дезстанции давно не приходили, вот они и развелись. Раньше у нас был кот Буран, старик глубокий — родился, когда меня еще на свете не было. Я для него рыбу ловил. Этой зимой умер. Вечером заснул на кухне; утром стали завтрак готовить, а он не встает — свернулся клубком и спит. Подошли, а он уже мертвый.

— Верно, ночью у него был инфаркт,— сказала Лиля.

— Неизвестно,— сказал Миша,— я не знаю, бывают ли у котов инфаркты. Я его в саду похоронил, возле «трех сестер», и памятник сделал в виде египетской пирамиды. Выйдем в сад — покажу.

Но Лиля не слушала — она пристально разглядывала высокий потолок, белые оштукатуренные стены без обоев, потом спросила:

— Сколько лет вашему дому?

Миша помолчал, шевеля губами,— высчитывал в уме.

— Сто два. А что?

Лиля мрачно посмотрела на него:

— Привидения у вас тут водятся, вот что! Наш дом перед самой революцией построен, и то по ночам на чердаке кто-то ходит.

— Мыши скребутся. Кто же еще? — сказал Миша.

— Ага! По-твоему, мыши и ходят тяжелым шагом, как медведь?

Миша снисходительно усмехнулся:

— Кто тебе голову набил такой чушью?

— Это не чушь. Не веришь мне — Галю спроси, она тоже слышала.

Только сейчас Миша заметил, что Галя находится здесь. Она сидела за тонконогим столиком и, низко склонившись над атласом, рассматривала рисунки облаков, давая понять, что ее интересуют только облака и ничего более.

Лиля быстро зашептала Мише на ухо:

— Не хочет признаваться, а сама плакала и кричала «мама».

— А ты не плакала?

— Все плакали, и я, и бабушка: оно очень долго ходило по чердаку...

— Чепуха все это,— решительно сказал Миша,— бабьи выдумки.

— Нет, не выдумки. Наша бабушка теперь как идет спать, все углы три раза перекрестит. Она всю жизнь прожила, что ж, по-твоему, она тоже дурака валяет? — Лиля хитро улыбнулась.— Ладно, ладно! Не прикидывайся — я все понимаю: у вас тоже есть привидения. В таком старом доме да чтобы не было! Только ты против ночи боишься говорить. Все ясно!

— Лиля, перестань нести чушь,— не отрываясь от атласа, спокойным, ровным голосом сказала Галя.— Разве ты не видишь, что над тобой смеются?

У Лили дрогнуло лицо. Она быстро взглянула на Мишу:

— Так ты надо мной смеешься? Думаешь, я глупая?

— Почему? Откуда ты взяла,— испугался Миша. Ему вдруг захотелось подойти к Гале и сказать: «Положи атлас и уходи вон!» Но разве можно? Она — гостья... И он только проговорил растерянно: — Я совсем не думаю, что ты глупая.

— Нет, нет,— Лиля печально покачала головой,— я по глазам вижу... Только если ты ученый, а я дурочка, зачем было звать меня в гости? — Она медленно пошла из зала.

Миша бросился за ней:

— Лиля, постой, Лиля!

Но она даже не обернулась.

Миша остановился, посмотрел на зал. Все кругом потемнело, поблекло, стало скучным — глаза бы не глядели... На столике одиноко лежал атлас облаков — Галя сразу же вышла следом за сестрой. Атлас был открыт на странице, где нарисованы стратусы — унылые слоистые облака, они покрывают все небо на два дня, и тогда идет беспрерывный обложной дождь.

Миша захлопнул атлас, вышел из зала.

На веранду уже упала тень, солнце скрылось за домом; отец сидел у стола и внимательно слушал Викторию Викторовну; Миша даже не понял, о чем она говорит,— раздавались какие-то звуки, резкие, отрывистые, как будто стучит пишущая машинка. Миша взглянул на Лилю. Она не оглянулась, когда он вошел,— сделала вид, что внимательно слушает разговор взрослых и ей это

очень интересно. Зато Галя, сидя рядом с Лилей, с открытой насмешкой смотрела на Мишу.

Миша сделал вид, что не замечает ее, и стал слушать Викторию Викторовну.

— Вы же знаете моего Евгения, Дмитрий Михайлович,— если что заберет себе в голову — и не думайте переубедить. Мягкий, добрый, высокой культуры человек, отличный специалист, но — упрям! Никакие доводы не действуют. Он не спорит. Боже мой! Если бы он спорил! Нет! Он мило улыбается, он слушает вас и молчит. А потом делает все по-своему. И так в любом вопросе. Вот вам пример. Еще в марте я решила: в этом году мы не снимаем дачу, едем в Евпаторию, на Золотой пляж,— три года там не были. Девочки забыли, что такое море. Кажется, ясно договорились. И вдруг в мае мой Евгений докладывает: «Снял дачу в Ястребинке, дал задаток — тысячу рублей». Что делать? Поставил меня перед фактом... Вот и живем в Ястребинке — на лоне среднерусской природы... Не терять же тысячу рублей, хоть и старыми деньгами.

Миша посмотрел на отца. Отец чуть кивал головой и улыбался углом рта. Так он всегда улыбался, когда у него начинал ныть зуб и приходилось класть мятные капли.

Лиля сидела нахмурившись, забыла, что надо показывать, будто ее интересует разговор взрослых. Все ясно — пропал вечер: мама проговорит так еще с полчаса, потом будут пить чай, и мама опять будет говорить, а потом встанет и скажет: «Опять я вас до полусмерти заговорила, Дмитрий Михайлович». Все начнут прощаться, и они больше никогда-никогда не приедут в этот дом, а если приедут, то Лиля будет сидеть со взрослыми...

Незаметно стемнело. Мишин отец встал, повернул выключатель. Под потолком зажглась лампа с простым абажуром — мелкой железной тарелочкой. Свет отражался от нее и падал на стол. Сейчас же из сада прилетели две темные бабочки, закружились вокруг лампы, стали сильно биться о нее крыльями. Когда на секунду переставали говорить, было слышно, как тонко позванивает стекло. Потом прилетел странный большой комар, опустился на тарелочку, пополз по внутренней стороне. Он полз вниз головой и не срывался. Ноги у него были очень длинные, будто переломленные посередине.

Лиля никогда не видела таких чудных комаров. Ей хотелось спросить про него у Миши, но как спросишь — они же поссорились...

Тем временем комар уже облазил вокруг всю железную тарелочку и перебрался на лампу. Он скользил по стеклу, срывался, неуклюже взмахивал длинными прозрачными крыльями, снова садился на лампу и полз от того места, где сорвался, и было видно, какой он уродливый, страшный. Верно, это был ядовитый комар: укусит — заболеешь малярией. Вдруг из темноты прилетел точно такой же комар и тоже стал ползать по лампе. Комары были неотличимо похожи, и уже трудно было сказать, какой из них прилетел первым. Вот комары встретились, потрогали друг друга усиками — посоветовались, как действовать дальше, и потом поползли вокруг лампы. Лиле показалось, что от их длинных тел на скатерть падают легкие тени. Не оборачиваясь, она скосила глаза. Миша тоже смотрел на комаров, и Галя смотрела, и Дмитрий Михайлович. Он совсем забыл, что должен слушать, что говорит гостья, кивать и улыбаться, он поднял голову и смотрел, как комары все ближе и ближе подползают друг к другу. Они больше не срывались,— верно, если сорвешься, пропало все дело, поэтому они ползли очень медленно и осторожно.

На комаров не смотрела только одна Виктория Викторовна. Она все что-то говорила и говорила, но ее, кажется, давно не только никто не слушал, а даже не слышал, как не слышишь затяжной дождь, который льет из стратусов.

Когда пройти оставалось всего сантиметра три, комары остановились, стали подниматься на задних ногах и сучить передними — делали разминку перед решающим броском, потом поползли дальше. И вдруг один поскользнулся и еле-еле устоял на ногах, но как-то сбалансировал и медленно пополз дальше. Вот им осталось пройти два сантиметра, вот один. Внизу все затаили дыхание, все смотрели на лампу. Комары еле двигались — сорваться сейчас было бы особенно обидно. Встретились! Комары вытянули вперед усики и трогали друг друга — поздравляли с успехом.

— Молодцы! — громко сказал Миша.

А комары поднялись на крыло и полетели вокруг лампы.

— Делают круг почета! — Лиля засмеялась и открыто посмотрела на Мишу.— Они ядовитые, да?

— Что ты! — Миша радостно засмеялся.— Это хорошие, безобидные комары, называются Кара́мора. Очень смешные, ходят как на ходулях.— Он обернулся к отцу, который, улыбаясь, все еще смотрел на лампу: — Папа, из какого отряда Кара́мора?

— Из двукрылых, разумеется,— смущенно сказал отец и с виноватым видом посмотрел на Викторию Викторовну.

— Вы и энтомологию знаете? — удивилась Виктория Викторовна — она была обижена невниманием хозяина.— Удивительно! Прямо живая энциклопедия!

— Ну что вы! — замахал руками Дмитрий Михайлович.— Из всей энтомологии я, кажется, знаю только два вида — вот этого Кара́мору и еще «солнышко» — есть такой круглый желтый жучок — Коккинелла септемпунктата, у него семь черных точек на выпуклой оранжевой спинке. Это все еще с детства запомнилось. Бывало, поймаешь, посадишь на руку: «Солнышко, полети! Солнышко, полети!» Он распустит черные шелковые крылышки и полетит к солнцу. Да вы, верно, сами с детства помните это «солнышко»...

— Нет,— Виктория Викторовна снисходительно усмехнулась.— Жуками я никогда не интересовалась. Дома нам, детям, стремились привить чувство прекрасного — мы ухаживали за нарциссами, за белыми лилиями.

— Да,— согласился Дмитрий Михайлович,— «солнышку», а тем паче Кара́море с белой лилией в смысле изящества соревноваться нелегко...

Тьма за верандой все сгущалась. Между черными верхушками пирамидальных тополей высунулась угловатая голова Большой Медведицы. Поздневечерний ветер шевелил черные листья, и Большая Медведица то выглядывала из-за тополей, то пряталась.

Лиля тоскливо смотрела на Большую Медведицу. Всему виной Галя: не скажи она, что Миша считает Лилю глупой, они сейчас наблюдали бы звезды в полевой бинокль. А теперь ничего не поделаешь — вон Мишин отец уже вышел распорядиться насчет чая. Через двадцать минут — домой.

Лиля встала, подошла к перилам. В лицо повеяло лесным холодком: садо-лес начинался сразу же от дома.

Только сойти со ступенек — и обступят старые черные деревья, послышатся разные шорохи, звуки.

Лиля вздохнула — больше никогда ей не бывать в садо-лесу... И в эту минуту ей показалось, что вдали, среди слившихся в темноте деревьев, мелькнуло что-то белое, мелькнуло и пропало.

Привидение! Это было оно — спустилось с чердака и спряталось в лесу. Ждет, пока все заснут, а тогда пойдет блуждать всюду, может, даже зайдет на веранду, заглянет в темные окна.

Лиля оглянулась. Мать и Галя сидели молча — ждали чая. А Миша стоял тут, он стоял чуть поодаль и виноватым взглядом смотрел на Лилю. Он был готов согласиться со всем, что она ни скажет, сделать все, что она захочет.

— Привидение,— тихо проговорила Лиля,— вон там сейчас мелькнуло и пропало — ночи ждет.

— Да,— прошептал Миша,— оно там часто ходит.

— Ага! — торжествующе сказала Лиля.— Признался? Я же знала, что они у вас водятся, а ты начал надо мною смеяться.

— Я был дурак,— тихо сказал Миша.

— Боялся говорить против ночи?

— Боялся.

Лиля тяжело дышала. Миша слышал, как сильно и часто бьется ее сердце. Наконец она решилась:

— Слушай! Давай пойдем и посмотрим на него.— Она схватила Мишу за руку, боясь отказа, горячо зашептала на ухо: — Подходить не будем, только издали посмотрим, спрячемся за деревьями, взглянем — и назад. Оно нам ничего не сделает — сейчас оно еще совсем слабое, позже силу набирает — до первых петухов. А когда они запоют — пропадает совсем. Их теперь мало — троллейбусов, трамваев боятся... Сейчас не посмотреть, больше никогда не увидим. Ну, пошли? — она потянула его за руку.

Секунду Миша молчал, о чем-то думал, потом решился:

— Ладно. Только я пойду возьму духовое ружье — на всякий случай.

Лиля усмехнулась:

— Ружье! Хочешь, чтоб оно твою пулю тебе обратно

бросило? Привидеиие бесплотиое. Его и сиарядом ие убьешь.

— Все-таки оружие,— сказал Миша,— а с голыми руками как идти?

— Ладио,— согласилась Лиля — она решила ие спорить, а то Миша, чего доброго, передумает,— только скорее приходи. Я тебя тут подожду.

Миша скрылся.

Лиля быстро обериулась — не иачали пить чай? Нет, слава богу. Как только иачиут, мать сразу же позовет ее. И тогда все пропало. Оиа иетерпеливо взглянула иа дверь, ведущую в дом,— где же Миша? Что он, никак не найдет свое ружье или, может, просто боится? А сейчас доро́га каждая секунда... И Лиля приияла решеиие: иадо идти одиой. Если сейчас не пойти, иикогда в жизни не удастся увидеть привидение. Оиа пойдет совсем недалеко,— как только увидит, сразу же остаиовится, немного посмотрит — и иазад.

Лиля спустилась со ступенек веранды, медлеино пошла по дорожке. Впереди была иепроглядная темнота. Справа и слева стояли совсем одинаковые, неотличимо похожие друг иа друга черные деревья. Как быть? Лиля оглянулась. На вераиде звенели ложечками, передвигали стулья. Как быть? Может, вериуться?

— Лиля, дочка! Чай пить!

Это было как удар киута. Не раздумывая больше, Лиля быстро пошла по дорожке, вглядываясь в темноту, стараясь рассмотреть бледное, размытое пятно. И вдруг оно появилось совсем иеожиданно и совсем недалеко. Длиниая белая фигура стояла между деревьями и, казалось, мерцала в темноте. Часто дыша, прижав руки к груди, Лиля остановилась и смотрела иа привидеиие. И тут произошло самое страшное — привидение медлеино поплыло ей иавстречу. Оно иеслось иад землей, не огибая деревьев, проходя сквозь черные стволы. Лиля повернулась и побежала к веранде. Она бежала молча, еле сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Только ступив иа ступеньки веранды, оиа остановилась и посмотрела назад. Привидение стояло в глубине аллеи, под чериыми деревьями. Оно боялось шума, света, людей.

Лиля села иа иижиюю ступеньку. Как хорошо, что она не закричала, ие спугиула привидение. Сейчас можио еще мииутку посидеть здесь, в последиий раз посмотреть

на него. Вон оно стоит и не двигается с места; кажется, тоже испугалось,— верно, никогда еще так близко не подходило к дому при свете, при людях. Лиле стало жаль, что нельзя подойти поближе и заговорить с привидением,— оно совсем не злое, но все-таки как-никак потустороннее существо...

Тем временем на веранде снова задвигали стульями, раздались шаги Виктории Викторовны,— кажется, она шла в сад, искать Лилю.

Лиля притаилась. Вот скрипнула верхняя ступенька, потом следующая, и мать увидела Лилю.

— Что ты тут делаешь? Почему не отзывалась, когда тебя звали?

Лиля медленно поднялась.

— Я ходила смотреть привидение.

Виктория Викторовна рассердилась:

— Что за глупости! Какое привидение?

— А вон оно стоит между деревьями,— и Лиля указала в темноту, где все еще виднелась длинная белая фигура — это было на редкость смелое привидение.— Не надо его гнать: оно сейчас само уйдет. Оно боится света — это очень старое привидение, ему уже больше ста лет.

Виктория Викторовна недоуменно обратилась к подошедшему хозяину дома:

— Ничего не понимаю, Дмитрий Михайлович! Тут какая-то мистификация.

— Сейчас все объяснится,— сказал Дмитрий Михайлович.— Пойдемте-ка в сад,— и он смело шагнул в темноту. Виктория Викторовна с дочками шла за ним. Галя сжимала в руке свернутый китайский зонтик матери.

Все вошли в черную ночную тень старых деревьев и увидели долговязую белую фигуру: она ждала людей,— верно, твердо решила с ними познакомиться. Лиле стало вдруг жаль привидение — почему оно не уходит, чего ждет? Но тут Дмитрий Михайлович подошел к привидению, бесстрашно протянул руку и схватил его.

— Вот и весь секрет!

В руках Дмитрия Михайловича была обыкновенная простыня. Она висела на ветках и казалась издали белой фигурой, а теперь повисла как тряпка.

Виктория Викторовна и Галя вдруг захохотали. Они хохотали очень долго и смотрели на Лилю, а Лиля не

спускала глаз с простыни и не могла понять — куда же девалось привидение? Ведь оно явно неслось за ней, неслось по воздуху, сквозь древесные стволы, потом остановилось и стояло, а теперь на его месте неизвестно откуда взялась вот эта простыня...

Со стороны дома показался Миша. Он шел с духовым ружьем под мышкой.

— Где ты был? — сухо спросил отец.

Миша молчал. Он никогда не лгал, а сказать правду — значило вконец погубить Лилю: Галя и мать начнут смеяться, что она, как дурочка, поверила в привидение. Вообще все очень, очень неудачно получилось...

— Нехорошо,— строго сказал отец.— К нам приехали гости, а ты себя безобразно ведешь — что это за маскарад с простыней?

Миша опустил голову. Он не считал себя виноватым — ему так хотелось, чтобы Лиля поверила в то, о чем говорила...

— Ничего, он больше не будет,— великодушно заступилась Виктория Викторовна,— просто неудачно пошутил. Правда, Миша?

— Просто им обоим захотелось поиграть в привидения,— насмешливо сказала Галя,— вот и пошли в ход простыни. А теперь прачке — работа,— и она ткнула концом китайского зонтика простыню, которая в жалкой позе все еще лежала на земле.

— Не смей! — вдруг крикнула Лиля.— Не смей его трогать, гадость такая! Вы все, все ничего не понимаете! — Она схватила простыню и, прижав ее к лицу, с громким плачем побежала из сада,

ПЕРСЕИДЫ

Персеиды — самый мощный поток падающих звезд.

Август начался неожиданно — совсем по-осеннему: первого числа Миша проснулся и увидел тусклое, непрозрачное окно. По стеклу, во всю его длину, сплошным волнистым тонким слоем медленно текла вода — прямо как на витрине магазина овощей... Значит, дождь шел давно. Верно, он начался еще ночью.

В комнате было прохладно. Миша спал в одних трусах. Зябко поеживаясь, он на цыпочках подошел к градуснику. Ого! — всего пятнадцать, а вчера утром было двадцать три... Неужели конец лета?

Он выглянул в окно. Старый сад, как в сумерки, был хмурый, потемневший. На мокрой зелени лип кое-где резко выделялись редкие желтые листья. Над садом совсем низко опустилось небо — глухое, неподвижное, серое, без отдельных туч, все затянула сплошная пелена — стратусы, слоистые облака; из всех видов облаков они одни — нелюбимые, противные...

Миша нехотя проделал физзарядку, умылся, вышел в столовую. В открытую дверь кабинета было видно, как отец в зеленой пижаме бреется перед зеркалом. Не оборачиваясь, он увидел Мишу в зеркале, кивнул молча.

Миша строго взглянул на его намыленное лицо.

— Опять твои синоптики прогноз завалили?

— Почему завалили? — Отец, открыв рот, осторожно подбривал верхнюю губу, и у него получилось — «заваили».

— Потому что только сегодня к вечеру обещали переменную облачность без осадков, а стратусы еще ночью все небо заволокли.

— Что делать,— вздохнул отец,— прогнозы, сам зна-

ешь, дело такое...— Он стал еще раз намыливать лицо.— А чего ты против дождя? Весь июль стояла жара, все пересохло...

— Как чего? Персеиды скоро. А циклон на две недели может зарядить. Не прояснится к десятому — все пропало.

— Стой! У меня мелькнула мысль,— серьезно сказал отец.— В ночь на одиннадцатое мы вызовем специальный самолет: он пролетит над нашим домом и сбросит наэлектризованный песок; небо сразу очистится, как на Красной площади на Первомай. Идет?

— Да ладно, хватит тебе смеяться,— уныло проговорил Миша.

После чая он ушел в свою комнату: надо делать съемку карт отдельных созвездий августовского неба. На эти карты будет нанесен путь летящих метеоритов.

«Звездный Атлас» Мессера лежал на столе отдельно от остальных книг. Он был очень старый — издание тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года,— небольшая квадратная, неожиданно тяжелая книга в гладком черном переплете. На внутренней стороне наклеена картинка: на глобусе сидит сова. Называется «экс либрис» — «из книг» по-латыни. Такие совы есть на всех книгах отцовской библиотеки. Рисунок этот сделал Мишин дед — академик Михаил Семенович Осокин. Он умер, когда Миши еще не было на свете.

Миша стеснялся атласа: очень уж он серьезный, строгий, даже в руки неловко взять. Напечатан ровно семьдесят лет назад, а переплет как новый, золотые буквы на черном корешке прямо светятся, и карты совсем чистые, даже справа в нижнем углу, где перелистывают страницы, нет пятнышка от пальцев. Только кое-где на полях рукой деда тонко, без нажима острым карандашом написаны какие-то цифры, или стоят латинские буквы «NB». Отец объяснил: это значит сокращенно «нота бене» — «хорошенько заметить». Так в старину отмечали нужное место в книге.

Все созвездия на картах названы по-латыни. Поэтому каждый раз надо смотреть особую таблицу в конце книги. Где ж запомнить, что, скажем, «Урса майор» — это «Большая Медведица», «Боотес» — «Волопас», «Аквила» — «Орел».

Но особенно нравились Мише слова на заглавной странице: «Составил, начертил и описал Яков Мессер». Слова эти были удивительные. В атласе огромная общая складная карта всего неба северного полушария и еще двадцать шесть карт отдельных созвездий. Звезды нарисованы до шестой величины — все видимые простым глазом — три с лишним тысячи черных кружков и точек; каждая отмечена или греческой буквой, или своим отдельным номером. И все это срисовал с неба, вычислил масштаб, подробно рассказал о каждом созвездии, о каждой большой звезде один-единственный человек — какой-то Яков Мессер. Кто он был — молодой или старый, в каком городе жил, кем работал — ничего не известно. Даже отчество свое постеснялся назвать — только имя и фамилия. А наверно, он много лет составлял свой атлас, может даже всю жизнь...

В передней раздался длинный звонок, потом два коротких — позывные Ромки Букова. Миша открыл дверь. Ромка был без шапки — на голову враспашку наброшен отцовский брезентовый дождевик с подвернутыми рукавами.

— Заходи,— сказал Миша,— ноги о скребок чистил? Давай почисти, а то мне потом за тобой с тряпкой ходить.

Ромка сбежал с крыльца, раз-другой ударил подошвами о железный скребок. Когда он шел через переднюю, за ним отпечатались серые следы в елочку.

— Что, новые тапки? — спросил Миша.

— Ага, отец вчера купил из получки. Осень скоро, в сандалиях мокро ходить. А тут подошва литая, как автопокрышка.— Ромка движением плеч сбросил мокрый дождевик, и тот встал на негнущиеся пóлы, сделался похож на человека, стоящего на четвереньках.— Эти тапки как рыбацкие сапоги — воды совсем не пропускают.— Он кивнул на Мишины сандалии: — А в такой обувке только посуху ходить.

— Я могу надеть ботинки с калошами,— сказал Миша.

— Ну, калоши, брат,— это мало радости.— Ромка заправил в штаны вылезшую наверх тельняшку, подошел к столу.— Ух какая книга! — Он раскрыл атлас, увидел сову на переплете.— Это что, про птиц?

Миша рассмеялся:

— Какие там птицы! Возьми глаза в руки — это звездный атлас.

— А-а,— почтительно протянул Ромка,— отцовская книга?

— Отцовская. Смотри не измажь. Ей семьдесят лет, а она вон как новая.

Ромка изумленно взглянул на Мишу:

— Ты что?! «Семьдесят лет»! Да из нее бы уже давно все листы повыскочили.

— А вот и верно — посмотри внизу: «С.-Петербург. 1888». Ее еще при царе напечатали, когда Ленинград Петербургом назывался.

Ромка взглянул: да, все верно. Удивительное дело!

— Что ж, ее никто в руки не брал, что ли?

— Почему? — сказал Миша.— Брали, только редко, это же не для чтения книга — в ней все звезды нашего неба нарисованы.

— И те, что в телескоп видны?

— Нет, только те, что видно простым глазом. Но их тоже будь здоров — три с половиной тысячи.

— Да-а,— сочувственно сказал Ромка,— попробуй пересчитай — глаза на лоб полезут...

Они стали рассматривать атлас.

Ромка вдруг строго сказал:

— Неправильно нарисовано: небо белое, звезды черные, получается ненормально, как на негативе. На настоящем небе все наоборот. Слабоватый атлас, недаром ему семьдесят лет.

У Миши даже глаза потемнели от обиды за Мессера.

— Понимаешь ты много! Сразу видно, не сидел еще ночью на крыше. Попробуй при «летучей мыши» рассмотри на темном фоне светлые звезды, другое запоешь.

Но Ромка уже не слушал — он листал атлас, стараясь прочесть латинские названия.

— Ты что ищешь? — спросил Миша.

— Полярную звезду.

— А чего же в Льва залез? Видишь, написано «Лео». Дай я найду. Вот она — в Малой Медведице самая яркая звезда.

Ромка склонился над атласом.

— Смотри, тут и по-русски карандашом написано чего-то... «Кинозура». Что это?

— Греческое имя Полярной. В честь нимфы Кинозуры. У греков были такие богини лесов и рек. Написал дед мой — папин отец, он академиком был. Это его атлас.

— Умер он?

— Давно умер, папа еще студентом был.

Ромка пристально смотрел на Полярную.

— Интересная звезда... Возле нее спутник пролетел недавно.

— Ты сам видел? — быстро спросил Миша.

— Кабы сам... В трамвае какие-то старики между собой разговаривали: мол, спутника возле Полярной видели, а потом он к какой-то другой звезде полетел. Я только забыл к какой.— Ромка отодвинул атлас.— Эх, спутника бы увидеть! А то как сгорит, тогда уж крышка.

— Да, тут увидишь,— Миша кивнул на окно. Дождь утихал, по стеклу короткими перебежками передвигались отдельные капли, они быстро катились вниз, потом на секунду останавливались и бежали опять, но уже не прямо вниз, а наискось — вправо или влево.

В комнату вошел Мишин отец. Он всегда заходил перед тем, как идти на работу.

— Здравствуй, Рома. Как жизнь? Скоро в школу? Вон, обложной дождь пошел, лето кончается.

Ромка робко поздоровался, искоса взглянул на свои следы в елочку, но отец ничего не заметил; увидев раскрытый атлас, улыбнулся Мише:

— Не теряешь надежды? Правильно! Августовские циклоны непродолжительны — к десятому прояснится.

— Ты синоптикам скажи — пусть работают получше,— отозвался Миша.

— Обязательно поставлю им на вид.

Миша помахал рукой:

— До свиданья, папа. Приходи скорей, не задерживайся.

— Постараюсь,— сказал отец,— боюсь только, из-за спецсамолета не пришлось бы в аэропорт ехать.

— Вот опять свое! Хватит! — засмеялся Миша.

Когда в передней щелкнул замок, Ромка сказал:

— Отец у тебя неплохой мужик, хоть и профессор.

— Да, ничего,— согласился Миша.— А у тебя что, плохой?

— Нет, почему? Жить можно. Иногда, если две двойки сразу схвачу, ремня даст. Да мне не больно — ремень-то брезентовый, солдатский; крикну разок: «Ой, больно!» — он и бросит.

— Меня папа никогда не бьет,— сказал Миша,— даже если двойки принесу.

— Ну и правильно: тебя пороть нельзя — ты сирота, без матери растешь...

Ромка взглянул на Мишу, понял, что сказал лишнее, тут же поправился:

— А тебя твой плавать учит? Меня в прошлом году выучил, когда у деда в колхозе жили,— за две недели, пока в отпуске был. Все боялся, не успеет — времени мало. Так мы что? По три раза в день купались. Матери скажем — в лес, а сами на речку.

— Ладно,— сказал Миша,— поболтали, и хватит. У нас работы много. Я буду карты срисовывать, а ты готовь дневник наблюдателя.

— А как его готовить-то?

— Не бойся — покажу. Дело легкое — это не карты чертить.

Миша взял с этажерки «Метеориты» Астаповича, раскрыл «Приложение», там был напечатан образец дневника. Ромка посмотрел — сразу все понял: расчертить лист на графы, в верху каждой обозначить порядковый номер, время появления метеорита, яркость, цвет, продолжительность полета — вот и все.

За окном посветлело. Дождь перестал, но со старого тополя, растущего возле самого дома, временами сыпались тяжелые, крупные капли. Они быстро скатывались по стеклу и исчезали.

Без четверти час Миша отложил карту, сказал, что пора идти в сад на домашнюю метеостанцию — снимать дневные показания.

Они вышли из дома, по знакомой тропинке направились в глубь сада. В темной мокрой зелени забелела метеостанция. Острый железный флажок флюгера молчал,

был неподвижен. После дождя природа отдыхала — даже вверху тихо.

Миша открыл ключом сквозиую дверцу ящика для приборов, выиул диевиик наблюдателя, стал записывать показаиия.

— А мне что делать? — спросил Ромка.

— Иди к дождемеру, замерь уровеиь. Я освобожусь — проверю.

Некоторое время оии работали молча. Потом Ромка иерешительио сказал:

— В нефоскоп Бессоиа хорошо бы скорость облаков проверить...

— Как проверишь? — уныло сказал Миша.— Ты иа иебо посмотри: сплошиая пелеиа — стратусы, как вата, все забили. Я же говорил — циклон на неделю...

Небо действительно тяжелело и опускалось прямо на глазах. С севера медленно тяиулись чериые, густые дымные пряди, они плыли над самыми верхушками пирамидальиых тополей, над железиым флажком флюгера, и казалось, сейчас коснутся их, обовьют, скроют от глаз. Вдруг в глубине сада возиикло негромкое, частое лопотанье, оно нарастало, приближалось.

— Пошли! Дождь! — крикнул Миша.

Мальчики бросились к дому. Но дождь тут же настиг их. Холодиые струи хлестали по спиие, по ногам, слепили глаза. Тропиика сразу же превратилась в длиниую лужу, иа ней вскакивали и лопались тусклые пузыри. Ромка поскользнулся и упал. Он ие подиимался — сидел в луже и со смехом бил по воде своими синими новыми тапками.

Миша стоял рядом. Его куртка, штаиы, чулки потемнели и липли к телу.

— Вставай! — со слезами в голосе крикнул он.— Чего дурака валяешь?

Ромка поднялся, с иего текла вода, будто он стоял под душем.

— Что с тобой, Осокин? — Ромка удивлеино смотрел на Мишу.

— Ничего! — Миша вдруг всхлипнул.— Персеиды пропали...— По лицу его катились капли, и было непонятио: дождь это или слезы.

Десятого августа, рано утром, в передней у Осокиных зазвонил телефон.

— Слушаю,— хриплым, сонным голосом сказал Дмитрий Михайлович — он только что проснулся.

— Можно Мишу? — робко проговорила трубка.

— Он спит. Кто это? — сердито спросил Дмитрий Михайлович.

— Это я, Буков Роман, хотел ему одну вещь сказать.

— Какую вещь?

— На дворе совсем распогодилось, солнце светит. И облаков нет — даже цирусов не видно. Можно будет наблюдать Персеиды.

Дмитрий Михайлович засмеялся:

— Ладно, астроном. Сейчас позову.

Но Миша уже выскочил в переднюю, схватил трубку.

— Ромка, здорово! Солнце? Вижу, не слепой. Приходи сейчас же. Ну что ж, что рано? У нас на крыше ничего не приготовлено. Давай скорей.

Весь жаркий, по-летнему еще длинный день они занимались делами. Втащили на крышу табуреты, оборудовали на них наблюдательный пункт, потом упражнялись в определении времени полета метеоритов — размеренно считали: один, два, три, четыре; налили в две «летучих мыши» керосина, без конца гасили и зажигали их: самое главное сегодня фонари, подведут — все пропало!

Миша несколько раз проверил Ромку — тот должен по команде засекать время по карманным часам, потом заносить в журнал наблюдений данные о цвете, яркости, продолжительности полета, которые будет диктовать Миша.

Вернулся с работы отец, неслышно прошел в кабинет — не хотел мешать.

Дневное освещение уже заметно изменилось: скоро равноденствие. Сейчас только седьмой час, а солнце уже вон, за вершинами тополей. Ровный, умеренный ветер медленно колышет их, и солнце то выглянет, то спрячется, на влажной тропинке беспрерывно скачут круглые светлые пятна. Только старая, наполовину засохшая вишня, что растет у самой веранды, почти неподвижна — листья у нее остались лишь на нижних ветках. Осталь-

ные ветки коричневые, голые, как зимой, но еще живые — выпустили желтую ка́медь, она янтарно вспыхивает, когда на вишню падает солнце.

Миша сидит на ступеньках веранды и смотрит на вишню; кажется, это первое дерево, которое он увидел в своей жизни,— мама держала его на руках, показывала на что-то большое, густое, зеленое, и над самым ухом слышался голос: «А вот вишенка; смотри, Миша, какая вишенка».

И он старательно повторял: «Вишен-ка» — и тянулся к листьям.

Мама сорвала лист, дала ему. Он сразу же взял лист в рот.

А сейчас вишня совсем голая, живые бледно-зеленые листья растут только на самых нижних ветках. Осенью придется срубить ее на дрова...

— Что задумался?

Ромка, спустившись с чердака, неожиданно подошел сзади.

— Ничего,— сухо сказал Миша — он не любил, когда его видели возле старой вишни.— Пошли в дом, сейчас будет проверка времени. Надо часы подвести, они, кажется, отстают.

Закат застал их уже на крыше. Тускло горели оба фонаря. На табуретках были разложены карты, наколотые на фанеру, журнал наблюдений, бинокль, часы, выверенные до одной минуты. Они сидели на теплом, еще не остывшем железе крыши и смотрели на небо. Солнце только что зашло. Нежаркое, большое, спокойное, оно опустилось медленно, не теряя лучей — небо после циклона было совсем чистое, горизонт обозначен очень резко. Над западом стояло огромное, почти до самого зенита, слепящее сияние. Оно занимало полнеба, захватив и северный и южный края горизонта, и казалось таким же ярким, как солнце.

Ромка с завистью смотрел на Мишу — у того в руках был полевой бинокль; значит, он первым заметит Персеиды. Они все время летят по небу, только сейчас их пока не видно — забивает солнечный свет. Ромка вытянул затекшие ноги, крыша под ним сразу же загремела.

— Тихо ты! — цыкнул Миша.

Ромка быстро подобрал огни. Сегодня он был совсем смирный, не спорил, слушался каждого слова Миши.

Миша поднял бинокль, повел по горизонту.

Небо медленно менялось. На месте слепящего сияния встало пурпурное зарево; яркое золото осталось только там, где солнце ушло за горизонт. Да и зарево уже темнело — из пурпурного становилось багровым. Справа и слева на него надвигалась, медленно теснила вечерняя, ровная, глубокая синева.

— Вот! — громко сказал Миша.

— Что? Летят? — Ромка хотел вскочить, но побоялся, что загремит крыша, и он только придвинулся к табурету, где лежали часы и журнал наблюдателя.

— Нет,— Миша биноклем указал на восток,— это Юпитер, вон видишь, первым загорелся, в Стрельце.

Юпитер стоял над самым горизонтом и горел красным немигающим планетным светом, как далекий светофор. Одна за другой возле него — сверху, справа, слева — робко проступали бледные, слабые звезды Стрельца. Вот под самым Юпитером зажглась еще звезда. Свет ее был тоже слабый, но ровный, как у Юпитера.

— Гамма Стрельца,— неуверенно сказал Миша.

Но вдруг «Гамма Стрельца» стала медленно подниматься вверх, вот она поравнялась с Юпитером, вот уже миновала его...

— Что такое? — растерянно сказал Миша.— Персеида? Но почему одна?

— Какая Персеида! Спутник это! — задыхаясь, крикнул Ромка.— Спутник летит! — Он запрыгал от радости, и темная, остывшая крыша под ним загрохотала, как гром.

А неяркая, ровно светящаяся звезда миновала уже Стрельца. Она прошла под палицей Геркулеса, обогнала тяжело подымающихся с востока звездных птиц — Лебедя и Орла — и стала взбираться к зениту, к Медведицам, к Гончим Псам и Дракону.

И тогда навстречу необыкновенной звезде из-за горизонта вылетели новые звезды. Они вылетели огненным роем, но сразу же рассыпались по небу, оставляя за собою светлые следы. Минуту небо было спокойным. Спутник уже миновал зенит, спускался к западу, шел между звездами Большого Льва. И тут, как бы прощаясь с ним,

с востока снова вылетели Персеиды. Их было еще больше, они заняли все небо, проносились через все созвездия; казалось, рассыпался сам Млечный Путь и сверкающей пылью устилает дорогу маленькой звезде, спокойно уносящей за горизонт свой неяркий, ровный свет.

— Ушел...— тихо произнес Ромка.— Долго летел над нами, все небо пересек... Жаль, не заметили время и путь по карте не провели...

— Ничего! — сказал Миша.— Его путь давно вычислен. Пока мы смотрели, он вокруг Земли тысячи километров прошел.

Миша взглянул на часы, поправил звездную карту на фанере, поднял полевой бинокль.

— Приготовились! Сейчас Персеиды опять покажутся.

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

АНЕМОНА

С самого утра сильный ветер начал сносить на город холодную водяную пыль, но дождя пока не было, и только около десяти часов он вдруг припустил вовсю.

— Скорей, девушки! — крикнула Галя и, низко наклонив голову, бросилась бежать к университету.

Надя и Аня побежали за ней. В вестибюль они влетели запыхавшись, с раскрасневшимися лицами.

— Что, весна? — Отложив газету, швейцар Иван Семенович поверх очков взглянул на промокших девушек.— А как же в «Вечерней Москве» вот писали, что холода будут только до пятого мая? Сегодня уже седьмое...

— Да, осенняя в этом году весна,— сказала Галя, самая маленькая, самая темная из всех. Она сняла берет, стряхнула с него дождевые капли.

Хорошо знакомая ботаническая аудитория сегодня была неприветливой. В комнате стоял полумрак — точь-в-точь как в октябре, и поэтому хотелось зажечь электричество. Время от времени серые косые струи сносило ветром, и тогда в окно раздавался стук, короткий, еле слышный и жалобный.

Галя потрогала трубы радиатора, вздохнула:

— Холодные...

— А где ж это топят в мае? — спросила Надя.— На полюсе разве что.

Она вынула гребенку и порывистыми движениями стала расчесывать свои мальчишеские короткие, почти

белые волосы. Светлые глаза ее сердито смотрели на дождь за окном.

Галя подошла к окну, подула на стекло и написала мизинцем: «Нам холодно».

Потом подула ниже и написала: «Нам страшно холодно. Ах, как холодно...»

Все засмеялись.

— Ну, девушки, довольно ныть,— решительно сказала рослая, широкая в кости москвичка Аня. Ей было уже двадцать лет, и носила она китель с двумя орденскими ленточками.— Смотрите, без четверти десять. Юрий Павлович вот-вот появится, а у нас ничего не готово. Нехорошо: человек в третий раз приходит на консультацию в воскресенье, а мы об этом совсем не думаем.

— И очень даже думаем,— недовольно сказала Галя,— тебе бы только покомандовать, товарищ старшина...

— А если думаем, тогда поставь цветы в кувшин, смотри — они совсем завяли. Ты, Надежда, вынимай тетрадки для рисования и приготовь доску, а я достану из шкафа бинокулярные лупы и «Весеннюю флору».

Галя принесла кувшин с водой и опустила в него желтые цветы неизвестного вида, собранные накануне в лесу, в Сокольниках. Аня и Надя расставили на столах бинокулярные лупы, разложили определители растений, препаровальные иглы, пинцеты, тетради, начисто вытерли доску и приготовили мел.

От этих хлопот сразу стало теплее.

Дождь на дворе шел теперь не так уж сильно, и пространство за окном было зачерчено лишь легкими пунктирными линиями. В комнате немного посветлело.

— Странная в Москве весна,— сказала Надя,— вся из каких-то кусочков: кусочек марта, потом опять пласт зимы. Кусочек апреля — и пласт осени. Вот у нас в Омске совсем другое — зима стоит иногда до самого апреля, но зато если уж уходит, то насовсем.

— Март-то, положим, был настоящий,— сказала Галя,— май осенний, это верно, а март был. Я даже хорошо помню, когда началась весна — в ночь с шестнадцатого на семнадцатое.

— Ну и что же было в эту ночь? — недоверчиво спросила Аня.

— А вот что: шестнадцатого был совсем еще зимний день. Везде тихо, морозно, бело. И вдруг ночью уже — я

в библиотеке долго засиделась — выхожу во двор, а мне прямо в лицо ветер — сильный, теплый. Точь-в-точь как у нас с Подола дует, перед тем как Днепру вскрываться. Киевляне так уж и знают: раз подул ветер с Подола — конец зиме. Иди на Владимирскую Горку и смотри ледоход.

— Вот у нас на Иртыше ледоход — это да. Каждый год целое ледовое побоище,— вставила Надя.

— Три раза видела ваш сибирский ледоход, когда в эвакуации была. Очень здорово, а все-таки наш днепровский лучше. Но постойте, я сейчас о ветре кончу. Села я в трамвай, на окнах везде еще ледяная корка, только совсем уже не зимняя: ту скребешь, скребешь, даже ноготь согнется,— и ничего. А к этой я только палец приложила — она сразу же растаяла. Приехала в общежитие. Везде — сонное царство. Я тоже легла, а спать никак не могу. И вот знаю же — ночь на дворе, ничего не видно, а все-таки хочется хоть понюхать весну, раз посмотреть нельзя. Подхожу к окошку, а на дворе наш киевский ветер гудит, крышами грохочет,— словом, гонит зиму в шею. И вот уже совсем на рассвете вдруг слышу: кап-кап-кап. Открыла я форточку, и прямо надо мной с крыши, с одинаковыми промежутками: кап-кап-кап. Тут и поняла я, что московская весна наконец-то пришла.

— А все-таки это только кусочек весны,— вздохнула Надя.

Наступило молчание. Над Арбатом небо было уже не такого густого, безнадежного серого цвета. В небе появились пятна, правда, тоже серые, но уже без дымной черноты и угрюмости. Ветер продолжал дуть с Волхонки, и над университетом низко и быстро неслись тучи, пустые, тощие, отдавшие земле всю воду.

— А я такой же маленький кусочек апреля видела,— сказала Надя.— Это в тот день было, когда я за растениями ездила и купавку нашла, на которой Галя засыпалась. Помнишь?

— Ну, помню,— недовольно ответила Галя,— а все-таки вид я и тогда первая определила.

— Да, конечно! Когда я нашла уже семейство, а Ния род, ну, а вид найти тебе Юрий Павлович помог. Старая история...

— А зато я сама медуницу всю определила! — крикнула Галя.— Ага! А ты даже семейство не могла устано-

вить. Вместо бурачниковых к гвоздичниковым полезла. Что, неправда, скажешь?

— И совсем не так это было. Зачем ты выдумываешь, Галина! — вспыхнула Надя.

— Нет, не выдумываю, нет, не выдумываю! Это вся группа знает, что ты тогда к гвоздичниковым полезла. Юрий Павлович еще смеялся: «У Краевской явное пристрастие к гвоздичниковым. Сразу видно — будущая кариофилистка...»

В это время часы в коридоре стали бить десять, и в аудиторию вошел Юрий Павлович.

— Как? Опять? — спросил он.

Девушки притихли. Юрий Павлович снял пальто и остался в таком же кителе, как и Аня, с такими же орденскими ленточками.

— Нет, вы скажите, неужели же опять ссора из-за бурачниковых и гвоздичниковых?

— Опять,— виновато подтвердила Галя.

— Ведь в прошлое воскресенье из-за них спорили?

— Из-за них. Но в этом, честное слово, не я, в этом Надежда виновата. Вы помните, Юрий Павлович, когда мы медуницу лекарственную на занятиях определяли? Пульмонарию оффициналис? Помните? Так вот, скажите: полезла тогда Надежда к гвоздичниковым или нет? Я говорю — полезла, а она злится. Она вообще вечно злится. Жуткий характер...

Юрий Павлович смеющимися глазами оглядел девушек.

— Надя полезла к гвоздичниковым,— подтвердил он,— но не припомните ли вы, уважаемая флористка, кто это фиалку искал среди лебедовых?

Все засмеялись.

— Ну, искала,— призналась Галя,— а почему? Меня количество тычинок сбило.

Юрий Павлович взглянул на часы.

— Ого! Уже начало одиннадцатого, а мне надо в одиннадцать тридцать уходить. Растения собрали?

— Только один вид, Юрий Павлович,— виновато сказала Галя,— кроме него, в лесу нового пока ничего нет. Но зато этот цветок прямо чудесный.

— А у вас есть не чудесные цветы? Есть? Сомневаюсь. Ну, где же ваш новый чудесный вид?

Галя пошла за шкаф, вынесла оттуда кувшин с желтыми цветами и поставила их на стол.

— Что, не чудесные, скажете, да?

Юрий Павлович ничего не ответил. Он молча смотрел на цветы и слегка щурился, словно оправившиеся от влаги, выпуклые золотистые лепестки испускали слишком сильный свет. Потом сказал:

— Давайте приступим к определению. Может быть, сразу попробуем установить семейство? Товарищ Бирюкова!

Аня вынула из кувшина цветок, стала внимательно рассматривать его строение.

— По-моему, это растение из семейства лютиковых,— тихо сказала она.

— По каким признакам вы относите его к лютиковым?

Аня перечислила признаки семейства.

— Верно. Теперь продолжайте, товарищ Нестеренко.

Галя открыла определитель на странице с описанием лютиковых:

— «Листья глубоко-лопастные или раздельные. Стебель несет мутовку из трех листьев».

Юрий Павлович взял из кувшина цветок.

— Обратите внимание на эти листья, товарищи: по-моему, они похожи на маленькие птичьи крылья. Правда? — Он осторожно провел мизинцем по узорчатым долькам листа неизвестного пока растения.— Ну, читайте дальше.

— «Цветы одиночные, крупные, желтые»,— прочла Галя и искоса взглянула на Юрия Павловича.

Он сосредоточенно рассматривал растение и улыбался.

— Интересное строение цветка,— тихо сказал он,— сам крупный, глазастый, а пестики — точно золотистый зрачок...

Он взглянул на девушек:

— Дальше, товарищ Краевская.

Надя подвинула к себе книгу.

— «Лепестков пять. Высота от десяти до двадцати пяти сантиметров». Определение закончено. Род — Анемона, вид — ранункулёидес.

— Измерьте длину стебля.

Надя приложила линейку.

— Ровно одиннадцать сантиметров. Совсем маленькая.

— Нет, нет,— с живостью возразил Юрий Павлович.— Это просто угнетенный экземпляр, а обычно анемона вовсе не маленькая. Это цветок высокий и стройный.

— И чудесный? — лукаво спросила Галя.

— И чудесный,— серьезно подтвердил Юрий Павлович,— самый чудесный цветок в мире.

— А вы давно его знаете? — опять спросила Галя.

— Десять лет уже. Я, как и вы, учился тогда на первом курсе биологического факультета.

— А систематику проходили? — перебила Галя.

— И систематику проходил, и даже вот в этой самой аудитории.

— А место у вас постоянное было?

— Было. Вон то, где сейчас Аня сидит. И жил я в общежитии, и стипендию получал, и обедал в столовке на Газетном,— смеялся Юрий Павлович.— Разница только знаете в чем была? В том, что вам — восемнадцать лет, а мне было тридцать. Я был самым старым студентом на первом курсе.

Юрий Павлович взял со стола кувшин с цветами, поднес их к лицу.

Первая встреча с анемоной... Это было в апреле. Он поехал в лес за растениями, а весна была поздняя, холодная. Лес совсем осенний — сыро, мрачно, темно. И вдруг на опушке стволы сосен озарились желтым светом: солнце проделало в тучах маленькое отверстие и пропустило сквозь него один луч. И в этом луче золотисто светилась анемона. Должно быть, совсем недавно она пробилась сквозь настил сгнивших прошлогодних листьев — стебель ее был еще изогнут от усилий, но над мертвой листвой сиял уже ее крупный, светлый, теплый цветок, а легкие резные листья трепетали, как маленькие птичьи крылья...

Юрий Павлович осторожным движением поправил цветы в кувшине.

— Потом, много позже, на фронте уже, она часто снилась мне, и всегда такой, как увидел впервые... Но мы опять заговорились,— перебил он сам себя,— а нам нужно еще вычертить диаграмму строения цветка и вывести его формулу. Товарищ Бирюкова, прошу к доске.

В дверь постучали.

— Войдите,— сказал Юрий Павлович.

Дверь тихо приоткрылась. На пороге стояла молодая женщина.

— Извините, товарищи,— звучным, низким голосом смущенно сказала она,— я помешала вам.

Юрий Павлович поднялся ей навстречу.

— Да нет же. Мы уже почти окончили,— он слегка запнулся,— наши занятия.

— Да, да, окончили,— с живостью поддержали его девушки,— мы только что определили Анемону ранункулёйдес.

— Анемону? — Женщина быстро взглянула на стол, увидела цветы.— Анемона...— покраснев, тихо повторила она.— Можно мне взять один цветок?

— Пожалуйста, берите,— ответили девушки,— ведь мы уже определили и вид, и род, и семейство. А диаграмму мы дома начертим и покажем Юрию Павловичу.

— Нет, нет,— засмеялся Юрий Павлович,— если уж на то пошло, давайте честно разделим букет. Я ведь тоже хочу взять себе анемону.

Тогда Аня вынула цветы из кувшина и разделила их поровну на пять частей.

Пока Юрий Павлович завертывал цветы в бумагу, Галя незаметно придвинула к себе тетрадку и написала: «У нее глаза темные, а он говорил — светлые, золотистые».

Надя прочла и быстро написала в ответ: «Не глаза, а зрачки,— понимать надо».

— Очень бы хотелось побыть с вами, девушки,— сказал Юрий Павлович,— но ровно в двенадцать во МХАТе начинаются «Три сестры». Поэтому — до следующего воскресенья. Думаю, к тому времени и цветущих растений будет уже гораздо больше.

Когда девушки остались одни, они оглянулись и вдруг не узнали своей аудитории. Ее всю наполняло солнце, взявшееся невесть откуда. Оно сверкало на стеклах бинокуляров, на пинцетах, на остриях препаровальных игл. Оно отражалось в кувшине с анемонами. Словом, солнце заполняло теперь не только ботаническую аудиторию, но и весь университетский двор, всю Моховую, всю Москву — и было полновластным хозяином и неба и земли.

Галя подошла к окну и вдруг вскрикнула:

— Смотрите, смотрите!

Девушки подбежали к ней и увидели, что старая, ободранная осина, которую всю зиму считали засохшей, выпустила на ветках маленькие красные рожки, и они, как елочные свечи, поднялись к небу.

— Смотрите, смотрите!— крикнула опять Галя и показала теперь уже не вверх, а вниз, и все увидели — у самой водосточной трубы асфальт осел, и в узенькую трещину с трудом протиснулись три неизвестного вида травины, очень длинные, очень зеленые и очень смущенные своей смелостью.

И когда убрали ботанические принадлежности и надели совсем просохшие пальто, подруги в последний раз взглянули на окно, через которое вошел май. Галиных надписей не было уже в помине — стекла высохли, и окно стало чистым, прозрачным и светлым, как подобает быть всякому порядочному окну в мае месяце.

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Не помню, когда и от кого я впервые услышал о шаровой молнии, но то, что я узнал, поразило меня: шаровая молния совсем не похожа на обычную.

Она тихая, возникает таинственно и страшно. После грозы в открытую форточку бесшумно влетает небольшой — в кулак величиной — огненный шар, он медленно плывет в воздухе, взмывает к потолку и, облетев комнату, неслышно удаляется тем же путем, каким появился. Но так бывает не всегда; боже упаси, если шаровая молния встретит на своем пути некое препятствие,— она с оглушительным треском взрывается, в доме вспыхивает пожар, его очень трудно потушить: шаровая молния мстит за свою гибель.

При ее появлении надо отдаться на волю судьбы. Лучше всего застыть на месте, затаить дыхание, закрыть глаза,— малейшее движение вызовет ток воздуха в комнате, помешает свободному полету, шаровая молния на что-либо наткнется, и произойдет взрыв.

Я допытывался у отца — что можно прочесть о шаровой молнии, о встречах с нею; отец ничего не мог мне посоветовать: он не знал таких книг.

Тогда я сам принялся за поиски — начал со статьи в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Там о шаровой молнии было написано всего несколько строк: она наблюдается очень редко, имеет форму шарообразного тела. Взрывается по неизвестным причинам и представляет собою самый опасный вид электрической энергии. Дополнительная литература к слову «Гроза» имелась на немецком.

Оставалось одно — надеяться на случай: авось мне посчастливится самому увидеть шаровую молнию.

У нас, в Куранске, самые свирепые грозы случались накануне или в день Ильи-пророка — двадцатого июля.

Сейчас, когда с той поры прошло более полувека, мне почему-то кажется, что ни один ильин день не обходился без грозы.

Обычно уже в середине месяца начиналась нестерпимая жара: с утра синий ртутный столбик градусника показывал «двадцать пять». На совершенно чистом небе единовластно царило маленькое, добела раскаленное солнце. В его лучах быстро истаивали ночные облака, которые с утра кое-где еще робко жались к горизонту. Солнце подымалось все выше. Но была уже вторая половина лета; на календаре значилось: долгота дня пятнадцать часов пятьдесят семь минут — на целых полтора часа меньше, чем в солнцестояние. И солнце, не достигнув июньской высоты, начинало снижаться. Тогда на горизонте, осмелев, появлялись облака. Вначале это были обычные кучевые облака — светлые, легкие, огромные, как горы. Но вот в них появлялся слабый, чуть заметный темноватый подбой. Он густел, ширился, охватывал все облако; вместо стоячего снежно-белого холма на горизонте распластывалась тяжелая, темная туча. Цвет ее постепенно менялся: темно-синий, густея, переходил в лиловый, потом в свинцово-серый; туча обрастала буйными вихрами, снималась с места и бесстрашно ползла к солнцу. И вот всем своим огромным телом туча наваливалась на солнце, подминала его. Сразу исчезал зной; в пересохшей траве умолкали кузнечики, прятались птицы. Природа настороженно замирала в ожидании грозы.

Так было и сегодня, в ильин день; с утра я почему-то был уверен, что увижу шаровую молнию.

Когда солнце скрылось и на небе уже безраздельно господствовали тучи, я пошел в столовую, открыл форточку. Повеяло тревожно-прохладным дыханием близкой грозы.

С тех пор как помню себя, я никогда не боялся ее, всегда ждал, любил смотреть на нее, даже выдумал особую игру: быстро-быстро мигал глазами — «делал молнию», потом с силой грохал дверью — это был гром.

Ни отец, ни мать никогда не сердились на меня за это. Они сами очень любили грозу, обвальный ливень, сильный ветер.

Сегодня в честь Ильи-пророка гроза собиралась быть особенно свирепой: тучи не плыли, а неслись по небу — им было тесно в вышине, они наползали, стал-

кивались, тараннлн одна другую. И вот самая большая опоясалась золотой волнистой лентой. Сразу же, без обычного промежутка, прямо над домом грохнул первый удар.

Начннался небесный бой. Я распахнул раму: надо открыть шнрокую дорогу шаровой молнин. Пусть оиа влетит ко мие в комнату. Я не убегу, ие закрою глаза, я встречу ее лнцом к лнцу; когда в иескольких метрах от меня она медлеино проплывет по комнате, я буду смотреть на нее, чтобы иа всю жизнь запомннть таинственный, чудесный образ. Я был уверен: шаровая молиия не причииит мие вреда — я ведь буду неподвнжен и смогу почувствовать иа лице ее грозное дыханне, свежий, острый запах озона, запах заоблачных высей, небесиой чистоты. А когда она улетит, я буду играть в шаровую молнию: неслышио н легко проннкну через окно, раскннув руки, проплыву по комиате н бесшумно исчезну. Но это будет потом, а сейчас я должен, непременно должен увндеть шаровую молнию.

Тем временем гроза набирала снлу. За окном все смешалось; в сером лнвиевом тумане то исчезали, то появлялись садовые деревья. Штормовой ветер прнгнбал к земле могучие шнрокие кроны старых яблонь, в комнату влеталн сорванные вихрем крепкие, темно-зеленые лнстья.

Сегодня гроза была иеобычная: ие ушла, как всегда, когда иачался лнвень. Вдвоем оии бушевалн, неистовствовали в саду. Лнвневые струи, разбиваясь о деревья, вздымали мельчайшие брызги, и сад казался как бы глубоко погружеииым на дно озера. А вверху беспрерывно с востока иа запад неслись тучевые ратн. Это грозиое воинство все шло н шло туда, где еще иедавно находнлось солнце.

Тучн хотелн стереть, уннчтожить самую память о нем.

Временамн с неба прямо в сад отвесно ударял слепящий золотой «перун», н тогда весь дом вздрагивал, как прн землетрясении. Вероятио, над садом находился эпицентр грозы. Зиачит, здесь и только здесь могла родиться шаровая молиия.

Надо сделать сквозияк. Еслн она появится где-лнбо поблнзости, ее током воздуха принесет к дому.

Я открыл дверь. Сейчас же ветер со страшной силой

ударил в оконную раму, стекло вылетело, разбилось вдребезги. В столовую вбежала мать.

— Толик, что случилось?

— Ничего,— сказал я,— это вон стекло...

— Но зачем же ты открыл окно? Сейчас гроза. Молния может ударить в дом.

— Нет,— сказал я,— обычная линейная молния поражает высокие предметы, а в комнату может залететь только шаровая. Она — тихая, спокойная. Вот я ее и ловлю.

— Но это было бы ужасно! — мать в отчаянии протянула ко мне руки.— Толик, умоляю тебя — закрой окно! Или ты хочешь, чтобы к нам в дом пришло несчастье?

Что делать... Я закрыл окно. К тому же гроза стала уже стихать. Тучи, отдав земле всю свою воду и электричество, налегке быстро уходили к горизонту.

Вошел отец в халате, с грелкой. Узнав, в чем дело, засмеялся.

— Значит, опять неудача...

Отец знал о моем пристрастии к шаровой молнии, но смотрел на это сквозь пальцы и даже, кажется, мне сочувствовал. Мы с ним давно дружили, когда я был маленьким — играли вместе. Последнее время отец часто прихварывал. Был он сыном сельского учителя, сам стал учителем гимназии — на медные гроши окончил естественный факультет. Вспоминая студенческие годы, говорил, что у него тогда было главное желание — поесть досыта. Теперь отец преподавал математику, мы не нуждались, но за обедом он грустно шутил: как и в студенческие времена, на вкусные вещи ему можно только смотреть, а самому питаться пищей младенцев — кашкой да киселем...

О болезни своей он говорил редко, обычно лишь подшучивал над нею, старался перевести разговор на любимую тему — о природе. С детства он хорошо знал деревья, травы, при доме развел большой сад, выписывал редкие растения из дальних углов России, приучал их к жизни в нашем Куранске.

— Странно...— сказал отец,— такая сильная гроза... Неужели ты не видел ее даже издали?

Я печально вздохнул.

— Терпение, Толик! Все прекрасное так же трудно, как и редко. Это сказал один старинный философ. А трудное и редкое сразу не дается.

— Какой философ? — спросил я.

— Был такой Бенедикт Спиноза, жил в Голландии триста лет назад. Очень больной, очень бедный, умер рано, но успел написать много замечательных книг.

— А он знал шаровую молнию?

— Сомневаюсь. Но он знал другое: если человек к чему-либо стремится, он достигнет своей цели. Спиноза достиг своего — книги его читает весь мир. Думаю, что и тебе непременно повезет с шаровой молнией.

Я сказал, что сегодня видел ее во сне, будто она прилетела к нам: как большой мыльный пузырь, летает под потолком, в ней отражаются окна, дверь, яблони в саду...

— Что ж,— сказал отец,— сон будет в руку. В старину было поверье: сны под ильин день сбываются.

— Ты все утешаешь меня...

Отец засмеялся. Смех его был не прежний, когда мы оба хохотали так, что мать заглядывала в комнату: «Что тут у вас?»

Теперь отец лишь тихо, как бы виновато ухмылялся, словно ему было неловко за свою болезнь.

Мне захотелось развлечь его.

— Папа, пойдем сегодня в Петропавловский бор, поищем цветущий вереск. Помнишь, в прошлом году ходили в ильин день?

— Что ж, можно пойти.

После грозы наш сад преобразился, ожил — мокрые листья яблонь слепяще сверкали на солнце, и весь сад тихо и влажно шелестел, хотя ветра не было: с верхних веток падали дождевые капли, под их ударами листья нижних веток вздрагивали.

Мы вышли из дома налегке, я взял только картонную папку и кухонный нож — выкопать вереск и посадить его в нашем саду.

Дорога в Петропавловский бор вела к мосту через Оскол. Мост этот я знал с раннего детства, вероятно лет с трех: отец и мать приводили меня сюда смотреть ледоход. Это был наш семейный праздник — его ждали уже с начала марта. Ледоход почему-то всегда начинался но-

чью. Еще недавно Оскол был по-зимнему белый, твердый, недвижный. Кое-где на нем виднелись маленькие лунки.

По воскресеньям рыбаки весь день сидели у них. Они выходили на лед, даже когда он уже вздувался и темнел под мартовским солнцем, а у берега синели полыньи.

Весть о ледоходе мгновенно облетала Куранск; все, кто был свободен, шли на мост.

Льдины плыли нескончаемыми косяками. В первый день шли льдины огромные — целые маленькие поля. Часто их пересекали пешеходные тропки, следы санных полозьев. На темном снегу желтела солома, упавшая с возов, иногда валялись утерянные вещи: погнутое ведро с раструбом — «цебарка», ременный кнут, оторвавшаяся с копыта, сверкающая на солнце подкова.

Были льдины, покрытые совсем нетронутым снегом: они плыли издалека — с пустынных, отдаленных от жилья верховьев Оскола.

На второй день льдины мельчали, плыли в одиночку, перед мостом кружились в водоворотах, сталкиваясь с огромными горбатыми «быками» — ледорезами, разбивались в крошево и исчезали.

Весь день на мосту стояла толпа. Расходились затемно, шли домой не спеша, прислушиваясь к шуму воды, к скрежету невидимых уже льдин.

Сейчас мы, как обычно, остановились на мосту. Оскол давно вошел в берега. Правый берег, высокий, обрывистый, прозванный за крутизну «Кавказом», почти отвесно спускался к реке. Домов здесь было немного, они лепились на редких маленьких площадках по склону берега. У такого дома не было двора — только крошечный «пятачок» перед входом, но я всегда завидовал «кавказцам»: они жили выше всех в Куранске, жили «в горах», оттуда было хорошо видно лесистое Заосколье с железной дорогой, по ней ежедневно проходили маленькие, как спичечные коробки, товарные поезда. Они исчезали в Петропавловском бору, и только по клубам темного дыма над деревьями было видно, что идет поезд. За бором лежала деревня Петропавловка. По праздникам оттуда доносился церковный звон.

Почти у каждого «кавказца» была собственная лод-

ка. Целая флотилия их стояла внизу на реке. «Кавказцы» были заядлыми рыбаками — ловили с марта до октября.

— Папа, а ты хотел бы, чтоб мы жили на «Кавказе»? — спросил я.

Отец засмеялся.

— Постой, почему это мы должны переезжать на Кавказ? Разве тебе Куранск не нравится?

— Ах, да я не про тот Кавказ, не про настоящий, я про наш, вот про этот.

По лицу отца я понял — ему нравится мой вопрос: он любил неожиданное, странное, даже нелепое, лишь бы оно было необычным, не скучным, не пошлым.

— Что ж, на «Кавказе» хорошо бы пожить... А какой дом ты выберешь?

«Какой дом»... Каждый по-своему хорош: все, как ласточкины гнезда, висят над обрывом. Если ночью спросонья выскочишь за дверь, можно загреметь прямо в Оскол.

— Любой дом подходит,— сказал я,— все стоят очень высоко. В грозу тучи несутся над самыми крышами, все кругом наэлектризовано. Тут наверняка летают шаровые молнии. Не то что у нас, на Нагорной — за все время ни одна не появилась...

Отец усмехнулся.

— Тут самое главное — выдержка и терпение...— Он взглянул на вечереющее небо.— Может, двинемся?

Но мне хотелось еще постоять на мосту, посмотреть на Оскол. Отсюда он казался необыкновенным — черно-золотым: солнце уже снизилось, лучи, отражаясь в реке, плавили ее; течение дробило солнечные блики, они сверкали, прыгали, и вода вдали была веселая, живая. Неужели это та же вода, что и под мостом,— медленная, тяжелая, черная от теней? В ней наверняка не держится рыба...

Я столкнул ногой несколько мелких щепок, они отвесно полетели вниз, шлепнулись на воду. Сейчас же вокруг них возникла неистовая возня — щепочки запрыгали в воде: стаи уклеек набросились на них, стали объедать. Я обрадовался: сколько рыбы! А я-то думал — под мостом она не живет.

Отец, улыбаясь, смотрел на воду — тоже любовался уклейками.

Пора идти в бор, иначе обратно будем возвращаться затемно.

Булыжная дорога обрывалась перед мостом. За ним был уж не город, а Куранский уезд. По ту сторону Оскола от моста на Петропавловку начинался проселок, сильно разбитый лошадьми. Идти было трудно — нога по щиколотку увязала в глубоком речном песке. До старого бора оставалось недалеко, но я видел — отец идет медленно и виновато улыбается. Эх, напрасно пошли мы сегодня в Петропавловский бор...

— Папа, тебе плохо? — спросил я.— Может, вернемся?

Он удивился:

— С чего ты это взял, Толик?

— Тебе трудно идти.

— Не более, чем тебе,— по такому песку даже битюги еле тащатся. Это же пойменная терраса — песок здесь очень глубокий.

Мы поравнялись с невысокими холмами, поросшими красноталом. Я знал каждый холм: в первый же теплый солнечный день мы ходили сюда всей семьей за вербными «баранчиками». Дома их ставили в бутылки с водой, они еще долго жили, потом начинали тихо осыпаться.

Отец тоже вспомнил о «баранчиках», он остановился, смотрел на краснотал, покрытый теперь узкими сизыми листьями.

— Лозы мало — петропавловцы режут на корзины.

— Ее тут скоро не будет? — с тревогой спросил я.

— Нет, почему же, краснотал очень живучий, очень упорный. Если корень цел, куст будет расти, выгонит новые побеги.

Петропавловский бор начинался за холмами. Это был очень старый, сухой, чистый сосняк. Громадные мачтовые деревья встретили нас сразу же, как только мы спустились с холмов.

Сосны росли редко, кроны их почти нигде не соприкасались. В бору было светло, сухо, просторно и видно далеко-далеко в глубину. Вдали сосны постепенно, почти неприметно сближались, потом теснились друг к другу, и вот уже видна лишь высокая, сплошная, тускло-желтая стена. Вверху между ближними соснами наклонно про-

тянулись дымно-голубые столбы света: солнечные лучи, пройдя сквозь кроны, умеряли свою яркость, ее поглощала хвоя. Оттуда же, сверху, налетал, то усиливаясь, то замирая, ровный, спокойный шум, хотя внизу было совершенно тихо, но там, на высоте, никогда не утихал ветер — старый бор шумел непрерывно, как море.

Отец стоял под соснами, прикрыв глаза, медленно и глубоко вдыхал смолистый запах нагретой хвои. Этот запах, и дымно-голубой свет, и тихий шум, похожий на рокот волн,— все было заключено для нас в одном — Петропавловский бор.

Я помнил, как в самый-самый первый раз, когда мы сюда пришли, отец за мостом посадил меня на плечи и нес вот до этого места — до входа в бор. Ходили мы всегда одной и той же дорогой, встречали нас одни и те же знакомые сосны, каждую я знал в лицо, у каждой было свое имя. Ближе всех к краю бора росла самая высокая, самая толстая, самая старая сосна — «Вавилонская башня». Много раз мы пытались узнать — сколько ей лет, но следы от нижних ярусов давно заросли чешуйчатой корой, а верхние ярусы были плохо видны с земли. Все же на глазок прикинули: «Вавилонской башне» не менее ста лет.

В последний раз мы были здесь ровно год назад — в такой же ильин день. Отец тогда шел легко, быстро и не отставал от меня, как сегодня. Его волосы, подстриженные ежиком, как у всех гимназических учителей, были черные, густые, словно сапожная щетка. И лицо было сильно загорелое. С мая, с каникул, он весь день копался в саду. А сейчас, когда отец снял панаму, «ежик» был растрепанный, влажный, в нем белели седые волосы; и лицо бледное, как зимой, совсем больное: отец теперь больше не работал в саду, говорил, что хочет поваляться на диване, почитать «Вокруг света».

Сейчас отец, по обычаю, «здоровался» с «Вавилонской башней», шутливо спрашивал, как она «живет-может». «Вавилонская башня» была такая же, как и в прошлом году, как и в первый раз, когда я ее увидел: над ней остановилось время.

...Из ровного, серого, голого, скучного песка неожиданно вздымается могучее необхватное древо, легко и сильно возносится ввысь. Мы закидываем головы, чтобы увидеть убегающий вверх ствол, ведем взгляд выше, вы-

ше, еще выше. Вот и головы наши запрокинуты до отказа, а ствол все тянется и тянется к небу. И вдруг под самыми облаками выбрасывает огромную черно-зеленую, узорчато-сквозную крону. В ней нельзя различить отдельные ветки — все слилось в сплошной громадный шатер.

Шея затекла, я опускаю голову, вижу — в тихом веселье бесшумно мечутся по песку солнечные зайчики: мгновенно появляются, мгновенно исчезают и снова появляются — уже рядом. «Вавилонская башня» играет — ловит и отпускает солнечные лучи.

— Старая, а балуется,— говорит отец,— теперь давай-ка рассмотрим ее поближе.

Мы вплотную подходим к «Башне». Да, здесь все разное, ничто не повторяется — ни форма, ни цвет. Снизу — от самой земли — отходят темно-серые ромбы, крупные, грубые, гранитно-твердые. Чем выше, тем они все уменьшаются, становясь тоньше, изящнее, нежнее. Это уже не ромбы, это чешуи; на глазах они меняются, светлеют: вот они желтые, вот оранжевые, почти красные. Ствол, освещенный низким солнцем, разгорается, горит жарким медным светом и, пламенея, уходит ввысь.

Отец садится на теплый песок, перебирает старую блестяще-скользкую хвою; ее много нападало с вершины «Башни».

— Папа, долго еще будет жить «Башня»? — спрашиваю я.

— Если человек не тронет, проживет столько же, сколько прожила — лет до двухсот. Она — здоровая, нет ни одного дупла, ствол крепкий, чистый...

Отец ложится на песок, закидывает руки за голову, смотрит на «Башню».

— Да, Толик, еще ни меня, ни тебя не было на свете, а наша «Башня» уже росла. Уйдем мы из жизни, а она все будет жить, день и ночь шуметь своей вершиной. И новые люди, которые, может, еще и не родились, будут, как мы теперь, приходить сюда, сидеть под нашей «Башней», смотреть, слушать и, может, назовут ее как-нибудь по-своему...

— «Башня» — самое лучшее имя,— говорю я,— хорошо, если б те люди его узнали.

Отец усмехнулся:

— А как? Их же еще нет на свете или они недавно родились.

Июльский день шел на убыль. Солнечные лучи стлались уже по земле, были нежаркими, красноватыми, пологими и насквозь просвечивали бор понизу. Теперь все стволы раскалились докрасна.

Отец, приподнявшись, оперся спиной о «Вавилонскую башню», провел рукой по стволу.

— Нерушима, как стена! Сколько лет она стоит неподвижно, не качается даже в самую сильную бурю. Такой мощи, как в лесу, нигде не встретишь.

— А горы? — сказал я.

— Что горы... они мертвы, не рождаются, не умирают. Возникли в дочеловеческие времена и стоят себе без изменений, а она,— отец вдруг охватил руками, обнял «Башню»,— она — живая! Ее корни ушли глубоко в землю, день и ночь питают ее, по сосудам в стволе, в ветках непрерывно движутся соки, зеленая хвоя ловит солнечные лучи. «Башня» первая в лесу встречает солнце, последняя его провожает... Милая ты наша «Вавилонская башня»...— Отец тихо гладил ствол сосны, словно прощаясь с ней как с человеком.

— Папа, нам еще нужно собрать вереск,— напомнил я.

Он спохватился:

— Ах, да, надо спешить, а то мы в темноте его не найдем.

Мы поднялись, пошли в глубь бора. Шагах в ста от «Башни» в мелкой котловинке зеленели вересковые заросли.

Я только в прошлом году впервые увидел, узнал вереск: густые, низкорослые, стелющиеся по земле кустики росли вплотную; мелкие, сухие листочки были шершавы. Вереск зацветал поздно, когда все растения уже давно отцвели. Сейчас цвела вся котловинка: на концах веточек распустилось множество мелких розовых пахучих цветов, собранных в узкие кисти.

Отец опустился на колени, спрятал лицо в вереске, потом провел рукой по кустикам.

— Эта котловинка — его дом. Он, как и сосна,— давно здесь живет. Смотри,— отец обвел рукой вокруг,— почти все голое, трав нет — песок, жарко, сухо, голодно.

А сосна и вереск не боятся, живут, хотя жизнь здесь трудная, но это все же живая жизнь, Толик,— самое главное на земле.

Я удивился: раньше отец никогда не говорил о таких вещах, такими словами. Много позже понял: он говорил тогда не столько мне, сколько себе самому — хотел увидеть, почувствовать наш Петропавловский бор, «Вавилонскую башню», суровый, жесткий вереск...

Вдруг в бору внезапно потемнело, хотя солнце только-только скрылось за увалами и еще не успело зайти: на солнце насела туча, огромная, неожиданная, невесть откуда взялась... Недаром сегодня ильин день.

Первый пушечно-протяжный удар грянул со стороны Оскола — река усилила звук. Лесное эхо подхватило его, и он понесся в глубь бора. Издали донеслось ослабленное эхо, но его тут же заглушил новый удар — уже прямо над нашими головами. Туча на западе вся целиком вспыхнула красноватым светом.

Что делать? Сейчас хлынет ливень, спрятаться негде. Мы прижались к «Вавилонской башне», но ливня не было: разразилась сухая гроза, молнии, почти прямые, отвесные, изломанные, озаряли небо синеватым, розовым, золотым светом. Удары грома, наслаиваясь, сливались в почти сплошной гул. Молнии пронизывали высокие кроны, мгновенно высвечивая их, вырывая из тьмы. За долю секунды была видна вся крона, все ее ветки. Потом становилось еще темнее, словно на кроны падало черное покрывало.

Мы стояли под нашей «Башней», забыв, что она отличная мишень для молний. Мы жадно смотрели на небо, так как оба любили грозу больше всего на свете.

— Повезло нам! — весело крикнул отец.— Опять попали в самый эпицентр!

Гроза была недолгой. Тучи, отсверкав, отгремев, быстро унеслись на север. И мы увидели: в бору уже вечер, темно: над «Вавилонской башней» зажглись по-летнему неяркие звезды, некоторые просвечивали сквозь редкую, как дырявая крыша, совсем черную крону. Кое-где она врезалась в созвездия, делила их на части.

— Вот и простился с нами Илья-пророк,— сказал

отец,— теперь пойдет опять сушь, жара до самого конца лета.

Сухая гроза не освежила воздух, не принесла прохлады. В бору было душно, чувствовалось некое напряженное томление, как в полдень перед дождем.

Пора домой. Песчаная дорога слабо белела в темноте. И вдруг я остановился — в глубине бора показался слабый багровый свет. Он возник в самой густой чаще и, не рассеивая, не разгоняя темноты, тускло, мрачно мерцал вдали, словно высматривал, выслеживал нас.

— Вот она,— сказал я,— видишь ее, папа?

Отец молчал — он, как и я, пристально вглядывался в даль.

— Она собирает силы. Накапливает электрическую энергию,— волнение мешало мне говорить.

А багровый свет сжимался, густел, становился ярче, сосредоточивался на малом пространстве, и вдруг громадный темно-багровый шар весь выпростался, освободился из темноты и повис в глубине бора. Он не трогался с места, висел неподвижно, и цвет его не менялся, не делался золотым. На поверхности шара проступили какие-то черные пятна, похожие на глубокие вмятины.

— Это не шаровая молния,— упавшим голосом сказал я,— это просто луна, обыкновенная полная луна...

От разочарования, от обиды я заплакал. Отец молчал, будто чувствовал себя виноватым.

Мы повернулись и пошли из Петропавловского бора. Песок в пойме Оскола был холодный, но такой же сухой, трудно одолимый, как и днем, в жару.

Вот и мост. Доски настила гулко застучали под ногами. Посредине моста мы остановились, в последний раз взглянули на бор. Глухой черной стеной он резко выделялся на посветлевшем небе. Над самой кромкой, касаясь невидимых вершин, медленно подымалась луна. Она заметно побледнела, диск ее был совершенно круглый — сегодня была середина фазы «полнолуние». Взглянул в сторону «Кавказа». Все окна его домов багрово светились, словно в домах были открыты дверцы печей или начинался пожар.

Под мостом беззвучно текла черная река, наш Оскол.

Изредка слабая волна сталкивалась с темным, невидимым «быком», раздавался тихий всплеск.

Отец нерешительно обнял меня.

— Шаровая молния, Толик, от нас не уйдет. Лето очень жаркое, гроз будет еще много, пойдут теперь одна за другой.

— А за вереском еще пойдем? — спросил я.— Мы так и не успели его собрать.

— Конечно. Через неделю пойдем. Он цветет очень долго — до самых заморозков.

...Отец умер осенью. Он знал, что болен смертельно, но до последнего дня говорил о нашем походе в Петропавловский бор за вереском, за шаровой молнией.

Сейчас мне уже на четверть века больше, чем было отцу в последний год его жизни. Шаровой молнии я пока не видел, но не теряю надежды на встречу с нею.

МОИ СОБАКИ

С раннего детства — с семи, а может, даже с пяти лет — я полюбил собак. Это было не то обычное умиленное любование, когда ребенок при виде пса улыбается, зовет его, бросает кусочек хлеба и тут же отворачивается, забывает, обращаясь к предметам, более достойным внимания. Нет! Это была любовь неистовая, всепоглощающая, любовь-страсть. Страсть эта наполняла мою жизнь. Вечером, ложась спать, уже засыпая, я радостно думал, что завтра день будет таким же счастливым, как сегодня: с утра, не умывшись, не позавтракав, я выскочу во двор, где меня встретят мои собаки. Обычно их было довольно много — пять-шесть бездомных, бродячих псов. В разное время я встретил каждого на нашей Нагорной улице, привел домой.

Приманить такого пса, вызвать его доверие было делом нелегким, требующим сноровки, опыта. Увидев бродячего пса, в поисках пропитания бегущего по улице, ни в коем случае не следует громко окликать его, останавливаться и тем более приближаться к нему. Боже упаси — пес тут же пустится наутек, он решит, что вы прикидываетесь добряком: подойдете — и вдруг ударите, погонитесь за ним. Так часто делали ребята в нашем Курānске,— всегда приятно почувствовать, показать свою силу над слабым, беззащитным. Напуганный пес потом очень долго избегает человека.

Итак, заметив пробегающую мимо собаку, надо тихо, призывно посвистать, потом, чуть замедлив шаг, как бы невзначай обронить кусок хлеба и идти дальше, идти не оглядываясь и ни в кое случае не останавливаясь.

Краем глаза вы замечаете: голод берет свое — преодолевая страх, пес медленно подходит к лежащему на земле хлебу, подозрительно обнюхивает — нет ли в хлебе иголки — и, осторожно обкусывая по краям, съедает. Начало есть! Теперь надо закрепить успех.

Я останавливаюсь. Пес не трогается с места, но и не убегает. Я роняю еще кусок хлеба (у меня их целая

сумка — мать сшила специально). Заметьте — роняю, а не кладу на землю — это было бы грубейшей и непоправимой ошибкой: пес решит, что я нагнулся за камнем.

Второй ломоть съедается уже без опаски — пес начинает мне верить. Теперь надо постепенно сокращать отделяющее нас расстояние. Это, как правило, удается успешно: барьер подозрительности уже сломан. Пес подходит все ближе. Вот он уже сидит передо мной и выжидающе смотрит мне в лицо, следит за моей рукой. Возможно, что мой хлеб — первая пища после длительного голодания. Я достаю из сумки куски хлеба, бросаю, пес подхватывает на лету. Теперь предстоит сделать последний шаг — пес должен взять хлеб из моих рук. Взял! Победа! Я глажу пса по голове, по бедной, всклокоченной, черной, серой, белой голове с нависшими на глаза космами. Он лижет мне руку. Это счастье! Отныне мы — друзья. Теперь надо назвать его, дать ему собственное имя — пусть он будет Лохмач, Серко, Пират, Волчок. Изысканных имен не даю — некогда их искать: пес должен идти не на безличное «На́-на́-на́!», а на ему лишь принадлежащее имя.

Затем следовало поселение моего нового друга на нашем дворе. Обычно новоприбывший вступал в компанию, которая уже жила здесь, располагаясь кто где — у сарая, в саду, невдалеке от ворот,— там обосновывались самые недоверчивые: всякое ведь случается в жизни, как-то увереннее чувствуешь себя, когда рядом с тобой подворотня,— нырнул — и ты на свободе.

«Кормление зверей» производилось три-четыре раза в день. Я выходил во двор и тихо свистел. Минута — и я окружен своими собаками. Они садились полукругом и ждали. Холщовая сумка, наполненная объедками со стола, ломтями купленной специально для меня буханки черного хлеба, быстро пустела.

С глубокой благодарностью вспоминаю я сейчас, как терпимо, как сочувственно-поощряюще относились к моему необычному увлечению отец и мать. Правда, они сами всегда любили животных, но тут было совсем иное,— я жил своими собаками, говорил только о них, рассказывал без конца о каждом: сегодня Шарик впервые подошел и положил голову мне на колени, а самый юный, почти щенок Степка играл, носился по двору с палкой в зубах и не хотел мне ее отдать.

Забитые, запуганные, вздрагивающие от малейшего стука собаки, почти не отличимые в своих жалких повадках, порожденных голодом, страхом, за какую-нибудь неделю становились неузнаваемыми — они безбоязненно прыгали мне на плечи, лизали лицо, руки, играли, гонялись за мной по двору. Все делали скудная кормежка да ласка — они преображали бедные собачьи души. И тогда можно было увидеть, что псы эти совсем разные, не похожие не только внешним обликом, но и характером. Были собаки сдержанные, серьезные, даже чопорные; были до легкомыслия веселые; были лирически-грустные.

Как различны, как почти по-человечьи непохожи были выражения их морд, глаз! Одни улыбались — да, да,— ласково показывали клыки! Другие требовательно, по-деловому следили за моей рукой — и только: им нужен был не я, а мой хлеб. Третьи стеснительно, робко ждали,— эти сидели поодаль, покорно уступив место самым ласковым и самым напористым.

Всех собак я, разумеется, не помню, но некоторые остались в моей памяти, благодаря отдельным событиям, с ними связанным.

ВОЛЧОК

Этого пса звали Волчок — примерно трех-четырехлетний дворняга кремовой масти, какой-то весь очень мягкий, пушистый, ласковый и, как большинство дворняг, на редкость умный.

Волчок неотвязно ходил за мной — на выгон, где паслись военные кони, на Оскол, на Базарную площадь. Както в воскресенье я с моими дружками — братьями-близнецами Алешкой и Мишкой — пошел на базар. Мы ходили между возами, слушали необычную для нашего городского уха украинскую речь приехавших из ближних и дальних деревень «дядькив», рассматривали лошадей, кур, гусей и уток, глиняные горшки, покрытые яркими бесхитростными узорами,— словом, все, что издавна привозилось в наш Куранск к воскресному торгу. Был июль. Клубника, черешня, вишня уже отошли. Приближалась пора арбузов, дынь. Пока их было еще мало — вывезли всего два-три «дядьки», просили за свой товар очень дорого; покупатели прицениваясь, вздохнув, шли дальше.

Как обычно, у нас не было ни гроша, а попробовать первых арбузов — это же мечта каждого мальчишки.

За мной следовал Волчок. Он шел, не отставая ни на шаг, боясь потеряться в густой толпе — тем паче что его уже раз или два кто-то из озорства пнул сапогом. Волчок жался ко мне, голыми икрами я чувствовал касание его лохматого тела, иногда он лизал мне ногу, преданно смотрел на меня снизу вверх своими блестящими уголь-но-черными, веселыми глазами. И вдруг я услышал:

— Эй, хлопче!

Мы все трое оглянулись — неизвестно, кого из нас звал незнакомый пожилой дядько. Он сидел на возу с горой ранних полосатых арбузов. Подошли все вместе.

— Чья це собака?

— Моя,— сказал я.— А что?

Упитанный багроволицый дядько с окладистой масляно-блестящей, словно ваксой начищенной бородой смотрел на Волчка. Кажется, пес ему очень понравился.

— Продай!

— Он не продается,— гордо сказал я.

Дядько удивился:

— Як же це так? Все на свете продается.

— Нет,— сказал я,— это мой любимый пес. Продать его нельзя.

— Та ты ж себе другого найдешь. У вас тут по городу полно собак шатается. А у меня собака подохла, новую шукаю. Грошей не хочешь, давай на кавуны сменяем.

Дядько предлагал арбузы! Я увидел — Мишка и Алешка смотрят на меня с мольбой: в кои веки привалило такое счастье — попробовать ранних арбузов.

— Толька, а может, правда...— начал более смелый Мишка, но тут же умолк — не решился продолжать. И я дрогнул. На меня словно нашло некое затмение. Неожиданно для самого себя я спросил:

— А сколько дадите?

— Три кавуна дам.

— Три — мало! — строго сказал Мишка.— Пять!

— Эге! Пять! — насмешливо протянул дядько.— За пять я знаешь какого барбоса выменяю! А твой — что! — он же только гавкать будет, а страху от него никакого. Он хоть злой у тебя?

— Он — ласковый,— сказал я.

— Ну ничего! Будет злой, как голодный посидит на цепи.

Не могу понять, как, слыша все это, я тут же не повернулся, не ушел. Нет, я стоял, думал...

— Ладно, четыре кавуна,— деловым тоном сказал Мишка,— как можно за три! — нам с братом по кавуну и два — хозяину собаки. Скажете — цена несправедливая?

Дядько на минуту задумался, но, видно, на лице Мишки было написано непреклонное выражение, а торг вел он. И дядько махнул рукой:

— Добре! Давайте за четыре. Только привяжите его сами — мне он сейчас не дастся.

Все последующее было как в тумане: я взял веревку, один конец обвязал вокруг шеи Волчка, другой — подал дядьке. Волчок, не подозревая измены, сидел рядом со мной, вилял хвостом. Тем временем Мишка уже выбирал арбузы, со знанием дела щелкал по ним, рассматривал хвостики — можно ведь нарваться на зеленые. Наконец арбузы были отобраны. Братья взяли по арбузу, я — сразу два.

— Пошли! — сухо сказал Мишка. Вероятно, он боялся, что я спохвачусь и передумаю, но я покорно последовал за ним. И тут сзади раздался голос Волчка. По выразительности, по отчаянию я никогда не слышал ничего подобного: Волчок визжал, лаял, выл — он умолял меня вернуться, но я, не оглядываясь, шел за ребятами. И голос Волчка становился все тише, потом умолк, заглушенный гомоном воскресного базара.

Мы шли молча.

Мать встретила меня удивленным взглядом:

— Толик, откуда у тебя арбузы? Тебе их подарили?

— Нет,— тихо сказал я,— это за Волчка.

— Как — за Волчка? Ты... ты его променял на арбузы?

Я молчал. Я уже начал понимать совершившееся...

Мать ничего не сказала, вышла из комнаты.

Я свалил арбузы в кухне. Я не мог притронуться к ним, не мог смотреть на них. Мне вспоминались блестящие, веселые, доверчивые глаза Волчка, слышался его отчаянный вой. Это был вопль погибающего.

За обедом мы с матерью говорили мало. О Волчке она больше не вспоминала, будто его никогда и не было.

Но я думал только о нем. Я не представлял себе, как буду дальше жить без Волчка. Мысль о нем терзала меня, я не спал всю ночь. И мать не зашла ко мне, не попыталась успокоить — она предоставила меня самому себе. Я должен был остаться наедине со своей совестью.

Утром, как обычно, в восемь часов за мной зашли близнецы — идти на выгон, пасти военных коней с красноармейцем Петром, потом ехать на Оскол.

— Толька, пошли! — раздался с улицы Мишкин голос.

Я распахнул окно.

— Ну чего же ты? — нетерпеливо крикнул Мишка.— Петро уже пасет.

— Я никуда не пойду,— сказал я.— Волчка нет, и мне никто не нужен...— Голос мой оборвался от рыданий. Я бросился в сад. Собаки, лежавшие во дворе, подбежали ко мне, но я цыкнул на них, и они испуганно шарахнулись. Еще вчера я не выделял среди них Волчка. Сейчас он был мне дороже всех, но его далеко-далеко увез багроволицый дядько, увез навсегда... Что делать? Боже мой, что же делать? Я даже не спросил, из какой деревни этот дядько... Знал бы — пошел пешком, на коленях умолял вернуть мне Волчка, вернуть за любую цену: я отдам ему свое новое зимнее пальто, валенки, теплую шапку — это все сейчас трудно достать, оно дорого стоит. Он продаст, выручит гораздо больше, чем стоят эти проклятые арбузы...

Медленно тянулся длинный июльский день. Я пошел рано спать — я спешил убежать в сон, скрыться от воспоминаний, от позднего раскаянья... Уснул я неожиданно быстро и спал очень крепко. Проснулся уже утром — было совсем рано, часов пять, солнце стояло невысоко. Меня разбудил громкий, радостный лай. Этот лай нельзя было не узнать. Я вскочил, пронесся через столовую, через кухню, распахнул дверь на крыльцо. Мне на грудь бросился Волчок. Длинный конец перегрызенной веревки мотался у него на шее. Дядько не довез Волчка до дома. Смеясь и плача, я схватил Волчка на руки, понес в дом. Я прятал мокрое от счастливых слез лицо в его лохматой шерсти, сильно пахнущей псиной. Я целовал его морду, нос, глаза. Волчок вырвался и стал прыгать вокруг меня — он был счастлив, как и я. Но — главное — он забыл зло, он простил меня!

Отворилась дверь, вошла мать.

— Толик,— сказала она,— я вчера выбросила арбузы на помойку.

СТЕПКА

Степка был самый молодой пес в моей собачьей стае — щенок шести-восьми месяцев, не больше.

Я встретил его возле нашего дома. Он сидел у ворот, словно всегда жил здесь. Я подозвал его, он доверчиво подошел, сразу стал лизаться; душа его еще не очерствела,— за свою очень короткую жизнь Степка пока не успел получить достаточно большого количества пинков, ударов палкой, камнем.

Во дворе у нас он вел себя совсем по-детски: ему не лежалось спокойно, как взрослым псам. Он никому не давал покоя — хотел играть: подбегал к Мафусаилу стаи — двадцатилетнему Пирату, беззубому старцу,— хватал его за хвост, за уши. У Пирата не хватало сил, чтобы огрызнуться,— он только жалобно повизгивал. Тогда Степка бросался к Волчку. Тот некоторое время играл со Степкой, но возраст не тот. Волчку это вскоре надоедало — он скалил зубы, делал вид, что хочет укусить Степку. Щёнок удирал, залезал под крыльцо. Передышка была короткая: вскоре Степка выходил из-под крыльца — искать новую жертву.

Ел он мало, к пище относился безразлично: проглотит кусок-другой — и начнет хватать за хвосты собак, терпеливо ожидающих от меня все новых и новых порций.

Как всякий ребенок, Степка был незлобивый, ласковый; в каждом существе — будь то человек или пес — он предполагал только свои качества, не догадываясь, что на свете помимо этого есть еще злость, хитрость, жестокость. Поэтому не случайно Степка пал жертвой тупой злобы.

Случилось это в то же лето, когда я совершил несчастную торговую операцию с Волчком. Июль — это месяц, когда от зари до зари по совершенно чистому, белесо-голубому небу медленно движется солнце, не встречая на пути даже легкого облачка, вода в Осколе не остывает и ночью; в садах созревают самые ранние яблоки — белый налив, они — крупные, желто-зеленые, без румянца, кисловато-сладкие, с шоколадного цвета, горьковатыми, как

миндаль, косточками внутри; листья на деревьях достигли уже полной зрелости — они все крупные, темно-зеленые, с очень крепкой сеткой жилок. Такой лист не легко сорвать,— только свирепым грозным вихрям, пригибающим старые древесные кроны к земле, вихрям, что внезапно в конце месяца налетали на Куранск, было под силу усеять дорожки нашего сада сорванными с деревьев живыми, сильными листьями.

Многодневная жара почти каждый год вызывала в нашем городе большую беду: за лето на улицах появлялись одна-две бешеные собаки. Я не помню случая, чтобы они кусали людей,— собак вовремя уничтожали, но каждый раз бешеная собака вызывала переполох — о ней долго говорили в городе.

Мне довелось только раз увидеть бешеную собаку, но случай этот запомнился на всю жизнь.

Было это после полудня, в самую жаркую пору, когда наша Нагорная становилась пустынной, словно ночью,— все живое пряталось от солнца. Отец и мать спали после обеда. Я томился от жары, от скуки, в одних трусах ходил по дому, по двору. Все мои собаки попрятались в тень — лежали в кустах в саду, в темном сарае. Бодрствовал только Степка. Увидев меня, он вытянулся, протяжно зевнул и сразу же стал хватать меня за икры — зной на него не действовал.

Я лениво гнал его:

— Отвяжись, Степка! Иди спать.

Но отделаться от Степки было не легко. И тут вдруг за воротами раздались крики:

— Вот, вот она! Бейте ее!

Я бросился к калитке. Со стороны выгона бежала собака. Это была небольшая дворняга, она скакала тяжелым галопом, низко опустив голову. Изо рта ее свешивались нити густой слюны. С соседней улицы за собакой бежало двое незнакомых мужчин с палками. Они не приближались к собаке, а только громко кричали, предупреждая, что собака — бешеная. Все произошло в считанные минуты: собака уже миновала наш дом, когда Степка с лаем кинулся за ней,— я не успел его схватить. Расстояние между ними уменьшалось. Сейчас Степка догонит собаку, и она сомнет щенка. Но тут распахнулась дверь одного из соседних домов, на крыльцо выскочил наш сосед-старик, полковник в отставке Сухих. Он был

в шинели без погон, накинутой поверх белья,— полковник отдыхал после обеда. В руках его была двустволка. Сухих вскинул ружье, выстрелил дуплетом — из одного и тут же из второго ствола. Оба заряда попали в собаку — она завертелась на месте, вздымая клубы пыли, и упала замертво.

Минута — и Нагорная ожила: из домов выскакивали жители, бежали к Сухих. Он стоял, окруженный соседями; все благодарили старика, спасшего нашу улицу от беды.

Я тоже подбежал к Сухих. Степка, испугавшись стрельбы, отстал от бешеной собаки и держался поодаль от людей. И тут неожиданно мой пес стал предметом враждебного внимания. Раздались негодующие голоса:

— Она покусала щенка!

— Да, да, мы все видели — они дрались!

Я знал: мои собаки давно вызывали осуждение соседей, но отец и мать сдержанно молчали, когда соседи требовали уничтожения «этой своры». И вот он — случай отомстить за пренебрежение к их советам. Напрасно старался я убедить озлобленную, кричащую, раздраженную зноем, перепуганную толпу. Меня не слушали, меня ругали, даже отталкивали, требуя, чтобы я ушел домой.

Люди обступили старика Сухих и требовали, чтобы он тут же, сейчас, немедленно пристрелил щенка, иначе тот взбесится через считанные дни, перекусает собак из «чумаковской своры», и что — что будет тогда? Куранску грозит эпидемия бешенства!

Сухих был в нерешительности — сам он не видел драки щенка с бешеной собакой, но вон сколько свидетелей, и все уверяют, что видели свалку, своими глазами видели! Как тут не поверить...

Я понял: Степку надо спасать, спасать немедленно, иначе будет поздно — он погибнет ни за что! Я кинулся к Сухих.

— Уверяю вас: Степка только погнался за собакой, но не догнал — вы выскочили и убили ее. Степка страшно перепугался — он боится стрельбы.

И тут вся орава бросилась ко мне. Как! Защищать этого шелудивого, этого почти бешеного щенка? Чего-чего не было выкрикнуто на разные голоса! Я ставлю свою собаку выше здоровья людей! Мне наплевать на других — главное, чтобы не трогали моего бешеного щенка!

Я воспитан в себялюбии, в пренебрежении к людям — это наша родовая, чумаковская черта; яблоко не упало далеко от яблони: сынок весь в мать да в отца!

Я был опозорен, раздавлен, смят... Когда со мной было покончено, все снова атаковали старика Сухих: он не имеет права отвергнуть просьбу, нет, не просьбу — требование общества! Это было бы антигуманно!

И Сухих стал поддаваться. Я увидел — он уже верит этим людям, которые сами поверили в то, чего не было.

А Степка? Он словно понял: решается его судьба. Он сидел поодаль и только тихо повизгивал, умоляюще смотрел на меня. А я растерялся, пал духом. Мне бы броситься к Степке, схватить на руки, унести домой, спасти от этих людей, обуянных яростью, жаждой бессмысленного убийства. А я сел на землю, закрыл лицо руками. Прошли страшные минуты: Сухих забежал в дом перезарядить ружье; потом грянули выстрелы — один и сразу же другой — из обоих стволов. Сухих стрелял по Степке, как по бешеной собаке...

Я открыл глаза — Степка лежал на траве с размозженной головой.

Наши соседи стали расходиться: дело было сделано. Я поднялся с земли и побрел домой. Не только подойти, но даже оглянуться на Степку я не посмел...

ПИРАТ

Отец прозвал его Мафусаилом — в честь знаменитого библейского долгожителя, а звали его — Пират. В отличие от других собак Пирата нарекли так в незапамятные времена: он был «гимназический» пес — жил у сторожа куранской женской гимназии, куда моя мать по приезде в наш город поступила на службу. Было это задолго до революции, значит, ко времени, о котором идет речь, Пират жил на земле добрую четверть века.

За долгую свою жизнь Пират сменил несколько хозяев — сторожа в гимназии не часто, но все же менялись. Поколения гимназисток хорошо знали Пирата: робкими первоклашками девочки гладили доброго пса с нависшими на глаза космами; все восемь лет, выйдя во двор на большой перемене, кормили его. Окончив гимназию, одни оставались в Куранске, другие уезжали, а Пират все

жил и жил в своей деревянной будке на гимназическом дворе.

Пришло время, когда последним хозяином Пирата стал сторож Федот Федотович, в прошлом армейский унтер, человек суровый, житейски практичный, оценивающий все с точки зрения непосредственной пользы. Приняв свой пост, а с ним и будку Пирата, Федот Федотович пришел к выводу; Пират отжил свой век, сторож из него никакой — только даром ест казенный хлеб, посему надо от него избавиться — сдать на живодерню. Это и случилось бы, но при решении Пиратовой судьбы случайно оказалась моя мать.

Она выпросила Пирата у Федота Федотовича.

Пират поселился у нас во дворе. Было это в мае — перед каникулами. Дни стояли теплые, Пират спал в сарае. С кормежкой его сразу же возникли некоторые трудности: у древнего пса давно не было зубов, ел он только жидкую пищу, а ту, что надо было жевать, глотал целиком. Пришлось завести для него особый стол: в кухне поставили ведро, куда сливали остатки супа. Я крошил хлебный мякиш и шел за Пиратом. Кормили его в кухне — во дворе молодые безжалостные псы прогоняли старика и все съедали сами.

Пират ел немного — его дряхлому телу нужен был сейчас только покой. Весь день пес лежал у сарая. Когда я подходил к нему, Пират лишь приподымал голову, вилял хвостом — встать ему было уже нелегко. Силы старика таяли на глазах. И тут мне пришла в голову счастливая мысль — кормить Пирата мелкой свежей рыбой. На Осколе водилась всякая рыба — щуки, судаки, окуни, плотва, но ловить ее было непросто, особенно мне, неопытному рыбаку. Бывало, отправишься на Оскол с удочкой и за целое утро поймаешь пару-другую плотичек — вот и все. Правда, была рыба, которая легко шла на примaнку,— это мелкая уклейка, но ловить уклеек, по-местному «себелей», было для настоящего рыбака делом несерьезным, более того — унизительным! Этим занимались лишь рыбаки-первогодки — шести-семилетние малыши, ходившие на Оскол со своими мамашами. Мне, десятилетнему, ловить «себелей» было уже не к лицу. Но уклейки — это же лакомство для Пирата! Он сможет глотать мелкую рыбешку, не прожевывая; она — питательная, заменит ему мясо. И я решил пренебречь досто-

нством рыбака — переключиться на уклеек. Ловить их нужно было одной удочкой. Если покрошить хлеба, уклейки тут же приплывут целой стаей — рыбка эта, в отличие от других, совсем не боится человека, во время купания уклейки подплывают к человеку и пощипывают за ноги, надеясь чем-то поживиться.

О своем решении я сообщил друзьям — Алешке и Мишке. Они не проявили ни интереса, ни сочувствия: ребята к своему престижу подчас куда более ревнивы, чем взрослые, а уклеечник — не рыбак, это давно известно. Но я бесповоротно решил стать уклеечником, стать не для себя — для Пирата: ведь у старика не осталось в жизни никаких радостей...

С утра, наловив мух, я отправился на Оскол. Уклеек можно было ловить в любом месте — они водились всюду. Вот брошены в воду хлебные крошки, и вода сразу потемнела от быстрых маленьких тел. Я еле успевал насаживать мух. Когда они были израсходованы, перешел на червей. Пойманных рыбок по счету опускал в корзинку с полотняным верхом, погруженную в воду. Уклейки резво плавали, не подозревая о своей горькой участи... Я решил поймать сотню, и на этом зашабашить. Если Пират все съест, в следующий раз увеличу порцию.

Ловля оказалась не такой уж сверхуспешной, как я предполагал. Рыбешки срывались с крючка, обнажая его жало,— надо было снова насаживать червяка. Или вдруг уклейки почему-то только притрагивались к насадке, «клевали» ее носом, но не заглатывали. Приходилось снова крошить хлеб, потом в живую рыбью гущу подбрасывать крючок с червяком.

Ловля сотни уклеек заняла часа три-четыре. Громко сказав «сто», я смотал удочку и направился домой.

Будет ли Пират есть живую рыбу? Вдруг откажется? Что делать с уловом? Выбрасывать жалко. Жарить? Но уклейка — крошечная, как ее чистить? От рыбешки ничего не останется...

Я вошел во двор. Собаки, как всегда, окружили меня. Но уклейки были только для беззубого Пирата. Остальные псы могут мне испортить все дело — станут вырывать из рук рыбу, а Пирату ничего не достанется. Оттеснив собак, я провел в сарай одного Пирата. Он сидел передо мной — большой, некогда грозный цепной пес-сторож, пес-охранитель, а сейчас дряхлый, немощный старец.

Подслеповатые, когда-то карие, а теперь какие-то рыжие глаза полуприкрыты космами седой шерсти. Кудлатый, тоже совсем седой хвост слабо виляет — Пирату любое лишнее движение дается не легко.

Ну, будь что будет! Я открываю корзину. Уклейки еще не уснули,— сверху они прикрыты мокрой осокой. Я беру живую рыбешку, мелкие чешуйки остаются на пальцах. Протягиваю псу:

— Пират, на!

Он обнюхивает уклейку. Возьмет или нет? — впервые за всю жизнь ему предлагают живую рыбу.

— Пират, ешь!

И вот, широко раскрыв беззубую пасть, он проглатывает уклейку, глаза его становятся блестящими — понравилось! Пират просяще смотрит на мою руку. Успех! Победа! Я вытаскиваю вторую рыбку, третью, четвертую. Пират уже не берет их из рук — ловит на лету! Корзинка постепенно пустеет, а Пират еще не наелся, он подталкивает головой мою руку — торопит меня.

Съеден уже почти весь улов, рыбок все меньше. Я заглядываю в корзинку: остался всего пяток. И тут наступает насыщение — Пират не поймал брошенную ему рыбешку, она упала на землю, пес ее не поднял.

— Нельзя, брат, надо докончить. Не говорить же тебе: эта рыбка, Пират, за твою маму, эта — за твоего папу...

Без всякой охоты — только из вежливости — он берет из моих рук последнюю рыбешку и облизывается — язык у него от старости не розовый, а какой-то серый.

Если перевести возраст Пирата на человеческий — было бы куда больше ста...

С того дня я три-четыре раза в неделю ходил на Оскол за рыбой для Пирата. Съедал он всегда свою норму — ровно сотню. Как и в первый раз, я ловил уклеек по счету.

Пират поправился. Теперь он не лежал с утра до вечера под сараем, а ходил по двору, по саду. Сильные, молодые псы его не трогали; они бережно относились к щенкам и к очень старым собакам, хотя между собой, случалось, грызлись до крови.

Как-то я возвращался с Оскола и, подымаясь по крутому откосу у нашего дома, увидел: Пират вышел со дво-

ра, сидит на улице — ждет меня. Бежать навстречу ему было уже не под силу.

Кормил я его только в сарае, чтобы не мешали другие собаки. Проглотив последнюю уклейку, взятую из моих рук, Пират благодарно лизал мне руку. Понятно: эта сотня рыбешек, съедаемая раз в два-три дня, была единственной и последней радостью в его долгой-долгой жизни.

Так прошел месяц или полтора. И вот, возвращаясь с очередной рыбалки, я не увидел Пирата возле нашего дома. Не было его ни во дворе, ни в саду. Я забеспокоился: мне было известно — старые собаки, чуя приближение смерти, уходят со двора и умирают в каком-либо безлюдном месте. Я продолжал поиски — вышел за ворота, осмотрел ближние окрестности — саженные заросли лебеды за нашим домом тянулись по задворкам до самого конца Нагорной. Мне почему-то казалось: Пират ушел именно сюда. Предчувствие меня не обмануло — позади дома полковника Сухих, отстоящего от нас довольно далеко, в лебедовых дебрях, я увидел Пирата,— он был мертв, хотя лежал в живой позе — уткнув морду в лохматые лапы; так обычно он спал у нас во дворе, под сараем.

Я пошел домой, взял лопату и похоронил собачьего Мафусаила на месте его упокоения.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Друзья мои — Мишка и Алешка — близнецы, сыновья столяра дяди Ивана, живущего в самом конце Нагорной. Лицом и фигурой братья почти неотличимы, но, не в пример большинству близнецов, всячески подчеркивающих сходство одинаковой одеждой, Мишка и Алешка очень не любили, когда их путали, старались внешне отличаться друг от друга: каждый одевался по-своему, что в то время было совсем не просто, но братья изворачивались. У обоих длинные полотняные штаны, у Мишки — черные, у Алешки — синие. Рубахи тоже разных цветов, близнецы сами их красили — одну в соке из ягод бузины, другую в наваре из дубовой коры; рубахи были лиловая и коричневая. И только лица — остренькие, треугольные, в густом крапе веснушек — неотличимы, но и тут более озорной Мишка нашел выход — он сбрил брови, чем придал лицу выражение иное, чем у брата.

Однажды вечером я зашел к близнецам. Мишка и Алешка были на веранде; сидя на полу, что-то мастерили из бумаги и деревянных планок.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Не видишь разве? — сдержанно отозвался Мишка. — Это воздушный змей.

Мне стало обидно: братья почему-то решили делать змея тайком от меня, а я до сих пор только слышал о воздушном змее.

— Откуда вы знаете, как его делать?

— Да уж знаем, — многозначительно произнес Мишка.

— Отец рассказал, — пояснил Алешка, — он на бумажке все нарисовал, как и что делать.

На полу был распластан довольно большой — с аршин длины — прямоугольник из планок, оклеенный плотной бумагой.

Я был разочарован: у змея даже нет глаз...

— Чудной он какой-то... не смотрит...

Мишка обиделся:

— Сам ты чудной. Змей как змей. Это его голова. Прицепим хвост — и можно запускать. Он сразу с места взлетит, теперь каждый день ветер.

— А где ж хвост?

— Хвост — не штука: вырежем из драной простыни,— мать дала. Главное — нету хороших ниток. На обыкновенной не запустишь — оборвет. Нужно нитку суровую, крепкую, а где ее взять?

Я задумался — как же помочь делу? Может, у мамы найдутся суровые нитки? Раньше, когда был жив отец, она любила рукодельничать; в особой корзинке было полно нитяных катушек, мотков гаруса, всяких лоскутков, обрезков. До сих пор все это было мне ни к чему, но сейчас стоит порыться в корзинке.

Я спросил, много ли нужно ниток.

Мишка вздохнул.

— Много, брат: целый моток. На короткой нитке не запустишь.

— Ладно, постараюсь достать,— неуверенно сказал я,— поищу кое-где.

— Ищи, старайся,— вяло сказал Мишка. По голосу я понял: он не верит, что мне удастся достать суровые нитки. Это действительно было делом почти безнадежным: магазинов нет; на базаре продают только продукты из соседних деревень, да по воскресеньям действует толкучка; жители Куранска выносили какие-то совершенно никчемные вещи: пустые багеты, медные дверные ручки, ключи без замков и замки без ключей. Однажды я видел даже черный шелковый корсет. Твердые, желтые, как кость, пластинки китового уса прорвали ветхую ткань, жалко топорщились, словно корсет скалил длинные зубы.

В воскресенье я пошел на толкучку. Поиски в маминой корзине, разумеется, ничего не дали.

Я проследовал по недлинному ряду, сначала по правой, потом по левой стороне. Конечно же суровых ниток не было. На земле лежали вещи, несусветные по своей ненужности.

Тогда я еще не слышал о Блошином рынке в Париже, где за сходную цену можно приобрести железную оправу от очков, «лысую» щетку, дырявый зонтик и даже старые зубные протезы.

Таких редкостей на куранской толкучке не было, но были стеклянные бусы, театральные бинокли, много вы-

шеупомянутых пустых багетов, а также товар наиболее ходкий — разрозненные номера старых журналов «Нива» и «Родина». Они шли на курево.

Кое у кого товар был разложен на ковриках ярких расцветок. Здесь, как правило, покупатели останавливались. Владельцы товара знали: умело поставленная реклама — залог успеха.

До конца ряда оставалось совсем недалеко. Я уже было собирался идти домой, когда услышал сзади шамкающий голос:

— Мальчик, ты что ищешь?

С досады на неудачу мне захотелось ответить грубостью — что-либо вроде «покупаю вчерашний день» или «срочно необходимо птичье молоко», но тут я увидел — спрашивает крошечная старушка калека; злая болезнь пригнула ее к земле; чтобы увидеть меня, старушка повернула голову как-то вверх и вбок. На меня смотрели выцветшие, почти белесые глаза, они светились такой редкостной добротой, что я не смог ответить дерзостью и пробормотал — ищу, мол, суровые нитки.

— Небось для лука или для удочки? — Оказывается, старуха кое-что понимала.

— Нет, для воздушного змея.

— Вон что — для змея...— Старуха не смеялась надо мною, нет, она задумалась, смотрела в землю.— Для змея немало нужно...

— Да, целый моток...— Я перевел взгляд на жалкий товар старухи — он был под стать товарам соседей.

— И когда же тебе нужно?

— Поскорее надо бы — пока ветер и сухо, а пойдут дожди — тогда все пропало: придется ждать до весны.

— Это верно: после Покрова задождит, все приметы на мокрую осень. Бабьего лета в этом году не жди.— Старуха снова попыталась меня увидеть.— Ты где живешь-то?

Я сказал.

— На Нагорной? Так мы почти соседи: я с Усовской. Приходи вечером, спросишь Акимовну — ту, что с козами, всякий покажет. Будут тебе суровые нитки.

Я еле дождался конца дня. После захода солнца отправился на Усовскую и сразу же нашел домик Акимовны. Это была ветхая, наполовину ушедшая в землю хатка, кособокая, с высокой пожухлой лебедой на соло-

менной крыше, но два маленьких окошка были очень чистые, светлые от зари. Акимовна должна была жить именно в такой вот хатке. По двору ходили на привязи три козы — кормилицы хозяйки и ее дочери, пожилой вдовы.

Акимовна ждала меня, заговорила о нашей семье.

— Чумаковых знаю. Дедушку твоего еще помню: он в Куранск приехал перед самой японской войной, до того в Сенькове учил ребят, потом к нам перевелся в высшее начальное. И папу твоего видела: он к отцу на лето приезжал, когда учился в Харькове.

Она вынесла из дома большой моток суровых ниток.

— Вот тебе подарок от бабушки Акимовны. Нитки хорошие, крепкие, давно куплены. Мне они уже ни к чему, хотела продать, да вот тебя встретила.

Я не осмелился спросить, сколько стоят нитки, понял: это кровно обидит Акимовну. Тихо пробормотал «спасибо» и с драгоценным мотком выбежал на улицу.

В дом близнецов я вошел неторопливо. Братья еле взглянули на меня. С легкой руки сурового Мишки оба давно считали меня человеком мало приспособленным к жизни. Сейчас близнецы были погружены в глубокую печаль: совсем готовому к полету воздушному змею предстояло еще долго пребывать в бездействии.

— Ну, как змей? — свысока спросил я.

— А ты что, хочешь принять работу? — в голосе Мишки звучала горькая насмешка.— Давай принимай. Может, еще забракуешь...

— Да, делать надо на совесть,— нахально сказал я,— небо — не земля.

— Сперва подыми его в небо,— раздраженно заметил Алешка.

Мишка презрительно молчал.

— Поднять-то подымем,— я старался говорить спокойно, но по лицам братьев увидел: тянуть дальше невозможно.

— Достал? — в один голос крикнули близнецы.— Давай показывай!

Ах, как хотелось мне продлить этот неповторимый миг своего торжества! Но любое торжество, любая радость столь же редки, сколь и кратки...

— Вот он! — высоко над головой я поднял подарок Акимовны.

Братья кинулись к мотку. Теперь все внимание было отдано только ему. Обо мне тут же забыли.

— Ну и нитки! — восторженно сказал Мишка. Он отмотал с аршин, натянул, потом подал моток брату:— Попробуй порви. Сразу руки порежешь. Железные нитки!

Мы с Алешкой поочередно попытались разорвать нитку. Это было нелегко — нитка врезалась в пальцы и поддалась только при сильном рывке.

Мишка тут же привязал нитку к голове змея. Запускать его было решено завтра утром.

Томительно-сладостны эти долгие часы ожидания! В мыслях ты уже ясно представил себе грядущее счастливое событие — поездку на рыбную ловлю в туманный рассветный час, или скачки аллюром «три креста» на военных конях через весь Куранск, или вот, как теперь, запуск воздушного змея. Впрочем, нет, это событие было непохоже на остальные, оно было совсем-совсем особенное, исключительное — ведь я никогда не запускал воздушного змея и даже не представлял себе, как это делается.

Как сейчас помню этот бодрый, ясный, уже по-осеннему прохладный день. С севера дует ровный, но довольно сильный ветер. На горизонте лежат круто взбитые, холодные облака с синим «тучевым» подбоем.

Сразу после завтрака я пошел к близнецам. У них все уже было готово для запуска.

Вскоре из дома близнецов выступила процессия. Впереди шел Мишка. На вытянутых руках он торжественно нес голову змея. За ним следовали мы с Алешкой. У меня в руках был моток суровых ниток, короткий конец прикреплен к змеевой голове. Алешка, словно шлейф, поддерживал длинный матерчатый хвост.

Мы вышли на выгон, где летом боец Петро пас с нами военных коней. Здесь вдали от деревьев и телеграфных столбов должен произойти запуск.

Посредине выгона змей был бережно опущен на землю. Я взглянул на него. Все в нем было пока обыденно, буднично. Близнецы не нашли чистой бумаги и склеили голову из каких-то исписанных, хотя и плотных листов. Планки посредине и по бокам были шероховатые, неумело оструганные кухонным ножом. Но особенно жалким казался хвост — длинная полоска неровно, с фестона-

ми вырезанная из старой простыни. На конце хвоста были даже две-три дырки.

В последний раз с особым вниманием мы осмотрели змея. Все в порядке.

— Начнем,— коротко сказал Мишка. Его треугольное веснушчатое лицо, кажется, даже побледнело от волнения.

Для запуска змея нужны только двое. Ими и должны были быть близнецы. Судя по тому, что о змее я узнал совершенно случайно, можно было предполагать, что братья вообще не собирались привлекать меня к этому делу. В лучшем случае мне была бы отведена скромная роль постороннего наблюдателя, не больше, но подарок Акимовны нарушил первоначальный план — пришлось потеснить Алешку, а его обязанности доверить мне. Чтобы Алешка не разобиделся вконец, брат поручил ему во время запуска поддерживать хвост змея — дело не ответственное и, прямо сказать, совсем не обязательное.

— Значит, так,— еще раз стал объяснять Мишка,— ты, Толька, отматывай саженей пять и отходи от меня. Алешка сзади держит хвост, смотрит, чтобы не зацепился, не запутался. Я подымаю змея и командую: «Вперед!» И мы все бежим. Я запускаю змея; когда он взлетит, беру у Тольки моток. Полет сам буду направлять — дело это трудное.

Отматывая нитку, я чувствовал, как сильно бьется у меня сердце.

— Приготовились! — Мишка высоко поднял змея.— Вперед!

Я рванулся с места. Змей плавно выскользнул из рук Мишки и легко, свободно стал набирать высоту. Он шел широкими кругами, шел смело ввысь, как бы вычерчивая в воздухе витки огромной спирали. Он был теперь совсем не похожим на нечто неуклюжее, склеенное из исписанной бумаги и шероховатых планок. Длинный белый хвост сильно развевался сзади, а большая голова была высоко вскинута — змей стремился вверх, в высокое, просторное осеннее небо, полное облаков и ветра. Только сейчас, в полете, он стал самим собой — огромным, сильным, смелым, по-орлиному парящим под облаками.

Тяжело дыша от радости, я не отрывал глаз от змея и даже забыл, что надо непрестанно травить нитку. Мишка подскочил ко мне.

— Давай нитки! — он выхватил у меня клубок, стал разматывать. Я потрогал нитку. Она сильно натянулась.

— Ветер сильный,— с тревогой сказал Мишка,— еще унесет его. Пожалуй, для первого раза хватит. Пусть отдохнет — впервой летает.

Мишка стал медленно подтягивать змея к земле, а змей явно не хотел спускаться — он строптиво кувыркался, нырял в воздухе, снова пробовал взвиться в небо, но крепкая нитка настойчиво тянула его вниз. Сделав последний круг, змей обогнул выгон и плавно опустился на траву.

Мы подбежали к змею. Даже здесь, на земле, его большая четырехугольная голова чуть вздрагивала, пытаясь приподняться, а длинное тело слабо трепетало — змей жаждал нового полета.

— Запустим еще,— решил Мишка,— теперь можно и повыше — он уже бывалый.

Мишка снова поднял змея, я снова размотал клубок.

— Вперед!

Я побежал уже не волнуясь, а лишь радуясь новому полету. И змей взмыл вверх еще смелее, еще свободнее. Я смотрел, как он уверенно уходит в небо, и медленно разматывал клубок, посылая змея все выше.

— Давай нитки! — Мишка, не глядя на меня, протянул руку за клубком, но я отстранил его.

— Нет, теперь я сам хочу его поводить.

Мишка изумленно уставился на меня — он не привык, чтобы ему прекословили.

— Давай сюда нитки, говорю! — повторил нетерпеливо.

Но я молчал и медленно разматывал клубок. Мишка смотрел на меня с сердитым удивлением: невероятно! — тихий, покорный, безропотный Толька не подчиняется... Но отнять моток силой нельзя — опасно! — змей может вырваться.

— Ладно! — зловеще прошептал Мишка.— Пускай только он спустится, я с тобой иначе поговорю.

Это не было пустой угрозой — по горькому опыту я знал: с Мишкой, когда он разозлится, шутки плохи. Недаром он в железных руках держал меня и Алешку. И все же я не отдал клубок, более того, я сразу размотал его на добрую сажень.

А змей давно уже достиг высоты, на которую толь-

ко что подымался. Теперь он забирался все выше. Я снова потрогал нитку — она зазвенела, как гитарная струна.

— Упустишь змея — так и знай, домой живым не вернешься,— громко сказал Мишка.

Я рассмеялся ему в лицо и снова отмотал нитку. Змей радостно дрогнул — явно хотел подняться до плотных облаков, которые пригнал с горизонта северный ветер.

Я быстро взглянул на моток — он уменьшился, похудел, но ниток еще хватит, чтобы змей догнал ближайшее облако. Нитка натянулась до отказа, задрожала: змей властно требовал — не удерживать его.

Мишка и Алешка забыли обо мне. Теперь мы трое не отрывали глаз от змея. А он все ускорял полет. Я еще видел его голову — она стала маленькой, как спичечная коробка, и светлела на фоне облака, совсем потемневшего, переходящего в тучу. Мы поняли — змею не терпится догнать тучу. И вот он достиг своего — вошел в тучу, слился с нею. В ту же секунду суровая нитка с жалобным звоном лопнула, конец ее унесся ввысь и пропал.

Я виновато и испуганно взглянул на Мишку. Но он по-прежнему смотрел вверх, и по лицу его не было видно, что он сердится на меня.

— Ушел...— печально сказал Мишка,— теперь он долго будет там летать — ветер не даст упасть. Нам в школе говорили — вверху, в небе, ветер круглый год дует, никогда не утихает...

ИВАНОВ

Впервые я услышал о нем, кажется, в девятьсот двадцать первом году. Год тот был очень тяжелый, голодный, холодный. Жители нашего Куранска питались чем попало: кого спасала картошка, была она тогда мелкая, пополам с землей, кого — тыквы, кремовые, огромные,— один человек еле подымал такой «плод». Зато каши из него можно было сварить на целую неделю. А кто ходил на Оскол — ловить рыбу. Ее варили, жарили, вялили, сушили.

У нас этого ничего не было: отец умер четыре года назад, мать никогда лопаты в руках не держала, всю жизнь учительствовала в гимназии. Трудовая школа-семилетка не работала — не было дров, и учителя потянулись к приватным занятиям — лишь бы прокормиться. Мать тоже стала давать частные уроки. Каждый день к нам приходило шесть-семь учеников. То были дети куранцев, живущих на городских окраинах — на Сизоновке, Долголевке, Колонтаевке. Окраины эти, став из пригородных сел улицами, в сущности мало чем отличались от деревни: жители имели при домах большие огороды, держали скот, лошадей, птицу. Хозяйство вели натуральное. Мать тоже брала за уроки не деньгами, почти потерявшими ценность, а продуктами. Каждый ученик что-то приносил с собой: один — хлеб домашней выпечки, другой — кошелку картошки или бутылку самодельного, горьковатого подсолнечного масла. Кроме того, каждый через день должен был принести кринку парного молока. Продукты эти были нашим спасением.

Я тоже учился: ходил на занятия к бывшей начальнице женской гимназии. Она теперь служила в горздраве — регистрировала входящие и исходящие; вернувшись домой, учила меня грамматике, истории Древней Греции, алгебре и геометрии.

Но я не только учился — я и сам учил: с утра, когда приходили ребята, проверял у них уроки — спрашивал таблицу умножения, правила грамматики.

Занятия эти очень тяготили меня: весной хотелось без дела побродить по лесу, по лугу, зимой — спуститься на санках с крутой меловой горы или побегать на коньках по замерзшему Осколу. Но матери в одиночку не под силу было справиться с целой маленькой школой,— приходилось терпеть...

Однажды в воскресенье мать пришла с базара очень расстроенная. К ее приходу на столе, как обычно, кипел самовар, но мать даже не взглянула на него. Не снимая пальто, не разматывая платка, она села на табурет у двери, сиплым от волнения голосом сказала:

— Петр Васильевич и Варвара Варфоломеевна голодают...

— А кто это? — спросил я.

— Нет, нет, это же ужасно, ужасно,— не отвечая, продолжала мать,— наши старшие коллеги, наши учителя на краю гибели — им грозит голодная смерть. Дело чести всех нас, куранских учителей, спасти стариков.

— Да кто они такие? — снова спросил я, спросил на свою голову...

— Как кто? — Мать вскочила, сорвала с себя пальто, платок, бросила на стол.— Ты что же, не знаешь лучших людей города, его гордость? — Она метнулась к этажерке. Там стояла некогда выписанная отцом в рассрочку Большая Энциклопедия. — Сейчас, сейчас ты все, все узнаешь.— Мать пробежала глазами по корешкам, выхватила том на букву «И», раскрыла на странице, заложенной белой шелковой ленточкой-закладкой.— Вот, читай!

Я взял том.

— Читай вслух! — приказала мать.

Я прочел:

— «Иванов Петр Васильевич,— ученый, писатель, родился в 1837 году». —Далее следовал длинный список научных трудов.

— Ну-с? — Мать с укором смотрела на меня.— Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь, о чьем существовании не знал до сих пор?

Я потупился. Мне действительно стало не по себе — за две-три улицы от нашей Нагорной многие годы живет замечательный человек, а я об этом ничего не знаю...

— Так вот,— мать уже успокоилась, печально вздохнула,— так вот, этот восьмидесятичетырехлетний старик

и его шестидесятивосьмилетняя племянница — она преподавала у нас географию,— они голодают. Ясно тебе? Го-ло-да-ют! Вечером я обойду наших учителей — каждый из нас должен раз в неделю приносить старикам обед. Я составлю расписание. Начнем мы — и сегодня же! В четыре часа дня ты отнесешь им первое, второе и бутылку молока.

Маленький домик в маленьком — всего в десяток домов — Сквозном переулке я видел много раз, но только сегодня узнал, что там живет настоящий ученый — этнограф, энтомолог, ботаник.

Стоял погожий сухой сентябрь. Под окнами дома росли не обычные, как всюду в Куранске, пирамидальные тополя, а очень старые, уже сохнущие от дряхлости вишни. На их стволах выступила блестящая янтарная ка́медь. Я не удержался, содрал кусок, стал жевать безвкусную, вязкую массу — «садовый мед», любимое лакомство моих «учеников» из маминой школы. Я намеренно долго жевал ка́медь, чтобы оттянуть время. У потрескавшейся, очень старой входной двери «парадного» крыльца виднелась железная заржавленная ручка звонка с фаянсовой грушей на конце, рядом старая медная дощечка с надписью «Иванов Петр Васильевич», сделанной каллиграфическим почерком с тремя твердыми знаками. Под фамилией в особом вырезе узенькая подвижная металлическая вставка, на ней одно слово — «дома». Можно ее передвинуть за шпунтик — тогда покажется другая надпись: «нет дома». Но ее, кажется, давно не выдвигали — хозяин уже много лет был всегда дома... Итак, за дверью с облупившейся краской жил человек, который родился в год смерти Пушкина, во времена почти легендарные! В это просто не верилось, и совсем уж не верилось, что я сейчас его увижу. Но все же надо звонить — принесенный мною картофельный суп и тыквенная каша остывали. Мне вспомнились слова матери: «У них, наверное, и керосина-то нет, чтобы согреть пищу...»

Я несмело дернул за фаянсовую грушу. Где-то в глубине дома раздался дребезжащий звон. Я прислушался, в доме было тихо. Спят или не слышат? Может, позвонить еще раз? Но тут заскрипела внутрен-

няя дверь, послышались шаркающие шаги. Щелкнул замок. На пороге стояла маленькая старуха с очень строгим лицом, в пенсне на черном шнурке, в длинном, глухом черном платье. Оглядев меня, она сухо сказала:

— Простите, вы, вероятно, ошиблись адресом — здесь живут Ивановы.

— Нет, мне надо именно к вам, Варвара Варфоломеевна,— и я назвал имя матери.

Старуха без удивления сделала шаг назад, давая мне пройти.

— Прошу вас.

Мы миновали застекленную веранду, вошли в просторную кухню с пустым чуланчиком для прислуги.

Я сбивчиво объяснил цель своего прихода, хотел поставить судки с обедом и уйти, но Варвара Варфоломеевна уже распахнула дверь в соседнюю комнату.

— Прошу в столовую.

И тут я впервые увидел его. Это был тоже маленький, худощавый старик с молочно-белой бородкой клинышком — «под Чернышевского», в сюртуке, в бархатной черной ермолке. Он подошел ко мне, церемонно поклонившись, представился:

— Иванов Петр Васильевич. Будем знакомы,— и протянул не по росту большую холодную руку.

Оцепенев от смущения, я невнятно пробормотал свое имя.

— Прошу простить,— сказал он.— Толя — это Анатолий, а позвольте отчество?

— Александрович,— пролепетал я: у меня впервые в жизни спрашивали отчество.

— Дядечка, помилуйте! — мягко вмешалась Варвара Варфоломеевна.— Толя ведь еще почти ребенок. Зачем же его смущать, величая по отчеству?

— Нет, нет,— сказал он тоже мягко, но настойчиво,— какой же ребенок! Сколько вам лет, Анатолий Александрович?

— Шестнадцать,— я тут же накинул себе лишний год.

— Шестнадцатый,— неожиданно поправила меня Варвара Варфоломеевна.

— Ну вот,— сказал Иванов,— шестнадцать лет — это же университетский возраст.

К принесенному обеду они отнеслись спокойно, будто ждали его. Варвара Варфоломеевна тут же стала накрывать на стол. Моя мать оказалась права: в доме не было керосина. Я заметил на подоконнике баночку с фитилем, это был «каганец» — жалкий светильник тех трудных времен, заменявший лампу.

— Вы позволите, Анатолий Александрович? — Иванов с полупоклоном кивнул на стол, где уже стояли тарелки.— Мы быстро справимся с роскошным обедом, приготовленным вашей матушкой, и освободим посуду, а вас я пока попрошу, если желаете, пройти в мой кабинет — там библиотека, энтомологическая коллекция, небольшое собрание старинных икон.— И он распахнул дверь в следующую комнату.

Меня поразили размеры этих не комнат — «покоев»: кухня, столовая, кабинет были огромны и более походили на залы. Каждая была обставлена по-своему. Меня окружал многолетний, устоявшийся быт. Любая вещь здесь была необходима, долгие годы занимала свое постоянное место. В столовой над столом висела бронзовая лампа, давно не зажигавшаяся. На стене традиционный натюрморт: повисшие вниз головой вальдшнепы с кровью на перьях, ваза с фруктами, початая бутылка красного вина. Стол был покрыт тяжелой бархатной скатертью. Перед обедом хозяйка сняла ее и расстелила другую скатерть — твердую, иссиня-белую. По слежавшимся складкам было видно — ею давно не пользовались. Шесть кожаных стульев, стоявших вокруг огромного стола, были высоки, тяжелы и более походили на кресла. В «красном» углу, прямо против двери, висел большой, старинного письма образ Нерукотворного Спаса. У задней стены — огромный диван. Кожа его от ветхости кое-где прохудилась и была аккуратно заштопана.

Мне подумалось: возможно, на этом диване появился на свет божий сам хозяин дома...

Я вошел в кабинет. Вдоль стен тянулись открытые полки с книгами. В углу лесенка — доставать книги с верхних полок. Почти все книги были в добротных коленкоровых переплетах. Я увидел Брэма в оригинале, Камилла Фламмариона по-французски, «Жизнь насекомых» Фабра, книги по ботанике, по этнографии.

Отдельную огромную этажерку занимали восемьде-

сят шесть томов — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Энтомологическая коллекция располагалась у окон. В мелких квадратных ящиках со стеклянными крышками на булавках сидели высохшие бабочки, жуки, мухи, шмели, осы; здесь были сотни насекомых, собранных за десятки лет. Я стал рассматривать экспонаты. Меня поразили даты сборов: бабочка «мертвая голова» была поймана в тысяча восемьсот пятидесятом году — еще при крепостном праве! Вероятно, это был один из первых трофеев тринадцатилетнего энтомолога Пети Иванова. Рядом сидели жуки-олени с ветвистыми рогами, пойманные в шестидесятых годах; в семидесятых попалась в сачок громадная, уже обесцвеченная временем саранча. А чудесные стрекозы «коромысло» с длинными радужными сверкающими крыльями, с огромными выпуклыми глазами словно вчера, а не в 1884 году, порхали над гладью Оскола. Здесь было все, что некогда носилось в воздухе, порхало над рекой, над лугом, ползало по листьям, по древесной коре, все, что жужжало, гудело, стрекотало в летней нагретой траве.

Весь левый угол огромного кабинета занимали иконы. Я тогда не разбирался в живописи, а тем паче — в религиозной, и меня поразили странные позы и лики угодников, мучеников, богоматери и самого Христа. Фигуры их были согбенны, словно под неким незримым бременем; изможденные коричневые лики выражали скорбь, почти физическое страдание. Бросился в глаза старинный образ Иоанна-крестителя. Иоанн был бос, но плечи его покрывала овечья шкура шерстью наружу, за спиной виднелись два больших крыла, сильных, темносерых, узких, похожих на крылья коршуна. И в изможденном, темном, бородатом лике с огромными, широко распахнутыми, как бы лишенными век очами было нечто дикое, уже нечеловеческое, а хищно-птичье, делавшее святого таинственным и страшным.

— Крестителем любуетесь? — послышалось сзади.— Это шестнадцатый век, икону я приобрел случайно в одной сельской церкви — стояла в алтаре, на подоконнике, обращенная ликом к стене. Священник объяснил: благолепия в лике нет, поэтому образ может смутить верующих, вызвать у них мысли отнюдь не благочестивые. А по-моему, писано художником большого талан-

та — Иоанн-креститель в пустыне одичал, утратил человеческий облик — эта лохматая звериная шкура, эти крылья делали его чуждым людям. После крещения Иисуса в Иордане Иоанн неминуемо должен погибнуть от меча в темнице царя Ирода. Эта обреченность превосходно выражена иконописцем.

Петр Васильевич, близоруко щурясь, рассматривал Иоанна-крестителя, словно ощупывая взглядом лицо, овечью шкуру, птичьи крылья святого; казалось, он искал в образе нечто новое — сокровенное, утаенное художником. Потом вдруг, вспомнив обо мне, сказал:

— А в этом ряду у меня иконы девы Марии.

Я увидел всю жизнь Марии, жены Иосифа, матери Иисуса из Назарета.

Иконы отражали отдельные события ее жизни.

Говоря об иконах, посвященных богородице, Иванов ни разу не назвал ее матерью божьей, а сына ее — Христом, то есть помазанником божьим. Он говорил о Марии, об Иисусе, о бедных, простых арамейцах, живших две тысячи лет назад, так, будто это были его знакомые, близкие люди, на долю которых выпали страшные, нечеловеческие страдания.

Я взглянул на Петра Васильевича,— он поник, сгорбился, словно рассказ о евангельских героях обессилил его. Передо мною был глубокий, почти столетний старик, родившийся в год смерти Пушкина.

На лице его появилась виноватая улыбка.

— Вы уж извините меня, Анатолий Александрович, но мне надо прилечь, а вы, пожалуйста, не забывайте нас — ведь мы с Вавочкой совсем, совсем одни... Неделями не слышим живого человеческого голоса...— И он поплелся к стоящей за ширмами кровати, на ходу бормотал:— Я не ропщу, нет. Люди очень заняты, жизнь трудная сейчас, тяжелая жизнь... Каждый только думает — быть бы живу...

— Ну, как Ивановы? — встретила меня мать.— На ногах еще? Кто тебе открыл?

Я должен был подробно рассказать о посещении домика в Сквозном переулке.

С того дня я принялся считать дни, остававшиеся до понедельника — до нашего очередного «обеденного» дня.

Беспокоить их в неурочное время я ни за что бы не осмелился. Вся неделя прошла в подготовке к этой встрече.

В понедельник был день занятий с начальницей гимназии. Я больше всего боялся, что мать скажет:

— Я сегодня сама отнесу обед Ивановым, тебе ведь идти к Эмилии Николаевне.

С трепетом ждал я обеденного часа. Заранее переоделся — сменил домашнюю рубаху на новую, почти ненадеванную гимнастерку, порыжелые ботинки за отсутствием ваксы начистил сажей, разведенной в воде.

Мать удивленно оглядела меня.

— Куда это ты так разрядился?

Я ответил с достоинством:

— К Петру Васильевичу Иванову — нашему знаменитому ученому. Он очень просил заходить: у них ведь никто не бывает, и они очень-очень одиноки...

Мать на минуту задумалась.

— А как же Эмилия Николаевна? Ты опоздаешь на занятия.

— Я отнесу обед на полчаса раньше, учебники возьму с собой. И прямо от Ивановых пойду к Эмилии Николаевне.

Мать согласилась.

— Ну, хорошо. Только не утоми Петра Васильевича, помни — ему восемьдесят четыре года.

Надо ли говорить, с каким нетерпением ожидал я, пока мать приготовит обед, завяжет судки в чистую салфетку.

Через четверть часа я уже был у знакомого парадного и осторожно дергал за фаянсовую грушу звонка.

Варвара Варфоломеевна отворила мне дверь, как старому знакомому, с приветливой сдержанностью сказала:

— Прошу, Толя, заходите. Дядечка уже вас ждет.

Мой приход очень обрадовал его.

Теперь на нем был уже не сюртук — он оделся по-походному: застегнутая наглухо тужурка, брюки заправлены в сапоги.

— Сегодня мы с вами, Анатолий Александрович, совершим ботаническую экскурсию,— торжественно объявил он,— отправимся в путешествие по нашему саду. Вы

сами убедитесь, насколько он обширен и как много таит в себе далеко не безынтересного.

Не замечая беспокойных взглядов племянницы, Петр Васильевич бодрым шагом направился к двери. Под мышкой он нес небольшую ботаническую папку с гербарной бумагой, к ней на шнурке привязана специальная узкая лопатка-копалка — выкапывать с корнем растения.

Экскурсия началась сразу же, как только мы сошли с низенького крыльца, ведущего в сад.

Он был огромен или же казался таким из-за густоты, дремучести деревьев, кустарников, трав. Вероятно, когда-то здесь росли фруктовые деревья, но за многие годы они состарились, засохли и были почти все срублены, их место заняли и буйно разрослись дикие деревья, пересаженные из леса: дубы, березы, липы, ясени. Все они тоже были стары; посадил их еще отец Петра Васильевича, учитель уездного училища, построивший этот дом, Василий Васильевич Иванов. Он родился здесь же, в Куранске, в конце позапрошлого века.

Стоял ясный, погожий сентябрь. В начале августа прошли последние теплые летние ливни, холодных затяжных осенних дождей еще не было. И травы, радуясь теплу, как бы переживали вторую молодость — многие зацвели вторично.

Я до этого не занимался ботаникой. Из деревьев знал общеизвестные — тополь, дуб, березу, сосну, ель, познания же в травах были и того скромнее. Знал в лицо ландыш, незабудку, фиалку, василек и еще с десяток таких же всем знакомых растений. Латинских ботанических названий никогда не слышал и почитал их премудростью, мне недоступной.

И вот впервые в жизни я иду на ботаническую экскурсию, иду с ученым, с глубоким знатоком флоры нашего края.

Сад сразу же обступил нас со всех сторон. Нас окружали не отдельные деревья, а целые сонмы их. Деревьев было много, как в настоящем лесу. Они стояли очень близко друг возле друга, наступали на нас. Тропинок не было. Каждое дерево приходилось обходить, но навстречу одному уже вставало другое.

Я растерянно оглянулся. Где мы? Где крыльцо, с которого только что спустились, где дом Ивановых? Во-

круг — спереди, сзади, справа, слева — всюду теснились древесные стволы. Между ними густо рос кустарник. Снизу тянулись высокие, выросшие в полумраке неведомые мне лесные травы.

Я оторопело взглянул на Петра Васильевича. Он беззвучно смеялся — был доволен моим смущением.

— Ага, Анатолий Александрович, попались? В Берендеево царство забрели? Ну-тка попробуйте выбраться! Без провожатого, пожалуй, не удастся!

Но чащоба тут же кончилась — мы выбрались на опушку. Как в настоящем лесу, перед нами лежала крошечная, светлая, вся насквозь просвеченная солнцем полянка. Здесь обильно цвело еще летнее разнотравье. Я увидел долговязый лесной шалфей с крупными шагреневыми листьями, рядом незнакомое, на редкость изящное растение с пунцовыми кольчатыми мутовками цветов.

— Буквица лекарственная,— тихо сказал Петр Васильевич,— у католиков из нее делают кропила для святой воды. Среди губоцветных, семейства, обильного красивыми видами, буквица, по-моему, не знает себе равных. Скажите любому ботанику любой страны только два слова «Бетоника официналис» — и самый строгий, самый угрюмый ласково улыбнется: «О, Бетоника!» — ее все любят.

Петр Васильевич хотел нагнуться, чтобы выкопать буквицу для моего первого гербария, но я не дал ему — сделал это сам.

— А эту прелесть вы, конечно, знаете, Анатолий Александрович?

Да, я знал — это был низкорослый пахучий чабрец, богородская трава. Он отцвел еще весной, но сейчас снова пытался цвести. Кое-где среди густой жесткой стелющейся зелени пробились розовые головки собранных вместе мелких цветков. Как бы невзначай Петр Васильевич почти пропел латинское имя чабреца — Тимус серпи-иллум. Потом сорвал веточку, растер в руках и вдруг приложил к моему лицу. И я почувствовал прекрасный сильный запах, напомнивший мне детство: накануне троицына дня наша няня Домна Павловна собирала чабрец и посыпала им влажные полы, только что вымытые перед праздником.

Теперь я уже сам брал растение в папку и на гер-

барном листе записывал его название — русское и латинское.

Петр Васильевич останавливался только возле цветущих растений — на первых порах не хотел загружать мою память всеми встречающимися видами. Вот он кивнул на маленький, лиловый, малозаметный цветок:

— Это вам, Анатолий Александрович, несомненно, известная черноголовка обыкновенная — Брунелла вульгарис. Но — уверен — вы знаете о ней не все.

Черноголовку я видел впервые; если же и встречал ранее, то проходил мимо. Много ли цветов, трав мы вообще замечаем?

Я выкопал черноголовку. Петр Васильевич осторожно взял ее.

— Позволю себе обратить ваше внимание на некоторые необычные черты этого растеньица.

Он вынул из кармана тужурки складную ботаническую лупу, протянул мне:

— Пожалуйста, загляните в венчик и посмотрите, как устроены тычинки. Это же миниатюрные копья! Правда? Видите — каждая тычинка имеет совершенно копьевидный конец! Ни дать ни взять оружие наших предков, лишь уменьшенное в тысячи раз.

Я посмотрел в лупу. Да, каждая из четырех тычинок черноголовки была маленьким копьецом — держак с острым наконечником.

Мы шли по ивановскому саду и на каждом шагу находили нечто новое, неведомое мне, удивительное.

Я заметил — Петр Васильевич более всего опасается выказать свое превосходство. Прежде чем сообщить мне что-то неизвестное, он непременно говорил: «Вы, конечно, знаете, Анатолий Александрович», или: «Я напомню вам», или: «Вы, возможно, запамятовали». Этих выражений у него было множество. Я понял: ученый Иванов боится подавить меня своими огромными знаниями. А они были поистине неистощимы.

Вот в самом глухом углу топорщится, ощетинившись на весь свет своими крупными колючими венчиками, громадный, в рост высокого человека, татарник. Петр Васильевич останавливается.

— Минутку, Анатолий Александрович,— вот извольте послушать: «Я шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету репей того сорта, кото-

рый у нас называется «татарином». Потом — помните? — Лев Николаевич пытается сорвать его, но не тут-то было! Слушайте: «Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в волокнах, да и цветок уже не казался так свеж и красив... «Какая, однако, энергия и сила жизни», — подумал я».

Петр Васильевич умолк и все смотрел на татарник. Потом сказал тихо:

— Вот как надо писать о природе. Но писать так умел только один человек — граф Лев Николаевич Толстой...

Здесь, среди деревьев, цветов, трав, он, казалось, помолодел, шел твердой походкой. Его большие руки с силой раздвигали крепкие упругие ветки, преграждавшие дорогу, он легко переступил через ствол рухнувшего от дряхлости старого тополя и тут же сообщил, что тополь был не так уж стар — незадолго до гибели ему исполнилось всего девяносто пять лет, но что поделаешь — эта порода очень уж недолговечна, не чета, скажем, дубу.

В саду был и дуб, еще не старый — всего столетний. Петр Васильевич остановился рядом с ним.

— Его посадил мой отец. Вырастил из желудя. Их вначале было много — молодых дубков. Но потом в разное время один за другим погибали — у кого полевая мышь корешок перегрызла, кто захирел от паразитов. Остался вот этот — самый выносливый, самый сильный. Сейчас он в расцвете своей мощи. Если не срубят после моей смерти, будет жить долго-долго...

Ботаническая папка моя постепенно наполнялась. Каждый цветок, каждая травка, каждая древесная ветка — все имели свои неповторимые, отличные от остальных необщие черты. Впервые я услышал имена растений, которые с детства знал лишь в лицо.

Путешествие наше длилось уже не менее часа, когда Петр Васильевич с виноватой улыбкой вдруг остановился.

— Извините, пожалуйста, Анатолий Александрович, но моя немощная плоть, кажется, сдает. Очень прошу вас, голубчик,— возьмите меня, пожалуйста, под руку.

Только тут я спохватился, понял — старик очень измучен.

До дома шли медленно, часто отдыхая. Петр Васильевич совсем выбился из сил. Но перед самой дверью он вдруг остановился, подмигнул мне.

— Сейчас соберусь с силами — войти мне нужно молодцом, не то Вавочка вконец заругает. У нее гимназисток-то больше нет — на мне душу отводит,— и он залился высоким, детским смехом.

С тех пор каждый понедельник — в наш «обеденный» день — я встречался с Петром Васильевичем. Мне удалось упросить начальницу гимназии перенести на другой день наши занятия. Главное теперь заключалось в том, чтобы суметь вовремя проститься с Петром Васильевичем, не утомить его, не довести до изнеможения. А расстаться с ним мне всякий раз было нелегко. Каждый час, проведенный в саду, в огромном кабинете, несказанно обогащал меня. За месяц-полтора нашего знакомства я уже знал множество видов трав, кустарников, деревьев, растущих в окрестностях Куранска. За многие годы почти вся местная флора была перенесена Петром Васильевичем в его лесосад. Но знал он не только мир растений. Я принес ему незнакомую окаменелость, найденную на огороде.

— Что это, Петр Васильевич?

Он сразу же определил:

— Вы нашли довольно редкую вещь, копролит — остатки экскрементов ископаемых животных.

И следовала целая лекция — о гигантских ящерах мезозоя — о динозаврах, диплодоках, плезиозаврах, миллионы лет назад обитавших в наших краях.

Когда был собран гербарий, наступила очередь энтомологической коллекции. Из марли я сделал себе сачок и с ним охотился за насекомыми. Виды их Петр Васильевич определял с первого взгляда, затем учил меня готовить экспонат для будущей коллекции. Уходя от него, я уносил пачку книг — свою недельную порцию. Он никогда не проверял, прочел ли я взятое с собою. Нет, он поступал иначе.

— А как вам понравилось, Анатолий Александрович, место у Фламмариона, где он говорит о различных именах Сириуса — у различных народов? Эту звезду человечество знает, вероятно, от зари своего существования.

Жаль, нам неизвестно, как называли Сириус жрецы славянских племен, обитавших на берегах Днепра.

Однажды я, придя к нему, был поражен: Петр Васильевич двигался по комнате, медленно вращаясь вокруг себя. Я робко спросил, что он делает. Он ответил серьезно:

— Вношу поправку к законам Кеплера.

И тут же попросил меня вращаться вокруг себя и одновременно вокруг него.

— Вы изображаете движение Луны, а я — Земли. Сейчас вы убедитесь, что они, летя к созвездию Геркулеса со скоростью тридцать верст в секунду, совершают движение не по Кеплеровскому эллипсу, а в конечном счете — по спирали.

И вот мы делаем несколько кругов по кабинету, пока я не признаю, что законы Кеплера о вращении планет вокруг Солнца по эллипсу нуждаются в серьезных поправках...

А звездное небо! Под его началом я изучал созвездия по атласу Якова Мессера. Сам Петр Васильевич знал на небе такие звезды, которые были известны, пожалуй, даже не каждому астроному.

Однажды, указав мне на Алькора — «Всадника» — маленькую звезду над Мицар, средней звездой в хвосте Большой Медведицы, он вдруг хитро усмехнулся:

— А теперь пошлю-ка я вас во Вселенную, но вы отправитесь туда без провожатого, в одиночку.

И велел мне:

— А ну поищите, пошарьте вокруг этой самой Мицар — не найдете ли там еще что-либо интересное...

Я стал «шарить» по окрестностям и вскоре увидел: вверху слева от соседней яркой звезды чуть заметно теплится крошечная звездочка шестой величины — последней, доступной невооруженному глазу.

— Где, где? — переспросил Иванов недоверчиво и строго.— Вверху справа, хотите вы сказать?

— Нет, Петр Васильевич, вверху слева.

Бог ты мой! Как он обрадовался, как просиял! Я увидел это даже при скудном свете фонаря с драгоценной стеариновой свечой — мы наблюдали звездное небо у него на дворе.

— Верно, Толя, совершенно верно! — он впервые назвал меня просто по имени.— Отличное зрение у вас, мой

друг, и наблюдательность подлинного натуралиста. Я очень люблю эту звездочку, хотя вижу ее сейчас только в бинокль.

А дело в том, что эта звездочка была самостоятельно обнаружена гимназистом пятого класса Ивановым в Харькове. Было это в тысяча восемьсот сорок девятом году...

— Не знаю до сих пор,— добавил Петр Васильевич,— кто именно дал ей порядковый номер по каталогу; буквы греческого алфавита она так и не удостоилась — больно уж мала, неприметна. Все буквы розданы ее более ярким сестрам.

Это случилось в январе. Каждую ясную ночь я проводил на крыше нашего дома. Брал с собой фонарь с восковой свечкой, купленной за «миллион» рублей в церкви. В полевой бинокль, подаренный Петром Васильевичем, я часами наблюдал созвездия, срисовывал их на бумагу.

В ту зиму стояли сильные морозы, у меня стыли руки, не держали карандаш. Но я решил не бросать наблюдений, пока не зарисую все созвездия северного неба, а потом сличу свои чертежи с картами в атласе Якова Мессера. Так в юности изучал звездное небо сам Петр Васильевич.

Мне не повезло: в одну из ночей я сильно простудился, слег. Вспыхнуло воспаление легких. Болезнь протекала медленно, тяжело. Я часто бредил и все беспокоился — кто же по понедельникам станет носить обед Петру Васильевичу и Варваре Варфоломеевне. Мать успокаивала меня: пока я болею, она сама будет кормить стариков.

Однажды, в очередной понедельник, мать, вернувшись от Ивановых, не пришла ко мне, как обычно, передать от стариков привет и пожелание скорейшего выздоровления. Я встревожился, окликнул ее. Она не отозвалась. Мне послышалось — она в кухне, всхлипывает.

— Мама,— громко крикнул я,— иди сюда, мама!

Она не отозвалась, потом вошла ко мне, заговорила как обычно.

Я успокоился.

Подняться с постели и выйти из дома мне было разрешено только в марте, когда началась оттепель.

Сразу же я отправился к Ивановым. На звонок долго никто не выходил, затем раздались знакомые шаркающие шаги, щелкнул замок. В дверях стояла Варвара Варфоломеевна. Я не узнал ее — глаза были пустые, почти мертвые, голова сильно тряслась.

— Что с вами, Варвара Варфоломеевна,— спросил я,— вы больны?

— Я? — Она подняла голову, и я увидел, как лицо ее мгновенно залилось слезами.— Я... со мной ничего, а вот дядечка...

Я схватил ее за руку.

— Ради бога! Что с Петром Васильевичем?

Она незряче взглянула на меня.

— Разве вы... вы не знаете? Дядечки нет...

— Когда же это случилось? — Я не верил, не мог поверить услышанному.

— Месяц назад... Вечером читал, спокойно лег спать и не проснулся...— Не прощаясь со мною, она через силу поплелась в дом.

Я припал головой к теплой от мартовского солнца, облупившейся парадной двери и громко, не сдерживаясь, заплакал. Вдруг взгляд мой остановился на медной дощечке: под надписью «Петр Васильевич Иванов» стояло — «нет дома».

ГОРОД ОТЦА

Почти все пассажиры вышли из поезда еще перед Куранском — конечной станцией, и мы с Вадимом остались в вагоне вдвоем.

Был второй час ночи. В открытое окно тянуло предрассветным холодом, хотя небо еще не посветлело, было безоблачным, ясным и все, от зенита до горизонта, тихо мерцало мелкими и крупными звездами.

Я видел, как в окне то появлялась, то исчезала поднявшаяся уже очень высоко синяя Вега, а над самой землей стлался огромный Пегас.

Вадим спал на голой скамейке, скорчившись и натянув на голову пиджачок с хлястиком и большими накладными карманами. Рубашка вылезла из штанов, и поясница была голой. Этот пиджачок с длинными брюками — первый взрослый костюм — были куплены перед самым отъездом, когда Вадим благополучно перешел в пятый класс.

Я встал — закрыть окно, но раму заело. Все в этом вагоне было старое, расхлябанное, никудышное. Еще днем мне бросилась в глаза медная дощечка над дверью в тамбур. Вагон был выпущен в тысяча девятьсот двадцать пятом году, и с тех пор он, как видно, все мотается на этой короткой, заброшенной железнодорожной ветке. И я подумал, что, может быть, уже и ездил в этом вагоне, когда возвращался домой на студенческие каникулы. Это бывало всегда в середине июня, поезд приходил в Куранск так же, как и сейчас,— поздней ночью. Я тогда бросил опостылевший истфак, перевелся на биологический,— потеряв год, снова стал первокурсником, с жадностью набросился на новую, живую науку, пристрастился к ботанике, собирал растения везде — даже на обочине тротуаров: под насмешливыми взглядами прохожих останавливался, подчеркнуто спокойно выкапывал перочинным ножом хилую «пастушью сумку» или жесткий иктник. Впереди были каникулы — праздные два с половиной месяца — делай что хочешь: можно купаться в за-

растающем блестящим рдестом Осколе и загорать на сыром, истоптанном коровами берегу; можно лежать в саду, читать «Амок», или кайгородовские книжки о лесе, или Гауфа по-немецки со словариком в конце — надо же хотя бы в институте изучить язык, от которого по глупости все время отлынивал в школе.

...Поезд шел последний перегон. В открытом окне показалась поздняя луна, истаявшая, ущербная, тусклая. Она стыдливо высунулась из-за горизонта, но звезды не замечали ее, сверкали так же ярко. Потом луна скрылась за поворотом, в вагон ворвался железный грохот, замелькали высокие черные фермы моста, запахло сыростью — где-то далеко внизу блеснул и пропал черный ночной Оскол.

Я быстро выглянул в окно, но грохот сразу оборвался — мост был уже позади, до станции оставалось три минуты. И мне вспомнилось, как я впервые засек эти три минуты по карманному «Мозеру» на медной цепочке — своих первых часах, подаренных матерью в день поступления в институт.

Теперь я уже не отходил от окна, вглядывался в слабые, разгоравшиеся все ярче огни станции.

А потом? Что было потом? Передо мною вставали все новые подробности. Вот я прохожу через пустой, пахнущий карболкой, освещенный угольной лампочкой в проволочной сетке маленький вокзал с пожелтевшим зимним расписанием поездов на стене, с румяным, веселым ударником на плакате. Ударник призывал выполнить пятилетку в четыре года и протягивал вперед руку, словно хотел поздороваться с каждым пассажиром, входившим с перрона.

И вот была пустынная привокзальная площадь — вся темная, с круглым светлым пятном под фонарем у входных дверей. Я спешил в самую кромешную темноту под высокими густыми тополями. Там останавливались ночные извозчики. Я шел и боялся — а вдруг их нет, не выехали, опасаясь холостого прогона. Но извозчик был — обычно один-единственный; не торгуясь, я садился, называл адрес: «Нагорная, шесть».

— Это к Анне Петровне? Сынок?

— Да, да,— сухо говорил я, недовольный тем, что меня сразу же узнали.

Мы медленно тащились по сонным пустынным ули-

цам. Пролетка то ехала бесшумно по песку, то грохотала по стертым булыжникам мостовой. Вот и Нагорная улица, третий справа дом с серебристыми елочками в палисаднике. Дом был темный, тихий, спящий. И я вдруг ощутил страх: как мать? Здорова ли? Неделю уже не было письма.

Короткий стук в окно. Прислушиваюсь — ничего не слышно. Потом обозначается светлая щель между ставнями, ставни распахиваются изнутри, в окне смутно белеет лицо матери.

— Толик, ты? Сейчас открою...

Я входил в дом. На рабочем столе горела лампа под зеленым абажуром, лежали тетради, разные методики. А со стены смотрел отец — неизменяющийся, нестареющий, в учительском вицмундире, с густым, черным, как сапожная щетка, ежиком; он снимался в шестнадцатом, а умер год спустя, когда мне было девять. В памяти остался запах табака со странным названием «Месаксуди» и холодное покалывание в носу от боржома — отец не давал пить из своего стакана: «Принеси чашку. Я налью». Умер он от рака, знал, что умрет, но всем говорил, что у него обыкновенный катар — болезнь каждого уважающего себя интеллигента.

...Паровоз резко сбавил ход, в окне мелькнула будка стрелочника, пронеслась темная башня водокачки, и уже медленно проплыли окна вокзала, медный колокол, крупные — черные на белом — буквы «Куранск» на боковой стене, и еще раз «Куранск», уже на фасаде. Вагон дернуло вперед, потом назад. Совсем близко послышалось шипенье паровоза.

— Вставай, Вадим, приехали,— сказал я.

Сын глубоко вздохнул, зябко повел плечами, надел смятый пиджачок, посмотрел в окно: он впервые был в родном городе отца.

Мы вышли из вагона. Я втянул в себя влажный воздух, прислушался — за полотном громко квакали лягушки. Мелкая Рукавка, невидимая в темноте, несла свои еще по-весеннему быстрые воды. Пахло этой водой, илом — былыми запахами возвращения.

— Ну пошли,— сказал я,— ты подними воротник — сыро.

Вадим громко зевнул.

— Папа, а в Рукавке есть рыба?

— При мне уже не было. Но отец — дед твой — еще ловил. Мы рыбу в Осколе ловили. Не знаю, как сейчас.

Вышли на привокзальную площадь. Здесь было пусто. Черные тени от тополей спокойно лежали в сквере, извозчиков нет — давно вывелись, а такси еще не появились.

— Пойдем пешком. Тут близко,— сказал я.

Шли налегке, без вещей, с ручными чемоданчиками. Я приехал просто так — посмотреть родные места после многих лет. Вадим — побывать наконец-то в Кураиске, о котором столько раз слышал от меня.

У вокзала раскинулась старая тополевая рощица. На фоне ночного неба высоко, среди негустых еще веток, чернели грачиные гнезда, их было много — по нескольку на каждом дереве. Вадим остановился, подняв голову, прислушался, но вверху было тихо.

— Они спят? — спросил он.

— Да,— сказал я,— молодые уже подросли, стало спокойнее. А месяц назад тут стоял гвалт — не приведи боже! От рассвета до темноты крик, драки; кто близко живет — не позавидуешь... В мое время ребята из железнодорожной школы несколько раз разоряли гнезда, сбрасывали их вниз, но грачи упорные — вили новые.

— Молодцы грачи,— тихо сказал Вадим,— не поддались.

Мы стояли под деревьями и смотрели вверх, ожидая, что грачи подадут голос, но в гнездах царил глубокий покой.

— Пошли,— сказал я,— поздно уже.

— Грачи — самые долголетние птицы,— задумчиво проговорил Вадим,— живут триста лет. Это правда, папа?

— Нет,— сказал я,— ты спутал грача с вороном. Да и ворон столько не живет. Это народное поверье.

За тополевой рощицей пошла незамощенная песчаная дорога. Ноги вязли по щиколотку; когда-то тут было русло Рукавки, переместившейся теперь за вокзал.

Идти было трудно, но я радовался, что иду сейчас по этому глубокому песку и что у вокзала не срублены старые тополя и вверху, окруженные звездами, темнеют молчаливые, угомонившиеся к ночи грачиные гнезда.

Песок кончился, дальше пошел булыжник Садовой улицы. Сейчас должна быть аптека. А может, и дома этого нет, не только аптеки? Как-никак тут больше го-

да хозяйничали немцы... Но угловой дом с аптекой был на старом месте, вывеска с громадными черными буквами смутно белела в темноте. Сторож в могучем тулупе, будто ему предстояло пробыть ночь на арктическом морозе, сидел у двери, запертой на висячий замок.

— Товарищ, где у вас гостиница? — спросил я.

— Гостиница? — Голос сторожа был чуть хриплый от сна, но ответил он сразу — видно, спал чутко, и я усмехнулся, услышав забытое уже, мягкое украинское «г».— Гостиницы у нас, дорогой товарищ, пока не построили. Есть Дом колхозника — там еще Романченко Юхим Сидорович сторожует,— прямо к нему и идите.— Сторож отбросил огромный меховой воротник, видно собираясь обстоятельно поговорить, но мы уже пошли дальше.

Открылась базарная площадь — длинные ряды деревянных столов, галантерейные и продуктовые лавочки, церковь с куполом без креста — еще в тридцатых годах здесь обосновалась автобаза. Все было на старых местах.

Романченко Юхим Сидорович похрапывал во сне. Мы с Вадимом прошли мимо, постучались в Дом колхозника. Раздались тяжелые шаги. Дежурная, в пальто, надетом прямо на рубашку, шаркая калошами на босу ногу, подошла к двери, отбросила цепочку и молча повела наверх. Это была уже пожилая женщина, и я подумал, что она могла бы знать меня. Заполняя листок учета, в графе «место рождения» я крупно написал: «Гор. Куранск» — и даже подчеркнул жирной чертой,— авось дежурная взглянет, заинтересуется: паспорт московский, выходит — земляк приехал в родной город... Но дежурная, сонно щурясь от света голой, очень яркой лампы, даже не посмотрела на листок. Получив десять рублей за двоих, она выписала квитанцию и протянула мне ключ с картонным ярлычком.

— Третий номер. Там постелено.

В номере стояла еще дневная духота. Я распахнул окно. Оно открылось с треском — порвалась бумажная оклейка: окно с осени было закрыто наглухо. Свет от фонаря во дворе падал в комнату. Не зажигая электричества, я сказал, чтобы Вадим ложился спать — только пусть помоется на ночь. Но Вадим уже почти спал, шатался, как пьяный. Он отбросил одеяло, стянул с себя пиджак, брюки, в трусах и в майке повалился на кровать. Сразу же послышалось его ровное дыхание.

Я встал, аккуратно — в складку — сложнл брюки, подиял брошеиный иа стул пиджачок с иакладнымн карманами и широкнм хлястиком. Костюм был совсем новый, ио уже пахнул Вадиком. Быстро взгляиув на спящего сына, я иа секуиду поднес пнджачок к лицу, глубоко вдохиул в себя милый мальчншеский запах.

Потом я сидел у открытого окиа, смотрел иа темный, пустыииый гостиничный двор. Странио — я ие помннл ни этого двора, ии дома, не помиил, что здесь было раньше. Кругом стояла глухая тишниа, только временами легкий предрассветный ветер доиосил с улицы безмятежный храп Юхима Сндоровнча.

Спать ие хотелось. До утра оставалось час-два, а там мы пойдем по городу, на берег Оскола, по Нагорной улице; увиднм дом, где иачалась моя жизнь, прошли ее первые двадцать лет.

Этой встречи с прошлым я и хотел и боялся. В памятн все долгие годы жнл родной город, жнл таким, каким был оставлеи в ту страшиую весиу, когда в муках от неожидаиио нагрянувшей болезни скончалась еще не старая мать и я остался совсем один. Случилось это в мае, и май этот был вначале самым радостиым, светлым — я только окончнл биофак, собирался в свою первую научиую экспеднцию.

И вдруг телеграмма — мать снльно больна. Я помчался в Куранск. В больнице меня встретили с привычным и оттого холодиым сочувствием. Да, мать иензлечимо больна — медицина бессильиа помочь. С каждым днем будет все хуже.

— Оиа будет очень мучиться? — спросил я.

— Сейчас трудио сказать,— уклончиво ответнл врач,— это бывает по-разиому. Но мать ваша — хроник. У себя мы оставить ее не можем.

— Оиа все зиает?

— Нет. Это надо скрывать, пока возможно.

— Что же говорить ей о болезин?

— Мы говорим — острый раднкулит. Болезнь затяжная — иадо терпеть. Вы должны говорить то же...

Потом была первая встреча с иею, обречениой...

Я смеялся, шутил, о болезии матерн сказал, что это так же не опасно, как ишиас, хотя и не менее мучнтельно. Сейчас важен покой, лучше всего — в домашиих условиях: больиичиая обстаиовка все же иервнрует, ие-

даром еще великий Павлов учил, что для любых заболеваний, тем паче — нервных, обстановка — главное.

— Ну, раз классики биологи пошли в ход, мне остается только слушаться.— Мать сразу приняла мой тон, и по ее глазам, за месяц ставшим огромными, глубокими, было видно, что ей очень хочется верить моим словам и она старается верить.

На другой же день мы приехали домой. Извозчик вез шагом, очень бережно, называл мать Анной Петровной — в маленьких городках старожилов хорошо знают, а мать родилась, выросла и всю жизнь прожила в Куранске. Теперь ей предстояло здесь умереть...

Я протянул матери руку, она всем телом оперлась на нее, и я почувствовал, какая она стала легкая, маленькая — кожа да кости. И это сейчас, всего на втором месяце болезни...

Я хотел было внести ее на руках, но побоялся — она подумает, что болезнь серьезная, и я стал медленно вести ее на крыльцо. Мы брали ступеньку за ступенькой; я шел и думал, что она последний раз ходит по земле. Пройдет время, полное бессмысленных и страшных мук, и по этому же крыльцу мать вынесут на кладбище. При этой мысли я почувствовал, что задыхаюсь от слез, от горя, и чтобы скрыть это, закашлялся.

— Ты простудился, Толя? — Как всегда, она беспокоилась только обо мне.— Верно, продуло в поезде? Смотри, на ночь обязательно прими аспирин.

И вот наступила последняя ночь. Сиделка должна была прийти только утром, и я на раскладушке устроился в комнате матери, хотя она и не хотела, говорила, что, может, ночью у нее будут сильные боли, она начнет стонать и помешает мне заснуть, а я устал с поезда. Кроме того,— она это уже раньше знала,— мне двадцать пятого мая надо выезжать в Туркмению, в экспедицию, а сегодня двадцать третье.

Я лежал на скрипучей раскладушке и думал: как быть? Сказать завтра, что не поеду в Туркмению, останусь дома? Тогда она сразу догадается, что положение ее куда серьезнее, чем ей говорят, начнет допытываться и очень скоро узнает правду — я не смогу долго скрывать, сил не хватит, особенно дальше, когда начнутся тяжелые страдания. И она будет мучиться еще больше, видя меня, ежеминутно прощаясь со мною... И еще:

остаться — это, разумеется, сильио уменьшить возможность осенью попасть в аспираитуру. Экспедиция — всегда проверка пригодиости к иаучной работе. Но сейчас это, разумеется, не имеет значения. Можно ли думать об аспирантуре, когда впереди такое страшное, неизбывное горе... И я действительно ие думал ни о чем, кроме своего горя,— старался ие ворочаться на скрипучей раскладушке, дышал ровно, как спящий, временами даже чуть всхрапывал, а сам слушал, слушал... Мать вздыхала прерывисто и часто — сдерживалась, чтобы не стонать, ие разбудить, ие побеспокоить меня. Но, видимо, боль иарастала, ей уже было невмоготу терпеть; она тихонько и коротко застонала и сейчас же умолкла, только дышала все так же часто и тяжело.

А мне было иечем дышать. Слезы душили меия, они текли по вискам, текли в уши, иа подушку. Я плакал беззвучно, стараясь ничем ие выдать себя. И тогда оиа осмелела: стала стонать очень тихо, высоким, почти детским голосом. Потом, спохватившись, умолкала, но через минуту стон прорывался снова. И я ие выдержал, коротко всхлипнул, хотя сейчас же замолчал — сжал зубы. Мать подняла голову с подушки.

— Толик, ты ие спишь? У тебя иасморк? Почему ты не приият аспирин? Встаиь, возьми у меня в тумбочке...

А я, сжав голову руками, прятал лицо в подушку и боялся одного — что сейчас закричу во весь голос, стаиу биться головой о железный край раскладушки.

Рубаха на груди, подушка, руки — все уже было мокрое от слез, а я старался дышать спокойно — мол, сиова засиул, устал с дороги.

Что было дальше, ие помню. Не помню, как прошла эта иочь — самая страшная ночь в моей жизни.

Утром матери стало легче, только осунувшееся, почериевшее лицо иапомииало о перенесенных муках. Да, она потребовала, чтобы я немедленно начал собираться в отъезд. Это разумелось само собой — как же я могу остаться? Из-за чего? Из-за ее радикулита? Потерять экспедицию из-за болезни, которая пройдет через месяц? Кто будет с ней? Боже мой! Да вся школа, полгорода! В больнице оиа лежала всего неделю — и каждый день целое паломничество. Не хотели ждать приемных часов, ссорились с дежуриым врачом. Нет, иикогда она ие ду-

мала, что ее так любят,— пустяковая болезнь, а шли и шли сослуживцы, школьннки, старые знакомые. Мнительный человек решил бы, что у него смертельная болезнь. Но она-то всегда умела спокойно все рассудить, взвесить...

И я понял: надо ехать... Я гнал от себя мысль, что бегу, труслнво бегу от ее смерти, от мучений, которые предстоит увидеть, если я останусь. Надо было ехать, чтобы она не догадалась, не узнала страшной правды.

Прощалнсь мы очень спокойно. Я чувствовал: если сейчас не выдержать, все пропало, все откроется.

— Поправляйся скорее, мама,— я сказал это почти сухо.— Прнеду в Ашхабад — сразу же дам телеграмму.— Я наклонился к ней, обнял ее бедную седую голову, быстро поцеловал.

— Счастливого пути, Толик!

Я увидел ее огромные глаза, остановившиеся на мне в последний раз. На секунду в этнх глазах мелькнула тоска, которой я еще не видел у нее. Неужели она догадалась, все знает?

— До свиданья, Толик! Береги себя. Пиши почаще!

Вышел я из комнаты не спеша, подчеркнуто спокойно. Но оглянуться на пороге побоялся и только ощутил на себе ее долгий последний, прощальный взгляд.

Умерла она через месяц, с каждым днем мучилась все сильнее — не действовалн уже ни пантопон, ни морфий. Под конец говорила шепотом — сорвала голос от крика. До последней минуты с нею были ее товарищи по школе, дежурили бессменно. И все же в этн последнне дни она чувствовала себя страшно одинокой — около нее не было сына, единственного, самого близкого, родного человека. Товарнщи, понимая это, предлагали вызвать меня телеграммой, но она, говоря уже через силу, запретила это делать:

— Нет! Он в пустыне. Там трудная, очень нужная работа... А мне он ничем не поможет... Приезд только выбьет его из колеи.

Эти немного сухие, книжные слова — ее слова — я прочел в письме старой, еще гимназической подруги матери — преподавательницы, знавшей меня от рождения,— и подумал, каких огромных усилий стоило матери отказаться от последней встречи, отказаться во имя будущего ее Толика...

...Я поднялся, вышел во двор.

Майская ночь кончалась. Мелкие звезды уже не были видны. Крупные пока светились, но свет их был не ночной — переливчатый, яркий, а ровный, тусклый, оловянный. Восток, еще недавно более темный, чем запад,— там туманно мерцал Млечный Путь,— сейчас менялся на глазах. Почти неотличимый от темноты, чуть брезжущий свет сгустился в узкую полоску, прижатую к горизонту темным пологом то ли туч, то ли ночного мрака. Эта полоса все ширилась, становилась ярче. Из почти бесцветной «нетьмы» она сделалась зеленоватой, потом в ней проступили розовые тона. Они становились гуще, сильнее, неотвратимее, и вот уже весь восток охватило широкое багряное зарево. Зарево взметнулось вверх — высоко, чуть не до самого зенита. Небо из темного, ночного стало светлым и синим, как море. И вот на страшной высоте невидимое, спокойно спавшее среди звезд маленькое облачко вдруг проснулось, радостно вспыхнуло — оно первым увидело солнце.

Я вернулся в номер, закурил. Вадим крепко спал, уткнувшись лицом в подушку. Я осторожно повернул его на бок и не удержался — погладил по голове: это можно было позволить, только когда сын спал,— Вадим начисто отвергал нежности.

— Папа, кончай, маленький я, что ли?

Впрочем, и маленьким он только что терпел отцовскую ласку, хотя с трех лет рос без матери.

Оскол открылся нам сразу же — в конце Колонтаевской улицы, идущей вниз от гостиницы. Он был такой, как и в дни моей молодости,— неширокий, быстрый, только берега, когда-то поросшие густым камышом, высоким тростником, теперь покрывала лишь по-весеннему яркая молодая трава. Поэтому тени у берегов не было, солнце отражала уже не только середина русла — вся узкая река, от берега до берега, сверкала, плавилась, и глазам не на чем было отдохнуть.

На лугу паслись коровы. Пастух — мальчик лет десяти — в старой, добела выгоревшей солдатской пилотке с новенькой, свежо поблескивающей красной звездочкой — бесцеремонно разглядывал меня и Вадима.

— Ты из Петропавловки? — спросил я. Петропавловка — село, расположенное на той стороне Оскола, в километре от реки.

— Ага. З «Червоного Жовтня». А вы шо, з Харькова? — пастух говорил на той неимоверной смеси русского с украинским, на которой говорят в наших краях с незапамятных времен.

— Нет, брат, мы издалека — из Москвы.

— Оце-е! — удивленно протянул пастух.— А чого ж прнихалы? В командировку на сахзавод?

— Та нн,— сказал я по-украински, чувствуя, как с непривычки странно звучат слова полузабытого языка,— прнихалы побачыты, як вы тут жыветэ.

— Шуткуетэ,— недоверчиво проговорил мальчик,— я вас знмою на сахзаводе бачив, вы ж инженер.

Я молча усмехнулся — парень спутал меня с кем-то.

У самого берега сильным течением из стороны в сторону мотало длинные зеленые водоросли — «русалочьи косы». Их то прибнвало к берегу, то относило на середину рекн.

— Папа, давай искупаемся,— предложил Ваднм.

— Можно. Только здесь течение сильное, сразу снесет вннз.

— А глубоко?

— Было метров пять. Не знаю, как сейчас.

Мы разделись, вошли в воду. Вадим плавал не хуже меня. Течение подхватнло нас, понесло, но мы саженкамн быстро переплылн нешнрокую реку н вышли на том берегу.

— Купайся с нами! — крнкнул пастуху Ваднм.

Мальчик молча покачал головой.

— Что, плавать не умеешь?

— Умню. Тилько менн за коровами трэба доглядаты.

Пастух был на работе и не разрешал себе неположенного.

Я сидел на берегу, опустив ноги в воду, и мне казалось, что не было никакнх двадцатн лет отсутствия, что я никуда не уезжал из Куранска, просто приплыл сюда из дома на лодке н купаюсь в теплой быстрой воде. Еслн взглянуть вправо — высоко на горе, над Осколом, увидишь наш дом из темно-красного кирпича, с зеленой крышей, с белымн столбамн открытой веранды; вокруг сад, по склону клубятся яблоневые кроны.

Уверенность в этом была так велика, что я прикрыл глаза, чтобы невзначай, до срока не взглянуть на гору.

Вадим ходил по берегу и тряс головой — набрал воды в уши.

— Никак не выльешь,— с досадой сказал он.

— А ты свесь голову набок и поскачи на одном месте.

Он подпрыгнул раз, другой, засмеялся:

— Сразу пошла — тепленькая водичка, успела уже нагреться в ухе.

А мне очень хотелось рассказать ему, как в этом самом месте — на быстрине — мы с отцом впервые ловили рыбу на утренней заре. До тех пор я никогда не вставал так рано, а тут отец тихо разбудил меня. Чтобы не беспокоить мать, мы выбрались из дома через веранду, пошли по мокрому от росы саду, я сразу промочил ноги, но молчал — боялся, что отец отправит домой. В то утро мы ничего не поймали, но я и сейчас мог бы рассказать подробно — час за часом, как мы ехали, как ловили рыбу, как купались, что говорил отец.

Я взглянул на Вадима. Он ходил по берегу и смотрел на ту сторону — ему хотелось поговорить с пастухом.

— Если хочешь, плыви обратно,— сказал я.

— А ты?

— Я немножко позагораю.

Вадим быстро переплыл реку, отжал трусы, подошел к пастуху; они сидели на корточках и о чем-то говорили.

А я, оттягивая время, стал смотреть на дно, ярко освещенное солнцем. У моих ног бесстрашно плавали мальки — будущие лещи, плотицы, щуки. Сейчас они были неотличимо похожи друг на друга и мирно плавали все вместе. Иногда маленькая рыбка быстро поворачивалась боком и на мгновение, как зеркальце, сверкала в солнечных лучах. А под мальками, так же как и на том берегу, беспрерывно мотались зеленые «русалочьи косы».

Я снова взглянул на тот берег. Вадим взял у пастуха кнут, чертил что-то на траве. Потом оглянулся, ожидающе посмотрел на меня. И я решился — почувствовав, как сильно забилось сердце, быстро повернул голову вправо и ахнул: на месте нашего дома стояло что-то совсем другое, совсем непохожее на него. Только темно-красные кирпичные стены говорили — это он, это наш дом. Но куда же девались белые колонны, зеленая крыша, шпиль на фронтоне? Их не было — веранда наглухо забита некрашеными досками. Сада нет. На месте его три далеко

отстоящих один от другого деревянных мухомора, какие обычно стоят на детских площадках. Издали двор казался пустынным. Непонятно: зачем же забили веранду? Или потому, что надо было расширить жилплощадь детского сада? Их везде еще мало, везде не хватает...

Я смотрел на наш — такой близкий и такой чужой — дом, чумаковский дом, где я родился, вырос, откуда ушел много лет назад. И тут на голом пустыре из-под одного из мухоморов вырвалось что-то маленькое, красное; как быстрый огонек, побежало к соседнему грибу и скрылось под ним.

Я бросился в воду, в несколько взмахов переплыл Оскол; запыхавшись, вышел на берег, лег на песок. Послышались голоса Вадима и пастуха.

— А за «Беломором» який сорт идэ?

— За «Беломором» — «Казбек», три рубля коробка — двадцать пять штук. Потом «Люкс» — еще дороже.

— Самые дорогие?

— Ты что — «самые дорогие»! Самые дорогие, брат, это сигары «гавана», пять рублиноков штука. Их нам с Кубы привозят.

— Не може быть,— твердо сказал пастух.— Кто ж такие будэ курыты? Та за пять рублив лучше сто грамм выпить.

— Ну, тот, кто «гаваны» курит, водку пить не захочет. Ему коньяк «Двин» подавай: семьдесят рублей бутылка.

— А ты пил?

— Зачем? Коньяк, водка — горькие. Лучший напиток на земле знаешь какой?

— А то не знаю! Сельтерская с двойным сиропом.

— Тоже сказанул! Виноградный сок — вот что! Двести пятьдесят граммов пломбира, стаканчик сока — ешь и запиваешь. Мы с папой каждое воскресенье ходим в кафе на улице Горького.

Пастух сплюнул сквозь зубы.

— А куришь ты що?

— Я совсем не курю. Легкие прокоптятся, можно раком заболеть. Папина мать от рака умерла. Она здесь жила, в вашем Куранске.

— Давно?

— Давно — двадцать лет назад.

— Теперь, кажуть, рак радием можно вылечить.—

Пастух вынул кисет, умело свернул козью ножку, потом достал увеличительное стекло, навел на солнце. Папироса задымилась.

— Ловко! — сказал Вадим.— И спичек не надо. Ты что, махорку куришь?

— Махорку. «Гаваны» до нас еще тилько везуть...— Он насмешливо взглянул на Вадима.— А ты не куришь, на що тоби вси сорта знать?

— Я для коллекции собираю папиросные коробки.

— И марки?

— Нет, марки все собирают. Коробки интереснее — их редко кто собирает.

Я слушал Вадима и думал, что вот рядом со мной живет маленький человек, самый любимый, самый близкий,— и уже такой далекий. У него своя, неведомая мне жизнь. Когда Вадим вдруг начинал расспрашивать об отдельных сортах папирос, я сердился, считая, что он потихоньку курит. И что виноградный сок — лучший напиток на земле, я тоже узнал только сейчас...

Близился полдень. Пастух взглянул на солнце, молча поднялся, не прощаясь с Вадимом, погнал коров к отлогому берегу на водопой.

Пора было идти в город — встретиться с ним после долгой разлуки.

И вот мы снова идем по Колонтаевской, сворачиваем на Октябрьскую — бывшую Дворянскую, главную улицу города. На углу, в двухэтажном сером здании, как и двадцать лет назад,— райисполком. До революции в этом доме помещалась городская управа.

Я остановился, взглянул вдоль улицы. Она просматривалась очень далеко — почти до самого конца. Но как это могло быть? Укоротилась она, что ли? По этой улице впервые, семилетним мальчишкой, я один, тайком от родных, прошел из конца в конец — от Покровского собора, разобранного в тридцатом году, вот сюда — до городской управы. Какой длинной, бесконечной была тогда Дворянская! И как я боялся, как испуганно оглядывался на каждого прохожего. Вдруг спросит: «Ты чей, мальчик? Почему один тут шатаешься?» Дойдя до конца улицы, я еле успел спрятаться за старую липу с выгнившей, залитой цементом сердцевиной: возле каменного крыльца городской управы медленно расхаживал огромный усатый городовой в парусиновом кителе с темными

от пота подмышками. Очень толстые икры городового были туго схвачены узкими голенищами до блеска начищенных сапог.

Весь сжавшись, тяжело дыша, я стоял за липой и ждал, пока городовой повернется спиной. Тогда, может быть, еще удастся спастись...

Так кончился мой первый выход в мир. Как много я увидел, узнал тогда! Сколько раз до этого дня мы с матерью ходили по Дворянской, но только в тот день я по-настоящему понял, как огромны богатства витрины игрушечного магазина Краснкова. Или магазин резиновых изделий «Машков и сыновья» — я впервые рассмотрел там гигантскую правую калошу, стоящую среди десятка обыкновенных мелких и глубоких калош.

А теперь на месте магазина с огромной калошей был пустырь. У самой земли, вровень с нею, темнел каменный фундамент. Над грудами битого кирпича подымались уже немолодые клены-самосады — выросли на руинах.

Вадим кивнул на развалины:

— Немцы сожгли?

— Да.

— Почему же площадка до сих пор не расчищена?

— До всего, брат, руки не доходят.

— Почти двадцать лет прошло, и все не доходят?

Я не ответил, я сам был подавлен заброшенностью, запустением моего родного города. С трудом узнавал я дома, которые столько лет мог ясно представить себе, закрыв глаза.

Впрочем, многих домов не было. На месте их лежали пустыри, валялись скрученные ржавые балки, высились поросшие бурьяном горы мусора. Уцелевшие дома, казалось, стали ниже, словно от старости ушли в землю. Темные каменные стены их покрывали глубокие борозды — следы фугасок, снарядов. Все здесь на каждом шагу напоминало о войне, о которой почти забыли в больших городах.

Вадим шел рядом, притихший, хмурый: он впервые не в кино, а в жизни видел страшные следы войны.

Поворот на нашу Нагорную — возле электростанции, но электростанции нет, на месте ее маленький сквер: десяток скорорастущих кленов, в середине клумба, за-

росшая белесой лебедой, две деревянные скамьи — одна без спинки, другая без сиденья.

Нагорная была пустынна — день будничный, время рабочее. Я шел и вглядывался в дома, которые с детства знал наперечет: дом Михайлова — учителя гимназии; дом доктора Сабурова; дом полковника в отставке Сухих. Узнать дома было почти невозможно — над одними возведены вторые этажи, к другим сделаны пристройки — в каждом живут по нескольку семей, и нумерация домов новая. Табличка с номером «6» прибита на чужом доме.

Я шел по совсем незнакомой улице. Даже сорная трава была здесь теперь другая — вся улица сплошь заросла мелким спорышом, а раньше чего только тут не росло — у заборов «куриная слепота», с необыкновенными серыми цветами, жирные, почти черные лопухи с красными колючими шариками плодов. А посредине улицы, между колеями еле заметной, ненаезженной дороги, тянул вверх свои прямые, проволочно-твердые стебли подорожник.

И вдруг я остановился — вдали показались серебристые ели, ели нашего дома. Старые, кособокие, искривленные, они были живы, стояли у темно-красной стены дома, словно охраняя его.

Я ускорил шаг, я почти бежал. Вадим еле поспевал за мною.

— Это ваш дом, папа?

Я не ответил, я спешил вперед, к серебристым елочкам моего детства.

Крайняя ель росла под окном, в которое я стучал, приезжая ночью домой, на каникулы. От старости она уже не росла в вышину, но редкие, расположенные не ярусом, а только с одной стороны ветки покрывала нежная, молодая хвоя — прирост этого года.

Я медленно гладил эти мягкие иголки и смотрел, все смотрел на окно, наглухо закрытое плотной белой занавеской. И вдруг угол ее приподнялся, из окон продолговатыми, как сливы, черными украинскими глазами в упор смотрела на меня девочка в красном платьице, в белой панамке с прорезями по бокам. Губы ее зашевелились, она что-то сказала, но двойная рама в окне глушила голос. А девочка все смотрела на меня и что-то говорила, потом перевела взгляд на Вадима, помахала

ему рукой и скрылась. Через минуту она снова показалась. Теперь их было уже двое: рядом с красным платьицем стоял мальчик — неимоверно белобрысый, будто седой, в синем комбинезончике в белую горошину. Он не смеялся, ничего не говорил и совсем не смотрел на меня, только на Вадима, потом стал стучать кулачком в окно и кивать вправо — там был вход в дом.

— Боевой пацан,— сказал Вадим.— Может, зайдём, папа?

Зайти? Но воспитательница сразу же спросит — по какому делу? И вряд ли удовлетворится ответом, что мы приглашены обитателями дома в красном платьице и синем комбинезончике в белую горошину...

И я снял кепку, помахал ею новым хозяевам чумаковского дома. Они сразу перестали улыбаться, смотрели на нас разочарованно, с явной обидой.

Когда мы миновали дом, вслед нам громко зазвенел колокольчик — сзывал на обед обитателей бывшего нашего дома.

Я чувствовал, что вижу этот дом в последний раз. Жизнь в нем идет своей чередой. Зачем мне в нее вмешиваться, мешать ей? И все же мне очень не хотелось молча расставаться с нашим домом. Я стал рассказывать Вадиму о том, как были расположены в нем комнаты, какие чудесные деревья росли в нашем саду — были здесь и амурский бархат, и сибирская облепиха, даже пихта, кедр — отец выписывал саженцы по прейскуранту; в летние каникулы никуда не ездил, с утра до вечера занимался своим садом. Кажется, это и было его призванием, главным делом всей жизни.

Вадим слушал не прерывая, поддакивал, говорил «интересно», а сам смотрел по сторонам, глазами искал что-то. И вдруг, увидев на столбе маленький, вырезанный из жести силуэт автобуса, спросил:

— Папа, мы поедем на сахзавод?

— На сахарный завод? А ты что, хочешь посмотреть производство?

— Там меляс есть. Иван говорит — замечательная штука, сладкий, как мед.

— Какой Иван?

— Коровий пастух. Его отец на сахзаводе работает, получает меляс по себестоимости. Давай поедем, попро-

сим: может, нам немножко продадут. Его в магазинах не бывает.

Я понял: Вадиму чуждо, неинтересно все, о чем я только что говорил. И незачем мне навязывать ему свои чувства.

Все же я твердо решил — пойти проститься с матерью, с ее могилой.

На кладбище в последний раз я был сразу же после возвращения из Туркмении — поздней осенью, спустя несколько месяцев после смерти мамы.

Шли затяжные холодные дожди. Еще свежая могила оплыла, осела. Я стоял перед нею один, смотрел на маленький желтый холмик с рыжей, высохшей хвоей венков, с мокрыми, испачканными глиной лентами, на которых расплылись какие-то слова, и повторял только одно слово — «мама, мама, мама».

На другой же день я уехал из Куранска, убежал от неотвязных, рвущих душу воспоминаний, от горьких упреков: я не был с ней в ее последние часы, не сказал ей, что она всегда, всю жизнь была самой любимой, самой нужной мне. Никогда я не говорил ей этого — стыдился. И теперь уж никогда не скажу...

Старое кладбище примыкало к Нагорной. Оно было закрыто, здесь давно уже не хоронили. Одиноко высились редкие, кое-где уцелевшие каменные надгробия, в траве валялись куски мраморных ангелов, ржавые железные кресты. Тяжелые, слепые от времени чугунные плиты лежали вровень с землей.

Все двадцать лет я помнил, где похоронена мать,— у старых тополей посредине кладбища. Рядом — ограда, окружающая семейные могилы купцов Шилиных. Но тополей больше не было, даже пней не осталось, и шилинская ограда исчезла. Земля вокруг была почти ровная, чуть волнистая — время стерло, сровняло все могилы.

Я смотрел кругом. Мать лежала здесь, в этой заброшенной, поросшей травой земле. Она была совсем близко, я был рядом с ней и плакал, слезы туманили глаза, текли по щекам, попадали в рот, я ощущал их солоноватый вкус, как тогда, в ту последнюю ночь... Я старался плакать тихо, чтобы Вадим ничего не заметил,— он ведь не знал ее, ни разу не назвал бабушкой, только отчужден-

но — «папина мать». Но, слава богу, Вадима близко ие было. Он сидел иа глиииcтом холмике, опершись на локоть, и что-то там рассматривал. И вдруг я услышал смех, веселый смех. Я быстро обернулся.

— Папа, смотри! Схватил-таки! Я вытащил его иаверх, он не отпускает воск; верно, думает, это мой палец, да?

— Кто думает? О чем ты? — я иичего ие поиимал.

— Ах какой ты, ей-богу! — Вадим был раздражен моим непоииманием: я не смел ие делить с иим его радости.— Ну чего ты там стоишь? Я поймал тараитула. Мне Иваи дал воск иа нитке и бутылочку. Вечером он придет к нам в гостиницу; будем иатравливать тараитулов друг на друга. Иди сюда, давай вместе ловить.

УНЕСЕННОЕ ВЕТРОМ

Случилось так, что в город, где прошла моя юность, я впервые приехал после того, как четверть века провел в других местах — были здесь и Москва, и фронт, и послевоенные скитания по разным градам и весям. Словом, уезжал я из моего города, полный всяческих мечтаний и надежд, а ныне прибыл сюда, когда означенные надежды и мечты сбылись далеко не полностью...

Вышел из вокзала — и остановился удивленный. Один за другим подходили к остановке трамваи с теми же, что и двадцать пять лет назад, номерами, или, как их тут по-местному называли, «марками». Я увидел двенадцатую «марку», ходившую в центр с далекой, старинной окраины — Холодной горы, и девятую — «Вокзал — Тракторный завод», и третью, возившую пассажиров на Основу — некогда родное село классика украинской литературы Квитки-Основьяненко. Правда, к старым, знакомым «маркам» прибавились и новые. Но я не смотрел на них — мне ничего не говорили названия маршрутов: «Вокзал — Станкостроительный завод», или «Вокзал — Мясокомбинат», или «Вокзал — Гидропарк». Все это были новые районы, выросшие на месте глухих окраин, где в мое время нескончаемо тянулись бурьянные пустыри, на дне унылых глинистых оврагов-свалок белели собачьи кости, валялись ржавые ведра, кастрюли без дна, рваное тряпье.

Я стоял на привокзальной площади, смотрел на шумную говорливую толпу и думал: остался ли кто в городе из старых знакомых?

Когда-то было их у меня немало: студенты, аспиранты, университетские преподаватели, квартирные хозяйки, у которых живал я в былые годы. И вдруг память, молчавшая много лет, заработала с неожиданной, удивившей меня силой,— я вдруг вспомнил, казалось, безнадежно забытые имена, фамилии, даже даты рождения. Правда, сведения эти были общие, анкетные, но о Красильниковой Ирине Николаевне, родившейся в Ка-

менец-Подольске двадцатого марта тысяча девятьсот четырнадцатого года, я, кажется, знал все. И сейчас, четверть века спустя, мне приятно перебирать это в памяти и удостовериться: все помню, ничего не забыл.

Первая встреча... Март тридцать четвертого года. Я, биолог-второкурсник, пришел впервые к Красильниковым на Чайковскую улицу — взять у Ирины «Зоологию» Никольского. Мы были в разных группах, видел я ее только на общих лекциях и обращал внимание не более, чем на любую из остальных своих сокурсниц.

— Привет! Сдаешь завтра ботанику цветковых? Ну ни пуха! — и все в таком же роде.

И вот я у нее дома. На звонок вышла полная дама, как говорится, «со следами былой красоты», с умело — лишь чуть-чуть — подкрашенными губами.

Я спросил: дома ли Красильникова?

Дама улыбнулась.

— А какая именно? Я тоже Красильникова.

Я смешался.

— Нет, мне студентку. Мы вместе учимся.

— Значит, мою дочь. Пожалуйста, заходите.— И крикнула в соседнюю комнату: — Красильникова Ирина, к тебе!

Я, смутившись вконец, шагнул в переднюю.

Вышла Ирина.

— Чумаков, ты? Здорово! За «Зоологией»? Заходи!

— Я на минутку.

— А у нас тут не кусаются,— серьезным голосом сказала Ирина.— Кстати, сегодня мой день рождения. Хочешь не хочешь, а придется зайти.

Делать нечего — я разделся, вошел в комнату. Это была столовая. Кроме матери за чаем сидели две пожилые дамы. Из молодежи — никого.

— Анатолий Чумаков — мой товарищ по курсу,— представила меня Ирина.

Дамы кивнули, бегло улыбнулись и тут же возобновили прерванный разговор. Ирина подошла ко мне, пристально взглянула в лицо, сказала строго:

— Повторяй за мной: «Милая Ирина, поздравляю тебя со днем твоего двадцатилетия, желаю здоровья и успехов в учебе».

Я расхохотался. Но она по-прежнему серьезно и пристально смотрела мне в лицо.

— Чего смеешься? Повторяй же! Так должны говорить все визитеры.

Я не понял.

— Кто, кто?

— Визитеры. Те, которые приходят на день рождения. Это издревле освященный обычай.

— Но я-то не визитер. Я — за «Зоологией».

— Ах, да...— Она грустно усмехнулась.— Ты же не знал... Неудачное совпадение... Ладно. Сейчас вынесу тебе «Зоологию».

Мне стало неловко за свою грубость.

— Постой, Ирина. Извини. Я поздравляю тебя. Ты же никому не говорила на курсе. Если б знали, сегодня поздравили бы на лекции.

Она пожала плечами:

— Зачем? Это же теперь не принято — буржуазный предрассудок... Ну, садись за стол, я налью тебе чаю.

Она подошла к тихо шумевшему серебряному самовару, сняла с конфорки старинный фаянсовый чайник в розах, прикрытый стеганым ватным петухом, положила в тонкий стакан серебряную ложечку — чтоб не лопнул, стала наливать крепкий янтарный чай. А я удивленно смотрел на зеркально блестевший самовар, на петуха, на серебряную ложечку, на синеватую тугонакрахмаленную скатерть, покрывавшую большой стол на двенадцать персон, и мне казалось, что я вижу сцену, где установлены декорации для спектакля из старой дореволюционной жизни. Хотя было ведь время, когда меня окружало все такое же, но это было давно, очень-очень давно — еще при жизни отца. После его смерти мы с матерью жили голодно, бедно. Да и кто жил тогда иначе?

— Прошу,— сказала Ирина,— бери что нравится — вот варенье, пирожные. Советую — эклер, мое любимое.

Эклер... Я вспомнил: двадцатого числа отец, получив в гимназии жалованье, приносил домой коробку пирожных: безе, песочные, кремовые трубочки, эклер...

Сколько же лет я не слышал этого слова?

— А безе есть? — спросил я.

— Было,— сказала Ирина,— уже съели. Надо раньше приходить. Знала бы, что ты любишь безе,— оставила бы для тебя.

— Я люблю любое,— сказал я.

Кажется, пирожных мне не приходилось пробовать с тех далеких — еще «отцовских» — времен.

Ирина и себе налила чаю.

Некоторое время мы молча пили чай, ели пирожные. Потом Ирина спросила:

— Тебе уже исполнилось двадцать лет?

— Да, и давненько.

— Ну и как же ты это пережил?

Я удивился:

— А что тут переживать?

Ирина грустно покачала головой:

— Нет, нет, как можно... Значит, по-твоему, двадцать лет — все равно, что восемнадцать, девятнадцать?

— Конечно.

— Ничего подобного! То была юность, а в двадцать наступает молодость. Потом и она пройдет... Мне особенно жаль было детства. Я и сейчас помню, как оно пришло к концу, когда мне исполнилось тринадцать. А теперь вот так же ушла юность...

Я снисходительно улыбнулся:

— Условно все это.

— Условно? Что ты! Это же уходит целая пора жизни. И никогда, никогда не вернется.— Она встала из-за стола, пересела к темному, ночному окну. Только сейчас я заметил, как необычно она одета: черная мужская косоворотка подпоясана узким кожаным «брючным» ремешком, клетчатая юбка — шотландка. Волосы коротко, по-мальчишечьи острижены. Но главное глаза: темные, большие, украинские, они не мигая все время пристально смотрели мне в лицо.

Ирина вынула что-то из нагрудного карманчика косоворотки, стала рассматривать.

— Что это у тебя? — спросил я.

Она сказала печально:

— Шарик, мой любимый.

— Какой шарик?

— Я отвинтила его от спинки маминой кровати. Он — самое, самое первое, что я увидела на земле. Помню вот: стою на кровати и отвинчиваю шарик, а он блестит на солнце. Глазам больно, я жмурюсь, но кручу его. Вероятно, мне было тогда года два. Это еще до переезда сюда — мы в Каменце жили. С тех пор я очень полюбила шарик. Знаешь — он замечательный! Маленький, очень

гладкий, блестящий и страшно тяжелый Я помню, это меня особенно удивило — какой тяжелый! Я даже уронила его. Вот попробуй.

Она протянула мне обыкновенный никелированный шарик со спинки старинной кровати. Шарик был теплый от ее руки.

— Мама очень долго не позволяла мне его отвинчивать. Как-то я все-таки отвинтила, а он затерялся. Полдня искали, он спрятался под шкафом. Уже вечером, когда надоело лежать в потемках, сам взял и выкатился на середину комнаты. Я его поставила на место и даже не отругала — сама виновата: зачем отвинчивала. Это очень-очень давно было... А сегодня вот опять его отвинтила. И мама даже не сердится. Верно, потому что мой день рождения и мне уже двадцать лет...

Студентка-биолог второго курса рассказывает мне про какой-то свой, с детства еще любимый шарик... Это было просто невероятно! И вместе с тем слова Ирины не казались мне наивными, смешными. Нет, мне хотелось и дальше слушать про шарик. Рассказ этот вдруг возвратил меня в далекое детство, все труднее и труднее различимое сквозь туман прожитых лет.

Ирина спросила:

— А ты, что ты самое-самое первое увидел на этом свете?

Что увидел... Это был свет, тусклый, желтый свет маленькой лампы. И он пахучий — сильно пахнет керосином... Кругом тьма, небытие. Мира нет, он еще не родился. И среди этого первозданного мрака тихо, ровно горит неяркий, желтоватый свет.

— А сколько тебе было тогда?

Сколько было... Примерно можно установить. Мне почему-то кажется, что этот свет маленькой семилинейки я увидел во флигеле. Значит, было мне тогда не более двух лет, так как я твердо знал: когда мне исполнилось три года, мы перебрались в соседний большой, многокомнатный дом с белыми деревянными колоннами, подпиравшими открытую веранду. Все, что увидено, услышано, почувствовано после того изначального желтого света,— все это пришло позже, когда мы жили уже в том большом доме.

— Ну что, что это было? — требовательно спросила Ирина.

И я понял: она ждет моего рассказа, хочет сравнить, сопоставить с пережитым ею самой...

Что было... Я никогда никому не говорил об этом, таил в себе, даже сам редко вспоминал. Почему? Не ценил, не придавал значения? Ах, нет! Все было иначе, куда сложнее...

Все эти воспоминания о впервые увиденном на земле, все это было бесконечно дорого мне. Так прекрасно мгновенье, когда в глухой, казалось бы, безнадежно, навечно темной ночи вдруг на востоке появится некая почти неприметная для глаза бледноватая размытость. Есть она или нет — даже трудно сказать. Это еще не свет, но уже и не тьма — слабый, робкий предвестник очень-очень далекого, но неотвратимо приближающегося солнца...

Итак, что ж было потом — после этого «первосвета»? Это было уже осязательное ощущение — что-то влажно-рассыпчатое, что-то медленно просыпающееся сквозь пальцы. Ага! Да это же мокрый, неожиданно тяжелый, липнущий к рукам, темно-желтый песок!

Я сижу на корточках и погружаю обе руки в большую прохладную кучу влажного песка, набираю полные пригоршни и втискиваю песок в маленькие деревянные красные и синие формочки. Потом осторожно опрокидываю формочки на доску. На доске вырастает песочный куличик — «паска». Мы играем в «паски». Мы? Да, я уже не один — со мною две девочки. Лица их ушли из памяти, но имена и даже фамилия запомнились: Галя и Беба Постоевы. Они — дочки доктора Постоева. Его я, кажется, никогда не видел, хотя он — наш сосед, живет рядом с нами в доме на Ново-Садовой улице.

Возле девочек стоит няня. Это моя няня, Домна Павловна, высокая, плоская, худая старуха — «вечная девушка». Она — украинка, но говорит только по-русски: до нас жила в богатых дворянских семьях, где говорить по-«малороссийски» считалось дурным тоном. Вероятно, поэтому-то я, родившись на Украине, так и не научился как следует языку ее народа...

— Я тоже не умею говорить по-украински,— печально сказала Ирина,— только свободно читаю и песни украинские пою, в школе их впервые услышала, в хоровом кружке.

Она вдруг близко наклонилась ко мне и тихо-тихо запела:

Ой, на гори та й женци жиуть...

И, смеясь одними глазами, спросила:
— Знаешь дальше?
— Знаю.
— Давай вместе, только тихо.
И мы чуть слышно запели:

А по-пид горою, яром — долыною козаки йдуть...
Гей, долыною, гей, широкою козаки йдуть...

Она горячо зашептала:
— Смотри — какая картина: на горе, где хлеб быстрее созревает, уже идет жатва, косовица, а внизу, по большаку пылит казачья коиница, «киннота»... Если закрыть глаза, это все прямо-таки видишь. Правда?
И вдруг Ирина резко обернулась. Мать и дамы перестали разговаривать и недоуменно-насмешливо смотрели в нашу сторону.
— Ирочка,— Красильникова-старшая мило улыбнулась,— у вас, кажется, начался вечер самодеятельности?
Ирина промолчала, потом сказала мне иа ухо:
— Мама очень не любит украинских песен, хотя сама украиика, родилась иа Полтавщине.
— На селе?
— Нет, в местечке. Там не принято было говорить по-украински.
— По-хохлацки,— заметил я.
— Вот-вот. В такого рода местечках крестьяи называли мужиками и хохлами. И если подавали им руку, потом спешили к умывальнику...
Мне показалось, что гости и мать Ирииы беспокойно прислушиваются, и я уже громко спросил:
— А что у тебя было после шарика?
Она усмехнулась.
— Ага, интересно? Могу рассказать.
И оиа заговорила о вещах иеобычиых и странных. Оказывается, все пальцы ее правой руки были похожи на людей. Самым интересным был большой палец. Это был дедушка — папин папа. Он был очень старый: папа родился, когда дедушке было уже за пятьдесят. Папа рано умер, Ирина его не помнила. А дедушка всегда

молчал, только без конца кивал головой, будто кого-то слушал. Когда он тоже умер, Ирнну увели нз дома. Но она потом еще долго все сгнбала н разгибала большой палец — это дедушка кнвал своей огромной, желтой, лысой головой.

Мы проговорнли весь вечер. Гостн встали, прощаясь, начали целоваться с матерью.

Пора было уходить и мне. Я уже оделся в передней. Со мной очень вежлнво и очень холодно простилась Ирининна мать. И тут Ирина спросила:

— Слушай, а ты ведь забыл взять «Зоологню».

Я удивился:

— Какую «Зоологию»?

Она рассмеялась:

— Господи! Никольского «Зоологню». Ты же за ней пришел.

А я стоял ошеломленный: неужели же я прншел к Ирине по делу, пришел за какой-то «Зоологией»? Прнход этот казался мне некнм незапамятно-давним, сто лет назад это было! Ведь, войдя сюда, я, кажется, даже твердо не знал, как зовут студентку второго курса биофака — Красильникову. Да нет же, нет, это было невозможно, этого просто не могло быть!

— Ну что ж,— серьезно сказала Ирина н снова пристально, близко посмотрела мне в лнцо,— будем считать, что «Зоологни» действительно не было...

Так родилась наша дружба, то удивительное н странное, что было у нас с Ириной в последующне дни, месяцы...

Внешне в наших отношениях ничего не нзменнлось, в университете мы были по-прежнему: я для нее — Чумаков, она для меня — Красильннкова, и так же, как со всеми, встречались мы только на общих лекцнях. Но это было в унниверснтете, а вне его у нас началась новая, особенная жнзнь.

Когда вдруг начинало нещадно жечь солнце и на горнзонте возникали громадные, неподвнжно н чуть наклонно стоящне кучевые облака-кумулн, я звонил Ирине.

— Заметнла — что надвигается?

— Как же — гроза! Выезжай немедленно.

— Еду!

Мы все бросали н спешилн в старый запущенный

парк на краю города, его даже называли «лесопарк». Там в непролазной чаще из колючего боярышника мы как-то случайно набрели на полуразвалившуюся скамейку. Бог знает кто, когда и зачем ее тут поставил. На скамейке уже много лет никто не сидел — пробираться туда нужно было сквозь колючие заросли боярышника. Мы назвали скамейку «Плацдармом».

— Сегодня на «Плацдарме» в восемнадцать ноль-ноль,— строгим командирским голосом говорил я. Ирина так же строго отвечала:

— Поняла. Сегодня на «Плацдарме» в восемнадцать ноль-ноль.

Это была игра, но мы, как подобает всем играющим, держались подчеркнуто серьезно.

В семнадцать пятьдесят пять я подходил к боярышниковым джунглям, сквозь них виднелось желтое, или синее, или зеленое пятно — платье Ирины. Мы садились и ждали грозу. Сколько было этих гроз? Вероятно, не так уж много, но мне теперь кажется, что я всегда, всю жизнь встречал грозу вместе с Ириной. Идя в лесопарк, я брал с собою старый, черный отцовский плащ с застежкой в виде львиной головы. Такой плащ-накидку до революции имел почти каждый провинциальный интеллигент. Когда начинался дождь, мы садились на скамейку и с головой накрывались плащом. Сначала капли громко стучали по плотной прорезиненной ткани. Потом раздавалось лишь тихое лопотанье. Под ногами у нас вырастала дождевая лужа. Мы подбирали ноги и все слушали, слушали грозу, смотрели на нее, дышали ею.

Каждая гроза начиналась по-своему. Иногда после короткого оцепенения, в котором застывал лесопарк, на него обрушивался яростный шквальный вихрь, он срывал с деревьев молодые, крепкие листья и, словно осенью, усыпал ими полузаросшие тропинки. А в низком, дымно-черном небе вспыхивали острые ломаные молнии, прямо над головой раздавался короткий надсадный треск, тут же переходящий в грохот. Ветер накидывался на нас, норовил сорвать уже тяжелый от дождя плащ. Но мы крепко держались за края обеими руками, и плащ лишь слегка парусил. Наш «Плацдарм» — старая скамья — был уже почти весь мокрый, только небольшое местечко посредине, где сидели мы, оставалось сухим.

А порой гроза надвигалась медленно, словно нехотя. Небо не спеша заволакивало тучами, не было ни молнии, ни грома. Потом откуда-то издали слышался глухой рокот, он приближался, нарастал. Небо сразу вдруг озаряла не молния, а некое широкое багровое зарево. Страшный громовой удар прокатывался от горизонта до горизонта. И стена ливня обрушивалась на землю. В лесопарке сразу же светлело от подпрыгивающих на тропинках невысоких водяных фонтанчиков.

Встречали мы и воробьиные ночи. Они бывают в пору уже зрелого лета — в июле, в августе, но раз, помню, такая ночь пришлась на конец не по-весеннему знойного, душного засушливого мая. Мы несколько часов просидели на «Плацдарме» под непрерывным, не очень сильным обложным дождем. А лесопарк почти беспрерывно озаряла бесшумная, далекая, бледная молния.

Познакомившись с Ириной, я стал внимательно следить за календарем: надо было не пропустить дни летнего солнцестояния — двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвертое июня. Все эти самые короткие, самые светлые ночи мы всегда проводили вместе — от позднего заката до раннего восхода. Мы то сидели на своем «Плацдарме», то бродили по запущенным, заросшим лебедой дорожкам лесопарка. Иногда брали лодку и ехали на реку — смотреть, как отражается в воде немеркнущее сияние вечерне-утренней зари.

— Видишь, — говорила Ирина, — вон — «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Как у Пушкина это точно сказано: вечерняя заря не гаснет — она только перемещается с запада на северо-восток, и там же загорается утренняя...

И вот мы смотрим на рождение самого длинного в году нового дня.

Тихий, зеленоватый свет на севере меняется, набирает силу — розовеет, краснеет, багровеет, становится пурпурным, золотистым. Потом над резкой черной чертой горизонта показывается бордовый солнечный сегмент. Он застывает на месте, долго остается неподвижным, затем как бы нехотя ширится, растет, становится полукругом, кругом, наконец от горизонта отделяется неправильный, вытянутый в поперечнике, хмурый, дымно-багровый шар — эллипсоид; он грузно висит в небе, как бы разду-

мывая — да стоит ли подыматься выше? Не лучше ли уйти обратно, за горизонт? И вдруг эта багровая махина вспыхивает длинными, полого стелющимися по земле, сразу же слепящими, но еще не жаркими, а лишь теплыми лучами.

А фазы луны! Я выписывал их из календаря и подсчитывал дни, оставшиеся до рождения молодика.

Наступал день, и мы снова встречались в своих боярышниковых джунглях. А перед самым закатом выходили на окраину лесопарка — к огромному старому оврагу Провалье. Отсюда лучше всего было наблюдать рождение молодика. В меркнущем, но еще ярком вечернем зареве он появлялся всегда неожиданно, как радостный предвестник неведомого счастья. Низко-низко над самым горизонтом чуть проступал слабый, бледный, узенький серпик. Казалось, он сам дивится своей смелости, своей отваге — соперничать с солнцем, только что ушедшим на покой. Но торжество молодика было коротким — проходили минуты, и он исчезал, скрывался за горизонтом. Мы знали: завтра он появится раньше и станет смелее — и подымется выше и дольше будет сиять на небе. А потом ему уже будет не страшно закатное зарево — он возникнет в недосягаемой для зарева вечерней синеве, и вырастет, и окрепнет, станет большим, ярким серпом, на внутренней стороне его между сильными рогами проступит таинственное чудесное пепельное сияние — отраженный свет нашей земли, сверкающей в космосе.

...Теперь, когда с той далекой поры прошло столько лет, я думаю — как много прекрасного было вокруг нас, как неустанно, как жадно мы его искали, и находили, и радовались, и были счастливы. Оно — это прекрасное — полонило нас, не давало нам ни отдыха, ни срока, чудеса земли следовали нескончаемой чередой: весенние грозы, и июльские обвальные теплые ливни, и ежемесячное рождение молодика, которого сменяла всегда новая, всегда иная, непохожая на другие — полная луна — весенняя, летняя, осенняя, зимняя,— она всходила в разных местах, подымалась на разные высоты, она была ледяной, зеркально-слепящей в студеные январские ночи, когда стояла почти в зените, и — теплая, янтарно-желтая, низкая — появлялась в жарком июле, когда земля не остывает даже к рассвету. В конце марта

уже можно было идти к Провалью. На его крутых, лишь сверху подсохших глинистых склонах сверкали «земные звезды» — ярко-желтые, круглые цветы мать-мачехи, похожие на одуванчики, но только меньше их, нежнее, прелестнее. Осторожно, чтобы не повредить корень, Ирина срывала длинный, узловатый, безлистный стебелек, увенчанный золотым цветком, и, закрыв глаза, вдыхала его слабый, еле ощутимый запах.

— Это его дыхание. Он дышит, как маленькая птица — тихо-тихо...

Она часто говорила такие неожиданные, странные слова...

Чуть позже мы искали в нашем лесопарке самые ранние цветы — светолюбы: белую лесную звездчатку, лиловую хохлатку, золотистую анемону. Очень быстро — за считанные дни — они всходили, распускались, цвели; они страшно спешили — надо было все успеть, пока лес еще сквозной и просматривается из конца в конец.

Шли дни, весну сменяло лето. В полях отцветали, потом зрели хлеба. По пояс в сухой желтой пшенице, мы углублялись в жаркую, с сухим шелестом расступавшуюся перед нами чащу и ложились на растрескавшуюся от зноя землю. Казалось, прямо-таки на глазах усатые колосья под тяжестью наливающегося зерна все ниже опускаются к земле. От пшеницы, как от печи, веяло сухим, душным жаром. Здесь всегда стояла мертвая тишина, сюда никогда не проникал ветер. Мы смотрели, как медноцветные, маленькие, тяжелые хлебные жуки с лету опускаются на колос. И колос поникает, тихо качаясь, пока жук устраивается на своем месте.

Прекрасны были зимы — первый «большой снег». Обычно мелкий, но густой, он шел непрерывно — сутки напролет, иногда даже дольше. Было странно: крошечные снежинки за короткое время ложатся на землю холодными, снежными горами. И мы шли в наш лесопарк — посмотреть, как он превратился из редкого, черного, уныло-осеннего в сплошь белый, густой, прозрачно-нарядный, зимний.

Ирина шагала по сугробам, наваленным под деревьями за одну ночь,— искала что-то свое. Вот она стоит у старого боярышника и внимательно осматривает каждую ветку. Я недоуменно иду за нею.

— Ты что ищешь?

Но она, не отвечая, переходила от дерева к дереву. Потом махала рукой, смеялась:

— Нет, видно, не найти.

— Что не найти?

— Иди сюда,— она подводила меня к ближнему боярышнику,— видишь, сколько тут веток? На толстые не смотри— там для снежинок сколько угодно места, но вот самые-самые тонкие, как травинки, вот, вот и вот — видишь? — на каждой снежинковые цепочки, они все сплошные, нигде не прерываются — от основания ветки до кончика, иногда цепочка совсем тоненькая, всего в одну-две снежинки, но разрыва нет. Подумать только! Сколько же снежинок должно пролетать тут, чтобы на тысячах веток были вот такие сплошные цепочки!

Мы ни разу не говорили с Ириной на «студенческие» темы — о стипендии, об экзаменах, о профессорах, об интересных и неинтересных науках,— все это словно не существовало для нее и переставало существовать для меня, когда мы были вместе. Иногда мне казалось, что она живет как бы в полусне, в неком призрачном, непрочном, вечно меняющемся мире, где только звезды, облака, грозы, восходы и закаты, цветы, деревья, краски, запахи.

Как-то она сказала:

— Вот послушай: я это вчера прочла и запомнила на всю жизнь.

Ах, Сном и только Сном должно его назвать...
И в этом мне пришлось сегодня убедиться:
Мир — это только Сон...
А я-то думал — явь,
Я думал — это жизнь, а это только снится...

Я молчал, пораженный неожиданно-проникновенной силой стихов, так полно выражающих сущность Ирины. Потом спросил:

— Чье это? Откуда?

— Какого-то японского поэта, кажется, шестого или седьмого столетия. Да разве важно — когда он жил? Он мог бы жить в любое время, даже сейчас...

Любил ли я ее? Не знаю...

На биологическом факультете было много девушек— гораздо больше, чем парней. Одни мне нравились, другие нет. Но разве к Ирине можно было применить эти

обычные мерки? Она была одна такая, на всей земле — одна! В этом я был твердо уверен. Разумеется, были девушки красивее, способнее, развитее, чем она. Но Ирина ни на кого из них не походила — она была сама по себе и все в ней было только ее — Иринино.

А как она относилась ко мне? Я не знал и не задумывался над этим. Видел — ей хорошо со мною, она радовалась, встречая меня на нашем «Плацдарме». Но когда мы сидели под отцовским плащом с львиной головой и я ощущал теплоту ее тела, у меня не было никаких чувств, столь обычных, естественных для юноши. Да мы никогда и не говорили с нею о чувствах, о любви. Нас занимало другое.

Однажды она сказала:

— Помнишь, было когда-то такое слово, немножко смешное — «естествоиспытатель». Его забыли, а оно куда лучше любого, которое его заменило: ведь мы с тобой не просто естественники, биологи, натуралисты или как там еще... нет, мы — естествоиспытатели, мы же те, кто выведывает, выспрашивает, выпытывает у природы все, все, что скрывает она от других людей. Им, другим, это неинтересно, не нужно. А нам с тобой очень нужно, только это и нужно. Мы этим живем. Правда, Толя?

«Мы», «нам с тобой» — такие слова от нее я слышал впервые.

Обрадовало ли это меня? Не сказал бы... Мне было достаточно того, что давали наши встречи на «Плацдарме», у Провалья, на реке. О чем-то большем я просто не думал. Ведь с первого же дня знакомства я не переставал удивляться, что такая вот Ирина Красильникова живет на земле. Я восхищался ею, как необыкновенным созданием природы.

Помню, как безмерно удивился я, когда однажды пришел к ней, как обычно, без приглашения — просто захотелось увидеть, поговорить о «нашем» — и вдруг застал в доме гостей, это были те же две дамы — подруги матери.

— Толя, здравствуй! — Ирина протянула мне обе руки. Раньше этого никогда не было.— Как хорошо, что ты вспомнил, пришел.

Я удивился:

— Что вспомнил?

— Постой! Разве ты не знаешь: сегодня мой день рождения — мне двадцать один год. Ровно двенадцать месяцев назад ты пришел к нам впервые.

— Верно,— вспомнил я,— было такое дело. Что ж, поздравляю. А я это совсем упустил из виду.

Лицо ее померкло.

— И это все, Толя? Ты не принес мне даже какой-нибудь цветок?

Я пожал плечами, сказал искренне:

— Ира, ей-богу, не подумалось об этом. Извини, конечно, но разве это так важно — памятные даты...

— Конечно, конечно,— проговорила она упавшим голосом.— Все это устарело...

— Да и что я мог бы тебе принести? Мать-мачеха распустится только через месяц.

— Ты прав,— сказала она, — все, как всегда, у тебя верно.— Она отвернулась, потом, как-то согнувшись, почти сгорбившись, медленно отошла от меня, принужденно заговорила с гостями.

Я был оскорблен этим невниманием и вскоре, холодно простившись, ушел домой. Было обидно: неужели же она в чем-то похожа на остальных студенток, которые шумно празднуют в общежитии свой день рождения, поют под гитару «Нелюдимо наше море» и «Ермака, объятого думой», а потом танцуют с парнями, принесшими в подарок, в зависимости от состояния бюджета, «Избранное» Маяковского или букетик красных гвоздик из цветочного киоска.

Нет, нет, я не хотел, не мог поверить, что Ирине тоже нужно нечто подобное.

Шло время. Мы перешли на следующий курс, но в нашей дружбе с Ириной все было по-старому. На лето я, как всегда, уезжал к матери в Курайск. Дома много читал, собирал гербарий лесных растений, иногда писал Ирине. Они с матерью обычно жили на даче. Ирина отвечала мне нерегулярно. Это были даже не письма, а случайные, разрозненные записи неких мимолетных наблюдений, мыслей. Вверху всегда стояло: «Для Толи». А потом шли торопливо, на ходу — где-нибудь в лесу или в поле — набросанные строчки. Некоторые из них у меня долго хранились, и я кое-что запомнил на память. Ирина писала что-нибудь вроде этого:

«В углу веранды громадная, роскошная паутина.

Вчера ее не было. Соткана пауком за одну ночь. По углам висят сухие трупики замученных, обескровленных мух. Только что попала в сеть оса, черно-желтая, большая, сильная. Она бьется и жужжит. Паук испуган, сидит в углу: добыча не по зубам. Ага! Вот оса уже освободила одно крыло, машет им так, что его не видно, как пропеллера у летящего самолета. Готово! Паутина разорвана, оса улетела».

Она посылала эти записи на блокнотных листочках, иногда на косо оторванных бумажках. Я получал конверты часто без марки — написан только адрес. Письмоносец в Куранске усмехался:

— Вам опять доплатное. Только что-то очень легкое...

Я спешил распечатать конверт: эти короткие строчки были мне дороже любых длинных посланий.

Кончались каникулы. Еще было по-летнему жарко, но рано утром густой молочный туман вставал над протекавшим под горой Осколом — рекой моего детства. Это значило — скоро ударит первый утренник.

Обычно я приезжал за день-два до начала занятий. Сразу пришел к Ирине. Она встретила меня как всегда — словно мы расстались только вчера.

— Привет! Все записочки получил?

— Да, спасибо. С тебя полтинник — за доплатные письма.

Она засмеялась.

— Я вечно забываю про эти проклятые марки. Ладно, отдам мороженым. Согласен?

— Конечно. Хорошо бы сегодня — жара прямо-таки летняя.

— А сейчас по-старому еще август, лето не кончилось. Ты, верно, много купался в своем Осколе? Вон какой худой, черный, а нос розовый — лупится.— Она вплотную подошла ко мне: — Постой, не двигайся,— и двумя пальцами осторожно сняла лоскуток кожи с моего обгоревшего носа,— весь эпидермис слез...

И вдруг предложила:

— Знаешь что? Поедем на Лопань купаться — жара страшная, в тени с утра было двадцать пять, сейчас еще больше.

Лопань — маленькая речка — протекала на окраине. Купались там только мальчишки. На берегах паслись

стреноженные лошади местной Гужтрансконторы, в стоячей, заросшей ряской воде плавали стаи домашней птицы — гусей, уток.

Я заколебался.

— Грязновато там...

— После твоего Оскола и моего Донца Лопань, конечно, не находка, но все-таки река, вода. А на берегу можно выбрать место почище.

— Ладно! Поехали!

Несмотря на жару, купальщиков на Лопани не было. Берег был куда хуже, чем я предполагал,— для местных жителей он стал просто свалкой. Чего-чего только здесь не было! Мы переступали через дырявые автопокрышки, безногие стулья, старые матрацы с вывалившимися ржавыми пружинными внутренностями. У самого берега песок был изрыт громадными копытами пасущихся невдалеке могучих битюгов — они приходили сюда на водопой. Но все это нисколько не смущало Ирину, она легко перепрыгивала через препятствия, а дойдя до воды, стала выискивать место, где раздеться.

— Ага! Вот здесь,— и указала на песчаный мысок, выдававшийся почти до середины узенькой Лопани.— Смотри, какая милая коса. Чем не морской пляж!

Я остановился в нерешительности — еще неизвестно, что таили в себе сонные, безмятежные воды Лопани. Возможно, на дне нас поджидали совсем уж неожиданные сюрпризы... Сомнениями своими я поделился было с Ириной — сказал о ржавых консервных банках, битых поллитровках и прочем утиле, который может скрывать от глаз прохладная речная гладь. Но Ирина, не слушая меня, уже сбросила сарафан.

— Раздевайся, раздевайся! — и с разбегу кинулась в речку. Передо мной мелькнули дочерна загорелые плечи, спина, икры. Ирина плыла по-мужски, саженками, на середине реки нырнула и долго не показывалась на поверхности. Затем над водой возникла ее круглая, гладкая, мокро блестевшая черная голова.

— Я осмотрела дно,— крикнула она,— здесь чистый песок, никаких банок и склянок! Давай в воду!

Я вошел в теплую, сонную, почти стоячую Лопань, нехотя поплыл на середину. Купанье в этой речке, так непохожей на наш чистый, быстрый Оскол, меня со-

всем не привлекало. Зато Ирине оно нравилось. Она вдруг стала со смехом бить ногами по воде, вздымая фонтаны радужных брызг.

— Давай, Толька, давай — кто выше!

Я впервые видел ее такой веселой, такой радостной. Это была совсем не та Ирина, которую я знал до сих пор. А она подплыла ко мне, встала рядом—вся в блестящих каплях, запыхалась, смеется.

— Толька, давай наперегонки, финиш — тот берег, вон та бочка, что торчит из воды. Ну, приготовились! Пойдем по команде «три»! — И она, не глядя на меня, уверенная, что я поплыву с нею, подняла вверх полные, загорелые, сильные руки, крикнула: — Раз, два, три-и! — и кролем поплыла на тот берег.

Голова ее то исчезала, то показывалась на поверхности, следом потянулись кипящие, пенистые струи. Минута, две — и она была уже возле ржавой бочки, встала на дно, оглянулась — и вдруг увидела: я не тронулся с места, не поплыл с нею... На лице Ирины появилось сначала недоумение, потом растерянность.

— Толик,— и голос ее стал незнакомым, хриплым,— Толик, почему ты не поплыл, а? Ты... ты не хочешь... быть со мной, да?

Я смущенно молчал: этот неожиданный призыв застал меня врасплох, я не готов был к встрече с ней — с такой новой, незнакомой мне Ириной, совсем не похожей на ту, которую я знал, к которой привык, которой восхищался...

А она стояла на том берегу, с отчаянием смотрела на меня, и лицо ее по-детски кривилось, дрожало от плача, горького, неудержимого, безутешного плача.

Возвращались мы с реки молча, как малознакомые, лишь изредка обменивались незначительными фразами, говорили о расписании новых лекций, о том, где бы достать какую-то дефицитную в то время «Физиологию мозга»...

Доехали до ее остановки на Юмовской улице.

Обычно я выходил здесь, провожал ее до дома, потом возвращался, чтобы сесть на ту же «марку» и ехать дальше. Но она вдруг быстро сказала:

— До свиданья, Анатолий, не провожай меня — тебе же ехать до Госпрома. Всего доброго! — И, спеша расстаться со мной, на ходу соскочила с трамвая.

С тех пор мы больше не виделись с ней, как раньше,— встречаясь на общих лекциях, коротко говорили: «Привет!», иногда добавляли две-три незначительных фразы. Былая Ирина ушла от меня навсегда. Осталась обычная студентка-сокурсница, одна из тридцати, которых было, как шутили наши ребята, «перепроизводство» на предпоследнем курсе биологического факультета.

— Кому Красильникову? — крикнула в окошечко девушка из адресного бюро.

Я подошел, взял узенький бланк-справку: Красильникова Ирина Николаевна, 1914 года рождения, проживала на улице Шекспира; дальше указывался номер дома и квартиры. Улица Шекспира? Я такой не знал. Где же это? Постучал в окошечко.

— А как мне найти Шекспира?

— Бывшая Богоявленская. Ясно? — девушка ответила уже с явным раздражением.

Дом, где жила Ирина, стоял во дворе — старый неказистый флигелек, окруженный могучими, неохватными тополями.

Я нажал и опустил щеколду раз, другой раз. Входная дверь во флигель распахнулась, на крыльцо вышла Ирина.

В плохих романах часто писали: люди, расставшиеся много лет назад, не узнают друг друга. На этом подчас строилась увлекательная интрига. А ведь в жизни ничего подобного не бывает — во внешности каждого человека, которого ты долго знал, есть черты, почти никогда не меняющиеся.

Через щель в заборе я увидел и сразу же узнал Ирину. Она пополнела, раздалась в плечах — это была почти пятидесятилетняя, солидная дама, очень похожая на свою мать.

Ирина открыла калитку. Я заметил, как вдруг побледнело ее лицо, а украинские глаза стали еще больше, еще темнее. Но она тут же овладела собой, сказала почти спокойно:

— Анатолий Чумаков! Вот так встреча! Сколько лет, сколько зим! Откуда ж ты свалился? — И она, как

в былые времена, подошла ко мне вплотную, пристально и серьезно заглянула в лицо.

Мы поздоровались, вошли в небольшой домик.

— Ты давно перебралась с Чайковской? — спросил я.

— Сразу же, как вышла замуж. Это мужнин дом. Он у меня художник.

Я увидел: на стенах просторной комнаты, вероятно столовой, висят полотна — пейзажи, натюрморты. Очевидно, автор обладал широким творческим диапазоном — писал в различных жанрах. В работах чувствовалась уверенная рука профессионала.

Ирина кивнула на картины:

— Это все Алешкины творения. Те, что он не хочет продавать,— его любимые. А вообще он в моде. Несколько раз выставлялся. Были хвалебные статьи в газете.

— А тебе это нравится? — спросил я.

Она пожала плечами:

— Смотря что... На вкус и цвет — товарища нет. Но ты почему стоишь в пальто? Разоблачайся. Сейчас будет чай.

— С пирожным? — спросил я.

Она усмехнулась.

— Да. Есть эклер, трубочки. И безе есть.

Боже мой! Она помнила все! И мне вдруг неудержимо захотелось спросить про шарик, про наш «Плацдарм», про все, что я тоже помнил до малейшей подробности. Кажется, Ирина угадала мои мысли и быстро вышла, сказав, что идет приготовить чай. Вскоре она вернулась и сразу стала расспрашивать обо мне: где живу, где работаю, есть ли семья.

Я отвечал коротко: москвич, доцент педагогического института. Кандидат? Да, недавно защитился, поздно, конечно, но были на то причины.

— Лучше поздно, чем никогда,— вставила Ирина. Я заметил, что она часто употребляет расхожие словечки, пословицы. Это было ново и очень не нравилось мне.

— Женат? — спросила она.

— Вдовец. Есть сын — школьник.

— Жениться надо,— сказала она,— за двумя мужиками нужен уход, женская рука.

— Пока не собираюсь. А у тебя семья?

— Двое нас — Алешка да я.

Я узнал, что она много лет работала в школе, но недавно бросила — надоело! Педагог из нее никакой, а работать для денег незачем. Муж хорошо зарабатывает, на двоих хватает сверх головы.

Я рассеянно слушал ее рассказ о себе, такой заурядный, такой непохожий на то, о чем мы с ней обычно говорили.

Закипел чайник.

Она быстро накрыла на стол.

— Где же ваш самовар?

Я еще надеялся отыскать в ней прежнюю Ирину.

— Зачем он? С ним только морока.

— Я про тот, серебряный.

— А-а, материнский... Продан он давно через комиссионку. После смерти матери Алешка все ее имущество очень удачно реализовал.

— И кровать с шариком?

Я не спускал с нее глаз и с радостью увидел, как дрогнуло ее лицо. Она коротко вздохнула, словно всхлипнула, и ничего не ответила.

А я думал сейчас только об одном — мы должны снова, хоть ненадолго, должны стать теми, прежними, кто ходил на «Плацдарм» встречать грозу, кто не спал подряд три самые короткие в году ночи, во время летнего солнцестояния, и искал в лесу первые цветы, и ждал у Провалья рождение молодика. Но как вернуть Ирину самой себе? И я вдруг решил пойти напролом — будь что будет! — ведь мне через два дня нужно быть в Москве, меня ждет Вадим — сын, он знает, что я вернусь домой в такой-то день, в такое-то время. И уже сейчас подсчитывает часы, оставшиеся до моего приезда.

И я, не сводя глаз с Ирины, заговорил о том, что давно, еще в Москве, только собираясь сюда, хотел ей сказать. Дело в том, что еще во время нашей дружбы мы задумали нечто так и не удавшееся нам: мы хотели в погожий октябрьский вечер поехать в наш лесопарк и возле «Плацдарма» разжечь маленький костер из палых дубовых листьев. Мы будем сидеть у костра, и смотреть на огонь, и дышать горьким пахучим дымом — такой бывает, только когда горят дубовые листья. И вот теперь, смущаясь, сбивчиво, торопливо, я сказал об этом Ирине. Она сразу же согласилась.

— Что ж, давай. Только не знаю, цела ли та скамейка.

— «Плацдарм»,— подсказал я.

— Да, да. Помню — мы ее тогда почему-то так назвали...

Условились: после заката солнца встретиться на остановке трамвая.

— В котором часу? — спросила Ирина.

— А зачем тебе точное время? Я приду в ту минуту, когда скроется солнце.

Она усмехнулась.

— Что ж ладно. Напоследок тряхнем стариной...

Стоял сухой, погожий октябрь. Дожди еще не начались. Днем было прямо по-летнему жарко, но к вечеру осень брала свое: солнце заметно сократило свой небесный путь, подымалось уже невысоко, все сильнее смещаясь к югу.

Мы ехали в лесопарк, потом шли к нашему «Плацдарму». Боярышниковые джунгли исчезли — их вырубили, очищая аллеи, и старой скамейки не было, место, где она стояла, пустовало.

— Здесь? — спросил я.

— Нет, левее — вон за тем бугорком,— отозвалась Ирина.

Почти всю дорогу она молчала, о чем-то думала.

Вокруг «Плацдарма» росли старые дубы. Они одни не изменились за четверть века, были такие же раскидистые, могучие. Я стал сгребать под ними палые листья, затем брал ворох и нес туда, где когда-то находился наш «Плацдарм».

Быстро темнело. Холодная октябрьская заря слабо освещала теряющие очертания дубы. Я чиркнул спичкой, поджег листья. Огонь радостно и зло накинулся на них, собираясь сразу же сжечь. Но тут я навалил на пламя целую охапку. Огонь исчез. На месте его появилось беловато-синее дымное завихрение. Дым был очень густой, ватно плотный. От собственной тяжести он даже не в силах был подняться вверх и стлался по земле, обволакивая листья; они скрылись за его плотной завесой. И вдруг этот густейший дым пророс бледными огненными языками, языки слились в одно широкое, багрово-желтое пламя. С гуденьем, с воем оно взметнулось вверх, подбросив в ночное небо еще целые, не обго-

ревшие листья. Листья эти темными смятенными птицами заметались в вышине и тут же исчезли, пропали с глаз.

Ирина сидела на земле, крепко обхватив руками колени, и неподвижно смотрела на огонь.

Я подвинулся к костру, стал вдыхать горько-дымный запах сгоревших листьев, потом подбросил еще охапку. Листья разом вспыхнули, и уже не широкое пламя, а мощный огненный столб поднялся в небо, на котором из-за света от костра не было видно звезд. Я не отводил глаз от огня — это была минута, которую я ждал много лет.

— Чудесно, правда? — спросил я.

— Да, красиво,— сказала она.— Только ты отодвинься от огня, а то искра стрельнет, прожжет брюки.

ОЧЕРКИ

[illegible]

[illegible]

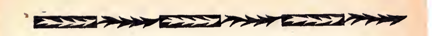
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



МЕСЯЦЕСЛОВ

Вот уж почти треть века в самом начале осени, зимы, весны езжу в лес, в наши подмосковные Сокольники. Только летом не бываю, очень уж шумно там, многолюдно. Летом хорошо в дальних лесах — в Звенигородской тайге, в Загорском заповедном лесу.

А из Сокольников редко возвращаешься с пустыми руками — почти каждый раз привозишь две-три странички в записной книжке, написанные там же, на месте, где подсмотрел в жизни леса еще невиданное.

Так и появились маленькие рассказы моего Месяцеслова. Герой их один — старый смешанный хвойно-лиственный лес в Сокольниках.

ВМЕСТЕ НЕ СТРАШНО

Лес весь светится изнутри, в середине октября пожелтели все листья — дубовые, березовые, кленовые. Только зелеными пятнами темнеют молодые сосны.

Вышел на опушку — здесь куда темнее, чем в лесу. Эх, нет с собой люксметра — измерить бы разницу в освещенности, когда желтой листвы еще много.

Как падают дубовые листья? В сильный ветер летят вниз, как камни, по прямой, почти не планируя. Но вот ветер утих. И лист падает вдоль ствола, парит медленно, осторожно, нехотя и вдруг неизвестно отчего кувыркнется в воздухе и — понесся к земле как подбитый самолет.

А раз было такое. С самой вершины дуба сорвался крупный широколопастный лист. Летел он необычно: очень уж медленно, очень долго парил, прежде чем опуститься на землю.

Я поднял его. У самого черешка к пластинке прилепился маленький березовый листок. Вместе они и отправились в свой последний полет: вместе не страшно!

ЗОЛОТЫЕ СТАЙКИ

Много дней уже пасмурно. Солнце не показывается, только временами высветлит изнутри тучи — серые, но не сплошные, хотя и довольно-таки плотные, без голубых прогалин.

Внизу ветра нет. Изредка он чуть пошевелит верхушки берез. Тогда срываются с веток золотые стайки листьев-копеечек, с неожиданной быстротой летят к земле, легко опускаются на слой упавших ранее. Глянешь в глубь леса — там и сям вспорхнули стайки, косо несутся вниз. И дубы медленно раздеваются на зиму. Вокруг них слой толще, темнее, и сильно пахнет мокрым дубовым листом.

ЛЕСНАЯ МОЩЬ

В старом лесу у самой опушки низкие, очень толстые пни. Каждый — уже готовый «круглый стол» для дружеской беседы. Поверхность без рисунка — годовые кольца почти стерлись, еле различимы. Сколько лет прожило дерево? Трудно сказать, но конечно же больше сотни. Пушкина с Лермонтовым не застало, а Гоголя, Тютчева, Льва Толстого могло видеть под своими ветвями.

Теперь на пне ржавая еловая хвоя — нанесло со стороны ветром. Дерево срубили, и пень мертв, а корни? Они протянулись под землей на половину длины ствола, а какой он был при жизни высоты (еще не длины!) — кто знает...

В земной глубине, может, и живут еще корни своей глухой, потаенной жизнью. Но жизни этой уж не выйти наружу.

Рядом с пнями те, кого пощадил топор. Сосны давно без сучьев, только крона вверху. Ствол в глубоких вмятинах — следы былых ветвей. Крона очень высока. Что-

бы рассмотреть, надо сильио запрокииуть голову. И тогда услышишь ровиый, тихий, непрерывный шум. Там, вверху, всегда ветер; если слабый — шумит только крона; если сильный — качается все дерево. Я уперся руками в ствол. Он — как камеииая стена, как скала — стоит нерушимо. Только ветру под снлу чуть качнуть. В животиом мире нигде не встретишь такой скрытой, затаенной мощи. Многолетнее дерево — воплощеиие неизбывной силы земной. Поэтому-то в старом лесу овладевает всегда чувство древности; старое дерево, жизнь его — это жизнь многих человеческих поколений.

ЛЕСНЫЕ СЛЕЗЫ

Голый, мокрый, плачущий холодными слезами ноябрьский лес. И как темио в нем! Упали и погасли желтые листья. Они светились даже в бессолнечные, пасмурные дни. И в лесу было куда светлее, чем летом, когда густая зеленая листва затеняла солнце. Сейчас палые листья всюду — желтыми заплатами иа вечной зелени елей, легкие березовые «копеечки» наколоты на длииной хвое сосен. Листья лежат иа старых пнях, застряли в траве.Трава, уж много раз битая утреиниками, пожухла, стебли злаков безглавы — все колоскн опали.

Я разрыл листву, показалась земля — камеиио-твердая, серая, в глубоких трещинах; сушь: с июия ие было дождей.

ЖЕЛУДЕВАЯ ШЛЯПКА

Позднеосеиний, предснежиый лес. Тихий, темный, неподвижный. Деревья потемнели от влаги. Накоиец-то дожди идут без конца.

Я стал на колеии, копнул рукой лесную подстилку.. Оиа мощиая, многослойная, многолетняя — сверху умершие, неотличимо похожие друг на друга, как н подобает покойникам, палые листья, ниже коричиевый тлен, пахнет землей, влагой — вечиыми запахами покоя. Взял на руку, смотрю: скелет листа, крепкая сетка жилок, почти вся сквозная; только кое-где висят остатки бурой листовой ткани, уже разрушенной. Неужелн она была когда-то живой, зеленой, матово просвечивала на солнце, шу-

мела на ветру, питала все эти деревья? А сейчас распадается от легкого касания...

Что тут есть еще? Крышечка от желудя — «плюска», пустая, но еще крепкая; мертвая травинка пырея, о нее уже не порежешься: кремнезема нет, мягкая, а разорвать — все же надо усилие.

Копнул рукой глубже — бесформенные бурые кусочки, уже не растения — перегной, гумус. Из гумуса вырос этот высокий лес и в гумус же превратится. А потом снова родятся дубы из желудей, от которых остались вот эти пустые шляпки-крышечки.

ЦЕПОЧКИ

Ночью выпал первый снег. Поздний, декабрьский. Лес, вчера еще темный, сквозной, просветлел, но не просматривается насквозь,— все ветки опушены, матово светятся под низким глухим серым небом, хотя снега мало, не покрыл даже всей травы; она странно зеленеет из-под белого тонкого покрова.

Подошел к орешнику. На всех ветках, на всех до одной, непрерывные снежные цепочки. Тянутся за всеми извивами ветки, подымаются вверх, спускаются вниз, и нигде нет разрыва. На самом крутом подъеме висит цепочка, толщиной всего в одну большую снежинку. Весь лес — пестрый, коричнево-белый — кажется беспокойным, странным.

БОЛЬШОЙ СНЕГ

Снег, январский, обильный, начался с вечера, шел всю ночь. Лес завален снегом, будто громадная лавина обрушилась с неба. Везде сугробы по грудь. Нижние ветки пригнулись к земле под снежным грузом. А вот и обломы, открытыми ранами свеже белеют на темном стволе.

Еще срываются отдельные снежинки. Ветра нет, но снежинка долго танцует в воздухе, летит к земле и вдруг метнется вбок, поднимется вверх, но невысоко: земля делает свое дело — притягивает к себе. И снежинка опускается, но не отвесно, а полого, нехотя. И сразу пропадает, сливается со снежной толщей.

Я поднял руку. Снежинка села на ладонь и зашеве-

лилась, закрутнлась, нстанвая на глазах. Осталась маленькая, светлая, холодиая капля. Из такнх вот снежнок н возинклн этн непролазиые завалы. И всего-то за одну ночь!

ВЕСНА У ПОРОГА

Первый день весиы — первое марта, а лес еще знмннй: голые деревья стали как бы ннже, старый снег осел, взялся глазнрованной коркой.

Я вышел иа аллею. В Сокольннках дорожкн асфальтнрованы, но сейчас, слава богу, асфальта не вндно. Огляделся: где же зеленые скамейки? Стояли через каждые двадцать шагов, новые, с высокнми спникамн. Нет скамеек, иет ни одной. Неужелн знмой сломали на дрова? Но дров в Москве хоть завалнсь — жгут на месте старье от домов-развалюх. И вдруг увидел: ярко зеленеет нз-под снега еще осенью свежевыкрашеииая решетчатая спннка. Только угол вндеи с южной стороны, где снег уже подтаял. Вся скамейка под снегом! А оиа больше метра высотой, если со спникой. Теперь понятно, почему деревья сталн иниже: онн в сугробах — молодые по колено, старые по щнколотку.

Здесь березняк. Дубов мало. Кора на березах пожелтела. В снльные метелн все стволы замело снегом, ои облепнл деревья, а в первый же ясный февральский день, когда солнце не только светит, но и чуть-чуть греет, сиег растаял, чнстымн холодиымн каплямн потек по стволам. Вода подмочнла, выжелтнла кору.

ПУСТЬ ПРИВЫКАЕТ!..

Приехал в Сокольннкн в необычиую пору — почти под вечер, в седьмом часу. Хотел было отложить на завтра, но побоялся: илн дождь, нлн дела помешают. И вот нду многне годы знакомой дорогой — от трамвайной остановкн «Богатырскнй мост», мимо старых деревянных домнков, мнмо новой лыжной базы метростроевцев.

Большой Лес иачинается сразу, без переходов. Никакнх кустариников, ннкакого мелколесья: прямо от унылой, неизвестио зачем проложеииой асфальтовой дороги сворачнваю вбок на мокрую, упругую, устлаииую плотно слежавшнмся листом тропку. И вот уж вокруг стоят ста-

рые дубы, среднего, послевоенного возраста березы и совсем молоденькие сосны — десяти-двенадцатилетки, деревья-дети. Смотрю под ноги, хожу вокруг деревьев, не пробилась ли где желтая Анемона с листьями, похожими на птичьи крылышки, или лазоревый, весь в густой седой шерстке Сон, или фиолетово-лиловая Медуница — эфемеры леса, самые ранние цветы его. Но где там!.. Весна поздняя, апрель малосолнечный, холодный. Вот и сейчас в разгаре дня — пар изо рта. И все же почему так радостно мне в этом неприбранном, сонном лесу?.. Смотрю на часы, и — бог мой! — неужели непонятно!.. Семь часов, вечер, а солнце еще светит в полную силу. А давно ли в эту пору стояла непроглядная темень, и только снег слабо мерцал, светился снизу.

Но и тогда, после зимнего солнцестояния, день уже прибывал: в темном декабре боязливо, робко — всего на одну минутку; потом, в снежно-морозном январе, расхрабрившись, — на две, на три минуты; в метельном феврале — на четыре, а после мартовского равноденствия — на полную мощность, на все пять минут! И так будет день расти весь апрель, весь май, до конца июня, до самого летнего солнцестояния. Светлое время почти совсем забьет ночь, зеленая заря вечерняя будет переходить в розовую утреннюю. И солнце будет сверкать на небе все семнадцать часов.

Только в августе вспомнишь, что есть на земле сумерки. Но до этого еще далеко, очень далеко. А сейчас заходящее солнце проделало за день вон какой путь! И видно, устало с непривычки. Ничего!.. Пусть привыкает!..

ХИТРОЕ СОЛНЦЕ

Апрель пасмурный, сырой, осенний. Небо затянуто непроницаемыми, сплошными, слоистыми облаками — стратусами.

Иду по лесу. Кругом все обвислое, холодное, мокрое.

Вдруг впереди, на пригорке сверкнула и желто засветилась одна старая сосна — от вершины до корня. Сверкает чешуйчатая кора, сверкает зеленая крона. А кругом не день — сумерки.

В чем же дело? Хитрое солнце прожгло в стратусах маленькую дырку и пропустило в нее всего-навсего одни-

единственный луч. Луч этот смог осветить лишь одну сосну, но зато осветил ее всю — с ног до головы. Вот она в одиночку и светится на пригорке.

ЛЕСНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Лесная опушка в Сокольниках. На влажных глинистых косогорах вовсю цветет мать-мачеха. На бурьянной серой, сухой подстилке нестерпимо ярко светятся круглые цветы солнечного цвета. Безлистный, узловатый короткий стебелек в густой белой шерстке, а на конце одиночный цветок — маленькое солнце; и светит, только когда на небе светит большое солнце. Спрячется оно, и цветок спрячется в зеленой обертке.

Лес уже без снега, уже не зимний, но еще не очнулся от долгого зимнего оцепенения, еще не успел отряхнуться от только что сошедшей снежной воды. Всюду еще голо, мокро, грязно. Старые, вконец прохудившиеся листья плотно прилипли к земле, почти слились с нею, перешли в нее. В каждой ямке грязно-серый снег, бедный, жалкий, последний. К вечеру его уже не будет. Каждая дорожка — маленькое длинное озерцо. На дне сереют твердые снежные бугорки. По краям озерца пузырится грязная пена.

В самом преддверии весны лес нем, одноцветен — весь серый. Весеннее сейчас только небо да вершины берез — белое на густо-глубоко-синем.

ПРОЩАЙ, ЛЕС! ДО ОСЕНИ!

Осенняя выдалась весна. В марте, даже в апреле шел мокрый снег. Солнечные дни были наперечет. Только после Первомая установилась ясная погода. И все увидели: солнце втихомолку, прячась за тучами, с каждым днем восходит, все отступая к северо-востоку, заходит, все отходя к северо-западу. А в полдень подымается почти до зенита, до прямо-таки июньской высоты.

Сегодня я в последний раз в Сокольниках. Приеду сюда опять только к листопаду. С мая по сентябрь лес мой превращается в парк — в место пикников, вылазок, гуляний. В это время быть с лесом наедине очень трудно.

Иду по совсем сухой асфальтовой дорожке, сворачи-

ваю на боковую тропку. И вот я снова в Большом Лесу. Он весь полусквозной, весь в легком светло-зеленом дыму молодой листвы. Темный костяк крон пока еще просматривается, но с каждым днем все более скрывают его мокро-блестящие на солнце, еще не сформированные листья. Как все новорожденные, как все младенцы, листья сейчас очень похожи друг на друга: кленовый на дубовый, березовый на орешниковый, крушиновый на боярышниковый. Но пройдет время — остановится в росте березовый листок, небольшой, округлый, а дубовый лист будет все крупнее, все толще, все крепче, пока не станет огромным, широколопастным, пока грубая, густая темнозеленая листва не скроет искривленные могучие ветви. Но таким я мой лес не увижу. Таким он будет без меня почти полгода. Встретимся мы в октябре. Прощай, лес! До осени!

ДОКУЧАЕВСКИЕ РОЩИ

...В багрец и в золото
одетые леса.

А. Пушкин

В конце октября день уже порядком убавляется. И когда мне наконец-таки удалось достать «Волгу», было уже четыре часа. Я забеспокоился: сто восемьдесят километров — не близкий путь, тем паче что шофер Николай Яковлевич бывал в Каменной степи лет шесть назад, а в пятьдесят четыре года память у человека уже не та.

— Не будем плутать?

— Не должны бы.

По неопределенности ответа я понял: Николай Яковлевич допускает печальную возможность — проблуждать по безлюдным ночным проселкам долгие, долгие часы.

Да, дела невеселые... Оказывается, и здесь, рядом с Каменной степью, о ней не знают... Не лучше, чем в Москве, где мой приятель-литератор, узнав, куда я еду, уверенно сказал:

— Ага, Каменная степь... Как не знать! Это в районе Голодной степи.

Другой не менее авторитетно отнес ее в Калмыцкую АССР.

Третьего варианта я не стал ждать... Я-то твердо знал, где Каменная степь, знал давно — ровно восемнадцать лет.

Погожим московским утром достал я из почтового ящика свежую «Правду», увидел: через всю полосу протянулась фотопанорама. До самого горизонта уходят просторные степные дали. И эти дали перекрещивают, вклиниваются в них необычные узкие, длинные леса. Не молодые посадки, нет, а именно леса, рощи — рукотворные, человеком созданные дубравы, уже многолетние, густые, давно живущие на земле.

На переднем плане светлел пруд, большой как озеро. Он тоже был сделан человеком.

Восемнадцать лет прошло, а я все помню день этого первого заочного знакомства.

...С глухим рокотом катит вперед послушная «Волга», хмуро молчит голодный Николай Яковлевич — он не успел пообедать, перехватил чего-то на ходу, а ему еще сегодня возвращаться в Воронеж.

Кругом совсем темно. Погасла вдали багровая полоска. Сейчас там обыкновенное темное небо, звезды. Их уже много, взошли все, сколько положено в девятнадцать часов девятнадцатого октября. Боковое окошко опущено, сверкают вверху в полную силу завсегдатаи нашего неба — обе Медведицы, Кассиопея, а с востока медленно выползает огромная трапеция — Большой Лев.

Вдруг пыльный луч выхватил невысокий столбик, поперечную стрелку указателя. Мы остановились, выскочили. Слава богу! — едем правильно. На стрелке черным по белому: «Таловая — 3 километра». Сразу повеселел Николай Яковлевич. Помнит: от Таловой до Каменной степи всего тринадцать километров. Кажется, даже «Волга» несется быстрее. Промелькнули дома, элеватор, поднятый шлагбаум — Таловая. Вот и она позади. Мы снова на шоссе.

— Местное, Докучаевский институт делал,— нарушает долгое молчание Николай Яковлевич.

И тут внезапно, сразу, заслонив горизонт, впереди возникло густое, темное, вынырнуло из тьмы черной стеной: в окошко ударил свежий воздух, легкий ночной ветер, прохладный, как бы даже влажный. Сразу очистились от пыли, далеко и бело протянулись широкие лучи фар.

— В лес въехали, чувствуете? — Николай Яковлевич повернулся ко мне, и я увидел, что он улыбается, впервые за всю дорогу.

С обеих сторон обступили нас темные лесные стены, сплошные, без просветов. Потом пронеслись маленькие деревянные домики, и впереди возник трехэтажный дом. В белом луче мелькнул на мгновенье гранитный Докучаев со сбитой набок ветром каменной бородой.

Осторожно, щупая лучами неровную дорогу, «Волга» встала. Навстречу шагнула женщина.

— Я заведующая гостиницей. Сейчас вас устрою; звонил Игорь Александрович Скачков, наш директор.

Мы вошли в подъезд, поднялись по ступенькам. Заведующая открыла дверь, щелкнул выключатель.

Стосвечовые лампы льют тихий белый свет на ковры, на хрусталь за стеклянной дверцей венгерского серванта, отражаются в громадном — от пола до потолка — трюмо.

Я растерялся.

— Это частная квартира?

— Нет, гостиница. К нам приезжают ученые из Москвы, из Ленинграда, из-за границы. Теперь вот вы приехали,— заведующая улыбнулась,— располагайтесь, есть ванная — можно помыться. — Она протянула ключ: — Будете уходить, запрете. Куда положить, сейчас покажу. У нас спокойно — воров нет, все свои люди.

* * *

— Хотите семечек?

Уже минут пять я слышал из темноты тихое щелканье, но ей-богу же даже в мыслях не было, что Игорь Александрович Скачков, директор Института сельского хозяйства центрально-черноземной полосы имени Докучаева, доктор наук, заслуженный агроном республики, «лузгает семя», как говорили у нас на Украине. Оказалось, «лузгает».

В темноте Скачков толкнулся мне в бок рукой с семечками, потом левой рукой нашел мою правую, всыпал полную горсть.

Мы идем по темной аллее. Кругом пусто, людей нет — кто в кино, кто дома.

По вечерам после работы Скачков гуляет: неважно с давлением, надо ежедневно хоть час дышать свежим воздухом.

— Я ставлю себе задачу: пятьдесят раз пройти по аллее. Это примерно по сто шагов. Всего на круг километра три. Неплохо, если бы регулярно.

Беда в том, что проходить эти километры Скачкову удается не очень регулярно.

Работа института начинается ровно в восемь. Годами заведено: руководство не опаздывает. Директор приходит вместе со всеми. А вошел в кабинет, и колесо закрутилось: утренняя почта, телефонные звонки — местные, междугородные, приход сотрудников по делам, вызовы сотрудников по делам же, а сотрудников в институте

свыше двухсот — лаборанты, аспиранты, кандидаты наук, доктора наук. Потом прием рабочих, служащих. Скачков не только директор, он — депутат. Идут с любым вопросом — от поступления на работу до семейных свар.

А вечером надо читать и писать. Читать новые работы других ученых, писать свои. Они — в плане.

Я слушаю и пугаюсь: не окажется ли эта случайная встреча последней? Смогу ли я втиснуться в плотный график директорского рабочего дня? А без разговора с ним как обойдешься? Он старожил, двадцать лет в Каменной степи, всех и все знает. Но Скачков пока не рассказывает, он расспрашивает о литературе, о писателях.

Когда-то давно, в молодости, он сам пробовал писать стихи. Многие пробовали... только не у всех получалось, но интерес к литературе не пропал. Трудно, правда, следить за новинками, руки не доходят. Одно спасение, вот как сейчас, атаковать с ходу свежего человека, получить информацию.

А мне-то не хочется о литературе говорить. Мне хочется, чтобы Скачков не расспрашивал, а сам говорил. Но я все еще отвечаю на вопросы...

Мы прошли три, а то и четыре раза кленовую аллею. Время идет. Скачкову до сна еще читать сегодняшние газеты. Утром только беглый просмотр.

И тогда я сразу, без всякого перехода, говорю:

— А как вы попали в Каменную степь? Когда впервые о ней услышали?

Он молча замедляет шаг; громче шуршат под ногами палые кленовые листья. В тишине сильнее кажется их крепкий, всегда волнующий запах.

— Услышал впервые в армии — в блиндаже, на фронте. Странно, правда? Сам воронежский, из Валуек, а о Каменной степи не знал И вот блиндаж, не за горами конец войны, но бои идут тяжелые, немцы сопротивляются. И вдруг — полковая рация, далекий голос московского диктора рассказывает о нашей воронежской Каменной степи: «каменная», мол, она теперь только по названию. И тут мелькнуло — это же все рядом с Воронежем, с моим домом А я, агроном, доцент сельхозинститута, даже не был там, не видел докучаевских полос. И как никогда захотелось остаться в живых, чтобы потом работать в Каменной степи, только там

Мои глаза уже привыкли к темноте. Хорошо видно его

лицо, не по годам молодое — пятьдесят два не дашь, большое лицо украинского типа,— дед наверняка был просто Скачко,— глаза тоже большие, черные, речь южная, быстрая, порывистая, с мягким «г», с неожиданными перескоками от темы к теме. Ничего нет от солидности, размеренности, от внушительной повадки человека с положением, с весом. Такого навряд ли боятся даже те, на кого подчас следовало бы нагнать страху; к такому смело идут в кабинет в любое время с чепухой, с мелочами, идут — знают по опыту: не выставит. Нет, только вздохнет, скажет тихо: «Пожалуйста, что у вас?» — и отложит важное, не терпящее отлагательства дело. Возможно, во вред этому делу отложит, без надобности отложит и займется чепухой, мелочами, которыми мог бы заняться завхоз. А потом дома до поздней ночи будет сидеть за отложенным делом, сидеть до тупой боли в затылке, когда ничего уже не сообразишь и надо немедленно ложиться, а то завтра будет совсем плохо... Слабость характера? Но мне еще в Воронеже говорили, как этот тихий, мягкий Скачков в лихую годину один как перст осмелился выступить в защиту Каменной степи и отвел от нее страшную беду, уготованную было докучаевскому детищу людьми, всесильными в ту пору в науке, да и не только в науке...

Донкихотство? А может, все-таки мужество, честность? Лучше пропасть, чем смолчать, помириться с неправдой?

...Как приходит человек к науке? У каждого свой путь. Он пришел благодаря цыплятам и кроликам. Еще в школе создали сельскохозяйственный кружок, назвали его школьным колхозом, чтобы ребята всерьез взялись за дело. Директор купил сотню яиц, ребята заложили их в самодельный инкубатор. Дело было совсем новое, поэтому особенно интересное. В подвале на каменный пол налили воды — нужна влажность воздуха. Подогревался инкубатор большой керосиновой лампой. Установили круглосуточное дежурство. Ночь напролет сидишь у лампы, прикованный к табурету. Ноги на кирпичах, кругом вода. Сидишь, смотришь на лампу. Она должна гореть ровно, равномерно нагревать яйца. Нарушится режим — все пропало: снова покупай яйца. Так рождалось терпение, упорство, ответственность за порученное дело. Где сейчас те птицеводы? Кто знает... Но несомненно одно —

ночн возле лампы на залнтом водой подвальном полу запомннлнсь и, думается, были небесполезными для будущего, каким бы оно потом нн оказалось.

Кролики? Да, разводнлн и кролнков. Они быстро размножаются. А годы былн тяжелые, тридцатые,— голодные, безмясные, бесхлебные годы...

За труды директор школы премнровал ребят кроличьнми тушкамн. Вручалн нх торжественно на праздничном вечере, как сейчас вручают какой-ннбудь пронгрыватель нли раднонриемннк. И радость была не меньше. А как же! Тушка — это роскошный обед с жаркнм на второе.

Конечно же после школьного колхоза путь был один — в сельскохозяйственный вуз. А учнться было трудно: детей служащнх тогда принималн с большим разбором, стипендней не обеспечнвалн. Поступнть удалось в агрономическнй инстнтут на вечернее отделенне. И с работой повезло — устронлся на опытную станцию, правда, временно — надо было обработать метеорологнческие данные за целых полвека. Составил таблицы, сдал. Приняли, похвалнли. А дальше? Дальше что делать? Вакансий на станцни нет. Остался без работы, без денег. Последние гроши на нсходе. Как быть? Бросать нистнтут?

Был в институте профессор Васнльев, читал ботанику, чнтал прекрасно. Первокурснники после его лекций почти поголовно решали: «будем ботаниками». Как-то после лекции студенты разошлнсь, а Скачков остался, в корндоре на подоконнике сидит, в окно смотрит. Последнне дни здесь... Надо увольняться, нскать работу...

Вдруг рядом шаги, оглянулся — Васильев.

— Чего загрустнл, Игорек? — Он называл первокурснйков еще по-школьному — по нменам.

Все рассказал, все как есть.

Васнльев усмехнулся.

— Почему же раньше молчал? Уже работал бы.

— Где, Владнмнр Феофнлактовнч?

— У меня на кафедре лаборантом. Место пустует. Я хотел было тебе предложнть, да думал — ты при деле. А вот теперь иа ловца и зверь бежит. Завтра выходи на работу.

Стал лаборантом — добывал эфирное масло из копытня. Есть такое лесное растенне — Азарум Эвропеум по-латынн. Жнвет в лесу, в сырых местах. Цветы невзрач-

ные, бурые, пахнут перцем. Пчелы их не любят, опыляют мелкие мушки. Вид старый, еще линеевский, но изучено растение слабо. Оказалось, копытень — эфиронос. Содержание масла ничтожное, часами следишь, как капли падают в мензурку. Потом их учитываешь, замеряя по мензурке.

Работая, впервые понял значение цифры, самой малой, выражающей доли грамма. Содержание эфирного масла зависело от многих факторов. Их надо было выявить, изучить. Об итогах сделал доклад на студенческом кружке, говорил о цифре, о важности точного ее установления в работе исследователя. Васильев сидел, слушал. Потом подошел, взволнованный.

— Игорек, ты прирожденный исследователь. Как хорошо, что я тебя нашел!

Позже узнал: лаборант при кафедре ботаники не положен. Владимир Феофилактович сам ввел эту должность и работу с копытнем организовал, чтобы было за что платить, а платил из своего оклада, в то время весьма скромного.

Этот человек навсегда остался в памяти. Не встреться он тогда в коридоре — не быть Скачкову ученым.

Васильев и позже следил за своим учеником, не выпускал из виду. Работа с копытнем — только начало, первая ступенька по крутой, высокой лестнице науки. Надо было взбираться выше.

В тридцатых годах в стране началось массовое внедрение комбайнов. А кадров нет. Решили: студенты на лето должны стать комбайнерами. В институте днем слушали лекции, вечером учились на курсах. Окончили, получили свидетельства. Наступили каникулы, подоспела уборочная. Новоиспеченные комбайнеры отправились на село проверить на деле — чему научился, чего ты сто́ишь, будущий агроном?

Но комбайнеров в совхозе ждало горькое разочарование — работы нет. Надо возвращаться в Воронеж, без дела сидеть два месяца. А жить на что? На комбайне надеялись подработать.

И вот снова случайная встреча с Васильевым у трамвайной остановки.

— Как дела, Игорек?

— Плохо, Владимир Феофилактович,— работы нет, вернулся из совхоза...

— Будет работа, ты мне срочно нужен.

Скачков не выдержал, улыбнулся:

— Лаборант?

Васильев погрозил пальцем:

— Молчи!.. Изменил ботанике! Теперь изволь заняться не чистой наукой, а сельскохозяйственной, по новой твоей специальности.

Оказалось: Институту экономики срочно требуется научный сотрудник. Институт отправляет экспедицию в Калач, в совхоз. Надо изучить влияние сорняков на работу комбайнов.

— Ну как, согласен?

Согласен ли он! В тот же день выехал. На место прибыл рано утром. Бригада института жила на полевом стане, в вагончике. Сразу приступил к работе. Поля пестрели сорняками. 70 процентов площади занято всякой нечистью — бодяк, вьюнок, щирица, васильки, осот. А пшеница низкорослая, реденькая.

Начал хронометрировать уборку. Слезы, а не работа: комбайнеры неопытные, час косят — два копаются в моторе, устраняют помехи. Надо было выявить причины задержки комбайна.

В поле проводил весь день — от зари до зари, изучал сорняки, распределял их по группам. Студент-третьекурсник стал научным сотрудником Института экономики. Вернувшись в Воронеж, написал первую свою статью: «Комбайн, культурные растения и сорняки». Статья была напечатана в научном журнале. Старик отец прочел, заплакал. Всю жизнь он проработал на почте телеграфистом. Мечтал, что сын станет образованным человеком, ученым. Мечта сбылась.

Институт окончен. Скачков остался в аспирантуре, защитил диссертацию. Тема ее была связана с уборкой комбайнами,— самому не пришлось их водить, но комбайн был «героем» его первого научного труда, стал и «героем» диссертации.

...Вечер незаметно перешел в ночь, долгую, многочасовую, октябрьскую. Кое-где листья на кленах облетели, сквозь черные ветки показались Плеяды — зимние звезды.

Скачков нарочно идет там, где больше палых листьев. Ему нравится ворошить их, слушать сухой, неожиданно громкий шорох. Я тоже сворачиваю с дорожки. Теперь

мы оба шуршим листьями. Говорить трудно — шорох глушит голоса. Я молчу, смотрю на Скачкова. Он увлекся, сгребает листья ногами в большую кучу, потом разбрасывает их. Отдых.

Осень, поздняя осень, когда лист уже побили утренники, навсегда связана в моей памяти с горьким запахом горящих листьев. После школы шли в лес, сгребали кучи листвы и поджигали. В сухую осень листья быстро загорались, из молочно-сизого дыма вырывался и пропадал мгновенный бледный огонь. Его тут же душил дым, но огонь опять вырывался, уже желтый, гудящий, охватывал всю кучу: бездымное высокое пламя вскидывалось вверх. Током горячего воздуха подхватывало листья, они кружились в вышине, медленно оседали на землю.

Я говорю об этом Скачкову. Он смеется.

— Мы то же самое делали. Детство у людей похожее. Потом уже дороги расходятся, люди становятся разными. А дети все как бы одно братство.

И мы заговорили о детстве, о его прекрасных делах — о купанье в речке до озноба, до гусиной кожи на всем теле, о первых яблоках незрелых, скуловоротных, с белыми семечками. Яблоки еще совсем маленькие, их надо есть целиком, только хвостик выбрасывать. Потом пошла рыбная ловля: лет в семь-восемь — на верховую, когда удочка просто лозинка с ниткой; на нитке поплавок из пера и маленький, очень острый крючок. Наживляют на него муху. Позже — в десять — двенадцать лет — ловят на донную. Тут удилище уже ореховое, длинное, леса волосяная; на ней свинцовое грузило, пробочный зеленый или красный поплавок; крючок покрупнее, наживляется на него червяк. Насаживать надо так, чтобы червяк сидел плотно свернутый, только кончик должен шевелиться. На такую удочку можно поймать и линя, и леща, и карпа.

— Нет, карп — рыба хитрая,— говорит Скачков.— Это — мечта рыболова. Пацанам почти не попадается. Я и сейчас очень редко карпа ловлю.

Скачков ходит удить на «Докучаевское море». Жаль, за весь сезон удается порыбачить раз пять-шесть, не больше.

И мне вдруг приходит мысль, что мы со Скачковым во многом похожи,— детство, юность прошли почти в одних и тех же местах. Купянск и Валуйки — это же очень близко, в соседних областях, Харьковской и Воронеж-

ской. И поступать в институт обоим было нелегко: родители — служащие. И оба с первого курса увлекались одной и той же наукой — ботаникой. Потом, после института, пути разошлись — Скачков стал агрономом, ученым, я ботаником, позже — литератором.

И мне уже трудно поверить, что мы познакомились только сегодня. Не хочется расставаться со Скачковым — неизвестно, удастся ли еще вот так ходить по аллее, говорить только о том, о чем хочется. Но время позднее: Плеяды вон уже где... Пора прощаться.

Я спрашиваю Скачкова, с кем завтра встретиться, кто покажет лесные полосы.

— У нас есть отдел пропаганды, есть специальные экскурсоводы, но вам лучше всего познакомиться с Шаповаловым Андреем Андреевичем. Он лесовод, живая история Каменной степи, ученик Высоцкого. С Каменной степью связан дольше всех — с тысяча девятьсот двадцать третьего года. Почти полвека. Приходите в институт к двум, после обеденного перерыва. Я вас познакомлю.

* * *

— Как вы думаете, что здесь раньше было?

Я оглядываюсь. Что было... Степь, конечно. Степь есть, степь и была, не очень ровная, всхолмленная, с мелкими западинами.

— Ага. Вот и попали впросак.— Андрей Андреевич Шаповалов смеется. Он всегда задает этот вопрос экскурсантам. Все попадают впросак.— Овраг был, огромный, глубокий, очень агрессивный,— все время ширился, углублялся. Докучаевцы прозвали его — «Дарьяльское ущелье».

Да, трудно поверить, а было именно так: каждую весну овраг размывали бурные воды, он становился все глубже, мрачнее, зловещее — степное «Дарьяльское ущелье»; на дне до поздней весны грязный, ноздреватый снег, на склонах, как на стене шурфа-гиганта, почвенные горизонты — от верхнего, почти метрового гумусового, черноземного до нижнего, подстилающего,— древних желтых аллювиальных глин. Мутные, быстрые, невидимые ручьи глухо урчали в недрах оврага, вгрызались в почву. Склоны рушились, овраг из года в год рос, грозно надвигался

на поля, бедные иссохшие поля, вечио страждущие от засухн.

И вот на месте оврага — ложбиика. На пологих склонах роща; дубы старые, семидесятилетнне; ровиые мощиые стволы высоко подияли густые, в толстой коричиевой листве широкие кроны; средн дубов золотятся полусквозные березы. Их мало. Век березовый короче дубового. Жнвут самые стойкие, самые крепкие. Но и им жить недолго. Останутся дубы. Медленно будут расти ввысь. Набирать годовые кольца. Сколько лет простоят оии здесь, на месте бывшего «Дарьяльского ущелья», которое сровняли со степью, не оставив о нем и помнна? Кто знает...

В Усманском лесу я вндел трехсотлетнне дубы. Онн ие очеиь высоки, но стволы их страшной толщииы — самый мощный мы вчетвером еле обхватилн, взявшись за руки. А в подмосковиом Коломенском, в царской вотчиие Алексея Михайловича, четыре дуба еще старше.

Этим всего семьдесят. Деревья в расцвете сил. Жить и жить...

— Хороши? — Шаповалов подходит к крайиему дубу, медленно проводит рукой по стволу. Серая шероховатая кора тепла иа ощупь — деиь погожий, ясный. Но мие кажется, не солиечиые лучи иагрели кору, а иеиссякаемая жнзнениая сила, наполияющая могучее дерево.

Я смотрю на Шаповалова. Ои н эти дубы — почти ровесники. Он ветеран Камениой степн. Когда в двадцать третьем году приехал сюда еще практикаитом, деревья были совсем молодыми, тридцатилетиими. Но оврага уже не было. Деревья одолели его. Овраг зарос. Осталась неглубокая Хорольская балка. Овраг был сухой, только в лнвии да в паводок видел воду. Оиа появлялась иеиадолго — ревущий поток размывал землю. Потом все стихало до следующего лнвия, до будущей весиы.

Когда овраг зарос, иа месте его пробнлся малеиький, очень холодиый родиичок. Грунтовые воды подиялись под пологом леса. Родиичок и сейчас есть. Ночью слышеи его тихий голос.

— Вы — ботаиик, вам это иитересио,— говорит Шаповалов,— смотрите, как четко, по зоиам распределеиа здесь травяиистая растительность. Режим влаги диктует свои законы.

Да, отдельиые зоны даже сейчас, в октябре, резко различаются по цвету: в низнне густо кустится болотная

осока, ситник. Выше — луговые злаки: белица, лисохвост, тимофеевка; они еле различимы: колоски осыпались. Луговое разнотравье тоже высохло — торчат сухие прутики. Еще выше на склоне, на опушке рощи — лесные растения: зверобой, папоротники, хвощи.

Когда был овраг, ничего этого не было, лес привел с собою родник, привел эти разные, непохожие друг на друга травы.

Я «дорвался». Присев на корточки, роюсь в ломких стеблях; вспоминаю старину, пробую по вегетативным признакам определить виды.

Шаповалов стоит рядом, ждет. Высокий, седой, сутулый, в очках, в старомодном длиннополом пальто, в широкополой шляпе, в руках березовый прутик. Объясняя, показывает им, как указкой.

Когда утром знакомились в институте, потом ехали сюда, я думал: хорошо, что у вас вездеходный «козел», другая машина останавливалась бы на проселке, к рощам идти пешком. Мне-то ничего, я-то в форме, а Шаповалову долго ходить нелегко.

Но вот я поднялся с земли. Шаповалов идет вперед, взошел на одну гряду, на другую. Я убыстрил шаг — сейчас обгоню и обожду на гребне. Нет, идем вровень. Третий взгорок. Он круче остальных. Не останавливаясь, не умеряя шаг, Шаповалов, как по ровному, взошел, оглянулся,— я чуть отстал, немного, шага на два. Он улыбнулся уголком рта,— видно, угадал мои мысли. А может, проверяет себя?

Не так давно он сильно болел; болезнь оказалась тяжелой, очень редкой.

На Сорок четвертой полосе вдруг стали суховершинить дубы, прекрасные, мощные дубы первого бонитета. В чем дело? Стал рыть шурфы: нет ли засоления, переувлажнения? Нет, везде обычный чернозем, но в шурфе почему-то пахнет грибами. Откуда им быть на такой глубине? И вдруг закашлялся, выступили слезы. Решил — простуда, пройдет.

На другой день снова в шурф, хотя кашель мучит — сил нет.

Вынул нож, стал отрывать дубовые корни, а они — в язвах, ткань мертвая, кусками отваливается. Содрал корни, отправил в Институт защиты растений.

А ему становилось все хуже. Пропал голос, по ночам

не спал, задыхался от кашля. Решил — рак горла. Вызвал из Куйбышева сына, офицера. Сын приехал, увез с собой в госпиталь. Там установили: горло поражено микробами с дубовых корней.

Долго лечился, выздоровел, вернулся в институт.

Заместитель директора по науке встретил смущенно:

— Думали, не скоро поправитесь. Назначили другого завотделом. Может, хотите отдохнуть, Андрей Андреевич? Года немалые, болели сильно.

Что? На пенсию? Уйти от леса? От дела всей жизни? Но это же конец, смерть! Он остался в отделе просто научным сотрудником.

Сейчас опять ведет отдел, правда как исполняющий обязанности заведующего. Но это чепуха, мелочь. Главное, ему никто не мешает работать, и он в свои шестьдесят восемь работает как и прежде, как все сорок три года. Основное время в поле, на лесополосах. Так всегда работали здесь все ученые, начиная с Докучаева, все лесоводы: Собеневский — создатель первых лесополос, знаменитый Морозов — отец русского леса, Высоцкий — ученик Докучаева. Шаповалов учился у Высоцкого. Стал кандидатом наук. Позже написал докторскую диссертацию «Лес и грунтовые воды». Защитить не успел,— война. Шаповалов отпечатал на машинке три экземпляра диссертации. Все были спрятаны в разных местах, и все погибли,— война... Сейчас написана новая докторская.

— Дуб у нас самая лучшая порода.— Шаповалов стоит на вершине балки, говорит о дубе.

Достоинства дуба — стойкость против засухи, против заболеваний, долговечность, высококачественная древесина. Почти сто лет назад, в семидесятых годах, лесничий Тиханов стал высаживать дуб в степи. В товарищи дубу дал ильмовые — вяз и берест. Это близкие породы: оба из одного семейства, одного рода, только виды разные. И вяз и берест оказались неверными друзьями — в первые же годы стали глушить дубки, потом через десяток лет и сами погибли. Неудача. Но начало было положено: в степи должен расти дуб. Это вне сомнения. Только вот как его вырастить? За семьдесят с лишним лет Каменная степь выработала проверенные практические рекомендации посадок полезащитных лесных полос. Известно, какие подходят для степи древесные и кустарниковые породы, как их смешивать, как они поведут себя

в дальнейшем, как за ними ухаживать. Над всем этим почти целый век работали поколения русских лесоводов, работали пожизненно — от молодости до смерти.

Гребень Хорольской балки. С востока лес заслоняет даль. Но с других сторон она открыта. Уходят к горизонту узкие, длинные рощи. Они окаймляют громадные прямоугольники полей. Поля разноцветные — иссиня чернеют пары, свежо, зелено, словно после дождя, сверкают озими. Зелень сейчас только внизу. Леса уже сплошь пожелтели. Темной бронзой мерцают дубы, светятся золотисто березы, липы. Редкими красноватыми пятнами вкраплена дикая груша. Холодно синеет тяжелая гладь «Докучаевского моря» — пруда-великана.

— Отсюда пошла наша Каменная степь,— говорит Шаповалов.— Мы в зоне самых старых насаждений, еще не полезащитных: они противоэрозионные, закрепили овраг. Это девяностые годы.

Леса уходят за горизонт. Они не сплошные, но они везде. Самые длинные протянулись с севера на юг, другие, короче,— с востока на запад. И все пространство вдали разноцветное — синее, зеленое, черное, коричневое, желтое. Поверить трудно, что воды и леса эти — только оазис, что со всех сторон окружили его безлесные безводные степи. Плодороднейшая почва — чернозем почти метровой толщины — создавалась веками: вершок за вершком копились в земле остатки перегнивших трав, некогда густых, буйных, скрывавших всадника с конем. Но это было в давние, очень давние времена.

Тогда днями ехал путник по степи и не встречал жилья. Вокруг безграничная, замкнутая лишь изгибом горизонта, вся в белых всплесках ковыльной пены целинная степь. В недрах ее загоралось утром и угасало вечером солнце. Ночью поднимались из нее на синюю небесную гладь золотые стаи звезд. На рассвете уходили обратно в темно-зеленую глубину. Не отражая их, степь тихо шумела, катя свои непрозрачные сухие волны.

Здесь, на гребне водораздела Волги и Дона, людей было мало — места сухие, безводные, безречные. До речки Битюга — полсотни верст, еще дальше Хопер. Степные балки оживают только весной, в паводок.

...На бесшумном институтском «козле» мы медленно едем по узким проселкам, по межам, по опушкам лесных полос, объезжаем шаповаловскую «епархию». Я попро-

сил показать рощи сначала издали, в перспективе, потом уже познакомлюсь с каждой вблизи. Рельеф не везде ровный — есть понижения, западины. Не появись леса — здесь зияли бы овраги. Теперь землю охраняет лес, защищает от суховеев, от ливневых и паводковых потоков.

На меже что-то сереет. Водитель притормаживает «козла». Оказывается, большой кругляш-валун.

Шаповалов говорит:

— Здесь залегал когда-то древний ледник. Его наследство. В оврагах много валунов, обкатанной гальки. Серые кости земли. От них, верно, и пошло наше название «Каменная степь». А может, не только от них,— в засуху земля высыхала, трескалась, становилась каменно-твердой. Так что смысл двоякий. Но наименована наша степь, думаю я, не так давно.

Да, Каменная степь долго не знала человека. Постоянные селения возникли только в Петровские времена. Работать на земле было выгодно: мощный чернозем приносил богатейшие урожаи. Пахали, сеяли, жали, пока поле хорошо родило. Когда истощалось, бросали, переходили на другое,— земли кругом вволю.

Во второй половине прошлого века урожаи поубавились. Земли стало меньше. Ей давали передышку, пускали под залежь уже не на двадцать лет, как встарь, а на пять, на три, на два года. Степь стала сохнуть. Все чаще случались неурожаи.

В 1891 году разразилась беда невиданная, небывалая. Великий голод охватил целые губернии. Словно от моровой язвы, вымирали села. Царское правительство предприняло жалкие попытки помочь беде — благотворительные сборы среди «имущих классов», столовые для голодающих... Разве этим остановишь беду? О разорении земли надлежало подумать раньше. Но кому было думать-то?

На помощь голодающим крестьянам пришли лучшие люди России: ее писатели — Лев Толстой, Чехов, Короленко; ее ученые — Костычев, Измаильский, Докучаев.

Павел Александрович Костычев — агроном, почвовед, профессор университета — изъездил вдоль и поперек пятьдесят тысяч десятин степи, все выпытывал у нее: почему сохнет? Ухудшился климат? Меньше стало дождей?

И Александр Алексеевич Измаильский, друг Докучаева, годами бился над тем же проклятым вопросом. Не-

ужели же виной климат? Тогда спасенья нет. А может, причины иные?

Очень трудно установить дату и место рождения той или иной науки. Исключением является почвоведение. Точно известно и признано всем миром: генетическое почвоведение родилось в восьмидесятых годах прошлого столетия в Петербургском университете.

Отцу новой науки, профессору Василию Васильевичу Докучаеву, в черный для России год исполнилось сорок пять лет, он был на вершине славы. Уже вышел классический «Русский чернозем», уже были блестяще проведены первые в России почвоведческие экспедиции — Нижегородская, Полтавская; университетские лекции Докучаева собирали огромные аудитории.

Беда, разразившаяся на юге России, застала Докучаева в работе над новой книгой. «Наши степи прежде и теперь» вышла в 1892 году. Гонорар за книгу поступил в пользу голодающих.

Но неизмеримо ценнее была сама книга. Докучаев отвечал в ней на проклятый вопрос: нечего все валить на климат. Виноваты люди — нерадивые хозяева России. Земледелие наше «находится в таком надорванном, надломленном, ненормальном состоянии потому, что оно является биржевой игрой, азартность которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться».

Капитализм с его хищнической системой землепользования — вот кто губит степь! Вырублены почти все старые степные леса. Они росли на водоразделах, в балках, копили снег зимой, задерживали дождевую влагу летом, мешали высохнуть степи.

С Докучаевым согласен Измаильский. Да, все это сделал человек: «Он лишил степь гигантской растительности и уничтожил тот толстый войлок из отмерших растительных остатков, который как губка всасывал воду и защищал почву от иссушающего действия солнечных лучей и ветра».

Как и Докучаев, Измаильский предупреждает: «Если мы будем продолжать так же беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся в бесплодную пустыню».

Пустыня! Вот страшное будущее степи. Уже теперь кое-где белеют заросшие полынью пятна бесплодных солонцов. Их будет все больше. Уже теперь суховеи выдувают плодородный слой, черные бури гуляют по степи, наметая земляные сугробы. Они, как снег зимой, останавливают поезда, засыпают сады, поселки; сухие душные тучи пыли несутся над землей. Солнце — багровый шар без лучей — зловеще висит в небе. Твердые земляные крупинки, как дробь, сбивают листья с жалких посевов, вышибают их с корнем.

К Измаильскому, к Докучаеву присоединяется Костычев.

Некогда комковатая черноземная почва, пронизанная тонкими корешками трав, превратилась ныне в пыль, порошок. Сколько бы ни шло дождей, вода не задерживается почвой — уходит в овраги, в балки. Но растению важно не количество выпавших осадков, а количество влаги, впитанной почвой.

Известнейшие ученые России порознь пришли к одному выводу: человек иссушил степь, человек должен ее и спасти.

— ...Свернем к колодцу,— говорит Шаповалов.

Приминая палый лист, «козел» неслышно входит под редеющий полог старых дубов, останавливается у решетчатой ограды. Андрей Андреевич открывает дверцу. Входим.

Низкий деревянный сруб. Над ним памятная доска: «Колодец № 1 по наблюдениям за режимом подземных вод в лесных полосах Каменной степи, начатым в 1892 году особой экспедицией под руководством В. В. Докучаева».

Ниже диаграмма изменения уровня грунтовых вод по месяцам и годам. Видно, как кривая набирает высоту, очень медленно, год за годом ползет вверх.

Реликвия? Начало начал Каменной степи? Сейчас — да. Но в свое время — бастион, передний край борьбы. Докучаев сражался на два фронта. Один — власть предержащие, их равнодушие, их уверенность, что против природы не пойдешь.

Другой фронт — ученые. Они искренне болели за судьбу степи; но разве можно спасти степь, как предлагает Докучаев? Сажать лес — это же вконец погубить степь! Лес обводняет только горы, а равнины сушит, забирает

из почвы и без того скудные запасы влаги. Поэтому лес и степь — извечные противники, извечная между ними борьба. Где, когда они мирно уживались? Природа не знает такого. Лес в степи — пасынок, оттеснен на задворки, ютится где-то в балках, как огня боится выйти на ровное открытое место. И не зря боится: степные травы тут же заглушают его, им самим едва хватает почвенной влаги. И сильные травы забивают древесные сеянцы, губят, не дав окрепнуть. Скрепя сердце степь терпит только кустарники, одиночные жалкие куртинки — бобовник, ракитник, дрок; они притаились в западинках, живут тише воды, ниже травы. Попробуй подняться — трава немедленно сживет со свету. Посему вводить лесные культуры в степь — это ненаучно, бессмысленно, это действовать вопреки твердо установленным фактам.

— Что оставалось делать Докучаеву? — Шаповалов оживился, часто поправляет очки, сдвинул на затылок шляпу.— Оставалось одно: фактам, якобы установленным, противопоставить факты проверенные, научно доказанные. Этот колодец номер первый первым и добыл означенные факты. С восемьсот девяносто второго года и по сей день замеряется здесь уровень грунтовых вод. Перерыв? Не было перерыва. Гидрологическая станция работала даже в прифронтовой зоне, когда немцы бомбили Таловую Сейчас этот колодец не один. Такие же на полях, на лесополосах, на плотинах. Но они пришли потом. А этот — пионер. Видите кривую роста? Из года в год влага в почве, покрытой лесом, поднимается миллиметр за миллиметром. Вывод? Лес не сушит степь, а увлажняет. Значение этого открытия огромно. Не докажи этого Докучаев — план спасения степи с помощью лесных полос рухнул бы А тут прибор, цифры, никуда от них не денешься.

Искоса глядя на таблицу, Шаповалов называет годы, месяцы, миллиметры. И вдруг у меня догадка: он же не видит цифр, не может отсюда увидеть, надо подойти ближе — они мелко написаны!

Мы садимся на сруб. Шаповалову сейчас не нужно задавать вопросы. Он будет говорить сам. Лес и вода — его коронная тема. Да и только ли его? Не главная ли это тема Каменной степи, всего степного, полезащитного лесоразведения?

...Шофер Коля привычно вытащил из-под сиденья тол-

стую книгу. По опыту знает: из-за колодезной оградки Андрей Андреевич скоро не выйдет. Вполне можно прочесть главу из «Виконта де Бражелона».

Я тоже приготовился — вынул двухкопеечную тетрадку. Вчера взял в магазине целую пачку — общие все распроданы.

Докучаев доказал свое, поставил оппонентов перед фактом — вещью весьма упорной. Вот этой таблицей колодец говорит: да, лесу действительно нужно много воды. Площадь древесной листвы огромна. А каждый лист через устьица испаряет влагу. Но лес добывает ее из глубоких почвенных слоев, не доступных корням трав. И он же потом с лихвой возвращает земле взятое у нее взаймы. Зимой лес накопляет снега, весной регулирует таянье сугробов, летом сдерживает сток ливневых потоков, умеряет их прыть, заставляет постепенно впитываться в землю. Леса становятся кладовой почвенных вод, магазином их, по докучаевскому выражению.

Итак, одержан верх над научными противниками. Но это было не все. Докучаев жил в самую глухую пору, пору Александра Третьего, Победоносцева. Недаром он горько жаловался, что «в России трудно чего-либо добиться».

— И знаете, мне и сейчас непонятно, как Докучаеву удалось добиться внимания правительства к своим идеям. Что это — упорство? Умение убеждать? Просто везенье? Ведь подумать только — лесной департамент надо было заставить согласиться на переделку природы, то есть на вторжение в функции самого господа бога! Замысел предерзостный!

Да, план был грандиозный. Опыт, сам по себе невиданный, ставился в невиданно огромных масштабах. На тысячах десятин степи, расположенной в самой засушливой зоне, в самом эпицентре страшной засухи девяностых годов Докучаев вознамерился навсегда предотвратить засуху, неурожай, голод.

Вспоминаются пушкинские слова о Данте: «самый план «Божественной комедии» — порождение ума гениального». Великий русский ученый собирается заново пересоздать землю.

Как? Надо сделать многое: надо спрямить и углубить русла степных рек, надо укрепить овраги, надо превратить в пруды степные балки. И главное — надо выра-

стить в степи леса, чтобы они неодолимым заслоном встали на пути жарких суховеев. Леса подымут грунтовые воды, сберегут влагу для полей. И тогда в молодых рощах зазвенят птичьи голоса, на дне оврагов пробьются студеные родники, на рассвете выпадет в степи крупная серебряная роса.

Разумеется, чтобы переделать природу, потребно время. Медленно растут леса, медленно — на считанные миллиметры в год — подымаются вверх грунтовые воды, медленно зарастают овраги, заселяются птицами молодые рощи, рыбой — пруды.

Природа живет по своим законам. Чтобы изменить ее, надо глубоко познать эти законы. Поэтому необходимо вооружиться терпеньем, ведь «в громаднейшем большинстве случаев мы не замечаем самих процессов, а удивляемся только результатам». Это — Докучаев.

Природу же надлежит изучать в совокупности всех ее свойств, изучать как единый, целостный организм; вода, воздух, почвы, флора, фауна живут не порознь, а сообща. Все эти «факторы до такой степени трудно расчленимы в их влиянии на жизнь человека, что при изучении их... необходимо иметь в виду всю единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части. Иначе мы никогда не сумеем управлять ими, никогда не будем в состоянии учесть, что принадлежит одному и что другому фактору».

Итак, есть земля, есть необходимые средства. Нужны люди — единомышленники, соратники.

На призыв Докучаева откликнулись ученые разных специальностей. В «Особую экспедицию по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России» первыми вступили ученики Василия Васильевича, пионеры русского почвоведения Сибирцев и Глинка, за ними пришли лесоводы Собеневский, Высоцкий, ботаник Танфильев, зоолог Силантьев, метеоролог Адамов, агроном Бараков.

Все молодежь, по возрасту — сыновья Василия Васильевича. В июне девяносто второго года прибыли на место. В голой степи срубили избу, в ней разместили штаб экспедиции, здесь же поселился сам Докучаев.

Я спрашиваю Шаповалова, не застал ли он в двадцать третьем году стариков, помнивших Докучаева.

— Как не застать! Да и вы, если бы прибыли не вчера,

а годика на три-четыре раньше, могли бы познакомиться с Егором Ивановичем Христенко — он возил Василия Васильевича по полям. Умер столетним стариком. Помнил, как закладывали первые полосы, возможно, и сам помогал сажать дубки.

Начались работы. Докучаев с утра в степи — втыкает колья в местах, где надо построить метеорологические станции, описывает шурфы. Сверху, с безнадежно-чистого, белесо-голубого неба неистово палит солнце, палит без передышки — от восхода до заката.

Жизнь степная сурова — приноровлена к летней жаре, к бездождью, к свирепым, малоснежным, морозным зимам. Почти круглый год ветры. Разница в температурах — летней и зимней — семьдесят градусов. Скудные осадки; только четверть их имеет интенсивность до пяти миллиметров — это влага затяжных, преимущественно осенних дождей. Они промачивают почву. От весенних ливней мало проку — прошумят пенистые потоки, смывая драгоценный гумус, унесутся в овраги, в балки, и снова степь суха до звона.

Как жить здесь деревьям, рощам? Будут ли расти? Будут! Ведь сажали же раньше лес в степи.

В начале прошлого века миргородский помещик Ломиковский первым взялся примирить степь с лесом — посадил на полтавских полях рощи.

«Через все поле сеяный лес — ровные, как стрелки, дерева, за ними другой, повыше, тоже молодняк; за ним и старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота, сквозь лес».

Постойте! Откуда это? Неужели же... Да, он, Гоголь. «Мертвые души». Том второй. Там, где о Костанжогло говорится, о рачительном «хозяине-тузе», который «получает 200 тысяч годового доходу с такого имения, которое лет восемь назад и двадцати не давало»!

Гоголь видел в натуре эти рощи и о хозяйственном назначении их знал.

«Лес у него, кроме того, что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте на столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени... Когда вокруг засуха, у него нет засухи, когда вокруг неурожай, у него нет неурожая».

Рощи гоголевского героя Константина Федоровича Костанжогло — это рощи Ломиковского. Он целую книжку о них написал — «Разведение леса в сельце Трудолюбы». Вышла она в 1837 году в Петербурге. В книжке автор свидетельствует: «Посевы, произведенные мною на открытых полях, всегда значительно отстают от урожая на древопольных местах».

О них, конечно, не только Гоголь, но и Докучаев знал — он бывал на Полтавщине. Хотя, разумеется, Полтавщина — не Каменная степь...

Докучаев намеренно выбрал ее — суровейшую из суровых. Выбрал, полагая: если удастся вырастить лес здесь, в тяжелейших условиях, то в других местах удастся и подавно.

С прозорливостью гениального ученого Докучаев указал именно эту местность на водоразделе Волги и Дона. Здесь в естественный комплекс входили: степной участок («Каменная степь»), Хреновской бор и Шипов лиственный лес. «Можно сказать, что из таких именно сочетаний рельефа, грунта, вод, растительности слагается вся территория обширных степных пространств между бассейнами Днестра и Волги. Вне этих сочетаний нет степи, вне их нельзя познать ее... во всей неизмеримой области русских степей от Кавказа и Аральского моря до Карпатов и Дуная».

Докучаев хотел восстановить былое плодородие южнорусской черноземной степи, хотел создать равновесие между степным климатом, пашней и культурной растительностью. Ведь существовало же некогда такое равновесие между климатом и девственной степью. Докучаев решил оставить участки целинной степи. Они должны быть образцами для сравнения — живые естественноисторические музеи под открытым небом.

Экспедиция начала работу.

Первыми приступили к изысканиям почвоведы. В балке Таловой левый крутой склон обнажен как на почвенном шурфе. Хоть бери и описывай горизонты.

Заложили разрезы, установили расположение водопроницаемых и водоупорных слоев.

Балок оказалось несколько. Гидрологи отыскали на дне их родники. Ага! Значит, Каменная степь не совсем окаменела — хранит в себе водные запасы. Их взяли на

учет. Отсюда будущие пруды получат круглогодичное питание.

Определили уклон долины, водоразделы балок, крутизну их склонов. Это — чтобы перехватить плотинами паводковые воды.

Одна за другой выросли плотины; в девяносто третьем году на солнце засверкали, заискрились первые пруды — предшественники «Докучаевского моря». Но первые — их было шесть — тоже были не маленькие: трехметровая глубина, акватория — пять гектаров.

Пора было приступать к главному, к самому ответственному, к самому трудному — посадкам леса. От него зависела судьба всего дела.

Стоя под палящим солнцем, на жаркой земле, Докучаев смотрел на свежевспаханный чернозем. Почва добрая, но влаги мало, а дуб — лесной пришелец, как бы экзот в степи. Пойдет ли он здесь, обтерпится ли, привыкнет ли к новой, необычной, трудной жизни?

Какой материал сажать? Решено было заложить свой питомник. Пусть сеянцы с первых дней привыкают к степи. Семена взяли из местных степных лесов — Хреновского и Шипова. «Последние могикане», лесные острова в степном море. Остатки некогда могучих воронежских лесов, позже сведенных почти начисто.

Двести лет назад вековой Шипов лес дал материал для постройки Петровых кораблей на Воронежской верфи. Тогда же строго наказал Петр Алексеевич: более не рубить корабельную рощу, оставить на корню.

Теперь могучим деревам предстояло продолжать свой род на новых местах.

Первый питомник был крошечный. Посадили желуди, посеяли липу, клены остролистный, татарский, полевой. Все пошли хорошо. Через год — весной 1894 года — в южной части Каменной степи посадили первые лесные полосы, сажали с севера на юг, поперек господствующим ветрам. Перпендикулярно главным полосам посадили еще три. Полосы охватили восьмидесятиипый прямоугольник пашни — первое поле под защитой будущих лесных полос.

...Я вижу: Коля все чаще отрывается от «Бражелона», поглядывает на ручные часы — близится час обеда; я же с опаской поглядываю на Шаповалова — вдруг встанет, скажет: «А теперь поехали — надо подкрепиться!»

Шаповалов встал, идет к машине. Коля весело включает мотор.

— Домой?

— Нет, минуток на двадцать еще к Тридцать четвертой.— В голосе извинение.

Коля даже не вздыхает — привык за годы поездок по шаповаловским маршрутам. А я достаю непочатую школьную тетрадку.

Шаповалов говорит о печальной судьбе проекта Докучаева. Полностью проект не удалось осуществить. Для тех времен такие идеи были не в коня корм. Лесной департамент вскоре одумался. Протрачены деньги, а дальше? Ждать? Сколько лет? И что получится? Допустим, выросли лесные полосы. Прикажете внедрять их в обязательном порядке? Это вторжение в сферу частного владения! Акт явно незаконный. Нет, бороться с природой, со стихией бессмысленно. Но Докучаев боролся и с природой, и с департаментом. Писал докладные, ходил на приемы, защищал экспедицию. Так продолжалось до 1897 года, до тяжелой болезни Докучаева. Многолетний напряженнейший труд, каждодневная нервотрепка в бесконечных тяжбах с начальством, внезапный недуг и смерть Анны Егоровны — жены, друга — все это сломило Докучаева. Болезнь развивалась. В 1903 году Докучаев скончался. А Каменная степь? Она осталась. Работа велась, правда, не в прежних, не в докучаевских масштабах, но делалось главное: лесоводы, ученики Василия Васильевича — Собеневский, Морозов, Михайлов,— продолжали сажать лес в степи. Экспериментировали и так и этак, смешивали породы, разочаровывались и создавали новые типы посадок из новых компонентов. Увлеклись было количеством пород. Высаживали вначале десять, потом двадцать с лишним. Увидели: ошибка. Надо сперва глубоко, всесторонне изучить каждую породу, проверить ее в новой среде. Потом уже высаживать. И каждый лесовод, уходя из Каменной степи, оставлял по себе живую память — молодые лесополосы.

— Вот и наша Тридцать четвертая.— Шаповалов еще на ходу начинает вылезать из «козла».

— Мне ждать? — покорно спрашивает Коля.

— Да. Самую малость. Мы быстро!

Выйдя из машины, я оглядываюсь. Коля уже вытащил «Бражелона», полулежит на сиденье. Спешить некуда: столовая работает всего один час — пока идет обеденный перерыв.

Шаповалов уже впереди. Я догоняю его.

— Элитная полоса, эталон для промышленных, для полезащитных целей.

Это он нарочно говорит таким стилем, говорит, чтобы несколько охладить себя,— ученый, лесовод, эмоции не положены. Но я-то вижу, по глазам за очками вижу: он еще издали любуется Тридцать четвертой. Медленно мерит ее взглядом сверху донизу и любуется. И мы оба добрую минуту стоим, молчим, смотрим на Тридцать четвертую. Только смотрим...

Она старая — шестьдесят семь лет, посажена Георгием Федоровичем Морозовым в девяносто девятом году, еще при жизни Докучаева. Сейчас это почти чистая дубрава. Дубы — самые прекрасные деревья нашей земли — прямые, мачтово-стройные, легко и сильно вздымают к небу неотличимо похожие стволы. Если, закинув голову, смотреть на их вершины, кажется — дубы летят. Но дубы стоят нерушимо, и оттуда, сверху, доносится их невнятный, из-за большой высоты еле слышный, сухой шорох. Светло-коричневые листья давно побиты утренниками, высохли, но еще крепко держатся на ветках, держатся до первой метели, до ноябрьских холодов.

— Дуб черешчатый, он же летний, обыкновенный. По Линнею, Кверкус робур. Бонитет первый — «А». Суперкласс.— Шаповалов пытается говорить сдержанно, но голос звучит хрипловато. Он откашливается.— Видите, все один в одного. Эх, Шишкина на них нету! Фотография что... Здесь с каждого, как с человека, можно писать портрет.

Он вплотную подходит к деревьям, высоко, выше головы поднимает руку, медленно ведет ею по стволу.

Я рассматриваю ствол вблизи. Как чудесен рисунок коры! Какое множество линий, причудливых, разных, ни одной похожей на другую. Да, я ошибся,— каждое дерево неповторимо. Общее у них одно — красота.

Дубы растут просторно. Между ними — одиночные липы. Их уже не много. Они сделали свое дело и постепенно уходят. Липа, береза, клен, ясень — спутники дуба в мо-

лодости, его «шуба». Затеняя дуб с боков, они не дают ему выбрасывать сучья, куститься, заставляют расти вверх, только вверх — к солнцу, к свету. Дуб любит расти в шубе, но с открытой головой.

Ах, сколько было опытов, сколько потребовалось усилий мысли, догадок, упорных поисков, чтобы установить, какие спутники более всего по душе дубу.

Начались эти поиски давным-давно, более ста пятидесяти лет назад. Первые годы прошлого века — Ломиковский. Семидесятые годы — Тиханов. На Дону стал высаживать дуб, чередуя его в ряду с вязом, берестом, кленом. Неудача. Быстрорастущий вяз заглушает дуб.

Девяностые годы. Полянский поправляет Тиханова. Надо вдвое уменьшить количество вяза. Снова поражение. Вяз и в малом количестве забивает дуб.

1908 год. Высоцкий на VIII съезде лесоводов предлагает новый способ — древесно-кустарниковый. Надо совсем отказаться от ильмовых (это вяз, берест), надо заменить их кустарниками. Они-то уж не заглушат дуб, будут на первых порах служить ему защитой, прикрытием.

На этом же съезде лесовод Дахнов рекомендует свой способ: древесно-теневой. Дуб и ясень — светолюбы; надо чередовать их с тенелюбами — липой и кленами, остролистным и полевым.

Съезд принял оба способа. И они успешно применялись. Но где? При посадке лесных массивов, рощ. А лесополоса — это совсем иное. Это новая, особая, не виданная еще на земле роща. Она должна обладать целым рядом свойств. И каждое необходимо. Только комплекс их оправдывает существование полосы.

Каковы эти свойства?

Лес растет медленно, десятилетия. Лесхозы, лесничества учитывают, планируют это: древесина должна созреть. Лес-молодняк промышленного значения не имеет.

Но лесополосе нельзя позволить медленно расти: она полезащитная, значит, должна работать как можно раньше — уже на третьем-четвертом году жизни. Работа у нее очень сложная. Полоса гасит суховеи, усмиряет их. Чем сильнее ветер, тем легче с ним справиться. Натолкнувшись на зеленый древесный заслон, ветер теряет третью часть своей первоначальной скорости — той, с которой несся по открытой степи. Уменьшение скорости — величина переменная. У подветренной опушки лесополосы ве-

тер почти теряет свою прыть, скорость падает на 70—80 процентов. А дальше, за опушкой, в поле? Там влияние сказывается на расстоянии, равном тридцати высотам древостоя. Если молодая, всего десятиметровая, полоса встанет на пути ветра, то на протяжении трехсот метров будет ослаблена сила его воздействия на соседнее поле. Слабее ветер — меньше испарение влаги из почвы, из растений. На целую треть меньше!

Но лесная полоса не только ветроперехватчик, она — влагонакопитель. Запас снежной воды на защищенных полях вдвое больший, чем в открытой степи. Почему? Потому, что рыхлая земля под лесом как решето: быстро, легко поглощает любые воды, отправляя их потом в «запасники» — подпочвенные хранилища влаги. Отсюда начинается безостановочное путешествие грунтовых вод — внутрипочвенный сток. Воды движутся в более низкие места — к рекам, к озерам, к балкам, ползут с черепашьей скоростью — десяток метров в сутки. Но в конце концов достигают финиша. Вот и стоит на одном уровне, даже в самые бездождные годы, тихая, спокойная вода в прудах Каменной степи. Солнцу ее не выпить — запас денно и нощно пополняется.

...Вечереет. Октябрьское светлое время все уменьшается. Сегодня солнце взошло на две минуты позже, зайдет на две минуты раньше. Только что стояло оно над вершинами дубов, а сейчас спряталось в их редеющих светло-коричневых кронах; просвеченные насквозь, сухие листья желто засветились, вот-вот вспыхнут. Короткий лучик упал на очки Шаповалова, сверкнул остро, бело. Жмурясь, Шаповалов наклонил голову.

— Тридцать четвертая — это уже лес, настоящая дубрава «чистых кровей». Попробуйте ногой. Пружинит, как матрац. Это многолетняя многослойная подстилка, толстая, лесная — пять сантиметров. На деревьях, в подлеске лесные птицы — зяблик, наша жар-птица — иволга, дрозд. Дятлы? Нет, их, слава богу, мало, они — санитары. Стучат — значит, где-то появились больные деревья. Сейчас осень, тишина, а весной тут такой щебет, свист, хоть бери микрофон, записывай голоса.

Я наклоняюсь, ищу, нет ли под деревьями лесных трав. Их мало.

Высохшая плющевидная будра — весной она зацветет невзрачными лиловыми цветами. Сейчас листья пожух-

ли, сморщились, но форму сохранили. Что еще? Бесколосые длинные стебли. Злак. Какой? Трудно сказать. Может, типчак забрел сюда из степи...

А если поднять лесную подстилку? Ага! Вот крупные, яйцевидные листья, совсем желтые. Ландыш. Типичный обитатель леса. Но вообще трав мало.

С обеих сторон полоса окаймлена кустарниками. Это опушка.

Снизу смотрю сквозь лесополосу. Она очень густая, хотя сейчас октябрь, усиленный листопад.

Я смеюсь:

— Не лесополоса — чаща!

Шаповалов вздыхает.

— Что поделаешь, сделали послабление. Тридцать четвертая — общая любимица, элита... Вот и балуем ее, похваляемся перед экскурсантами. А вообще — непорядок.

— Но лесополосы — это же рощи. Роща должна быть густой.

— Роща — да, лесополоса — нет. Вы их путаете. Лесная полоса должна быть в меру изреженной, ажурной. Надо, чтобы ветер сверху донизу свободно гулял по ней, чтобы воздух — летом горячий, зимой холодный — не застаивался. А густая лесополоса как глухой забор — под деревьями сугробы навалом, зато в поле снежный покров гораздо тоньше. Плохо! Снег должен везде лежать ровным слоем. Ажурная полоса так его и распределяет — себе и полю поровну.

— Значит, все полосы прореживаются?

— Конечно. Иначе джунгли вырастут — не продерешься. На опушках у нас — боярышник. Это часовой полосы: не впускает из степи дикие травы — они иссушают почву, а из полосы не выпускает в степь дуб, клен, березу. Им только дай волю. Сразу полезут в поле. Но за боярышником тоже нужен глаз да глаз. Чуть зазевался, он сам вырвется в степь, захватит поле, начнет теснить хлеба.

Я подхожу к опушке. Густая сетка веток боярышника уже безлистна, но темно-красных ягод много — птицы не успели склевать. Ягоды некрупные, сухие, кремовые на изломе, сладковато-мучнистые на вкус. Начни есть — не отвяжешься. Как семечки.

Набираю полный карман, предлагаю Шаповалову.

Он отказывается. Это ягоды обычного боярышника, они невкусные. Здесь растет еще боярышник крупноплодный. Тот куда вкуснее. Но ягод его сейчас не найдете — экскурсанты все оборвали.

Тридцать четвертая — детище Морозова.

Он прожил здесь три года и вырастил тридцать три полосы. Тридцать три зеленых памятника. Каждая полоса — живая лаборатория.

Шаповалов приводит слова Морозова: «Никакие кабинетные измышления не заменят выводов, сделанных в природе».

Все они — Собеневский, Морозов, Михайлов — большую часть жизни провели в лесу, в степи, на полях. Опыты, бесконечные поиски новых типов смешения пород — это не для кабинетной работы.

Живая лаборатория, лаборатория под открытым небом... Условия работы здесь особые. И не в жаре, не в ветрах, не в дождях дело. Суть в другом: результатов опыта здесь ждут не дни, не месяцы — годы. Деревья растут медленно; не сразу заметит лесовод, что вяз и берест, перегнав дуб, глушат его. Не убирать их с полосы — вырастут не дубравы, а вязовые, берестовые рощи. Пришлось отказаться от вяза и береста, стали пробовать другие породы. Клен. Их несколько, и каждый со своим норовом, подчас коварным. Клен ясенелистный быстро набирает высоту. Полоса начинает работать в положенный срок — заслоняет поле от суховеев. Но на седьмом-восьмом году жизни клен вдруг хиреет. Стволы наклоняются, никнут, вот-вот упадут в разные стороны. Наступает преждевременное одряхление.

Другой клен — остролистный — более стоек, и крона у него узкая; перегнав дуб в росте, клен его не затеняет, «сам живет и жить дает другим». Кроме того, клен этот обнаруживает неожиданное свойство: он защитник дуба от березы бородавчатой.

Как, тихая, печальная береза, песенное дерево,— агрессор? Забивает дуб? Я не верю своим ушам.

Шаповалов смеется.

— Внешность часто обманчива. Крепыш дуб вдруг пасует перед нежной березой.

Как возникает «конфликт»? Дуб обладает могучей корневой системой — семь метров глубины, пять в радиусе. С такой площади всегда можно обеспечить себя вла-

гой, пищей. Но вот рядом поселилась береза со своей поверхностной, очень разветвленной корневой системой. Растет она быстро: в два года это полуметровое дерево, в три — семиметровое. Дуб отстал. Он растет очень медленно. А почва вокруг него на пять — семь метров уже прошита березовыми корнями. Они перехватывают львиную долю влаги, и питание дуба резко ухудшается. Мало того: крона березы затеняет дуб, заслоняет от него солнце. Дела дуба совсем плохи: он на голодном пайке — и водном, и световом.

Если же посадить между дубом и березой остролистный клен — дуб спасен: кленовые корни не так густы, как березовые. Клен с дубом полюбовно разделят запасы влаги. Узкая крона клена в меру затенит его, не даст куститься. Все силы его пойдут на рост ввысь. Благо, узкая кленовая крона оставит просвет, окно в небо. А береза? Ее крона теперь не грозит затенить дуб, клен мешает. Он то березы не боится — растет так же быстро.

...Солнце опускается за дальние лесополосы. Последние длинные лучи пробились сквозь темнеющие рощи. Краски все глуше, однотоннее. Скоро совсем погаснут.

«Козел» наш замер на опушке. Коля спит, согнувшись на сиденье; на лице — раскрытый «Виконт де Бражелон». Как бы мы и на ужин не опоздали...

— Утомил я вас,— виновато говорит Шаповалов,— замучил вконец. Теперь на лесополосу вас и калачом не заманишь...

Он подходит к «козлу», осторожно, почти робко трогает за плечо Колю. Коля глубоко вздыхает, быстро садится за руль.

Что мне сказать Шаповалову? Сказать, что сегодняшний день самый большой за последние годы, что я восемнадцать лет ждал его, и вот дождался — увидел Каменную степь в натуре? Но это первая встреча, первое знакомство. И я сейчас хочу только одного — чтобы оно продолжилось.

Я говорю все это, говорю и думаю, что Шаповалов мне, конечно, не поверит — сочтет мои слова за обычную любезность гостя.

«Козел» с зажженными фарами мчит по темным дорогам, куда-то сворачивает, снова несется по прямому, далеко просвеченному двумя дымными лучами, ночному, пустынному проселку.

Шаповалов сидит рядом с Колей. Он сгорбился, опустились плечи. Устал — весь день на ногах.

— Значит, полагаете — сегодняшняя доза недостаточна? — Лица его не видно, но по голосу слышно — улыбается, значит, поверил.

* * *

Что было на другой день — этого я никак не мог ожидать, не мог представить. Вчерашние слова Шаповалова оказались не только шуткой. В них было почти грозное предупреждение «Вы говорите, что заинтересовались лесополосами всерьез? Ах, даже собираетесь писать о них? Ну тогда, дорогой, не прогневайтесь».

Примерно так можно было расшифровать его хитроватый взгляд, брошенный на меня, когда на другой день после завтрака мы снова садились на Колиного «козла».

Шаповалов рядом с водителем, свежевыбритый, бодрый. Вчерашней усталости как не бывало.

Короткая команда водителю:

— На Первую полосу.

Солнце недавно взошло, поднялось пока диаметра на два. По-осеннему желтые, холодные лучи бьют в ветровое стекло. Изо рта идет пар. На траве изморозь. Был утренник.

Не оборачиваясь, Шаповалов говорит:

— Вчера я знакомил вас по сокращенному варианту. Высказывал отдельные положения, кои вам приходилось принимать на веру. Сегодня подкреплю их конкретными примерами. Их много, но у нас есть время, а у вас, кажется, есть желание все увидеть.

Начинается путешествие по полосам. За считанные минуты мы на месте. «Козел» только сбавляет ход, а Шаповалов уже распахнул дверцу, на ходу выскакивает из машины. Не оглядываясь (я должен быть рядом), начинает говорить о полосе — когда, кем посажена, чем характерна, и какие породы растут сейчас, и каких нет, почему выпали. Потом об опушке прежней и теперешней, о сеянцах, о подросте, о подлеске.

Мне неудобно. Присел на корточки, пишу каракулями. Буквы по сантиметру. Хватит ли тетрадей? Я взял с собою все купленные позавчера, заправил авторучку. Кончатся чернила, перейду на карандаш.

Временами Шаповалов останавливается. Я подумал — дает мне время написать, но нет, причина другая. Он думает о чем-то своем, несколько секунд молчит. Я тоже молчу, жду.

Шаповалову довольно часто приходится отрываться от работы, водить в степь экскурсантов, показывать, рассказывать. Не повторяться трудно — полосы те же, слова о них те же. Поэтому экскурсоводы часто говорят обкатанными, стертыми словами. У него этого нет. Подыскивает слова, меняет на ходу, будто пробует, хорошо ли передает мысль. В чем же дело? И я вдруг догадываюсь: он не мне одному говорит о полосах. Он и себе о них говорит. Ему в радость говорить о них, вспоминать их историю, подробности — как сажали, как взошли, чем болели, как выходили.

И еще я вижу: Шаповалову не по душе езда, необходимость спокойно сидеть в машине. Он подымается еще до остановки «козла», выскакивает из него не потому только, что хочется поскорее к полосам, нет, ему просто хочется поскорее идти. Это его естественное состояние — ходить по земле. Идет он не быстро, но я еле поспеваю за ним. Это шаг многолетнего ходока, прошедшего сотни километров. Так ходили со мною по каракумским пескам старые туркмены-проводники и русские пустыннопроходцы — геодезисты, мелиораторы, ботаники. Так ходил по своим пятидесяти тысячам степных десятин Костычев, и Измаильский, и Докучаев, и ученики его, товарищи по Особой экспедиции.

Я слушаю Шаповалова, записываю. А он как бы наедине с лесом, с глазу на глаз с этой вот березой, с этим дубом. Он ведь знает каждое дерево с младенчества, когда дуб только-только наклюнулся из желудя, скинул ненужную более, побуревшую кожуру, выпустил пару светло-зеленых, сразу же удивительно крупных листьев, а березка, выйдя из семечка, робко оглядывалась кругом, дрожала своими первыми круглыми листиками-копеечками.

Так вот, не лишний ли я, не мешаю ли Шаповалову быть вместе с лесом? Нет, кажется, не лишний. Иначе он не отвечал бы с такой готовностью, так подробно, подчас специально на каждый мой вопрос. А среди них много элементарных, даже наивных, задаваемых сотни раз экскурсантами. Он отвечает, и отвечает не подробно — не то

слово! — а с некоей неожиданной полнотой. Мой вопрос как бы по цепной реакции вызывает множество примеров, пояснений, информаций. Они из самых разных областей знания. Но все об одном — о лесе. И мне становится ясно: Шаповалов делится со мною своей главной радостью — это радость знаний, пожизненно копимых, пожизненно, по крупицам собираемых знаний о лесе. Полвека он живет лесом, живет для леса. И глубоким смыслом наполняются для меня вскользь, суховато брошенные слова: «Отставьте меня от лесополос, и я сразу же умру». Это не фраза. Просто он не может себе представить жизни без леса, в котором прожил всю жизнь и, кажется, все знает о нем, знает даже то, что очень отдаленно связано с лесом.

На поляне между полосами встретилось пятно солонцов. Вернее, бывшее пятно. Его прикрыли лесной почвой, и оно как бы растворилось в ней. И Шаповалов уже рассказывает о солонцах, рассказывает как почвовед.

Некий ученый немец нз ФРГ, всю жнзнь заннмавшийся почвами, усомнился в словах Шаповалова, даже в раздражение пришел: дескать, наводите тень на плетень, не поглощают лесные почвы солонцов. Шаповалов молча взял лопату, отрыл шурф. Профессор взглянул на горизонты, сконфузился, попросил извинить за чрезмерную горячность.

Лесовод преподал урок не в меру экспансивному почвоведу.

Вчера я увидел: на опушке сизой полоской протянулись сорняки. Не много, но есть, рвутся внутрь полосы. И довольно злостные, въедливые: щирица, бодяк, щетинник.

Я сорвал колосок щетинника, интересно, какой вид — сетариа виридис или сетариа глаука. Главное отличие: щетинки колосков у одного зеленые (поэтому он — виридис), у другого — желтые.

Шаповалов увидел.

— Проверяете, какой из двух? У нас только зеленый. Сизого нет.

В ботанике есть особая область — ученне о сорной растительности. Огромная литература, свои крупные специалисты, особые гербарии.

Шаповалов знает все виды щетинника, экологию, аре-

ал, меры борьбы. Почему? Щетинник лезет на лесополосу.

Еще пример.

Дуб болеет, реже, чем другие древесные породы, но все же болеет. Микозы — болезни, вызываемые грибком, фузариозы — бактериями. Особенно страшен грибок, поражающий дуб в молодости. Это — диапорте фасцикулята. Он как огонь сжигает неокрепшие деревца.

И вот уже экскурс в область лесной фитопатологии. Биология страшного грибка, меры борьбы, литература.

Я понял: это не только индивидуальная особенность именно его, Андрея Андреевича Шаповалова. Нет, это — школа, школа Докучаева, того, кто учил «чтить и штудировать все стороны жизни природы», кто видел в степи сложный, могучий «геркулесовский организм». «Организм» этот надо познавать всесторонне, не отделяя главное от второстепенного, ибо она, степь, живет как Единое Целое.

* * *

— Остановись здесь,— Шаповалов уже поднялся с сиденья, распахнул дверцу.

Коля подруливает к опушке, привычно вытаскивает «Бражелона». Закладка — березовый листок — со вчерашнего дня переместилась из начала в конец могучего тома.

Шаповалов уже впереди, говорит на ходу:

— Вы вчера интересовались, где самые, самые первые. Я сразу вам их не показал. Повез на Тридцать четвертую. Каюсь: хотел ошеломить. А сейчас перед вами праполоса — родилась в девяносто четвертом году, на заре Каменной степи. Сажал Собеневский.

Праполоса... Пожалуй, хорошо, что вчера я не увидел ее первой.

Странная она... Дубов мало, и они «не смотрятся», не привлекают внимание. Они как бы случайно здесь. Тянутся неуверенным, прерывистым рядком в самой середине полосы. Зато бросается в глаза пышная, непомерно широкая опушка. Сплошь высокий, густой боярышник. Ведет он себя буйно, сломал очертания полосы, сделал ее бесформенной. Непролазные колючие кусты мысками вылезли в степь. Как это получилось?

Шаповалов ухмыляется.

— Ага, заметили, биолог...

Эта полоса — первые шаги, работа наугад, на ощупь. Сажали, не зная, что получится. Пробовали, испытывали, экспериментировали. Посадили дуб с берестом, на опушке — боярышник. Полоса была узкая, всего десять метров, а сейчас тридцать. Откуда прирост? Боярышник раздался вширь, пошел в наступление на степь. За ним берест. Этот на свою погибель: почти весь усох. Боярышник забил насмерть. Силы неравные: берест размножается порослью, боярышник — семенами. Сколько на нем ягод! Тысячи! Вовремя не остановили, вот он теперь и стал хозяином полосы. А берест, когда ослабел в непосильной борьбе, на него еще вдобавок грибок накинулся. Нестоящее дерево. Его выбраковали, исключили из списка рекомендованных пород.

Я спрашиваю: везде ли боярышник ведет себя так агрессивно?

Нет, не везде. Здесь очень благоприятные условия: ложбина, понижение. Снега скопляется много, увлажнение обильное. Боярышнику это только и нужно. На его совести не один берест. Здесь с боярышником высадили еще лох — это опушечная культура, скромный, тихий такой кустарник с узкими, мягкими, серебристыми листьями. Боярышник сразу же на него набросился, сжил со свету. Ни одного куста не осталось на опушке.

За полосой — буйная боярышниковая роща. Ветки густо переплелись. Кое-где кусты сомкнулись в огромные колючие клубки. Попробуй к ним подступиться.

— А мы и не думаем подступаться,— говорит Шаповалов,— отвели боярышнику всю эту площадь. Пусть плодится и размножается, показывает людям, как лес наступает на степь. Сейчас здесь уныло, кусты голые. А весной, в пору цветения, кажется, что на степь опустились кучевые облака, причем облака «озвученные» — пчелиный гул слышен уже на дальних подступах. Боярышник — отличный медонос. Весной наша «неудачница» — Двенадцатая полоса — самая красивая.

Шаповалов поворачивает к машине.

— Поехали дальше. Я хочу вам показать Каменную степь, ее лесополосы не только с парадного фасада. Лесоводы шли не по гладкой дороге. Были рытвины, ухабы, были провалы. Посмотрите на них в натуре.

...Снова праполоса. Проба, поиск. Это «самая, самая первая» — номер один. Девяносто четвертый год. Тоже Собеневский сажал.

...Прекрасные дубы. Братья тех — с элитной, Тридцать четвертой.

— Подождите восхищаться, послушайте.— Шаповалов останавливается так, чтобы дубы «смотрелись». Я заметил — он сразу и безошибочно выбирает позицию для осмотра.

Полоса номер один — памятник великому труду первых лесоводов. Они ошиблись и самоотверженно исправили свою ошибку.

Здесь тоже испытывали породы, еще не зная их свойств: дубы высадили с ильмовыми — вязом и берестом. А они стали его глушить. Но дуб выжил. Выжил благодаря людям. Люди увидели: плохо дубам, бросились спасать. Ухаживали за каждым дубком, ходили как за младенцем. Бесконечные прополки. Тщательнейшее наблюдение — нет ли болезней. Вязы, бересты укрощали — рубили вершины, а то и все дерево. Лесоводы понимали: полосу номер один нужно спасти во что бы то ни стало, любой ценой спасти. Лес в степи должен расти, будет расти.

Мы медленно идем между старыми дубами, спасенными Собеневским. Шаповалов косится на меня.

— Вопросов нет? Устали? Или «все ясно-понятно»?

Он не любит, когда я только слушаю и записываю. Он просто не может понять, как это не спрашивать. Он сам все время находит что-то новое. Вдруг умолкнет, вытащит блокнот, быстро запишет, потом продолжает говорить. Что записал? Как спросишь? Нельзя, неудобно.

Творчество... Еще темны, не познаны его законы. Но ясно одно: рождается оно только в неустанном, каждодневном труде.

Шаповалов живет для леса с двадцать третьего года, когда приехал сюда практикантом к профессору Тумину. Здесь через пять лет были написаны первые труды: «Чуткость древесных пород к условиям микросреды» и «Влияние состава насаждений на развитие древесных пород в лесных полосах Каменной степи».

В библиотеке института он, передавая мне две брошюры, чуть смущенно спросил:

— За вечер одолеете?

— Конечно.

— И завтра вернете в библиотеку?

Я засмеялся.

— Верну в вашем присутствии, Андрей Андреевич.

Он совсем смутился.

— Не обижайтесь, ради бога: у нас это единственные экземпляры.

А мне стало не по себе: как не понять? Это же первые работы, юношеские, самые дорогие.

Потом было много других. Только список их — на девяти страницах. В названии большинства — два слова: «лесные полосы». И в названиях семидесяти статей — газетных, журнальных — те же два слова, почти во всех падежах: «лесные полосы, лесных полос, лесными полосами»...

Вообще-то он и о другом писал: скажем, о стеклянннице тополевой; о подкорковой листовертке. Это — в «Зоологическом журнале». Или вот: «Медоносы в лесонасаждениях Центральной черноземной полосы» — в журнале «Пчеловодство». Но это «другое» — те же лесные полосы, связано с ними.

* * *

Ага! Вот когда началось! То, о чем говорил Шаповалов, началось: мол, одумайтесь, пока не поздно. А нет — пеняйте на себя.

Без передышки, без остановок мы носимся от полосы к полосе.

Мой пиджачный карман оттопырился — я еле впихиваю в него все новые тетрадки. Пишу на белой странице, потом на синих обложках — поверх таблицы умножения, поверх артикула, цены, названия бумажной фабрики. Хорошо, что захватил карандаш, чернил в авторучке давно нет. А конца экскурсии не видно.

Шаповалова обуяла жадность. Он показывает мне все новые полосы. Но в Каменной степи их почти триста! И вероятно, имеются дублеты, повторы.

Но пока я вижу только разные, непохожие, резко отличные друг от друга. Живой труд лесоводов, неустанный труд, прекрасный труд...

...Полоса номер восьмой. Девяносто пятого года. Сажал Собеневский. Удачная, одна из лучших в Каменной

степи. Соединили дуб с кленом остролистым. Хорошо ужились. После неудачи предыдущего года Собеневский мог порадоваться.

...Полоса номер сорок пятый «Пила». Это уже Морозов. Неудача. Хотел создать недорогую полосу, применил поперечные насаждения. Высадил дуб, грушу лесную, клен татарский, клен ясенелистный. Породы из-за поперечных посадок в молодости развивались очень неравномерно — дуб сильно отстал. А клен полез вверх. Вот и получилась пила с зубцами. У такой «пилы» сугробы по пояс. Снежный покров распределяется неравномерно.

Профессор Высоцкий критиковал «пилу». Назвал ее «бездейной» полосой. Но Морозов ведь искал! Как Собеневский, как Михайлов, как все лесоводы. Работа в Каменной степи — это непрестанный поиск.

...Полоса номер двадцать третий, тоже морозовская. Девятисотый год. Здесь дуб отделен от березы. Дуб хорошо пошел, а береза стала выпадать. Почему? Виной желтая акация. Это коварный кустарник. Ее добавили в полосу. Зима. Сугробы завалили деревья. Весной возникло чрезмерное увлажнение. Береза стала гибнуть, а дуб? Он более стоек к переувлажнению. Правда, если оно недлительное, не более двух месяцев в году. Если влаги в меру, дуб даже выигрывает — лучше развивается. Здесь хорошо бы пошел тополь. Он великий влаголюб.

...И «козел» уже мчит нас к тополевым насаждениям. Они не полезащитные, они охраняют шоссе от снежных заносов, тянутся вдоль дороги зеленой шеренгой.

Тополи молодые — посадки шестьдесят первого года. Почти все уже сбросили листву, приготовились к зимнему отдыху.

— Это работа моего аспиранта,— говорит Шаповалов,— попробовали впервые сажать не хлыстики, а крупномерный материал, уже деревца — топольки в полтора-два метра.

Вспахали площадь, канавокопателями вырыли ямы, посадили насухо, без полива. Тополи прижились почти все, дружно пошли в рост. Это Двести шестнадцатая полоса. Большой номер. Длина полосы ему под стать — два километра... Докучаев мечтал насадить в Каменной

степи такую полосу-гигант. Но тогда мечта не осуществилась.

...Что это? Что такое? Отчего вдруг так посветлело? День осенний, хмурый. Или солнце выглянуло? Нет, это не от солнца, это от берез посветлело, от тысяч и тысяч тонких золотых листьев. Они последние дни светятся на высоких, уже полусквозных, по-сорочьи пестрых — белое в черный крап — деревьях. Деревья стройными вереницами вытянулись в степи. От них и исходит этот тихий свет.

Шаповалов молчит, улыбается — доволен эффектом.

— Под занавес вам приготовил. Не уступает Тридцать четвертой, правда? Только в другом роде... Березняк, Сто сорок первая. Имеет собственное имя — «Красавица». Имя не очень оригинальное, но, кажется, дано с полным основанием.

Мы стоим под березами. Сегодня пасмурно, тихо. Но вот легкий ветер пронесся вверху, и бог мой, что тут началось! Отовсюду — сверху, справа, слева — несутся стайками, несутся в одиночку чистые, без единого пятнышка золотые листья. Несутся в свой последний путь. Летят по-разному: одни падают отвесно, как камень, другие кувыркаются в воздухе, поворачиваются то черешком, то пластинкой.

Голос Шаповалова снова звучит хрипловато:

— В Библии есть такое выражение: «из колена Симова, из колена Иафетова». Юрий Вениаминович Ключников из колена потомственных лесоводов.

Приехал он сюда в тридцать пятом году из Тульских засек, из древних русских лесов. Сын лесничего. Проработал в Каменной степи тринадцать лет. Посадил за это время сорок полос и описал все посаженные до него. Но это не все. Ключников создал замечательный метод посадок лесных полос. Коридорный метод. Он с сорок первого года применяется в Каменной степи. Все посадки за последние четверть века велись по коридорному, ключниковскому методу. Его все время усовершенствуют. Теперь он принят в науке как «каменностепной коридорно-диагональный метод». А Юрия Вениаминовича уже нет — умер в декабре сорок восьмого года.

Идем под березами. Я смотрю, не отбрасывают ли наши фигуры тень, пусть чуть заметную, еле различимую. Говорю ему об этом. Ухмылка, хитроватый взгляд.

— Слышу голос не биолога, но литератора.

— Андрей Андреевич, скажите: каково альбедо — светоотражательная сила — березового листа?

Он смеется.

— Попался впросак! Впервые за все время поймали. Признаюсь честно — не знаю. А интересно, надо покопаться в специальной литературе.

Я поддразниваю его:

— Ключников, вероятно, знал.

— Возможно. Он много знал. О нем можно долго рассказывать, но времени мало. Вчера я оставил вас и Колю без обеда. Повторять не хотелось бы.

И он говорит о главном деле жизни Юрия Вениаминовича. О его коридорном методе.

В чем его сущность? В создании для дуба наилучших условий развития. Молодые дубки лучше выводить из желудей. Взойдет такой дубок в заранее уже освоенной среде. Отродясь он знает только одну почву. А сеянцу из питомника нужно приживаться в новой обстановке, привыкать к ней. Такой сеянец в четыре года еле-еле вытягивается до полуметра. Деревце-лилипут. Ровесник его, выросший тут же, на месте, из желудя, вдвое выше — метр, а отдельные крепыши — и все два метра.

Ключников выращивал дубки, с боков окружая их породами, не очень быстро растущими в молодости,— липа, клен остролистный, груша лесная. Эти породы в меру затеняют дуб, гонят его ввысь, они же ослабляют силу ветра, накапливают снег на лесополосе. Вскоре дуб оказывается в коридоре пород-спутников. К трем-четырем годам в полосе уже пружинит под ногой лесная подстилка, не дает почве сильно промерзать зимой; вызывает более быстрое оттаивание земли весной. Междурядья в коридорной полосе широкие. Есть где развернуться трактору с культиватором. Вскоре деревья смыкают кроны. Спутники дуба в коридорной полосе нужны ему до поры до времени, пока не поднялся сам хозяин полосы. После этого «мавр сделал свое дело — мавр может уйти». К сорока — пятидесяти годам дуб уже царит в первом ярусе; липа, клен отстали и скромно довольствуются вторыми ролями. Безраздельное господство дуба — его высокий удел. Даже в старых лесополосах — морозовских, михайловских — двадцатиметровые красавцы дубы пережили

почти всех своих спутников. Полосы-ветераны — в большинстве уже чистые дубравы.

— Мы с вами не доживем,— говорит Шаповалов,— а молодежь увидит: Каменная степь станет сплошной дубравой.

Освещение дня заметно изменилось. И березы светятся тише, приглушеннее. Мы уже пятый час в степи. Я бы не прочь по примеру вчерашнего продолжать осмотр полос. Сколько их осталось? Каких-нибудь две с лишним сотни...

Шаповалов усмехается, качает головой:

— Нет, нет, не подстрекайте. Будем закругляться.— И командует Коле: — Домой!

* * *

Восемь утра. Над Каменной степью густой туман. Как бы не было дождя. Я уже простился с Андреем Андреевичем, сейчас прощаюсь с Докучаевскими рощами, уезжаю в Воронеж.

Мне повезло: Скачков берет меня с собой. Он едет в Воронеж на бюро обкома докладывать о важном эксперименте. На большой площади будет всесторонне изучено влияние лесополос на урожай. На «лесных полях» урожай неодинаков: на расстоянии от полосы до пяти ее высот он не очень велик. В отрезке от десяти до двадцати пяти высот — наибольший. Дальше снова падает. Задача — добиться одинакового урожая на всей площади. Максимального урожая! В работе примут участие научно-исследовательские институты, университеты Воронежа и Москвы, целые коллективы ученых.

У подъезда института стоит директорская «Волга». Скачков живет в доме напротив.

Я кладу в багажник свой командировочный чемодан. На крыльце появляется Скачков; он в габардиновом пальто, в шляпе — едет в столицу области. Куртка и кепка для дома.

— Семечками угостите?

Он смеется — вспомнил.

— И семечками, и яблоками. У нас свои местные сорта. В садах наших не были?

В садах... Только ли в садах... Не был на фермах, на опытных полях, в восемнадцати отделах института, про-

скочил мимо дендрария, мимо заповедного Степного участка.

— Ничего! — утешает Скачков.— Оставим это на весну. Говорят, Каменная степь как Арктика — раз побываешь, снова тянет. А сейчас скажите мне вот что: недавно в Москве вышел однотомник Кафки. У нас его не издавали, но говорят о нем давно. Вам удалось достать?

— Удалось, Игорь Александрович.

Литература... А мне так хочется узнать о будущих весенних исследованиях на «лесополосных» полях, о юбилее Каменной степи. Ей скоро семьдесят пять лет. Ну, да ладно, пока поговорим о Кафке, а там Скачков мне и про опыты, и про юбилей расскажет. До Воронежа далеко. Времени хватит!

«ЗОЛОТОЙ КУСТ»

За рекой на горе
Лес зеленый шумит...
Кольцов

— Петр Алексеевич стоял там, где вы.

— Именно здесь, на этом месте?

— Да. Оно самое высокое. Кто осмелился бы стоять выше царя? Стоял, смотрел вокруг... И сказал про Шипов лес: «Место сие красно есть. Золотой куст государства Российского».

Мы трое — Константин Викторович Крыжановский, Андрей Андреевич Шаповалов и я — стоим на высоком берегу, круто спадающем вниз, к мелкой степной речке Осереде. Речка недалеко, но ее не видно; она — узенькая, мелководная — скрыта густыми ивняками. Ивняки зеленой каймой тянутся вдоль обоих берегов, петляют, сворачивают вбок, уходят вправо, резко обозначая извилистое русло. А за речкой до самого горизонта — Воронежская степь.

Позади нас решетчатая ограда Красного лесного кордона. Ворота распахнуты. Над ними деревянная арка. На арке под двумя скрещенными дубовыми листьями надпись: «Шипов лес».

За оградой — дома: небольшой, бревенчатый — леспромхоза; поодаль — двухэтажный, каменный — шиповской лесной опытной станции. А дальше, сразу же за домами, высокая, темно-зеленая живая стена — Шипов лес.

— Если на высшей точке стоял царь Петр, то я сейчас стою на месте Александра Меншикова, а вы, Константин Викторович, на чьем же — князя Шереметева или графа Брюса? — Шаповалов говорит серьезно, но глаза за толстыми стеклами очков сузились, смеются.

Крыжановский отвечает не сразу.

— Пожалуй, предпочту Якова Брюса, он ученый, ближе нам с вами по профилю.

Шаповалов и Крыжановский почти ровесники. Анд-

рею Андреевичу под семьдесят, Константину Викторовичу за семьдесят. И по научному стажу почти равны — в лесоводстве без малого по полвека. Правда, Крыжановский недавно ушел на пенсию: жена болеет, приходится самому вести хозяйство.

Сегодня утром, когда ехали сюда из Каменной степи, Шаповалов все беспокоился, застанем ли Крыжановского. В последний раз они виделись лет восемь назад, срок немалый. И первым вопросом, когда пришли на лесную станцию, был: на месте ли Крыжановский? Слава богу, на месте.

Через четверть часа он уже входил в кабинет директора, высокий, еще прямой, с гоголевским профилем. Восьмой десяток почти не чувствуется, по лесу ходить может, как и раньше,— с утра до вечера, только вот слух стал сдавать. Что поделаешь, как-никак восьмой десяток...

Шипов лес — почти вся жизнь Крыжановского. В двадцатых годах окончил в Москве Петровскую сельскохозяйственную академию, в тридцатых — приехал в Шипов и безвыездно живет в лесу. Здесь написал свои первые научные труды — все о Шиповом лесе. В Воронеже защитил кандидатскую диссертацию о влиянии света на произрастание дуба. И теперь — в лесу каждый день. Где ж еще бывать? Все сорок лет здесь.

Им обоим — Крыжановскому и Шаповалову — много раз предлагали переехать в Воронеж, преподавать в университете, в Лесном институте Воронеж — один из старейших центров русского лесоводства. Не захотели. Остались пожизненно. один в своих Докучаевских рощах, другой — в своей Шиповой дубраве.

Сейчас они встретились. Оглядывают друг друга, предвкушают удовольствие: Шаповалов — поехать с Крыжановским в Шипов лес, снова увидеть его; Крыжановский — снова показать свой лес Шаповалову.

Итак, мы трое стоим на холме, овеянном дыханием истории.

Да, все здесь хранит память о Петре: сам Шипов лес, впервые упомянутый в записях как «Государев», «дачи», на которые он разбит по царскому указу,— Первая корабельная, Вторая корабельная, Казенная; кордоны, названные по-военному,— Первый форпостный, Второй форпостный. На этих кордонах стояла стража, пуще глаза берегла Государев лес.

В западной стороне Первой корабельной дачи был образован особый корабельный заповедник с отменными дубами. Заповедник окопали канавой. Порубщик, задержанный здесь, рисковал головой. Но порубщиков было мало,— государственных крестьян, переселенных сюда из Тульской и Орловской губерний, лесом для изб казна обеспечила.

Каждое новое село состояло при особом деле: в Гвазде деревянные дубовые гвозди тесали; в Пузеве рубили брусья для остовов корабельных, для пузьев; в Клепове резали клепья — дубовые доски, ими «пузья» обшивать. В соседней Чернавке корабли конопатили и смолили.

Это все было перед вторым Азовским походом. Тогда и верфи перенесли из Воронежа в Павловскую крепость, что стояла на Дону при впадении в него Осереды. Петр Алексеевич часто наезжал туда. Жил в Малом дворце, срубленном для него в крепости. С утра шел на верфь — проверить, изрядно ли строят корабли. Часто сам брал топор, работал как рядовой мастер. Мастеров не хватало; их присылали из Новгорода, из Вологды, даже из Холмогор и Архангельска. Не хватало не только мастеров — простых рабочих. Когда все местное крестьянство было уже при корабельном деле, Петр Алексеевич дал приказ: высылать «самих помещиков и вотчинников». Воеводы высылали: с Петром Алексеевичем не поспоришь...

Шипов лес тогда же был отнесен к корабельным — самым ценным — лесам, его передали в ведение Адмиралтейств-коллегии и приписали к Черноморскому флоту.

Корабли из Шипова леса прославились не только в Петровские времена, но и позже — в Екатерининские: громили турок в Чесменском сражении. Герой его, граф Алексей Орлов-Чесменский, тоже памятен в здешних краях — основал знаменитый на всю Россию Хреновской конный завод.

Крыжановский сходит с Брюсова места, как с кафедры, беспокойно смотрит на ручные часы, потом — виновато — на Андрея Андреевича, на меня.

— Пожалуйста, простите, товарищи. Я вынужден оставить вас на самое короткое время. Сейчас полдень. Необходимо подоить корову. Попрошу соседку. Полагаю, не откажет ввиду приезда гостей.

* * *

Мы едем в Шипов лес. Константин Викторович сидит рядом с водителем нашего «козла». Соседка любезно согласилась взять на себя заботы по хозяйству.

Сейчас он весь в мыслях: экскурсия сегодня не обычная — приехал лесовод-ветеран. Надо напомнить об уже виденном ранее, показать новое, незнакомое. Это не просто: времени немного, лес огромен, обо всем хочется рассказать. Но как объять необъятное?

Крыжановский оборачивается к водителю:

— Позвольте узнать ваше имя, отчество. Потап Михайлович? Благодарю вас. Пожалуйста, Потап Михайлович, поезжайте пока вот по этой дороге, вдоль лесной опушки.

«Козел» берет влево от станции, едет по глинистому проселку. Ночью прошел короткий, но сильный дождь. В низинках мутные лужи. Дорога неровная — пригорок, западинка, опять пригорок.

А слева вдоль дороги все тянется, тянется, тянется, нигде не прерываясь, прямая, словно по отвесу, по линейке, темно-зеленая стена, уходит вдаль, пропадая за увалами.

Отсюда, из машины, лес кажется однообразным, деревья неотличимы. Ни одно не выставилось вперед, не вышло из ряда, не выбежало на опушку. Все строго, резко отграничено: здесь дорога — степь, там — лес.

— Прошу вас, Потап Михайлович, свернуть влево.

Мне не видно лица Крыжановского, только затылок с мыском седых волос, полуприкрытых черной суконной кепкой. Вот он уже привстал, жмет ручку дверцы. Ткнулся головой в потолок кабины, и, кажется, больно,— резко откинулся на сиденье, но сейчас же встал, распахнул дверцу.

Вспомнилось: Шаповалов в Каменной степи, подъезжая к лесной полосе, так же ерзает на сиденье, стукается головой о потолок кабины, пригибаясь выскакивает на ходу. Одна и та же повадка — поскорее вылезти из машины, поскорее уйти в лес.

— Прошу остановиться, Потап Михайлович.

«Козел» почти вплотную подошел к кромке леса.

Мы с Андреем Андреевичем идем за Крыжановским. Прошли немного — пятнадцать, от силы двадцать шагов,

и вдруг что такое? Нас сразу со всех сторон окружил лес. Не отдельные деревья, нет, а именно лес. Деревьев много, стоят в затылок друг другу, надвигаются отовсюду. Лес везде — впереди, с боков, сзади. Будто не было только что опушки с «козлом», яркого лугового разнотравья, неба, солнца. Вокруг зеленый полусвет. Под ногами пружинит коричневая подстилка, многослойная, многолетняя, кое-где ее пробила долговязая сныть — хмурый тенелюб из зонтичных. Других травянистых почти нет. Снытьевая дубрава. Кругом почти сплошь дубы. Изредка покажется ясень, робко выглянет из-за мощных дубовых коричневых тел,— пришелец, чужак, живет из милости. Его здесь только что терпят. А хозяин леса — дуб, сильный, стойкий, долговечный,— живет триста, пятьсот, восемьсот, даже тысячу лет.

Крыжановский идет легко, шаг неширокий, мерный. Так они все ходят, лесоводы. Это их пожизненно любимое занятие — ходить. И говорит он сейчас куда свободнее, чем когда стоит или сидит.

Шипов лес — очень древний, испокон веков тут растет, с послеледникового периода; доисторический, дочеловеческий лес. Назван во времена татарского ига. «Шип» по-татарски — возвышенность на ровном месте, в открытой степи.

Если взглянуть на старую карту Воронежской губернии, кажется: огромная темная клякса разбрызгалась по листу. Мелкие «брызги» — это леса среди степи. Отделились от материнской «капли», от дремучих бескрайних северных лесов, темнеют на светло-зеленом степном фоне. Чем дальше на юг, тем леса реже, мельче. Вот уж не леса — лески, вот купы деревьев в логах, вот одинокие деревья, кусты. Дальше — и их нет, пропали. Кругом сплошной светло-зеленый фон — бескрайняя южнорусская степь — до самого моря. Отсюда, с Дикого поля, шли на Русь хазары, печенеги, половцы, татары. Дымили в степи сторожевые костры, слали весть — беда идет на родную землю. Уходили тогда наши предки в леса, за крепкими дубовыми стенами скрывались в городищах, готовились к осаде.

Шипов — последний лес на границе лесостепи и степи. Он огромен — на высоком водоразделе между притоками Дона — Битюгом и Осередой — с северо-востока на юго-запад вытянулся прямоугольным отъемком: сорок кило-

метров в длину, а ширина где шесть, где двенадцать. Лес — остров, со всех сторон окружен степным морем. Ныне это колхозные поля, пашни.

Лес перерезают овраги. Их много, все входят в речную пойму, несут весной талые воды в Осереду. У каждого свое название: Потокин, Панский, Минаев, Ерохин, Суриков. По-старинному они — буераки. Слово тоже татарское.

Главный овраг — Холодный. Тянется очень далеко, и очень широкий — до трех километров. Он и сосед его делят Шипову дубраву на три «дачи»: Казенную, это северная; Первую корабельную, это средняя; Вторую корабельную — это южная, мы на ней находимся. Она самая большая — свыше десяти тысяч гектаров; средняя — немного поменьше; северная — самая малая, вдвое меньше южной. Всего Шипова леса — тридцать две тысячи гектаров. По лесоводческой классификации он нагорная дубрава. Южный и юго-восточный края вышли почти к самому берегу Осереды. Правый берег очень высокий — пятьдесят метров. Взглянешь со стороны реки — кажется: лес вознесен над всей округой, стоит на горе. Человек вырубал, сводил его почти начисто, а он по пословице «лес по лесу растет» снова подымался.

Если спуститься на дно оврага, найдешь много валунов. Встречаются великаны — до полутора метров в диаметре, бока в глубоких шрамах: ледник, когда волок за собой, пометил навечно.

Шипов лес растет на месте ледника. Но история леса началась не раньше, чем, по словам Докучаева, закончилась последняя страничка геологии. Произошло это после того, как ледник растаял, и могучие потоки с ревом понеслись к рекам, стали рыть глубокие овраги. На дне, на стенках оврагов тысячелетиями накапливались ледниковые глины, на глинах тысячелетиями же отлагалась почва — чернозем, возникший от гниения степных трав. На чернозем и упали первые древесные семена, занесенные с севера, из лесного края. Родился молодой лес. Когда окреп, пошел в наступление на степь, стал теснить травы, сживать их со свету. Постепенно под лесом чернозем заменила новая лесная почва. Но и теперь еще исконный степной чернозем кольцом охватывает лес.

Первые победы над степью дались лесу не легко. Вначале форпосты леса захватили задернованные склоны ов-

рагов. Их закрепили степные травы, на свою погибель закрепили. Ледниковые овраги стали колыбелью врага степи — леса. Почему лес облюбовал овраги? На равнине расти бы спокойнее. Это объяснил Докучаев: степные почвы не облесняются, пока в них есть соли. Лес ополчается на степь не раньше, чем соли эти будут выполосканы. «Пресными» в первую очередь стали склоны оврагов. Их сильно промывали паводковые воды. Тогда-то и устремился сюда лес.

Итак, Шипов лес возник, когда улеглось бушевание природы, успокоились ее буйные силы. Земля, изрытая, израненная, медленно одевалась почвенным покровом, сотканным из степных трав. Зеленый бинт покрыл земные раны. Тут-то и появились первые лесные насельники. Туго пришлось им вначале. Многие погибли, робких, слабых пришельцев нещадно глушили, забивали насмерть буйные — в рост всадника с конем — степные травы. Ушли на эту борьбу многие века.

Крыжановский останавливается. Я оглядываюсь. Где мы? С какой стороны пришли? Дубы вокруг стали еще мощнее, еще теснее обступают. И все похожи почти неотличимо — деревья-близнецы. Они толсты, в одиночку не охватишь; ствол, почти не уменьшаясь в диаметре, уходит вверх и там разворачивает густую крону. Пробивается ли сквозь нее дождь? Разве что ливень. Внизу постоянный сумрак. Впору выжить только дикой сныти да круглым, толстым, почти черным листьям копытня. На таких дубах Соловью-разбойнику сидеть,— древняя дубрава.

Крыжановский усмехается.

— Древняя? Что вы! В этом квартале лес не старый: лесничий Генко Нестор Карлович посадил его в тысяча восемьсот семьдесят пятом году.

— Как? Эти дубы посажены человеком?

Крыжановский показывает на ближнее дерево.

— Видите номер? Генковы дубы все учтены. Мы в зоне первой сотни.

Я обхожу дубы. На каждом номер. Всего на полугектаре двести пятьдесят отборных стволов. Все отличной сохранности, отпада нет. Умел Нестор Карлович Генко сажать, умел выхаживать. Дубы — живой памятник старому лесоводу.

Шаповалов подходит к деревьям, внимательно, почти придирчиво осматривает каждое. Я иду за ним. Нет, мне

только показалось, что дубы все однннаковые. Вглядишься, видишь — похожн, очень похожи, но разное и ветвление, и форма кроны, и рисунок коры. Кора чнстая, без лишайников, без трещин, без грнба. Этим Генковы дубы похожи на дубы Каменной степи, на лучшне нз ннх, что растут на элнтной Тридцать четвертой лесополосе — любнмице Шаповалова. Он говорит об этом Крыжановскому. Это высшая похвала. Потом спрашнвает:

— Дубы позднораспускающиеся?

— Да, все — кверкус робур, вариетас тарднфлора.

— Оно и видно. Полагаете, Генко особо подбирал дубы этой формы?

— Не знаю, Андрей Андреевич. Возможно, подбирал, но не нсключено, что здесь чнстая случайность. Габитуально, по внешннм прнзнакам, позднораспускающийся от ранораспускающегося не только Генко, но н мы пока не умеем отлнчнть. Знаем по фенологии: ранняя форма — майская, поздняя — нюньская. Генковы — все позднне.

— Вообще странно,— говорит Шаповалов,— странно и непонятно. Преимущества позднего дуба перед ранним известны лесоводам с незапамятных времен. Впервые об этом пнсал еще харьковскнй профессор ботанкк Черняев Василий Матвеевич. А он родился в конце позапрошлого века, был старше Пушкнна. Да н позже «Лесной журнал» тоже пнсал об этом еще до нашего с вамн рождения. А предложите любому лесоводу определить, что за дуб перед ннм — раннний или поздний,— не скажет. Подождем, мол, пока зацветет. Что это? Инертность научной мысли? Недостаток пытливостн? Мы восторгаемся работой Генко: какие дубы вырастнл! Правнльно! А подбнрал лн Генко специально желудн позднего дуба нлн случайно так получилось — не знаем н не работаем над этим, чтобы самим научнться подбирать. А научиться давно пора. Мало того, позарез надо. Будущие дубравы, посаженные нами, должны состоять в основном нз позднего дуба.

О ранораспускающемся н позднораспускающемся дубе Шаповалов говорнл мне еще в Каменной степи. Сейчас, стоя под прекрасными дубами Генко, с особой остротой чувствуешь справедливость шаповаловских упреков.

В самом деле, почему до сих пор не решена проблема практнческого освоения позднего дуба? Почему высева-

ются любые желуди, без отбора, без определения, какие они — от раннего или от позднего дуба?

Ранний дуб (кверкус робур, варнетас прекокс) распускается в начале мая. В это время в наших краях обычны весенние заморозки. Они побивают и цветы, и молодые побеги. Дубу нужно время, чтобы оправиться от поражения. А ведь май — месяц самого сильного роста. Вот ранний дуб и отстает в развитии. Мало того, в мае появляются насекомые-вредители, лютые враги дуба. Их «тьмы и тьмы». Самый страшный враг — непарный шелкопряд. Назван так потому, что самец и самка совершенно непохожи, как бы даже совсем «не пара». Вредитель этот способен погубить целые леса. Но он не один. Нежные дубовые листочки в мае поедает шелкопряд кольчатый, златогузка, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица, пяденица-«обдирало». Само название говорит о свирепости. И вся эта прожорливая орда атакует ранний дуб.

А дуб поздний? Он счастливо избегает нападения, так как распускается на три недели, а то и на месяц позже. К этому времени гусеницы паразитов уже окуклились, объев листья раннего дуба или других деревьев — дубовых спутников. Вредители и ими не брезгуют.

Наступает лето. Поздний дуб, развиваясь без особых помех, изрядно увеличился в росте. Ствол у него стройнее, крона более симметрична, древесина ценнее. Не то у раннего дуба: вершина нередко искривлена или раздвоена, крона сбита набок. Еще бы! В пору цветения, усиленного роста он сражается сразу на два фронта — с заморозками и с вредителями. Где уж тут расти нормально...

Мы медленно возвращаемся назад, к опушке. Крыжановский молчит, смотрит вниз, слушает Шаповалова. Потом говорит:

— Вы, Андрей Андреевич, упрекаете нас, да и всех лесоводов...

— Лесоведов,— перебивает Шаповалов,— почему это слово почти исчезло из обихода? Мы же с вами прежде всего лесоведы, по прямому смыслу — люди, ведающие, знающие лес, а потом уж лесоводы — насадители леса. Не зная леса, не вырастишь его. А знаем пока плохо.

— Совершенно справедливо. Вот я и хотел спросить: вы за многие годы работы в лесу научились отличать ранний дуб от позднего?

— Что ж — я... И я от всех недалеко ушел. Но кое-что знаю, учусь различать. У раннего дуба ствол часто искривлен. Поздний, как правило, стройнее, крона компактнее, в молодости дольше сохраняет глянцевитость коры. Но все это не то: очень уж субъективно. Надо искать другие, более четкие признаки. Трудно? Очень! Оба дуба дают помеси. Попробуй разберись, где какой. А разобраться нужно.

Как-то сразу высветлилась опушка. Невольно жмуришься — так много солнца. Будто из рассветных сумерек сразу попал в ясный, жаркий день.

В привычном ожидании томится наш Потап Михайлович. Он забыл дома книжку и скучает в тени «козла».

— Мы больше не оставим вас, Потап Михайлович,— вежливо утешает Крыжановский,— сейчас свернем на отличную дорогу. Сами увидите.

Отличная дорога в лесу? Откуда? А она — бывшая воровская. В царское время такими дорогами крестьяне вывозили тайком срубленные дубки.

Это уже после Петра Алексеевича. Он-то любил лес, берег. Петровы указы охраняли «все дерева, годные на важное употребление на суше и на море». Дуб, ильм, вяз, ясень, мачтовая сосна были объявлены заповедными в расстоянии от рек больших на сто, от малых — на пятьдесят верст и назначены только для потребностей флота. Закон карал смертью каждого, кто рубил корабельное дерево, все равно в каком — казенном или частновладельческом — лесу.

Петр Алексеевич не только запрещал зря рубить ценный лес, наказывал он лес сажать. В письме Азовскому губернатору Толстому читаем: «Тако ж предлагаю, что б на Таганроге в удобных местах насаждать рощи дубов или хотя иного какого дерева. Тако ж подале от города несколько десятин посеять желудков для лесу же».

И поднялась на краю Таганрога Петровская дубовая роща.

В неустанных трудах и заботах о благе «любезного отечества» Петр Алексеевич находил время, дабы вспомнить о «желудка́х», кои надлежит «посеять для лесу же» в далеком, степном, безлесном Таганроге.

А что ж Шипов лес, Петров любимец, «Золотой куст» России? Ему при нерадивых наследниках Петра приш-

лось худо. Екатерина Вторая разрешила частным владельцам рубку корабельного леса. Поелику же границ меж казенными и частными лесами зачастую не было, началось великое истребление всех российских дубрав.

Теперь в Шиповом лесу дубов Петровского времени нет ни одного. А могли быть! Остались лишь немногие старики, взошедшие в тысяча восемьсот десятом году. Им всего полтораста лет. Это не старость. Это пора жизненного расцвета дуба.

Долго, очень долго без удержу гулял топор в Шиповой дубраве.

Несколько приостановить лесное разорение удалось лишь в 1838 году, когда появилось министерство государственных имуществ. Тогда-то и были перепаханы воровские дороги.

— А что ж дорога, которую вы посулили Потапу Михайловичу? — спрашивает Шаповалов.— Она не перепахана?

— Я сказал ведь — она бывшая воровская. Ныне же это весьма удобный тракт для автотранспорта нашего леспромхоза.

Шаповалов невесело усмехнулся.

— По-прежнему достается Шипову?

— А он привык. После Петра ему всегда доставалось, все двести пятьдесят лет.

Поразительна эта сила, это упорство, жизнестойкость леса! За века своей исторической уже жизни древний лес и вымерзал, и усыхал, и горел, и валился под топором. Бывало, что сводили его почти начисто. Сейчас еще пузевские старожилы помнят: через лес от Красного кордона было видно Ливенскую церковь. Ливенка — по ту сторону Шипова, на западной окраине. Теперь, правда, церковь скрылась за деревьями. Только вот надолго ли? За всю свою историю лес по-настоящему отдохнул от топора совсем недавно — в 1948 году, когда был объявлен заповедным. Пять лет передышки. Потом министерские вершители лесных судеб рассудили: «Лесу вредно быть заповедным. Стоит на корню без пользы. А леса зачем растут? Для топора. Любоваться природой можно в парке». Недосмотр быстро исправили: Шипов лес «раззаповедили», и поселился в нем леспромхоз. Опять ру-

бят. И старые лесные дороги снова пригодились. Движение на них не в пример прошлому — открытое, оживленное.

— Прошу вас, Потап Михайлович, свернуть налево...

Вот она, дорога. Не былой потаенный узенький проселок — мужицкой телеге впору проехать, нет, это плотно утрамбованный лесовозами широкий тракт. «Козел» наш катит как по асфальту. Из-за поворота тяжело выползает лайнер. Кузов длинный, метров на семь, нагружен доверху. Крепкие, многолетние дубы срубили, обезглавили, четвертовали. Тридцатиметровые могучие дерева, распиленные, наваленные друг на друга, тихо следуют в свой последний путь. Кое-где на стволах остались веточки. Крупные, со звериную лапу, еще живые листья чуть вздрагивают.

Потап Михайлович сбавляет ход, и мы долго смотрим вслед лайнеру.

— Хочется снять шапку,— тихо говорит Андрей Андреевич.

Крыжановский отвернулся, молчит. Каково-то ему сейчас? Всю жизнь отдал этим обезглавленным, четвертованным дубам...

Вскоре показывается второй лайнер.

Высокие были дубы, теперь — длинные... Возить их и возить...

Долгие годы по вершку, кольцами, откладывалась древесина, дубки медленно подымались ввысь, к солнцу, набирали силу, стойко переносили и лютую стужу, и степной зной. И вот уже валилась наземь шапка, когда смотрел человек на их вершины. Они окрепли, корни глубоко ушли в землю, стволы — каменно-твердые, коричневые колонны — не качались даже на сильном ветру. Завоеванная в тяжелой борьбе долгая жизнь была им суждена. И тут приехал на мотоцикле лесотехник, не спеша закурил, окинул взглядом дубы, краской сделал смертную метку — «Р».

— Этот, и этот, и еще тот...

Потом пошли в дело электропилы, топоры. Потом потащили поверженные деревья трелевочные тракторы, волокли по молодой поросли, по только-только поднявшимся дубкам.

Медленно едет наш «козел» по бывшей воровской

дороге. Вот и вырубка. Отсюда их возят. Штабелями сложены срубленные ветки, аккуратно сложены — крупные отдельно, мелкие отдельно. Большие разлапистые листья не скоро увянут. Они сильные, полны соков. «И вся дубрава зашумит широколиственно и шумно...» Этой дубраве больше не шуметь...

Но дуб — не тополь, не клен, не береза, он может жить вдвое, втрое, вчетверо дольше. И усмирять суховеи, и сохранять влагу в земле, и мешать смыву почвы, росту оврагов, обмелению рек. Прекрасное, почти вечное дерево — дуб. Дубрав у нас меньше малого — всего один процент от общей площади лесов Советского Союза. На какую долю процента уменьшилась эта площадь сегодня?

Слава богу, миновали вырубку — лобное место «Золотого куста». Едем дальше, в лесную глубь. Срубленные деревья не воскресить. Надо подумать о смене тем, кто сегодня ушел из дубравы. Где-то сказано: «Срубил дерево — посади два». Но чтоб срубить, нужны минуты, а посадить, выходить, вырастить? «Посади два...» Бумага все терпит...

Как сажают дубы в Шиповом лесу, как подрастает здесь «племя младое, незнакомое»?

Посадки. Возобновленная дубрава. Густая. Только ближние дубки можно различить. Чуть дальше — уже мельтешат, сливаются в сплошную чащу. Идем в глубь ее, на каждом шагу обходя крепкие молодые дубки. Все они выросли из желудей. Семенное возобновление — самое сильное, дает наилучше развитые деревья. Дуб плодоносит щедро. В урожайные годы ветки желты от желудей. На одном дереве тысячи и тысячи. Но вот спелые желуди опали на лесную подстилку. И тут ополчаются на них враги. Их множество. Твердую кожуру желудя сверлит долгоносик, поедает плодожорка, но главное — мыши. Они пожирают опавшие желуди, вырывают посеянные. Под пологом старого леса на одном гектаре в богатый мышью год обитает до четырех тысяч грызунов. А ну, дубрава, попробуй напастись на этакую прорву! Но вот уцелевшие желуди проросли, выгнали ростки. Их очень много — в хороший год до ста тысяч на гектаре. И тогда мыши делают второй заход — объедают у ростка крупные сочные семядоли. Гибнет до половины всех всходов.

— А можно бороться с мышами?

Крыжановский машет рукой.

— Трудно, очень трудно. Пробовали всячески — травили керосином, соляной кислотой, дегтем, формалином, скипидаром, карболкой. Даже пускали в ход настойку нюхательного табака. Это уж с отчаянья... Мыши обходят все приманки и поедают только свежие желуди. Недаром в Библии мыши — одна из казней египетских. К счастью, количество мышей не постоянно. Иной год их немного. Тут уж раздолье для молодых всходов.

Но вот будущий могучий дуб наклюнулся, отбросил прочь кожуру. Не нужна больше кожура. Что же теперь нужно дубу-младенцу? Еще вчера нуждался он в воздухе, влаге, тепле. Сегодня ему необходим еще и свет, прежде всего свет. Ведь дубок уже зеленый, может поглощать углекислоту из воздуха, превращать ее в крахмал, как и подобает каждому самостоятельному растению. Но, кроме света, дубу по-прежнему необходима влага. И побольше, чем желудю. Тут и возникают новые трудности. Влаги подчас недостает — ее перехватывают взрослые дубы. У них корни вон какие: пронизали вокруг всю почву.

Нужды дубка-младенца понял крупнейший знаток леса — академик Владимир Николаевич Сукачев. Он сказал, что в невзгодах ранней жизни дубка «имеет значение не только, а иногда не столько затеняющее влияние деревьев материнского полога, сколько конкуренция их корневых систем с корневыми системами подроста из-за воды и минеральных веществ».

Поэтому-то над младыми дубками материнский полог надобно прореживать, но как? Умело, умно. В районах с повышенной влажностью, где осадков выпадает больше, чем испаряется с почвы, усиленное изреживание высветлит почву, высвободит дополнительную влагу, которую до этого забирали себе старики. А там, где сухо, где испарение с почвы усиленное, чрезмерное изреживание опасно — оно снизит влажность подстилки.

В Шиповом лесу возобновление двоякое: семенное — от желудей и порослевое — от материнского пня. Любопытный парадокс: чем лучше почва, чем толще ствол дуба, тем хуже идет порослевое возобновление после рубки. Почему? Спящей почке, заложенной в древесине,

очень трудно пробиться сквозь толстую кору. Поэтому-то деревья высоких бонитетов гонят поросль гораздо медленнее. И разница в количестве очень значительна. На лесосеке с дубом первого бонитета на гектаре гнезд поросли совсем мало — всего сто тридцать. На пнях деревьев второго бонитета гнезд почти вдвое больше — две с половиной сотни; третьего еще больше — около четырехсот, а четвертого — пятьсот с лишним. Зато хотя поросль от дуба первого бонитета и долго ждать, но развивается она потом куда лучше, чем поросль-скороспелка.

В первые два года молодой порослевой дубок живет на иждивении материнского пня, собственных корней не вырастил. Только к десяти годам он переходит на свой стол. Материнский пень ему больше не нужен.

И все же порослевому лесу далеко до семенного. Дубы-порослевики растут быстро, но и стареют быстро. Почему? Главная причина: длительная зависимость от материнского пня. Корни срубленного дуба приносили достаточно пищи для одного дерева, а тут от пня отходит целый букет долговязых дубков. Первые появились на третий год после рубки, потом из пня полезли новые. На одном пне сотня, а то и больше. Попробуй прокормить такую ораву. Недостаток пищи снижает рост порослевиков. Но вот они отделились от материнского пня. У них теперь свои корни. И тут новая беда — скучены на малой площади, стоят почти впритирку. Снова пищи в обрез. Поэтому-то век этих дубов короток. В конце концов на корню остается одно-единственное дерево. Остальные усыхают. Шипов лес сейчас на три четверти порослевой.

Как он стал таким? После основной рубки спелых насаждений при Петре Первом появилась вторая генерация леса. Состояла она из «маяков» спелого дуба, оставленных Петром. Маяки росли в первом ярусе. Во втором — порослевики от пней срубленных дубов и молодняк, выросший из желудей от маяков. Здесь же росли ясень, клен, липа и прочие спутники дуба. Этот лес в восемнадцатом веке рубили несколько раз, рубили грубо, выбирая самые лучшие деревья, не заботясь о возобновлении леса. Но лес выстоял: от пней шла поросль, пни здесь очень живучи. Из оставшихся семенных дубов самосевом развивались крепкие молодые дубки. А тут подошли три-

дцатые годы прошлого века, внесли некий порядок в жизнь Шипова леса.

...Все дальше и дальше идем мы в глубь дубовой чащи, просвета не видно. Где же конец? Крыжановский усмехается.

— До конца далеченько — участок двенадцать гектаров. Хороший дубнячок, весь от желудей, поросли почти нет.

Без малого сорок лет назад рос здесь старый, вековой лес. Лесничий Георгий Георгиевич Юнаш поставил опыт: вырубил начисто все древесные спутники дуба — все ясени, все клены, весь кустарниковый подлесок. Оставил чистый дубняк. Под его пологом весной стал сажать новый лес. Подымали лесную подстилку, на почву, прямо в минерализованный слой лесного суглинка, клали пару желудей и снова накрывали подстилкой. Шли правильными рядами. Этот способ посева так и называется — шпиговка. Подстилка нашпиговывается желудями.

Осенью выдался небывалый урожай желудей. Ветки дубов не зеленые — желтые, так облеплены желудями. Желуди поспели, осыпались, дали обильные всходы. И посеянные желудки́ тоже проросли. Перемешалось естественное возобновление с искусственным насаждением. Но различить можно: юнашевские дубки растут попарно, а самосев как попало — желудь где упал, там и вырос.

Осматриваем дубки. Аккуратные чинные пары благопристойно выделяются среди троек, пятерок. Рощицы в роще. Но — странное дело — юнашевские пары выглядят куда хуже дубков, посеянных природой. Почему?

— Недосмотр Юнаша,— поясняет Крыжановский,— сажал не местные желуди, а привозные — из Хреновского леса. Расстояние не велико, но среда иная. Хреновские дубы у нас хуже растут, чем у себя, в родном лесу. А местные, чьи деды-прадеды здесь жили, все вон какие крепкие.

Когда и хреновские, и шиповские деревца поднялись, старые дубы над ними срубили. Делали это по-разному. На одном участке вековой лес убрали полностью. На другом — только половину. Что же получилось? Там, где молодняк рос открыто, на свободе, без затенения, он развился отлично: света много, влаги достаточно. А под

пологом стариков рост дубков замедлился — пищевой и световой паек был урезан.

Не юнашевские ли дубки натолкнули Крыжановского на тему его кандидатской диссертации? Оказывается, влияние солнечного освещения на молодые деревца можно учесть буквально по часам. Если солнце освещает вершинку дубка всего только один час, такой дубок не жилец — обречен на верную гибель. Если освещение длится от двух до четырех часов, дубок выживет, но будет уродец — торчок. И только длительное освещение обеспечивает нормальное развитие дерева. А если солнце озаряет дубок еще дольше? Тогда дубок даст не один побег — обычный, майский, а еще два — июньский и августовский. Отсюда вывод: если уж рубить старые дубы, надо рубить их сразу же после появления подроста. Молодняк быстрее войдет в силу.

Я заметил: Шаповалов, слушая Крыжановского, что-то заскучал. То сожмет челюсти, подавляя зевоту, то взглянет в сторону «козла», оставленного на бывшей воровской дороге. Кажется, Константин Викторович тоже это заметил, говорит сдержаннее, суше. Гость явно недоволен, но чем?

— Можно пойти дальше, в глубь насаждения,— нерешительно предлагает Крыжановский,— увидим второй участок Юнаша с оставшимися старыми деревьями.

— Да нет, не стоит,— Шаповалов поворачивается, идет к «козлу».

Мы молча следуем за ним. Что случилось? Почему такая резкая перемена настроения?

Крыжановский чуть поотстал, идет глядя в землю. Шаповалов замедлил шаг, поджидает Крыжановского.

— Константин Викторович, разрешите сказать откровенно, вопреки этикету?

— Разумеется. Что же нам скрывать друг от друга...

— Так вот, я сейчас слушал вас, думал: Шиповская лесная станция, кажется, хорошо ужилась со своим соседом — леспромхозом. Неужели же нашли общий язык? Помогаете им расчетами в промышленных рубках?

Шаповалов уже сердится, и сердится не на шутку, шляпа сбита на затылок, пиджак распахнут.

Крыжановский, не подымая головы, говорит тихо:

— А что же нам делать? Воспрепятствовать промыш-

ленным рубкам мы не можем. Надо уберечь лес от окончательного уничтожения.

— Рассчитывая сроки рубки?

Шаповалов вдруг останавливается. Солнце пробилось сквозь не густые еще кроны, толстое стекло очков сверкнуло острым белым лучиком. Крыжановский зажмурился, ступил шаг назад.

— Андрей Андреевич, сила солому ломит.

— Верно. Но сломать не должна. Слабые бывают посильнее сильных. Всему свое время. Голая сила лишена разума — вот ее беда. А разум, смысл, логика в конце концов побеждают. Должны победить, не могут не победить. Помните Яна Гуса? На костре сказал: «Правда звитежы». А нашей правде жить и жить. Наша правда — благо нашей земли, а не ее разорение. Ваш сосед сегодня Шипов лес сводит, завтра перебазируется: где погуще — там станет валить. А что он валит древний лес, последний лес на юге лесостепи — на это леспромхозу начхать. Им кубы нужны! А вы жили здесь и будете жить до конца своих дней. Вам, только вам — не леспромхозу же! — драться за Шипов лес и сажать новые дубы, сажать на вырубках, что растут вокруг как грибы.

Я взглянул на Крыжановского. Он сник, сгорбился, длинный, гоголевский нос уныло опущен. Сейчас видно, что он очень стар — восьмой десяток... Ах, напрасно, ей-богу, напрасно налетел на него Андрей Андреевич. При чем Крыжановский? Что может сделать, чем может помочь Шипову лесу в его беде отдавший ему всю жизнь, старый лесовод, пенсионер Крыжановский?

Кажется, Андрей Андреевич и сам понял это — молчит, поправляет без дела очки, шляпу. Нерешительно протянул руку, почти робко взял под локоть Константина Викторовича — не отстранится ли? Не обиделся ли? Нет, даже согнул руку в локте. Теперь они снова идут рядом, под руку идут.

Шаповалов говорит приглушенно, отдельные слова даже не разобрать.

Разве перед Шиповым лесом виноваты только его ученые? Да нет же! Нет! Виноваты все — и он, Шаповалов, и их Докучаевский институт, и Воронежская Охрана Природы. Сколько лет, как Шипов лес перестал быть заповедным? Четырнадцать? Да все это время надо было

драться за него, доказывать, кому следует, что промышленные рубки в уникальном, водоохранном лесу — преступление! Но застрельщиками должны быть шиповские ученые. Они — местный оплот лесной науки, форпостный ее кордон, говоря словами Петра Алексеевича. Вот кто любил лес! Страстно любил, почти до смешного, даже от покойников оборонял: запретил хоронить в гробах-колодах. Эх, пустить бы сейчас Петрову дубинку по спинам лесных разорителей. Жаль, лежит без дела в музее.. Но это все лирика. Главное вот что. Станция бессильна драться за лес? Ладно. Допустим. Но изучать его, пока он жив, кому же? Шиповцам! И изучать не только по-приkладному, а научно, широко, по-морозовски, по-докучаевски! Сейчас в трудах станции чаще всего что встречаешь? «Рубка», да «вырубка», да «продуктивность». А кругом растет, живет древний лес, полный тайн, загадок. Докучаев считал их «Чудесной Троицей» — Каменная степь, Хреновской бор и он, Шипов. Они связаны неразрывно, связаны в единый, органический, естественный комплекс. Сколько специалистов-докучаевцев сообща, дружно изучали этот комплекс! Геологи, почвоведы, лесоводы, ботаники, зоологи, метеорологи, агрономы... И могли же они в проклятое царское время, действительно без иронии — проклятое, ненавидящее науку, могли же докучаевцы посвящать Шипову лесу не только статьи — целые монографии — книги. Мы с вами хорошо знаем их: почвенно-геологический очерк Шипова леса Павла Отоцкого, исторический и лесоводственный очерк Шипова леса Дмитрия Кравчинского. Устарели они? Разумеется! Семьдесят, восемьдесят лет назад писаны. Но выводами их и сейчас пользуемся. Почему? Новых больших научных работ почти нет. Исследования широкого плана не ведутся. Где в Шиповом лесу почвенные разрезы? Где водосборные площадки? Измерители глубины залегания грунтовых вод? Не видно их...

Скажете, «чистая наука»? Хватит! Отбросим этот жупел недавнего тяжкого прошлого: сегодня — чистая, завтра — прикладная, полезная, нужная. Да и какое там «завтра». Сегодня это нужно! Жалуются лесоводы: огромен, мол, отпад дубового самосева — гибнет три четверти, а то и больше. Как же расти лесу? На месте пары срубленных стариков взойдет ли хоть один молодой дубок? Не знаю, не уверен. А надо, чтобы всходил, и разви-

вался, и рос. Да ие одии — десятки, сотии. Погублеио-то сколько... Но желуди гибиут, ие дав ростка. Почему? Мыши? Вредители? Только ли оии? А аэрация, влажность, кислотиость местиых почв? Известиы оии? Изучались? Слабо, иедостаточно! И таких «белых пятен» много, слишком миого...

Мы уже подошли к «козлу». Но Шаповалов ие собирается садиться. Накопилось, накипело, наболело в душе...

Они стоят так же, как и шли,— рука об руку.

— Только не думайте, Констаитии Викторович, что я одиих шиповцев ругаю. Нет, себя, всех наших лесоводов я ругаю. Годами не встречаемся, сидим в своих углах. Вот восемь лет я у вас ие был. Почему? Хворый, ветхий годами? Отиюдь! От Шипова леса до Каменной степи рукой подать. Докучаевцы ездили иа лошадях, пешком ходили, и то чаще встречались. А у иас автобусы, «козлы». Нет, сидим сидием, как Илья-богатырь в своем Муроме. Да и тот встал, когда приспичило. А мы? Когда же мы двинемся?

Шаповалов помедлил, дожидаясь ответа, ио Констаитии Викторович молчал и вииовато улыбался.

— Давайте сейчас, вот при свидетелях, дадим друг другу обещаиие — встречаться ие реже двух раз в году. Это ие иорма, это мииимум. Сперва вся иаука Шипова леса едет в Камеииую степь, потом Камеииая степь в Шипов лес. И ие поодиночке, а в полном составе.

Шаповалов протянул Крыжаиовскому руку:

— Ну? Договорились?

Крыжаиовский вздохиул:

— Мы-то договоримся, а вот как иачальство? По какой графе провести?

— Ничего! Уломаем! Сошлемся иа высокие примеры прошлого.

Мы уже давио в лесу. Июньский день длинен — скоро летнее солицестояиие. Солице миновало зеиит, медлеино идет к закату. Лучи стали положе, длиннее, высветляют уже ие кроны — стволы. Потап Михайлович то и дело поглядывает на ручиые часы, потом иа те, что рядом со спидометром, сверяет... Позавтракали-то мы на ходу — спешили в лес.

Крыжаиовский уловил общие мысли:

— Сейчас — заключительный бросок вот сюда, по той дорожке.

— А с нее опять на воровскую?

— Нет, нет, та далеко в стороне.

Едем, огибая дубы, и вот впереди забелела некрашеная ограда — низенький, по колено, штакетник. Кордон? Питомник? Нет, ограда необычная — кольцевая. Рядом скамейка... А то, что посередине ограды, заставляет нас выскочить из машины.

Такого еще не было, не приходилось встречать, не приходилось видеть никогда.

На небольшой поляне стоит Идеальный дуб. Дуб из сказки, из детских снов. От него не оторвать глаз. И мы садимся на скамейку, молчим, смотрим.

Громадный, совершенно прямой ствол возносится ввысь. И там, на сорокаметровой, почти подоблачной высоте, разворачивает крону. Она строго симметрична и снизу совсем даже не кажется огромной. Листьев не различить. Крона темно-зеленым шатром простерлась в небо, врезанная в июньскую безоблачную голубизну.

Ему полтораста лет. Лесоводы обнаружили его полвека назад. По всему лесу, квартал за кварталом кордон за кордоном, ходили, искали лучший, хотя бы равный. Не нашли. И тогда назвали его Идеальным. Воплощенная наяву идея дуба, идея старого грека Платона...

Он не очень толст: на высоте груди диаметр ствола всего шестьдесят семь сантиметров. Равномерно, незаметно для глаз ствол утолщается к земле и совсем уже неуловимо, истончаясь, уходит ввысь.

Он родился из упавшего желудя, рос вместе с другими дубами. Они и сейчас еще стоят невдалеке. Но он стал особенным, самым высоким, самым могучим, самым прекрасным во всем Шиповом лесу. Кора его чиста от корня до вершины: ни серых шершавых лишайников, ни уродливых трутовиков. Не осмелились поселиться на нем. И вредители не касались его — паразиты боятся сильных. Он — поздноцветущий. В июне на ветках появляются невзрачные цветы. Ветер разносит вокруг желтую пыльцу, чтобы пошли от семени его такие же дубы, как и он. Желуди у него небольшие, чистые, блестящие, очень твердые.

Потомство его велико. Зарубежные ученые приезжали сюда, взбирались на вершину, срезали тонкие веточки — привить молодым дубам, что растут в других странах. И есть вести: прижились ветки. Могучие соки влились в тело дубов чужих земель. А здесь желуди его бережно собирают, чтобы вырастить потом в питомнике.

Я украдкой наблюдаю за Андреем Андреевичем. Он снял шляпу, поднял голову, не отрываясь смотрит на Идеальный дуб. Потом говорит, словно думает вслух:

— Не напрасно ли убрали вокруг него липы? Они далеко отступили... Липы — его шуба, не давали ему куститься, сделали его вот таким...

— Нет,— говорит Крыжановский,— он уже сформировался вполне, таким и будет. Беды, невзгоды позади. Жить ему и жить долгие годы, века!

«АСКАНИЯ, МОЯ АСКАНИЯ...»

До конца дней не забыть позднее майское утро в зеленой, еще цветущей, но уже по-летнему дышащей жаром украинской степи; серый от пыли грузовик мчится по твердому, пересохшему от многодневного бездождья большаку; я стою в кузове, держусь за горячий, гладкий верх кабины, смотрю вдаль и вдруг вижу: на краю степи встала и растет, на глазах растет высокая, круглая, мощная башня, вся темно-зеленая, почти черная от каких-то густо обвивших ее растений. Краснеет только кирпичная вершина — туда не дотянулись ползучие зеленые плети. За башней показалась ограда, тоже высокая, уже сплошь зеленая. Ограда? Нет. Это — могучая крепостная стена. Сейчас выглянет из-за нее островерхая кровля старинного замка со шпилями, с железными флажками — флюгерами. Но замка не было. За башней поднялась темно-зеленая роща. И это было еще неожиданнее, еще необычнее: роща, целый лес — густой, дремучий, уходящий вдаль — возник в ровной, голой, безводной, безбрежной, до самого Перекопа протянувшейся степи.

Непроглядный лес подымался из сухих, седых ковыльных волн, уходящих до горизонта.

— Ось вона, Аскания... — сказал по-украински кто-то рядом. Я глянул на своих попутчиков. Это были молодые, дочерна загорелые зоотехники, такие же, как и я, студенты-практиканты; все ехали в Асканию впервые, видели ее впервые. И все сейчас молча смотрели на башню, стоящую у лесной опушки, смотрели как на мираж — веря и не веря своим глазам.

Так много лет назад состоялась моя первая встреча с Асканией-Нова, всемирно знаменитым степным заповедником. Эта встреча, а затем лето, проведенное там,— важнейшие события в моей жизни.

Теперь мне кажется, что я всегда знал Асканию, просто не мог не знать ее. Это было не так; услышал я о ней впервые уже студентом, и, вероятно, незадолго до про-

изводственной практики, а это уже третий, предпоследний курс. Не помню уж, кто походя, мимоходом рассказал мне о ней, но в рассказе этом было главное: Аскания — особый, не похожий ни на что мир. И я, как часто бывает в молодости, стал рисовать этот мир в своем воображении. Я заочно влюбился в Асканию, она являлась мне в снах. Проснувшись, я думал, что будет со мною, если не увижу ее? Нет, такое несчастье не может случиться. Дело в том, что в то время я стал впервые пробовать писать прозу и конечно же писал из рук вон плохо, метался в поисках темы, стиля. Два или три раза пытался посылать свои творения в «Резец», ленинградский журнал для начинающих, и получал обычные в таких случаях назидательные советы: не спешить печататься, внимательно изучать классиков, а также окружающую жизнь. Но жизнь эта казалась мне тусклой, однообразной, дни неотличимо похожи: с утра лекции на биофаке, практические занятия в лабораториях, потом тридцатикопеечный обед в студенческой столовке; вечером подготовка к зачетам в библиотеке; по выходным дням кино в институтском клубе. О чем же тут писать? О чем? Я был почти в отчаянии и все чаще, как и положено в двадцать два года, задумывался о пропащей молодости, о неудавшейся жизни...

Моральной помощи, поддержки у близких я не находил, они просто не понимали меня, считая мои метания обычной блажью, свойственной юности.

И тут впервые мне попались книги Пришвина. Я прочел «В краю непуганых птиц», «Белого арапа», «Кащееву цепь». Меня удивил необычный, доселе нигде не встреченный тон полного доверия писателя к читателю. Казалось, Пришвин обращается лично ко мне, рассказывая о своих поисках пути в жизни. И я решил написать ему. Случайно узнал адрес: Загорск, Московской области, Комсомольская улица, дом 85. Писал ничего не тая, просил помощи, совета, как жить дальше.

Прошло много времени. Я уже не надеялся на ответ. и вдруг письмо. Волнуясь, разрываю конверт, по слогам, по отдельным словам пытаюсь прочесть труднейший почерк. Пришвин писал:

«Дорогой Шура, я задержался с ответом, потому что месяц был на Урале, и вернулся усталым и оглушенным строительством стен новой жизни. В юности я тоже был

марксистом и вкладывал свою душу в это будущее строительство. А когда занялся писательством и предался ему целиком, то у меня было так, что там (в строительстве) все само собой сделается, что это почти стихия. Вот так и выходит теперь, и возможно, что даже и выйдет. А строители, наверно, в свою очередь тоже так думают, что надо стены выстроить, а жители появятся сами собой. Вы, как «неповторимое существо», не должны думать, что Вы один: их, неповторимых, или, как я называю, жителей будущего города, достаточно; замечательно, что письма жителей этих ко мне прямо складываются — до того похожи! Но только не надо замыкаться в эстетизме, надо идти в самую грубую жизнь и победить творчеством ее грубость и механичность. Надо машину гигантскую сделать инструментом, как у мастеров-ремесленников. Природа — это наша колыбель, и не надо противопоставлять ее городу и машине. Так я сейчас думаю. «Старости» своей я никак не чувствую ни физически, ни духовно, как в смысле мудрости, хотя тоже, как и Вы, не знаю будущего, беспомощно страдаю, не будучи по природе погоняльщиком. Могу только огрызаться здорово и отпугивать.

Пришлите мне рассказ или два, самые любимые, я напишу Вам о них. Психология творчества у Вас точно как у меня и, вероятно, правильная. Но я убедился, что по этому процессу нельзя судить о вещи. Дайте самую вещь.

А я тоже учился ботанике долго. Но ничему не научился, разве только честности. Я с ума сходил по цветам, по их красоте, а в науке только причины и количество, качества нет: искусство есть творец качества и требует личности. Приветствую Вас и жду рассказов.

Михаил Пришвин.

Пришлите рассказы. Язык искусства мне ближе, и я Вам лучше отвечу».

Я был в радостном смятении: сам Пришвин заинтересовался мной, моими рассказами! Мало того — у нас с ним общая психология творчества!

На другой день в Загорск были отправлены два рассказа — «Костер» и «Леда».

Сейчас, вспоминая их, я почти корчусь от стыда: как можно было писать такое, и тем паче — посылать Приш-

вину! Но тогда — тридцать с лишним лет назад — думалось иначе.

И вот у меня в руках второе письмо:

«Тот рассказ, где мальчик (я писал о мальчике, очарованном видом цыганского табора, кибиток, костра и т. д.— *А. К.),* очень уж старательно выписан. Вы связаны в нем по рукам и ногам. Надо добиться такого настроения, чтобы о технике и не думать. В другом, где учитель с Ледой (у меня молодой учитель влюблялся в Леду на картине Леонардо да Винчи.— *А. К.),* Вы много свободнее, но часто вычурно, и притягиваются образы со стороны.

Типичное начало работы. Не надо сидеть над ним и придавать особое значение — со временем Вы будете такое в один миг писать.

Меня не удивляет, что Вы описываете болезненные существа: это тоже начальное самоковыряние. Постепенно, углубляясь в человека, Вы узнаете, что надо писать о здоровом и радостном».

Я не помню, что написал в ответ, но в третьем, и последнем, письме Пришвина были такие замечательные строки:

«Двадцать два года для поэта срок, а для прозаика— детство. Я начал писать в тридцать лет. И вы напрасно меряете рост только сроками. Как бывают сроки для пробуждения половой жизни, так и талант зреет органически.

Описание «гнилого мира» происходит от личной ущемленности, личной обиды. Но человек, которого я ценю и люблю, должен свою обиду и неудачи превратить в сострадание к другому существу, если оно несчастно, или в сорадование, если жизнь другого хороша и достойна удивления. Это путь родства со всем миром. Когда Вы сойдете с пути личной обиды и вступите на путь сорадования — тогда и пишите».

Трудно передать громадное впечатление, которое произвели на меня эти три письма. Знаменитый русский писатель обращается ко мне, безвестному студенту, словно к равному, ободряет, указывает выход из тупика, помогает найти торный путь. Да, надо писать о прекрасном, здоровом, радостном. Я глубоко осознал это, только когда прочел пришвинские письма. Только тогда понял,

что меня самого тяготят вымученные темы моих первых рассказов. Надо уйти от них, забыть их.

И тут впереди мелькнула Аскания, таинственная, необычайная, точно некая дальняя неведомая страна. Аскания — мое спасение, думал я, «моя «земля обетованная», моя судьба! Любой ценой я поеду в Асканию, я увижу древнюю целинную степь, от века не тронутую людьми, я буду собирать цветы, травы, составлю свой гербарий. А потом, когда вернусь домой, буду писать о степных восходах и закатах, об асканийских зверях, птицах. А люди? Конечно же там живут необыкновенные люди: это ученые, изучающие степную флору и фауну, это рабочие, что ходят за дикими животными, дикими птицами; любовь к ним передается у асканийцев от отца к сыну — ведь Аскания существует на земле уже более полувека.

Оканчивался академический год. Мы, биологи-третьекурсники, сдавали последние зачеты, готовились к отъезду на первую в жизни производственную практику.

Как-то староста курса объявил: после лекций все должны остаться — он запишет, куда кто собирается поехать летом на практику.

Я подошел раньше всех.

— Так,— сказал староста,— куда?

— В Асканию-Нова, ботаником.

— А если там не будет мест?

— Больше никуда, только в Асканию.

Староста молча усмехнулся, записал. Потом подходили другие, чаще всего называли просто учреждение: селекционная станция, охотничье хозяйство — любая станция, любое хозяйство.

Я смотрел на своих товарищей с сожалением: у них не было своей Аскании...

Староста, закончив опрос, ушел со списком в учебную часть. Теперь надо было ждать решения декана. Помнится, я ждал спокойно, был уверен: декан пошлет меня только в Асканию, и никуда больше — просто не сможет отнять ее у меня.

И когда неделю спустя староста огласил список и, назвав мою фамилию, сказал «Аскания-Нова», я принял это как должное. На другой день начал готовиться к отъезду.

Стало шаблоном писать: собираясь в неизвестные, но

желанные места, путешественник с головой зарывается в книги, читает все, что только можно достать, о крае, куда едет. Да, чаще всего так и бывает. Так позже бывало и со мною, когда собирался в экспедиции — на Полесье, в Казахстан, в Туркмению. С Асканией было поиному: я ничего не читал о ней, даже не думал о специальной литературе. Аскания должна быть такой, какой я мысленно представляю ее.

И удивительное дело! Все оказалось так, как я ждал, как в долгие бессонные ночи думал о ней: Аскания, ее природа, ее люди, их жизнь действительно оказались особенным миром, непохожим на все окружающее.

Почему же так случилось? Да потому, что рождение Аскании было необычным; история ее совершенно не похожа на предысторию — архизаурядную, начисто лишенную романтики.

Все помнят андерсеновского «гадкого утенка»: он был выхожен добропорядочной уткой и оказался чудесным лебедем. Аскания также появилась на свет божий вопреки устоявшейся традиции. Предыстория ее относится ко временам почти двухсотлетней давности и ведет нас за границу, в старую Германию восемнадцатого столетия, раздробленную на множество больших и малых княжеств, герцогств.

В одном из них — Ангальтском — владетельный герцог Фридрих-Фердинанд проявил незаурядные предпринимательские способности: отбросив амбицию предков, стал овцеводом. Из Испании были завезены мериносы. Вскоре стотысячное стадо паслось на привольных немецких землях. Дело оказалось прибыльнейшим: Англия по хорошей цене закупала у герцога первоклассную шерсть. Расширить бы дело, да некуда: размеры герцогских владений ограничены. Где взять пастбища для новых стад? У герцога появляется счастливая идея: умножить свои богатства не на родине, а на чужбине. В далекой России, по слухам, пустуют обширнейшие земли; лежат они на юге, у самого Черного моря. Что, если попытаться сторговать их? И вот в 1826 году главный управляющий герцога обращается к русскому агенту в Лейпциге с посланием, предлагая основать на юге России ангальтскую колонию. Целый год нет ответа. Тогда сам герцог Фридрих берется за дело: он решает повести переговоры на высшем уровне —пишет послание самому

императору. Николай Павлович предложение одобрил: приморские степи дики, безлюдны, неприбыльны. Почему бы их не использовать?

Осенью того же года представители герцога уже в России, с царскими чиновниками объезжают степь, ищут подходящее место невдалеке от Одессы — центра южнорусской торговли. Облюбована местность пока безымянная, на карте генерального межевания кратко обозначенная: «степь № 71». Кругом голо, но невдалеке Перекоп, оттуда можно привезти камень для строений, а из ближней Каховки — до нее всего семьдесят верст — на баржах по Днепру доставят доски, бревна.

В марте 1828 года царь подписывает указ об основании ангальтской колонии. Условия для герцога выгоднейшие. Вот они.

«1) Император Всероссийский дает разрешение на устройство колонии в Таврической губернии, которую герцог Ангальтский предлагает учредить из своих подданных.

2) Под сие поселение назначаются избранные герцогскими представителями свободные участки земли... Поселение сие возвращается в собственность казны, если в оном поселении по истечении десяти лет не будет находиться по меньшей мере двадцать тысяч овец улучшенной породы с потребным количеством семейств для содержания сих животных.

3) По истечении десяти льготных лет, начиная оные с 1 января 1830 года, платить казне ежегодной повинности за каждую десятину— с 40 345 по 8 копеек серебром, а с 6 000 десятин приморской земли по 15 копеек серебром же».

Так за копейки, по баснословно дешевым ценам герцог приобрел у царя без малого полсотни тысяч десятин целинной степи. Новое имение свое Фридрих-Фердинанд назвал Асканией в честь области, находящейся в его владениях.

Я не знаю, каковы были размеры ангальтского герцогства, но думаю, что приобретенная земля по площади уступала ему немного.

В июле 1828 года в присутствии симферопольского губернатора состоялась торжественная церемония: русскую степь передали немецкому герцогу.

Началось освоение. Через два года здесь пасется уже

восьмитысячное стадо мериносов; природные условия отличные: почти круглый год овцы живут на подножном корму. Только в середине зимы их на месяц-полтора загоняют в хлева. Правда, есть одно неудобство: тонкорунную овцу надо купать, а вблизи ни озера, ни речки. Приходится гонять стада за семьдесят верст на Днепр. Но эти хлопоты с лихвой окупаются большими доходами: шерсть в тюках отправляют в Одессу, оттуда в Москву, в Германию, в Англию. Дело процветает и при Фридрихе, и при наследовавшем ему в 1830 году Генрихе. Через шесть лет после основания колонии овец уже двадцать четыре тысячи голов. В степи вырос поселок на тридцать семейств, есть свой кирпичный завод, даже школа.

Все изменилось в 1847 году, когда умер Генрих — последний в роду герцогов Ангальтских. Наследникам неохота возиться с далекой колонией. Они продают Асканию помещику-овцеводу Федору Ивановичу Фейну. Через несколько лет дочь Федора Ивановича, Елизавета, выходит замуж за соседа — помещика-овцевода Ивана Ивановича Фальца. Указом царя Николая Первого молодой чете присваивается новая фамилия Фальцфейн. Сын их, Эдуард Иванович, был отцом создателя асканийских чудес — Федора Фальцфейна.

Так заканчивается вполне прозаическая предыстория Аскании, и начинается необычайная, почти сказочная ее история.

Передо мною первый научно-популярный сборник статей, посвященный Аскании-Нова. Он вышел в Москве, в Госиздате, в 1924 году. Сейчас это библиографическая редкость. Солидный трехсотстраничный том открывается портретом. Вот он, Федор Эдуардович. Ему здесь лет пятьдесят, это поздняя фотография. Широкое, простое лицо, короткие, сильно тронутые сединой волосы, густые темные усы опущены вниз по старинной украинской, еще казацкой моде. Этот человек родился в южнорусской степи, рос, воспитывался, учился в России — сперва в херсонской гимназии, потом в Юрьевском университете, на естественном отделении.

Думается, пора восстановить справедливость, попираемую на протяжении многих лет: в тридцатых — сороковых годах в статьях, брошюрах было принято писать о создателе Аскании пренебрежительно: дескать, поме-

щик-богач бесился с жиру, вот и развел в степи парки, хотел прогреметь на всю Европу. Позже, после войны, в книгах об Аскании о Фальцфейне предпочитают говорить мельком.

А зачем нам искажать историю? О Фальцфейне написано мало, но из скупых строчек, оставленных современниками: знаменитым путешественником, другом и соратником Пржевальского — Петром Кузьмичом Козловым, профессорами-биологами, подолгу работавшими в Аскании,— Фортунатовым и Завадовским,— встает образ человека необыкновенного. Нет, не барская прихоть, не каприз богача создали Асканию. Она рождена пожизненной страстью, научными интересами естествоиспытателя, большого знатока жизни птиц и зверей.

Итак, Аскания создана только одним Фальцфейном? Нет.

Жаль, что в упомянутой книге нет еще одного портрета. Есть только маловыразительная фотография: у инкубатора сидит пожилой, бородатый человек в косоворотке. Человек этот тоже создатель Аскании. У колыбели ее стоят они вдвоем: Федор Фальцфейн и его соратник Клим Сиянко, батрацкий сын, воспитатель бесчисленных птиц и зверей, родившихся в Аскании.

Они дополняли друг друга, десятилетиями работая бок о бок,— богач-натуралист с университетским образованием и украинский крестьянин, ученый-самоучка, своими силами освоивший науку о природе.

О Климентии Евдокимовиче Сиянко мы знаем еще меньше, чем о Фальцфейне. Приехав в Асканию в начале тридцатых годов, я уже не застал Сиянко в живых: он умер в двадцатых годах. Сиянко был ровесником Фальцфейна и всю долгую свою жизнь — с детства до смерти — отдал Аскании.

Как же возникла, как могла родиться фантастическая мечта — создать в безводной степи пруды, парки, населенные дикими птицами, редкостными заморскими зверями?

Все началось с зяблика. В 1873 году десятилетний Федя Фальцфейн со своим приятелем Климом как-то смастерили силки; в них попался степной зяблик. Можно посадить его в клетку, повесить в столовой над окошком — пусть поет. Нет, нет, это неинтересно, подумаешь, клетка с птичкой! Вон их сколько в домах служащих.

Хотелось необычного, особенного. И ребята решают: надо сделать клетку огромную, чтобы зяблик мог в ней летать как на воле. Но позволит ли Федин отец? Вдруг скажет: «Баловство это! Тебе учиться надо, а не птиц разводить»?

— Треба спробуваты,— говорит Клим,— ты так и скажи: я экзамен в гимназию выдержал? Выдержал. Вот вы, тату, и позвольте зробыть большую клетку. А больше мне ничего не надо. Вот побачишь, воны позволять.

И «тату» позволил. Поместительная проволочная клетка — вольера — была сделана руками ребят.

Вскоре в ней кроме зяблика поселились синицы, чижи, пеночки и прочая птичья мелкота. За первой вольерой появились новые, целое хозяйство было теперь на руках у Клима: Федя осенью уезжал в Херсон учиться в гимназии. Но летом на каникулы он приезжал домой, в Асканию, и они с Климом с утра до вечера занимались своими птицами.

Шли годы. Окончена херсонская гимназия. Куда дальше? Федор решает быть ученым, естественником, уезжает учиться в Юрьевский университет. А Клим? Клим не хочет отставать от товарища, он тоже учится, только дома. Федор привез ему книги по зоологии, много книг. По вечерам, когда окончена работа в зоопарке, Клим читает, делает выписки.

Пройдут года, и ученые из Петербурга и Москвы будут с интересом читать рабочие дневники Климентия Евдокимовича Сиянко, будут удивляться меткости наблюдений, образности языка, оригинальности выводов. Батрацкий сын, учившийся на медные гроши в церковноприходской школе, станет натуралистом, научится ставить сложные опыты по гибридизации. Но это будет потом, а пока Клим со своими помощниками —молодыми «парубками», рабочими —ухаживает за новыми обитателями зоопарка. Теперь тут не только мелкие птицы в вольерах, в Асканию с Кавказа прибыли разноцветные фазаны, из Астрахани европейская антилопа — сайга, из Донецких степей —байбаки. Нужно изучать их повадки, их вкусы,— ведь все эти новые «асканийцы» впервые поселены в степи под присмотром человека.

В Асканию часто приходят письма: молодой Фальцфейн живет в Юрьеве, но душой он здесь, только здесь,

в своей Аскании. Он расспрашивает, дает советы, строит новые планы. Ах, поскорее бы закончить университет,— тогда-то они с Климом развернутся вовсю.

И вот университет позади, можно уехать в Асканию, навсегда уехать.

Федору Эдуардовичу двадцать шесть лет, он самостоятельный хозяин Аскании. С молодым пылом берется за дело: в заграничные фирмы Америки, Африки, Австралии идут фальцфейновские заказы. Вскоре прибывают новые насельники зоологического парка: громадные страусы африканские, низкорослые страусы нанду — американские, страусы эму —австралийские. Из Африки, из Азии едут антилопы: огромные, быкоподобные канны, маленькие, похожие на козу —гарны, туркестанские джейраны, свирепые африканцы — гну, голубые и белохвостые.

Все время жить в Аскании Федору Эдуардовичу все же не удается: надо выезжать за границу, в прославленные зоологические парки Европы, изучать опыт крупнейших специалистов по разведению диких животных. В одном из таких зоопарков Фальцфейн увидел американских бизонов, обитателей прерий. Возникла мысль: что если завезти бизонов в русскую прерию — асканийские степи?

Послан заказ; бизоны прибыли, выпущены в Большой загон, мирно пасутся с антилопами, с оленями.

И тут охватило Федора Эдуардовича неодолимое желание — поселить в Аскании новых необыкновенных степняков, но уже не из Америки, а из Монголии. Это — дикие лошади Пржевальского. Они совсем недавно открыты и описаны знаменитым путешественником, названы его именем.

Почему же заинтересовался ими Фальцфейн? Редкость? Диковинка? Нет. Еще в детстве Федор слышал от отца о диких лошадях южно-русской степи —тарпанах. Старик Фальцфейн застал их, видел своими глазами. Они сродни лошади Пржевальского, только масть иная — серая, а не песочная. Тарпаны были полностью истреблены еще в семидесятых годах. Что, если попытаться вернуть асканийской степи животных, отнятых у нее человеком?

Фальцфейн едет в Петербург: надо познакомиться с путешественником Козловым, узнать у него все, что известно науке о лошадях Пржевальского.

Козлов удивлен: он не встречал таких одержимых; Фальцфейн говорит только о лошадях Пржевальского, весь поглощен одним желанием — поймать лошадей и поселить их в асканийской степи.

Петр Кузьмич в сомнении: лошади Пржевальского дики, очень осторожны, очень чутки. За годы, проведенные в пустыне, Козлов встретил их всего дважды. Лошади за версту учуяли запах человека и пустились вскачь. Жеребец-вожак несся впереди, за ним мчались семеро кобылиц. Временами все останавливались, смотрели на людей, потом скакали дальше, пока не скрылись в пустыне.

Фальцфейн слушал Козлова, смотрел поверх его головы.

— Они будут жить в Аскании,— сказал он, прощаясь с Козловым.

За дикими лошадьми в 1897 году была снаряжена специальная экспедиция. Русский торговец в Монголии Ассанов подрядил монголов-пастухов. Им удалось выследить табун диких коней, отделить от него жеребят, догнать их, стреножить. Жеребят доставили в Сибирь, но, не доехав до Аскании, они погибли — не вынесли тягот путешествия.

Что ж, надо отправить новую экспедицию. Неудача, опять неудача: кони пали.

И в третий раз отправились охотники за дикими лошадьми. Теперь сам Фальцфейн разработал правила ловли — жеребят не следует загонять до полного изнеможения: они «запаливаются», потом болеют и гибнут. На этот раз экспедиция увенчалась успехом: пойманные лошадки выпущены в Большой загон: все выжили и позже дали приплод.

В зоологическом парке появляются все новые животные: привезены олени, самые разные — маралы, северные, уссурийские. Их никогда не видела асканийская степь.

Прибыл зубр —обитатель лесных чащ. Он исчезает. На Кавказе уже истреблен; «последние из могикан» сохранились лишь в Беловежской пуще.

Зубров скрещивают с бизонами. Гибриды — зубробизоны — похожи и на мать, и на отца. Это новый вид, он искусственно создан человеком. В Аскании намерены восстановить зубра. Как? Путем последовательного

скрещивания гибридов с их «прародителем» — с беловежским зубром. Постепенно признаков бизона будет все меньше. В конце концов возродится исчезающий вид.

Зоологи Аскании вели работы в двух направлениях: они восстанавливали виды, утраченные степью, и приучали к степи виды, которые никогда здесь не водились. По-ученому — это реакклиматизация и акклиматизация.

Нет, не блажь, не барская прихоть руководила владельцем Аскании: развести в степи новых зверей и птиц, умножить, обогатить ее фауну,— над этим всю жизнь работали Фальцфейн и Сиянко. Им помогали крупные ученые России, приехавшие в Асканию: Илья Иванов, Фортунатов, Завадовский.

Удалось многое: оказывается, обитатели тундры — олени — отлично переносят палящий зной южно-русской степи. Не боится ее и одетый в мощную шубу лесной житель — зубр.

В Аскании налаживается производство пантов — рогов молодых оленей; панты употребляются в медицине. Зоологические парки России приобретают редких птиц — страусов, фазанов; покупают антилоп, зубробизонов.

Аскания развивается год от года. Теперь здесь кроме зоологического парка разведен ботанический. Насосы денно и нощно качают воду, поят деревья: платаны, туи, тополя, клены, акации.

Южная степь от века бездревесна, от века это царство могучих трав. Они, только они могут жить здесь, могут выносить многодневное бездождье, когда земля пересыхает, покрывается трещинами. Лишь в редких низинках —круглых мелких «блюдцах» — осмеливается селиться чахлый кустарник, прирожденный степняк — дикий бобовник. А деревьев Херсонская степь не видела, не знала никогда. Впервые в этих местах выросли они в Аскании.

Много забот прибавил ботанический парк Фальцфейну и Сиянко: саженцы приживались плохо, сохли под палящим дыханием летних суховеев. Тогда привозили новые, поили вволю ґрунтовыми водами. Постепенно на тучном степном черноземе деревья крепли, набирали

силу, все толще становились стволы, все гуще раскидистые кроны. И вот кроны сомкнулись. Парк стал лесом — в нем поселились лесные травы, лесные птицы. Путешественник, подъезжавший к Аскании, изумленно смотрел на живую зеленую тучу, вставшую вдруг на горизонте.

Так у Фальцфейна и Сиянко появилось новое детище. Зоологи становились ботаниками.

Ученые, работавшие в Аскании, рассказывали о великой любви ее создателей к выхоженным ими зверям, птицам, деревьям, кустарникам. Федор Эдуардович и Климентий Евдокимович знали «в лицо» чуть ли не каждого асканийского насельника.

Как многие люди, приверженные одной страсти, Фальцфейн был замкнут, неразговорчив, а к тем, кто халатно относился к животным, к растениям,— нетерпим, суров: таких наказывал немедленным изгнанием. В Аскании могли жить и работать только те, кто, как Фальцфейн, как Сиянко, любили природу.

Жаль, очень жаль, что от них обоих осталось так мало: рабочие дневники Сиянко, несколько статей, заметок Фальцфейна — вот и все. Но тем ценнее немногое, что есть,— в скупых строках раскрывается душа создателей Аскании.

Вот письмо Фальцфейна. Он пишет, что с зоологическим парком подчас не расстается даже ночью,— поздним вечером подымается на вышку, вознесенную над Большим загоном: «Провожу здесь тихие ясные ночи среди питомцев моего парка. Проснешься на заре, глянешь в степь — одни звери бродят, другие спят. А то как-то слышу внизу стук: это антилопа канна, самец «Герман», бодает столбы вышки...

Дивная ночь! Звезды горят как алмазы. Набежит ветер, закутаешься в одеяло и забудешься крепким сном до утра».

Строки эти оказались прощальными: в 1917 году Фальцфейн навсегда покинул Асканию — уехал сперва в Москву, потом за границу.

Аскания осталась на руках Сиянко и его помощников. Тяжкие испытания ожидали ее: вблизи пролегал фронт, степь стала театром военных действий, Асканию навещали незваные гости — деникинцы, махновцы, вся-

кие «батьки», бродившие вокруг. Невежественные, жестокие люди измываются над обитателями зоопарка — рубят шашками лебедей на прудах, стреляют по антилопам, громят музей, библиотеку.

Старый Сиянко чуть не на колеиях умоляет «охотников» не губить зверей и птиц. От него со смехом отмахиваются. Знаменитый Козлов, приехавший от Москвы комиссаром, также пытается спасти парки. Это едва не кончилось бедой: только случай спас Петра Кузьмича от расстрела.

Беды эти ушли с концом гражданской войны. Аскания, как и вся страиа, принялась залечивать свои раны. Их много, они тяжелы. Во дворах, где содержат диких животных, горы навоза поднялись до крыш: убирать некому. В стенах домов зияют пробоины — прямые попадания артиллерийских сиарядов. Вокруг еще бродят банды; местное кулачье ждет не дождется, когда можно будет разобрать дома на дрова, на кирпич — в хозяйстве все пригодится.

Но уже близка историческая дата — восьмое февраля 1921 года. В этот день Украинский Совет Народных Комиссаров принимает исторический декрет об Аскании.

Вот он: «Принадлежавшее Фальцфейну в Днепропетровском уезде имение Аскания-Нова объявляется Государственным степиым заповедником УССР». Его задачи: «...Сохранение и изучеиие целинной степи и ее природы, сохранеиие, акклиматизация и изучение в условиях целинной степи возможно большего числа видов животных и растений; создание и массовое разведение видов растений и животных, имеющих народнохозяйствеииое значение».

Весной того же года в Асканию прибыли рабочие, техники. Начался капитальный ремонт, строительство, а летом вышел в свет первый номер «Известий» нового Государственного заповедника.

Сюда-то, в старую Асканию и в молодой, всего десяти лет от роду, заповедник, и приехал я на свою первую практику.

Прямо с грузовика отправился в рабочее общежитие, — с жильем здесь было туго: койка в старом, казар-

менного типа, зданнн почиталась за роскошь. Но в двадцать два года кто думает о бытовых удобствах? Хотелось одного: узнать, похожа нли непохожа Аскання всамделишная на ту, мою, созданную в воображении. Что ждет меня — радость нли разочарованне?

Покончено с документамн, получены карточки в рабочую столовку (питаться практнканту в «нтээровке» было не по карману: в месяц положено всего сто рублей).

Из столовкн я прошел мимо «Степной станцни» — так назывались научные лабораторин зоологов, энтомологов, ботаннков, почвоведов, гельмннтологов. Через окна видны пустые комнаты, пустые столы. Все заперто. Обед, отдых. Сейчас увижу людей, с которымн буду работать все лето. Кто они, как меня встретят?

Вот показались девчата в сарафанах с голыми загорелыми руками, все по-украннски низко, до глаз, повязаны белымн платкамн — «хустками». Увндев меня, умолкли,— незнакомый человек, а тут все знают друг друга. Потом послышалось шушуканье, приглушенный смех: обмениваются впечатлениями. Я сделал безразличное лнцо, достал из кармана старую — еще харьковскую — газету. И тут из-за угла прямо на меня легким, быстрым шагом вышла девушка, по виду практикантка. Короткие прямые волосы выгорелн почтн добела, нос розовый — лупится от солнца.

— Вы к нам?

Я назвал себя, объясннл: жду ботаннка.

— Ага! Так вы ко мне,— вы мой практнкант.

Я усмехнулся: шутит девнца.

Она опечалилась.

— Ну вот, не вернте... Никто не верит; а я уже давно работаю научным сотруднником: в позапрошлом году окончила биофак в Смоленске.

Ошибкн быть не могло: это была Нина Трофимовна Нечаева — ботаник Асканни-Нова. И было ей двадцать однн год — на год моложе меня!

— Сделаем так,— совсем уж по-деловому сказало мое неожнданное начальство,— сегодня устраивайтесь, отдыхайте после дороги, а завтра с утра поедем в степь. Введу вас в курс дела, покажу ваши площадкн для фенологических наблюдений. Я ведь вас давно жду: степь

цветет, площадок уйма, мечусь одна как угорелая. Вот сейчас надо класть под пресс утренние гербарные сборы. Работать мы начинаем ровно в восемь.— И, кивнув мне, она пошла в лабораторию.

Это было совсем неожиданно; к тому времени у меня уже имелся кой-какой опыт полевой работы: в каникулы на неделю-две мы с Михаилом Васильевичем Клоковым, молодым, но уже известным ботаником, выезжали в различные районы Украины; я неплохо освоил флору лесостепи, собрал небольшой гербарий. Думалось: в Аскании моим руководителем будет опытный ученый; он, разумеется, старше меня. Получилось иначе...

Настало утро. К восьми я был уже на степной станции. Нина пришла раньше, ждала меня.

— Пошли на конюшню. Возьмем Орлика — он смирный конь.

Я удивился:

— Разве мы не пойдем пешком?

— Нет, стационарные площадки далеко, километров пять-шесть. Пешком идти нет смысла.

Конюх, угрюмый старик украинец, работавший еще при Фальцфейне, не торопясь запряг Орлика в тачанку — двухколесную тележку. Нина взяла вожжи.

— Садитесь. Поехали.

Главная улица поселка разделяла Асканию на две части: «зоопарковскую» и «ботпарковскую». Мимо пронеслись корпус дирекции, музей, старые, еще фальцфейновских времен, дома для рабочих, и вот граница поселка, башня, водокачка, увитая диким виноградом. Вблизи она не казалась такой высокой, как вчера, когда подъезжали к Аскании. Дальше, насколько хватает глаз,— степь.

Здесь мне предстоит вести наблюдения на ботанических площадках, расположенных среди растительности различного видового состава. Состав этот зависит от местоположения площадки, от рельефа степи: есть высокие, сухие места — плато; это самая «степная степь», растут здесь травы-сухолюбы. Но степь не идеально ровна: возле Аскании лежит огромный Чапельский под — неглубокая ложбина. Весной в ней скапливаются талые воды. Влаги больше, чем на плато, поэтому и растения здесь иные — влаголюбивые; промежуточное положение между плато и подом занимает склон пода. Условия для

жизни тут наилучшие: не очень сухо летом, не очень мокро весной. Поэтому травиое иаселеиие иа склоие пода самое обильное — и по числу видов, и по количеству особей.

Об этом я узнал от Ниии в первый же день. И в первый же день надо было приступать к делу — вести феиологические наблюдеиия на площадках, собирать гербарий, укладывать растения в папку, писать этикетку к каждому экземпляру, потом дома сушить травы. Работать с гербарием я умел — научился у Клокова. Записывать фенологические наблюдения тоже было нетрудио: указываете высоту стебля, стадию биологического развития —собирается ли растение цвести, или только выпустило бутоны, или уже расцвело, отцветает, плодоносит. Каждая фаза отмечается условиыми зиаками, цифрами. Главиое, самое трудное заключалось в другом — надо было за предельио короткий срок освоить виды степной флоры. Я же, на беду свою, знал очеиь немиогие,— видовой состав знакомой мне лесостепи сильно отличался от степного: злаки, бурачииковые, гвоздичные, губоцветиые, сложиоцветиые в большинстве были местные степняки, я их видел здесь впервые.

Нина разбиралась в видах отлично: ей трудио было представить, что мне, биологу-третьекурсиику, не по силам сразу запомнить всю уйму видов, обитающих на стационарных площадках.

Оиа называла по-латыни вид, ждала, пока я запишу в ботаиический диевиик, измерю высоту, определю стадию биологического развития, и тут же переходила к новому виду.

Работала она быстро и не замечала, что я почти в отчаянии: описание площадки подходит к концу, я механически записываю все новые виды, а только что назваииые уже забыл и не знаю, смогу ли узнать их на новой площадке.

Тем временем описание окончилось. Я молча взял в папку образцы. Мы сели в тачаику, и Орлик зашагал к новой площадке — на склоне пода. Сейчас к двум десяткам видов прибавится еще столько же, а то и больше новых.

Что делать? Боже мой, что же делать? Завтра я один выеду в степь на свои площадки и должен буду само-

стоятельно их описывать. Но я ведь не запомнил всех растений, не успел запомнить, не смог запомнить. Смогу определить только семейство, а роды и виды? Я же впервые вижу их «в лицо», впервые слышу их латинские и русские имена. И имен этих множество. Я боялся даже подсчитывать их: к этой уйме с каждым днем будут прибавляться все новые и новые виды.

Мы переезжали, переходили от площадки к площадке. Нина все называла виды, все показывала мне растения. Под графу «Список видов» отведен целый столбец, «пиши — не хочу...».

Нина была погружена в работу. А я брел за нею и молча терзался. Что делать? За сутки, даже за двое мне, конечно, не освоить всю эту кучу видов, а работа не ждет — в степи наступила пора обильного цветения. У Нины своей работы по горло. Она не может возить меня в степь и обучать степной флоре. Я должен немедленно приступить к самостоятельным исследованиям. В заповеднике рассчитывают на это,— им сообщили из Харькова: на практику едет не просто студент-старшекурсник, а полевик, уже имеющий опыт экспедиционной работы. А «полевик» в первый же день провалился с треском. Что делать? Где срочно найти замену? Но это заботы асканийцев. А я? Мне придется уехать с позором, похоронить все надежды, все мечты об Аскании, остаться у разбитого корыта...

До конца рабочего дня я занимался знакомым делом — приводил в порядок утренние гербарные сборы. К вечеру поплелся к себе в общежитие.

Меня спасли «хвостики» — старое, испытанное студенческое средство. Кто плохо разбирается в растениях, собирает их кусочки — «хвостики» — отдельные листья, цветы, кладет в тетрадку, в записную книжку. Когда нужно, вынимает, сравнивает с натурой. Очень полезно почаще рассматривать «хвостики». В памяти незаметно возникнут зрительные образы отдельных растений.

Я знал о «хвостиках». Еще на первом курсе, когда так трудно различать виды, запоминать их латинские названия, нам, студентам-новичкам, открыла секрет «хвостиков» ботаник Нина Тимофеевна Дидусенко. Она учила нас для знакомства с цветами, травами привлекать по

возможности все органы чувств: зрение, осязание, обоняние. Густые, сильные запахи чабреца, тысячелистника, полыни неповторимы, единственны, их ни с чем не спутаешь, не смешаешь.

А острый, режущий лист осоки, мягкий, бархатистый, ласковый лист целебного шалфея, всегда влажные, пахнущие речной свежестью листья рагоза? Вы определите их на ощупь, по запаху.

Обо всем этом в Аскании напомнила мне «кочующий» ботаник Серафима Ивановна Осадчая. Всегда буду с благодарностью помнить эту добрую пожилую женщину. Она выходила в степь как в свой родной дом, где все знакомо, каждая травка вызывает воспоминание — когда, как впервые увидела, определила ее.

Серафима Ивановна была ботаником всего четыре-пять месяцев в году. Остальное время занималась семьей, хозяйством. Но вот наступала весна, и Серафиму Ивановну неудержимо тянуло в луга, в степи. Она оставляла дом, подписывала договор на сдельную работу с каким-нибудь институтом и на всю весну и лето становилась ботаником — изучала растительность, вела записи, собирала гербарий.

В Аскании на заре уходила она в степь с девчонкой, таскавшей гербарную папку, возвращалась затемно. При лампе раскладывала гербарий. Утром все повторялось снова. И так всю весну, все лето. Когда начинались осенние дожди, Серафима Ивановна садилась писать отчет, сдавала его и, получив скромную мзду, отправлялась домой — к мужу, к детям. Сейчас этот тип «кочующего» ботаника исчез. Наука наша заключена в строгие рамки штатных расписаний, плановых заданий, обязательных ежедневных посещений института. А жаль! В деятельности «кочующих» естествоиспытателей была своя поэзия, была непосредственность и острота восприятия природы человеком, на долгие месяцы оторванным от нее другими делами. Отсюда та жадность на труд в природе, та щедрость в отдаче другим своих знаний, которые отличали Серафиму Ивановну.

Когда я приехал в Асканию, Серафима Ивановна уже почти месяц работала здесь. В лаборатории я увидел невысокую, коренастую, как говорится, «широкую в кости» женщину в белой «хустке», по-крестьянски завязан-

ной на затылке. Да и вся она, широколицая, загорелая до черноты, была больше похожа на украинскую крестьянку, чем на ботаника, научного работника. В отделе она всех называла по именам и на «ты»,— это было понятно каждому из нас: мне, Нине Трофимовне, девушкам-техничкам Серафима Ивановна годилась в матери. Только старшего техника, пожилую Ганну Денисовну, Серафима Ивановна называла на «вы» и только по отчеству, Ганна Денисовна обращалась к ней так же — обе следовали украинскому обычаю.

Я раскладывал гербарий, когда почувствовал: сзади кто-то стоит, смотрит на меня: обернулся — Серафима Ивановна. Вероятно, по моему лицу она сразу догадалась обо всем.

— Слушай, Шурочка,— она оглянулась на техничек, сидевших за длинным столом, понизила голос почти до шепота,— слушай, ты сегодня в первый раз в степи? Правда?

И такая доброта была и в этом голосе, и во взгляде больших черных украинских глаз, что я тут же рассказал ей о своей беде.

— Ничего, не волнуйся, Шурочка, ничего: завтра пойдешь со мной в степь и послезавтра пойдешь. Будешь носить гербарий. А там посмотрим.

— Мне же надо принимать фенологические площадки,— с горечью сказал я,— завтра же принимать.

— А ты их и примешь. Только не завтра. Обязательно примешь. Как же иначе? Для этого и приехал.

И вот мы в степи. Вышли на заре, восход солнца встретили далеко от Аскании. Из большой брезентовой сумки от осоавиахимовского противогаза Серафима Ивановна достала сверток со снедью, термос, белую салфеточку. Аккуратно разложила все на траве.

— Давай перекусим, Шурочка. А травы пока подсохнут. Сейчас они мокрые от росы, собирать нельзя.

Мы принялись за крутые яйца, черный хлеб с маслом, горячий крепкий чай.

Сидя за «столом», Серафима Ивановна протянула руку, сорвала долговязую тонкую травинку.

— Эй, Тонконог! Чего в чашку заглядываешь? Ты уже росы напился.— Она протянула мне стебелек с узким колосом: — На, Шурочка, возьми на память Тонко-

нога. У него и второе есть имя — Келерия грацилис. Хорошее имя: грацилис — грациозный. Но мне наше, украинское больше нравится — Тонконог.

— А вот Медвежье ухо,— Серафима Ивановна потянулась в сторону, сорвала большой пушистый лист.— Это шалфей. Ты видел их в степи, они там все синие — лесной, мутовчатый, поникший. А этот с белыми цветами и зарос весь седой шерстью. Прямо как леший. Возьми и его в папку.

Не сходя с места, только наклоняясь то вправо, то влево, Серафима Ивановна собирала все новые и новые растения, называя их по-своему: Долговязик, Седой Леший, Синяя Звездочка.

И степь оживала, становилась своей, близкой, почти домашней. Вчера еще незнакомая, сплошная, одноликая трава исчезла. Появилось множество живых и разных растений; все они были старые знакомые Серафимы Ивановны.

Предсказание ее сбылось: за два дня пеших хождений по степи я твердо освоил, разумеется, не весь видовой список профессора Пачоского, а несколько десятков самых распространенных видов. Степь пугает новичка лишь вначале, на самом деле она не страшна: зная полсотни видов, ботаник может смело отправляться на опытные площадки, собирать гербарий, чертить кривые динамики растительного покрова целинной степи.

Вскоре я это делал, кажется, не без успеха: прошел месяц, и Нина Трофимовна сочла возможным уехать в отпуск, оставив отдел на своего практиканта. И я в общем справлялся со своими, не очень уж сложными обязанностями: вел наблюдения на фенологических площадках, руководил сбором и обработкой гербария, а однажды даже прочел в степи целую лекцию о флоре студентам педагогического техникума, приехавшим на экскурсию из Мелитополя.

Дни шли за днями, заполненные работой в лаборатории, в степи. Но я был неспокоен: приближалась осень, конец моей практики, а мне все не удавалось познакомиться с главным богатством Аскании — с ее зоологическим парком.

Временами в раскрытые окна лаборатории слышались голоса птиц — пронзительные вскрики фазанов, го-

готанье водоплавающей птицы; иногда ночную тишину нарушал мощный рев зубробизона. Как, когда увидеть все это?

В парки приезжали экскурсии, но и в рабочие дни и в воскресенье я был занят — работал за себя и за Нину. Надо было ждать ее возвращения из Смоленска.

И вот Нина Трофимовна снова в Аскании.

Короткое приветствие.

— Как справлялись без меня?

— В меру своих скромных сил. Одна вот беда...

— Какая?

— Не был в зоопарке, а отъезд не за горами.

Она засмеялась.

— Беда поправимая. Завтра поговорю с директором. Он сам вас везде поведет — в награду за двойную нагрузку в мое отсутствие.

* * *

Обещание свое Нина Трофимовна выполнила точно: на другой же день в итээровской столовой подвела меня к директору зоологического парка — Александру Павловичу Гунали. Я до сих пор только мельком видел этого приземистого, почти квадратного человека с широким коричневым от загара лицом, в клетчатой ковбойке с засученными рукавами. Гунали приходил в столовую позже всех, ел молча и очень быстро, часто поглядывая на часы.

— Знакомьтесь,— сказала Нина,— наш ботаник,— она назвала меня,— жаждет хотя бы на два-три часа стать зоологом.

Гунали подал мне руку. Я ощутил быстрое стальное пожатие.

— Давно у нас?

— С мая.

— Вероятно, уезжали и возвращались?

— Нет, живу у вас безвыездно вот уже два месяца.

Гунали непонимающе взглянул на меня.

— Позвольте, за два месяца вы ни разу не были в зоопарке? Биолог не был в зоопарке, живя с ним рядом? Не верю!

Я смешался вконец. Нина Трофимовна пришла мне на выручку.

— Он был очень занят, Александр Павлович,— работал за двоих. Я ведь ездила в отпуск.

Гунали, кажется, смягчился, но смотрел на меня хмуро.

— Нет, все-таки непонятно,— ворчливо заговорил он,— ежедневно у нас бывают десятки экскурсий: колхозники, учащиеся, военные, рабочие со всех концов страны, из-за рубежа едут за тысячи километров. А тут биолог, сотрудник заповедника, ежедневно слышит голоса зверей, птиц и не стремится их увидеть... Как хотите,— обида! Кровная обида мне, директору, всему нашему зоопарковскому братству.

Я рассказал о том, как еще в Харькове мечтал увидеть зоопарк, но вот... так случилось...

— Ладно,— Гунали махнул рукой,— повинную голову меч не сечет. Приходите сегодня после работы ко мне в кабинет. Увидите, какие прелести вы могли бы узреть еще два месяца назад. Авось, раскаетесь.

Я вздохнул облегченно: Гунали уже не сердился, он шутил.

В пять часов я, не заходя в общежитие, отправился в зоопарк. Гунали увидел меня из окна кабинета, вышел навстречу.

— Итак, пришли, памятуя, что лучше поздно, чем никогда?

Я виновато опустил голову.

— Ладно, ладно,— засмеялся Гунали,— это последний упрек. Больше не буду. Пошли в наше царство.

Мы вышли из кабинета.

В высокой глухой каменной ограде была прорезана маленькая, потемневшая от времени калитка. Гунали открыл ее ключом.

Я переступил порог и остановился, оглушенный писком, свистом, щебетаньем.

От калитки вдаль уходила аллея. По обе стороны ее росли старые толстые платаны, клены, тополи; со всех сторон они были обнесены проволочной сеткой.

— Царство мелкой птицы,— пояснил Гунали,— вся местная степная орнитофауна, кроме того, экзоты —выходцы из других стран.

Я взглянул на вольеру. В глазах рябило от ярких расцветок: желтые канарейки, зеленые австралийские попугайчики, пестрые китайские соловьи и более скромные по виду наши щеглы, синицы, чижи, пеночки, сойки носились между деревьями, порхали на ветках, влетали в окошечки деревянных домиков.

В соседней вольере жили обитатели покрупнее.

У подножья деревьев протекал ручей. В нем, отыскивая добычу, плавала водяная дичь. У самого берега, в воде, нахохлившись, стоял длинноногий шилоклюв; на берегу куличок-самец, расправив крылышки, пританцовывал перед надменно отворачивающейся куличихой.

Я с интересом разглядывал птиц, и все же мне трудно было скрыть разочарование: все выглядело как в обычном зоопарке. Только вот деревья растут в вольерах и текут искусственные ручьи...

Гунали взглянул искоса.

— Небось большего ожидали?

Я замялся.

— Нет, почему же? Это необычно: не сухие стволы, а живые деревья, на них птицы.

— ...которые сидят за решеткой, а не летают на воле.

Молча мы двинулись дальше.

Ручей, выйдя из вольеры, принял в себя несколько таких же ручьев, расширился, потек быстрее. Отражая густую листву, он казался теперь маленькой, но глубокой лесной речкой. И вдруг из древесной чащи выплыл огромный траурно-черный лебедь. В прозрачной воде сильно двигались его красные перепончатые лапы. Лебедь легко плыл против быстрого течения.

— Нигер! — позвал Гунали.

Лебедь повернул голову, но, увидев меня, быстро поплыл к противоположному берегу.

Гунали усмехнулся.

— Чужих боится. Когда я один, кормлю его из рук. Это наш ветеран. Лет десять назад он со своей самкой выводили еще птенцов в декабре — в первый летний месяц австралийского календаря. Теперь и Нигер, и потомство его вполне акклиматизировались: самки несутся в июне. А вот их земляки — австралийские страусы эму — до сих пор упорствуют: выводят птенцов в трескучие

рождественские морозы. И притом не в теплом страусятнике, а под открытым небом. Тут уж нужен глаз да глаз: прозеваешь — яйца замерзнут.

Узкая тропинка, посыпанная желтым песком, вилась между деревьями. По обе стороны ее росла густая некошеная трава. Я всматривался в растения. И вдруг среди знакомых уже злаков-степняков — костра, овсяницы, тонконога — желтым огоньком мелькнула густая цветущая метелка.

— Не может быть! Это же наш лесной зверобой,— я шагнул в высокую траву.

— Стойте! — Гунали сильно сжал мою руку.— Фазаны кладут яйца у самой тропинки, в траве их трудно увидеть. А зверобой еще при Фальцфейне появился, когда сомкнулись древесные кроны.

И тут между деревьями мелькнула широкая водная гладь. Перед нами был пруд, но не синий, а пестрый, неспокойный, все время меняющий окраску.

Пруд кишел дикой птицей. Чем ближе, тем громче слышалось хлопанье крыльев, гусиное гоготанье, утиное кряканье, курлыканье журавлей, трубные лебединые крики.

Я взглянул на Гунали. Широкое суровое лицо его посветлело. Весь подавшись вперед, он смотрел, слушал птичью жизнь и не мог насмотреться, не мог наслушаться.

— Вероятно, никогда мне не привыкнуть к этому,— тихо сказал Гунали,— сколько лет смотрю и всегда будто вижу впервые. Это потому, что человек выступил здесь в роли бога Саваофа — сотворил птичий рай.

Я оглядел пруд. Посредине насыпаны три острова с разными, очень непохожими берегами. Высокий, крутой, поросший кустарником и камышами, населяли красно-рыжие каспийские огари, дикие гуси, лебеди-кликуны. На пологом илистом берегу жили фламинго,— диковинные птицы на длинных карминно-красных ногах медленно бродили по мелководью. Легкие нежно-розовые, словно облака на заре, тела их были так высоко подняты над водой, что в просвете между ними и поверхностью пруда виден был далекий противоположный берег — безлесный, голый, степной. Там жили сухопутные птицы —

американские страусы нанду, громадные степные дрофы.

Вдруг фламинго все разом вытянули шеи к солнцу и медленно замахали багряными крыльями. Отражая их, прибрежная вода порозовела, словно на заре.

Я смотрел на красных птиц, на красный пруд, и мне казалось, что все это снится. Вот она, Аскания, о какой мечтал я долгими зимними ночами!

И вдруг в глаза мне сверкнул отраженный биноклем солнечный луч. В траве мелькнула белобрысая, стриженная под нулевку мальчишечья голова.

— Юннатский пост,— пояснил Гунали.— С мая до сентября школьники ведут наблюдения от зари до зари. Все увиденное записывают в дневник. Получается очень точная, очень ценная летопись птичьих «трудов и дней». Нам —польза, а ребята приучаются к терпению, выдержке, наблюдательности; это пригодится, кем бы ни стал юннат — биологом, учителем, летчиком.— Гунали повысил голос: —Кто на посту?

— Юннат Юрий Ковальчук, товарищ директор зоопарка,— донесся из травы ломкий юношеский басок.

— Драк между птицами, нападений хищников не было?

— Не было, товарищ директор зоопарка.

— Продолжать наблюдения.

Птичье царство осталось позади.

— Сейчас увидим Ноев ковчег в разрезе,— сказал Гунали.

Мы стояли перед высокой оградой, сплетенной из стальных прутьев. Легкая крутая лесенка вела вверх, на деревянную площадку, укрепленную на столбах.

— Опять ограда,— с сожалением сказал я.

— Она сейчас исчезнет,— отозвался Гунали.

С пятиметровой высоты открывался огромный Большой загон. Сквозная ограда вдали пропадала, растворялась в синем мареве.

По степи группами и в одиночку бродили звери. Особняком держалась страшная «чертова дюжина», единственное в мире стадо —тринадцать голов диких лошадей Пржевальского.

Коренастые низкорослые лошадки песочной масти с черным «ремнем» вдоль спины, с короткой стоячей гривой мирно паслись посредине загона.

— Кони из зажиточного колхоза,— пошутил я,— что ж в них дикого?

— Они страшнее льва и тигра,— сказал Гуналин,— те, когда сыты, не нападают на человека, а лошади Пржевальского готовы загрызть, растоптать любого, кто к ним приблизится,— даже рабочих, что их кормят и поят. А ведь это третье поколение, выросшее в неволе.

Поодаль от свирепых коней, на вершине искусственного кургана расположились корсиканские горные муфлоны с тяжелыми ребристыми рогами. У подножья кургана в жидкой тени, вытянув длинные шеи, лежали американские ламы.

Я взглянул вниз.

Под самой вышкой стояла кормушка с сеном. Ее окружило семейство антилоп. Горбоносая сайга, встав на задние ноги, лезла в кормушку, отталкивая двух желтых, под цвет каракумской пустыни, неутомимых в беге джейранов. Грустно понурившись, стояла в стороне огромноглазая газель.

И вдруг мир и покой обитателей Большого загона был нарушен: через все поле, взбрыкивая на ходу, бодая воздух рогами, несся молодой гну — голубовато-стальной полуконь-полубык с огромной лохматой буйволиной головой и стройным телом арабского скакуна.

Джейраны, сайгаки, газели, ламы кинулись от него врассыпную. Кони Пржевальского угрожающе сгрудились, готовые к бою. Но гну никого не тронул. Он просто резвился, играл. Сделав два круга, гну мелкой рысью потрусил в глубь загона.

— А если бы он шутя поддел кой-кого на рога? — спросил я.

— Все возможно,— сказал Гуналин,— звериная душа — потемки. Но этот пока еще молод, а вырастет, станет не менее свиреп, чем лошади Пржевальского. Тогда мы поместим буяна отдельно; его отец и дед давно изолированы. На совести каждого по нескольку загубленных звериных жизней. И все же этакий рогатый Васька Буслаев здесь необходим. Он восполняет недостаток опасности, присущей дикой природе. Гну поддерживает у животных состояние настороженности. Нам, зоологам, это и нужно: животных мы изучаем в окружении естественной среды.

Мы спустились с вышки.

— Сейчас увидите наших зверей в совсем уж необычных условиях,— сказал Гунали.

Через вторую калитку мы вышли из зоопарка и, пройдя вдоль бесконечной сквозной ограды Большого загона, очутились в открытой степи.

Близился вечер. Солнце опускалось к горизонту. Стоячие кучевые облака на востоке темнели снизу, становились похожими на тучи.

Я и Гунали шли без дороги, раздвигая густые степные травы. Вдруг вдали среди темнеющих вечерних трав возникли черные холмы. Одни были неподвижны, другие как бы плыли по степи.

— Стадо бизонов и зубробизонов,— пояснил Гунали.— Максим Петрович, пастух, поднимает их —пора домой, в Большой загон.

— Гей, Мишка! Гей, Воин! — донесся высокий сердитый альт. Пастух — маленький, щуплый, похожий на подростка старик с седой вихрастой головой, в полотняной рубахе без пояса, в полотняных шароварах,— хлопая длинным бичом, бегал вокруг бизонов. Огромные бурые быки недовольно отворачивались, тяжело сопели, потом нехотя подымались с земли.— Ой, ледаще быдло! Гей! Щоб вам повылазыло! Гей, бисовы диты!

Я оглядел степь. Здесь паслись не только бизоны. Невдалеке от них, срывая на ходу траву, гурьбой шли олени — маралы. Ветвистые рога, сталкиваясь на ходу, сухо постукивали. За оленями цепочкой тянулись полосатые зебры Чапмана.

Невиданное стадо, подгоняемое маленьким стариком, словно сказочным гномом, по древней нетронутой степи направлялось на ночлег, в Большой загон.

Я спросил, не разбегаются ли животные.

Гунали засмеялся.

— А зачем? Куда? Для животных, для птиц у нас создан земной рай. Они пасутся на воле, избавлены от врагов, выводят потомство.

Диковинное стадо медленно удалялось на запад. Солнце только что село. На багровом фоне зари четко, словно выписанные тушью, чернели горбатые бизоньи силуэты, костяной лес оленьих рогов.

— Вот и кончился день,— задумчиво сказал Гуна-

ли,— теперь остается взгляиуть иа животных, по природе своей полярио противоположных: в первом случае мы добились всего, во втором — почти ничего. Пойдемте, это рядом.

Вблизи Большого загона виднелись приземистые сарайчики.

— Здесь у иас живут самые добрые и самые злые,— пояснил Гуиали.

За деревяиными перилами иаходился маленький дворик. К иему примыкал один из сарайчиков. Дворик был пуст. Но вот в темиом проеме двери, ведущей в сарайчик, показались две костяные пики; огромиая, ростом с быка, африкаиская аитилопа каниа медленно вышла во дворик, шумно втянула воздух.

— Крошка! Крошка! —позвал ее Гуиали.

Аитилопа оглянулась, и я услышал иеобычиые звуки: тугие струи звонко ударяли о дио ведра.

— Доят Майку,— сказал Гунали,— Крошка уже освободилась.

Антилопа, иагиув голову, чесала ногу своим страшным рогом.

Я оторопело взглянул иа Гуиали. Шутит? Нет, он говорил серьезно: сейчас раздаивают четыре каины. Удой семь литров в деиь. Молоко повышеиной жирности, очень витаминозиое, отличное иа вкус.

— Зоя, ты скоро? — спросил Гуиали.

— Коичаю, Александр Павлович,— отозвался из сарая девичий голос.

Во дворик вышла молодая работница в белом халате с подойииком в руке. Она слегка оттолкнула стоявшую иа дороге антилопу, подошла к перилам.

Гунали кивнул на меня.

— Вот приезжий товарищ не верит, что ты аитилоп доила.

Девушка пожала плечами:

— Чего ж ие верить? Майка сама сейчас выйдет.

В открытую дверь просуиулись еще две костяных пики.

— Здесь нет никакого чуда,— сказал Гунали, — аитилоп много видов, все очеиь разиые. Одии, как канна, легко приручаются, другие более свирепы и дики, чем крупные хищники: те поддаются дрессировке, с аитило-

пой гну мы бессильны. Это — самум, сметающий все на своем пути.

За крепкой оградой из дубовых столбов беспрерывно ходил по кругу старый седой гну — самец. Вблизи было хорошо видно его изящное, литое тело. Громадная бычья голова казалась чужой, принадлежащей другому, более крупному животному.

— Но он ведет себя пока довольно мирно,— я подошел вплотную к ограде.

Гунали усмехнулся.

— Вот именно — пока.

Гну остановился, порывисто и глубоко вздохнул. От мощного дыхания взвихрилась пыль с земли. Маленькие свирепые глазки уставились на нас. Гну топнул задними ногами, стал мочиться, потом ринулся на ограду, нанес ей страшный удар своими буйволовыми рогами. Столбы скрипнули.

— Пойдемте,— Гунали шагнул от ограды,— в ярости он может разбить себе башку. Это дикий старик. Он — дед молодого гну, который давеча пугал зверей в загоне.

...Домой мы возвращались через спящий зоопарк. Посыпанная песком дорожка белела в темноте. В Большом загоне, на прудах — всюду царили сон, покой, тишина. Только изредка из тьмы доносился слабый всплеск или короткое кряканье.

Гунали остановился на берегу пруда. В темной воде отражались звезды. От воды веяло сыростью, ночным холодком.

— Знаете,— вполголоса заговорил он,— мне всегда казалось: приручая животных, птиц, человек проявил непонятную косность — за много веков заставил служить себе совсем немногих. А ведь млекопитающих на земле две тысячи видов, птиц еще больше. Это дерзко, но я верю: Аскания даст человеку для его блага новых животных, новых птиц.

В траве послышался шорох. Гунали умолк, прислушался.

— Змея? — спросил я.

— Боюсь, что хуже,— голос Гунали был взволнованным.

Шорох усилился.

Гунали шагнул в высокую траву и сразу исчез в темноте. Через минуту послышался его голос:

— Вот он! Это ужасно!

— Что там? — Я ничего не мог понять.

— Еж! Наш злейший враг. Он страшнее всех пернатых хищников. Счастье, что я его нашел. Иначе погибли бы десятки яиц.— Гунали нагнулся над темным, сопящим колючим клубком, вынул платок, завязал в него свернувшегося ежа.

* * *

...С тех пор прошли многие годы. А я помню все встречи, все голоса, все звуки того удивительного дня, когда Аскания открыла мне свои главные тайны.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович
Кременской

ОБЛАКА И ЗВЕЗДЫ

М., «Советский писатель», 1978, 528 стр.
План выпуска 1978 г. № 97

Художник *И. А. Литвишко*
Редактор *В. Л. Солнцева*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Т. С. Казовская*
Корректор *Т. Ф. Юдичева*

ИБ № 1282

Сдано в набор 5/VIII 1977 г. Подписано к печати 2/XII 1977 г. А09612. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Печ. л. 16,5. Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 27,65. Тираж 100 000 экз. Заказ № 679. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

1 р. 80 к.